

*Вестник
Московского государственного
областного университета*

**СЕРИЯ
«РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»**

№2

Москва
Издательство МГОУ
2006

Вестник
Московского государственного
областного университета

СЕРИЯ
«РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

№2

Москва
Издательство МГОУ
2006

**Вестник
Московского государственного
областного университета № 2 (27)**

Научный журнал основан в 1998 году

Редакционно-издательский совет:

Пасечник В.В. - председатель, доктор педагогических наук, профессор
Блинова В.П. - начальник учебно-методического управления
Дембицкий С.Г. - первый проректор, проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор
Жураховский С.Н. - проректор по развитию и информатизации, кандидат технических наук, доцент
Макеев С.В. - директор издательства, кандидат философских наук, доцент
Яламов Ю.И. - первый зам.председателя, проректор по научной работе и международному сотрудничеству, доктор физико-математических наук, профессор
Чайка А.В. - начальник планово-экономического управления

Редакционная коллегия серии «Русская филология»:

П.А.Лекант – доктор филологических наук, профессор, ответственный редактор
Т.Е. Шаповалова – доктор филологических наук, профессор, заместитель ответственного редактора
Л.Ф. Алексеева – доктор филологических наук, профессор
В.Н. Аношкина – доктор филологических наук, профессор
Л.Ф. Копосов – доктор филологических наук, профессор
В.В. Леденева – доктор филологических наук, профессор

Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – №2 (27). – 2006. – М.: Изд-во МГОУ. –315 с.

Вестник МГОУ (все его серии) является рецензируемым и подписным изданием, предназначенным для публикации научных статей докторантов, а также аспирантов и соискателей (См.: Бюллетень ВАК №4 за 2005 г., с.5).

ISBN 5-7017-08-79-9

© МГОУ, 2006
© Издательство МГОУ, 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Артамонов В.Н.

Субъект категории важности — эксплицитный и имплицитный элемент
логики-семантической структуры категории важности.....7

Беглова Е.И.

Язык и норма постсоветской эпохи в печатных СМИ.....13

Боронин А.А.

О дуалистическом характере персонажного субтекста.....18

Векшин Г.В.

Метафония и рифма.....24

Войлова К.А.

А.С. Пушкин и русский литературный язык.....29

Герасименко Н.А.

Семантика и функционирование частицы *как бы* в прозе В. Катаева.....33

Дегтярева М.В.

Категориальная семантика предикатива.....37

Замятина И.В.

Употребление действительных причастий на *—ся*.....42

Казаковская В.В.

К функциональной классификации вопросов взрослого
в диалоге с маленьким ребенком.....48

Карпухина Н.М.

Дефиниция как признак терминированности профессионально
ориентированных экономических наименований.....55

Кожин А.Н.

О языке военно-мемуарной прозы.....61

Колесникова С.М.

Градуальная лексика в современном русском языке.....63

Коновалова Н.И.

Семантика и синтактика сакрального текста.....69

Копосов Л.Ф.

Вариативность флексий местоименного склонения в деловой письменности
XVIII в.74

Кочеткова Т.И.

Гибридные единицы словосложения в современном русском языке80

Лагузова Е.Н.

Описательные глагольно-именные обороты с компонентом
привести в структуре простого предложения.....85

Леденева В.В.

ЛСГ глаголов, обозначающих качественное состояние,
в письмах Н.С. Лескова 90-х годов.....88

Лекант П.А.

Части речи как грамматические категории.....91

Лешутина И.А.

Композиционные и стилистические особенности переписки царских сановников пер-
вой трети XIX века: М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев.....94

Манькова Л.А.

Лексико-грамматические особенности публикаций «Санктпетербургских ведомостей»
о Пугачевском бунте.....100

Маркова Е.М.

О типологическом характере семантических трансформаций некоторых наименований ландшафта.....107

Нагорная С.Ю.К вопросу о развитии русского письменного языка:
сочинения старообрядцев-странников.....113**Нагорный И.А.**

Сомнение в языке.....118

Петров А.В.

Система структурно-семантических вариантов русского безличного предложения..121

Свиридова Т.М.Лексические единицы *согласие* и *несогласие* в коммуникативно-прагматическом аспекте.....126**Свиридова Т.М.**

Оценочно-характеризующие компоненты в структурах с семантикой согласия и несогласия.....131

Сердобинцева Е.Н.

Функции профессионализмов в художественном тексте.....139

Тихонова В.В.

Основные компоненты семантической структуры 'пространства'.....145

Фадеева Т.М.Эпитет как элемент экспрессионистских тенденций в языке
произведений Л. Андреева.....149**Черникова Н.В.**

Концептуальные и лексико-семантические изменения на рубеже веков.....152

Чибухашвили В.А.

Еще раз о классификации речевых нарушений.....158

Чупашева О.М.

О субъекте деепричастия в предложении.....163

Шапвалова Т.Е.

Модально-временная характеристика безличных предложений.....166

Шаталова О.В.Семантическое поле *бытия* в философских размышлениях В. Розанова.....169**Шипицына Г.М.**

Семантико-деривационные процессы как механизмы языковой категоризации.....173

Юдина Н.В.

О терминах 'валентность' и 'сочетаемость' в лингвистике.....177

Южакова Ю.А.

О реализации категории тождества в русском языке.....183

ЛИТЕРАТУРА

Батурова Т.К.

Духовный смысл стихотворения Н.М. Языкова «Пловец».....188

Белукова В.Б.Герои и антигерои публицистики Гайто Газданова
послевоенного времени.....193**Дронова Т.И.**В поисках синтеза: поэтика и генезис историософского романа
Д.С. Мережковского.....198**Копытцева Н.М.**

Поэтическое творчество А.К. Толстого (к вопросу о своеобразии реализма поэта).....204

Кузина А.Н.	
Поэтика художественных обобщений в повести В.Г. Распутина	
«Прощание с Матерой».....	208
Култышева О.М.	
А. Белый и В. Маяковский: новаторство в поэзии.....	216
Лебедева С.Н.	
«Живой реализм М. Карпова...» (возвращение писателя).....	222
Лунина И.Е.	
Проблема «Цивилизация и человек» в книге очерков Д.Лондона «Люди бездны»...228	
Новикова А.А.	
Евангельский эпиграф в поэтике святочного рассказа Н. С. Лескова	
«Отборное зерно».....	234
Новикова Н.В.	
Концептуальные формулы цикла журнальных статей Р.В. Иванова-Разумника.....	239
Солодовник В.И.	
В поисках Истины. (Особенности поэтики североамериканской колониальной литературы XVII века).....	249
Федосеева Т.В.	
Нравственный идеал в драматургическом творчестве Г.Р. Державина.....	253
Чуйкова О.А.	
Петербург в мифологической системе повести А.М. Ремизова	
“Крестовые сестры”.....	261
Щербаков С.А.	
Символика растений в поэме Сергея Есенина «Пугачев».....	266
ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ	
Башкирова И.А.	
Семантика именных безличных предложений в романе М.А. Булгакова	
“Мастер и Маргарита”.....	273
Иванова И.А.	
Развитие семантического объема понятий <i>любовь</i> и <i>дружба</i> в истории русского языка...275	
Ключенко Л.Н.	
Экспрессивность карточных выражений.....	278
Ковина Т.П.	
Стилистически обусловленное употребление слова <i>хинь</i>	
в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».....	281
Степанов Е.Г.	
Генезис нигилизма в русской литературе.....	283
Тихомиров С.А.	
Гипербола в аспекте градуальности.....	286
РЕЦЕНЗИИ	
Кошарная С.А.	
Рецензия на учебник: К.А. Войлова. Старославянский язык. М.: Дрофа, 2003.....	291
Воителева Т.М.	
Рецензия на учебник «Русский язык» для студентов средних профессиональных учебных заведений.....	294
ИЗ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ	
Кожин А.Н.	
Из истории кафедры русского языка.....	296
Аношкина В.Н., Лёнюшкина Л.Г.	
История и современная жизнь кафедры русской классической литературы МГОУ...302	
ИНФОРМАЦИЯ	311

*ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО
УНИВЕРСИТЕТА*

РУССКИЙ ЯЗЫК

В.Н. Артамонов

СУБЪЕКТ КАТЕГОРИИ ВАЖНОСТИ – ЭКСПЛИЦИТНЫЙ И ИМПЛИЦИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КАТЕГОРИИ ВАЖНОСТИ

Исследуемая категория важности входит в функционально-семантическое поле оценки, то есть является частной оценочной категорией. В основе оценки информации с позиции категории важности лежит общая оценочная структура, которую можно выразить формулой – $A \text{ г } B$ [1]: субъект A оценивает объект B , представляющий собой информативный ряд (двучленный $C - D$ или многочленный $C - D - E - F - \dots$) [2] и приписывает каждому из членов определенную степень важности. Центральным конструктивным средством реализации категории важности является оценочная предикативная единица (ОПЕ), отдельное предложение или предикативная часть сложного предложения, в рамках которой логическая формула категории важности реализуется таким образом, что оценочная ее составляющая имеет эксплицитное выражение в форме оценочного предиката (ОП), а остальные составляющие – субъект и объект категории важности представлены либо имплицитно, либо эксплицитно как главные (подлежащее) или второстепенные (дополнение и обстоятельство) члены структуры простого предложения, например: *Наверное, я пропустил множество интереснейших людей, потому что для меня родинка какая или прыщ важнее глаз, слез, трясущихся пальцев, смертельной бледности...* (Ю. Семенов); *Я – истинно расейский! Купец из Москвы! Для меня благо отечества всего превыше* (Ю. Семенов).

В приведенных примерах из произведений Юлиана Семенова ОПЕ выделены подчеркиванием, а ОП – жирным шрифтом. В первом примере ОПЕ – предикативная часть сложного предложения, во втором примере ОПЕ – самостоятельное предложение. В первом примере эксплицитны все составляющие логической формулы категории важности: субъект категории важности представлен формой родительного падежа местоимения с предлогом *для* (*для меня*), объект категории важности, многочленный информативный ряд, представлен всеми членами – *родинка, прыщ* – в форме именительного падежа однородных подлежащих, *глаза, слезы, трясущиеся пальцы, смертельная бледность* – в форме родительного падежа однородных дополнений, ОП – компаратив имени прилагательного с нулевой связкой – сравнивает члены информативного ряда, распределяя их так, чтобы все они (шесть членов) заняли на шкале оценки по степени важности две ступени – первые два (подлежащие) ту, что выше, а остальные четыре (дополнения) – ту, что ниже. Во втором примере субъект категории важности, как и в предыдущем примере, выражен формой родительного падежа местоимения с предлогом *для* (*для меня*), один из членов информативного ряда выступает в функции подлежащего (*благо отечества*) и оценивается с помощью ОП – аналитической формы превосходной степени сравнения имени прилагательного (*превыше всего*) и нулевой формы связки – как имеющий наиболее высокую степень важности, остальные, менее важные, члены информативного ряда имеют имплицитный характер.

В данной статье речь пойдет о первом элементе формулы, выражающей структуру

оценочной категории важности, — оценивающим субъекте.

«Под субъектом оценочной структуры подразумевается лицо, часть социума или социум в целом, с точки зрения которого производится оценка» [3]. Субъект категории важности, как и любой другой оценочной категории, отличается и от субъекта высказывания, и от субъекта речи (субъект оценки и субъект речи совпадают, если речь ведется от первого лица [4]).

Им может быть как один из актантов, так и автор текста. Оценка может быть индивидуальной, высказанной от одного определенного лица, или коллективной (социальной), высказанной «от имени» совокупности лиц, образующих некий социум с общими стереотипами, и выражающей так называемое «общее мнение». Таким образом, можно выделить два основных типа субъекта оценки: индивидуальный субъект и коллективный субъект. Так, в примере: *Ты хочешь сказать, что когда я смотрю на луну, то вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не светится. По-моему, это не важно. С меня достаточно того, что свет существует. И когда я его вижу, то главное, что есть во мне, заставляет меня двигаться в направлении к свету. А откуда он, какой он — это все не особо важно* (В. Пелевин) — представлен индивидуальный субъект, выраженный в одном случае вводной единицей (*по-моему*), а в другом — предложно-падежной формой личного местоимения (*с меня*). Здесь и далее эксплицитный субъект выделен подчеркиванием, ОП — жирным шрифтом. Коллективный субъект представлен в следующем примере: *У нас есть сейчас поэт один, ну, просто огневой парень, на ходу подметки режет, к власти рвется. Да ты знаешь его — Васька Кривенко! Я его стихи вставлю вместо бяликовских в твою работу — она как по маслу во всех инстанциях за полгода пролетит! На стихи-то всем наплевать — их ведь никто не читает! **Важен** как раз сопроводительный текст...* (Братья Вайнеры). Средством выражения субъекта является местоимение *всем*, обозначающее, по мнению говорящего, часть социума.

Субъект оценки может быть как эксплицитным (см. приведенные выше примеры), так и имплицитным. Эксплицитно субъект оценки выражается с помощью прямого указания на лицо вводными единицами: *по-моему, по-твоему, по мнению NN* и др., различными падежными формами имен, называющих либо указывающих на лицо или группу лиц; а также с помощью глаголов *полагать, считаться, казаться* и др. Так, в предложении: *Нас со школы учили: **самое главное** — человек, а техника уже потом* (В. Пикуль) — форма глагола прошедшего времени множественного числа *учили* указывает на неопределенное количество лиц в неопределенно-личном предложении, то есть часть социума (коллективный субъект).

Часто вместе с оценкой объекта по степени важности в высказывание (текст) включается объяснение причин этой оценки: *Как **важно** знать заранее о конце своего пути! Как много можно принять решений!* (Братья Вайнеры) — *Как **важно** знать заранее о конце своего пути, так как много можно принять решений; Девочки будут жить в своем доме. Мне кажется это **важным**... Поверьте мне, Алешенька, это очень **важно**! Наш век — это эпоха потерянного достоинства, ведь у попрошаек не может быть достоинства! Нищий не может требовать: он может только просить...* (Братья Вайнеры) — *жить в своем доме очень важно, так как наш век — это эпоха потерянного достоинства, ведь у попрошаек не может быть достоинства! Нищий не может требовать: он может только просить....* Особенно интересен второй пример, где посредством местоимения *мне* выражается индивидуальный субъект (первое лицо), но, называя причину своей оценки, говорящий включает себя в социум, считает, что все *потерявшие достоинство, нищие, попрошайки* согласятся с его оценкой, то есть субъект из индивидуального «превращается» в коллективный.

Причинами оценки информации по степени важности могут выступать такие характеристики оценивающего субъекта, как его

— социальная роль (социальное положение, социальный статус), например: *Как ни*

нужны ему [Бальзаку. — В. А.] были деньги, они **ничего не значили по сравнению с искусством**. Ему пришла в голову мысль, что, быть может, он при своем каторжном труде, исписался. Тогда все другое **теряло значение**. Тогда **теряла смысл и жизнь**. Тогда оставалось лишь то, что он называл энтомологическим существованием (М. Алданов). — Бальзак, субъект оценки, является художником слова, человеком искусства, поэтому оценивает **искусство** выше, чем **деньги**: для него проблемы творчества важнее материальных проблем, в отличие от субъекта оценки в следующем примере: Он был беден, а ей нашли богатого! А что он был Мицкевич, это для таких людей **никакого значения не имеет** (М. Алданов);

— ситуационная роль, «которая определяется положением субъекта в различных обстоятельствах» [5], например: И Серпилин вспомнил, что загс — это ведь **не одни женитьбы и рождения, а еще разводы и смерти...** **Главное теперь, во время войны, — смерти** (К. Симонов) — причина оценки Серпилиным регистрации смерти как главной сферы деятельности для загса, по сравнению с женитьбами, рождениями и разводами, заключена в подчеркнутом обстоятельстве, можно предположить, что в мирное время оценка изменится;

— возраст, например: Он [Полынин. — В. А.] был холост и мог завтра же сказать ей: «Выходите за меня замуж». Правда, мать-старушка, наверное, и слышать не захочет, чтоб он женился на артистке, но на четвертом десятке с такими вещами **мало считаются** (К. Симонов);

— пол, например: — Выбрать шубу, — рассудил Гальдер, — для женщины **столь же важно, как для генерала получить дивизию или корпус** (В. Пикуль);

— намерение, например: Он [Скобелев. — В. А.] очень спешил, понимая, что его присутствие в южном Туркестане **куда важнее, нежели эти тыловые заботы и...** И нигде не выезжал (Б. Васильев) — Скобелев должен возглавить боевые действия в южном Туркестане, чем и объясняется его оценка;

— вероисповедание, например: Они танцуют по кругу, и понемногу начинают понимать, что Бог в центре всего, что на каждого из них льются его лучи. Дerviши совершают полный круг, затем приближаются к центру. Не удается в первый раз, проходят второй круг или третий. А когда кончено, это смерть, то есть слияние с Богом. У них **самое важное: смерть...** (М. Алданов);

— национальность, например: У нас на Руси издавна храбрость да отвага воинская **превыше всего ценятся** (Б. Васильев);

— тип характера, например: Судя по истории болезни, инфаркт у нее уже третий. Возможно, были и микроинфаркты. Человек, который не следит за собой, **может не придать им значения** (К. Симонов).

Указание названных причин оценки, за исключением, может быть, намерений субъекта, относит даже индивидуального субъекта к определенному классу, переводя индивидуального субъекта в статус коллективного, то есть субъект оценивает так же, как должны оценивать все, кто имеет такой же социальный статус, все, кто находится в подобных обстоятельствах, все, кто относится к этой возрастной группе и т. д.

Эти же и некоторые другие характеристики оценивающего субъекта могут стать основаниями для несовпадения оценки одного и того же объекта разными субъектами.

Так, могут не совпадать коллективная и индивидуальная оценки одного и того же объекта: — Меня не только обезоружили, — Вороновский оборвал свою гладкую речь и полусмущенно улыбнулся, — но и взяли... портсигар... Это, конечно, **пустяки**, но портсигар мне дорог как **фамильная вещь** (М. Шолохов). Потеря портсигара для коллективного субъекта не важна по причине чрезвычайных условий гражданской войны — ситуативная роль; это понимает говорящий, однако, являясь членом семьи, о которой портсигар напоминает Вороновскому, он, индивидуальный субъект, оценивает данное событие как важное. Герой романа Шолохова оценивает одно и то же событие с позиций коллективного и индивидуального субъекта, и оценки не совпадают.

Автор текста может оценивать объект от себя лично и от имени лиц, которых он представляет, то есть являться индивидуальным или коллективным субъектом, а также совмещать в себе индивидуальный и коллективный субъекты, однако авторская оценка зачастую представляется как истинная в «реальном мире» [6], не имеющая субъекта или имеющая субъект с высокой степенью обобщения. В основе такой оценки лежит картина внутреннего мира автора текста.

Не стану утомлять читателя нумерацией полков и дивизий, не стану перечислять имена тех командиров, безвестно сгинувших или тех, что обрели бессмертие в наших энциклопедиях, постараюсь быть скуп в цифрах и датах, стараясь донести лишь главную суть событий и всегда помнить, что на поле битвы все читается иначе, нежели читалось тогда на оперативных картах, а потом читается в мемуарах (В. Пикуль). В данном примере автор текста выступает как индивидуальный субъект, имеющий эксплицитное выражение в личных формах частей составных глагольных сказуемых (*не стану, постараюсь* — 1-е лицо), а в следующем примере субъект имплицитен и важность представляется как истинная в реальном мире: *Исторической памяти не противопоказано воображение: важно только, чтобы оно было историческим* (В. Пикуль). Имплицитный субъект с высокой степенью обобщения представлен в оценочных пословицах, например: *Не имей ста рублей, а имей сто друзей; Старый друг лучше новых двух; Встречают по одежке, а провожают по уму* (данные пословицы представляют собой особые конструкции с сопоставительной семантикой, в которых не имеется слов или сочетаний с семантикой степени важности, однако объекты сопоставляются в них сразу по нескольким оценочным категориям: «важно — неважно», «плохо — хорошо» — *иметь сто рублей* хуже/менее важно, чем *иметь сто друзей* и т.д.) и авторских афоризмах, например: *Когда вы столкнулись лицом к лицу с диким животным — главное не смотреть ему прямо в глаза* (Братья Вайнеры); *Едва ступив на трап и осмотрев публику на пристани, Эраст Петрович сделал открытие, очень неприятное для всякого, кто придает значение правильности наряда. Когда ты одет правильно, окружающие смотрят тебе в лицо, а не пялятся на твой костюм. Внимание должен привлекать портрет, а не его рама* (Б. Акунин), которые в работе Н. Д. Арутюновой рассматриваются как «предложения операционального предпочтения» [7].

Оценивая тот или иной объект, автор может расходиться с оценкой, принадлежащей одному из его героев (актантов ситуации) или общему мнению, например:

Оставались считанные дни мира, а Деканозов спрашивал:

— От имени кого вы предупреждаете нас об этом? Есть ли у вас разрешение от... Гитлера? Или от... Риббентропа?

Дурак, он не понимал главного — эти немцы, Шуленбург с Хильгером, шли на верную смерть, дабы избавить СССР от внезапного нападения, а для Деканозова было важно другое: есть ли у них разрешение от Гитлера? (В. Пикуль). Здесь авторская оценка ситуации расходится с оценкой одного из его героев, Деканозова. Или: *На материке грандиозные сражения сменялись многомесячными осадами, а прославленные короли (вечно озабоченные тем, чтобы завоевать новые земли, взамен того, чтобы толково управлять теми, что у них уже есть) в который уж раз мысленно отрубали голову своим министрам финансов, взявшим моду обрывать горный полет стратегической мысли венценосца своим пошло-торгашеским: «Казна пуста, сир, а жалование войску не плачено с прошлого сентября!» — одним словом, жизнь била ключом...* (Еськов). В данном примере нас интересует вставная конструкция. Причастие *озабоченные* выражает оценку действия *завоевывать новые земли* как наиболее важного (субъект оценки — *короли*); автор же, напротив, считает таковым действие — *толково управлять теми, что у них уже есть* (имплицитный субъект — автор; средство выражения отношений по степени важности — особая конструкция с союзом *вместо того, чтобы*).

Несовпадение оценки одного объекта разными субъектами может способствовать в

реальной ситуации общения коммуникативной неудаче.

Однако в приведенных ниже примерах участники диалогов приходят к соглашению:

— *Условия меня устраивают. Но какие у меня гарантии, что вы сдержите свое обещание?*

— *Никаких. Никаких гарантий, Юрий Романович, кроме моего честного слова. И подумайте сами, кто выиграет от вашего разоблачения? Никто. А проиграете не только вы. Вы потеряете лицо, а правоохранительные органы, которые вас проглядели, — престиж. Для вас, безусловно, **важнее** первое. Так же, безусловно, как для нас, — второе...* (А. Маринина);

— *Десять пуль вам грозят, десять шаг...*

— *Мне страшней вашей хладности знак.*

— *Вам и скалы грозят, и волна.*

— *Мне лишь ваша немилость страшна.*

— *Королева одна, жертва злобной молвы, помогите же, юный мой лев!*

— *Я уйду и вернусь, как велите мне вы — я не знаю других королев.*

— *Королеву должны вы спасти.*

— *Но спасая любовь по пути.*

— *Королева вас ждет десять дней.*

— *Ждите вы, это, право, верней* (Ряшенцев).

«Роль оценочного субъекта проявляется разнообразными способами в языке художественной литературы. Сложнейшие отношения автора, рассказчика, персонажей преломляются в оценочных структурах явно. При этом важное значение приобретают высказывания с имплицитным субъектом оценки, где происходят столкновения оценочных стереотипов. Имплицитный субъект часто определяется структурой текста в целом, его семантическими особенностями и содержанием (что выходит за пределы собственно лингвистического анализа). Возможности варьирования и взаимодействия оценочных субъектов и стереотипов бесконечно разнообразны. Способы их выражения являются одной из важнейших характеристик стиля автора», — это утверждение Е. М. Вольф, касающееся оценки в целом, справедливо и для оценки по степени важности [8].

Проиллюстрируем данное положение следующим примером:

У самого Сереги тоже были неприятности. Вчера его вызывали в Моссовет и сообщили, что готовится решение о закрытии бассейна. Академия художеств, важные ученые и главные писатели обратились с жалобой — испарения огромного открытого бассейна гноят и уничтожают картины в расположенном рядом Музее изобразительных искусств. Представили заключения экспертов и авторитетных комиссий: собрание живописи, третье в мире по ценности, находится под угрозой уничтожения.

*Серега неистовствовал, но сдаваться не собирался. И хотя он кричал: «Посмотрим еще, что **важнее** — здоровье и отдых трудящихся или их дерьмовые картинки», но мне казалось, что банная песенка спета. Я не сомневался, что молельня утопленников на дне Храма Христа Спасителя обречена — смоят ее миллионы долларов, которых стоят картины, а они могут завтра понадобиться для покупки хлеба (Братья Вайнеры). Главный герой (1-е лицо, рассказчик) и его приятель Серега, хозяин бани, посещают баню и бассейн, об угрозе закрытия которых идет речь. Поэтому вопрос: *Что важнее — здоровье и отдых трудящихся или их дерьмовые картинки?* — должны решать одинаково (в пользу здоровья и отдыха трудящихся, то есть сохранения бани и бассейна). Оценка ситуации Серегой (индивидуальный субъект) не вызывает сомнений, о чем свидетельствует оценочное прилагательное сниженной стилистической принадлежности — *дерьмовые (картинки)*. Однако главный герой учитывает социальный оценочный стереотип (общественное мнение), о чем свидетельствует последнее предложение. Зная широкий контекст и имея представление об авторах как о гуманистах, можно понять и авторскую оценку ситуации. Она в данном фрагменте*

текста явно в пользу закрытия бассейна и бани ради сохранения произведений искусства, хотя в пределах этого фрагмента имплицитны и автор как субъект оценки, так и сама авторская оценка.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. — М., 2002. — С. 12, а также Маркелова Т. В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке: Учебное пособие по спецкурсу. — М., 1993. — С. 12.

2. Артамонов В. Н. Информативный ряд как базовое понятие для описания категории важности. — Вопросы филологии и книжного дела. Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А. А. Дырдина. — Ульяновск, 2004. — С. 90-96.

3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. — М., 2002. — С. 68.

4. Там же. — С. 74.

5. Гринев С. В. Введение в лингвистику текста: Учебное пособие. — М., 2000. — С. 18.

6. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. — М., 2002. — С. 69.

7. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — 2-е изд., испр. — М., 1999. — С. 224-246.

8. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. — М., 2002. — С. 74.

ЯЗЫК И НОРМА ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ

Средства массовой информации, в особенности печатные, не только являются выразителями общественного мнения, но и эксплицируют особенности состояния языка (речи). Печатные СМИ по традиции репрезентируют черты, которые характерны для письменной формы языка. Так было всегда, так как язык письменный отличается от языка устного, в большей степени допускающего отклонения от норм, использование нелитературных средств: просторечных, жаргонных, диалектных.

Язык публицистики — журналов, газет, радио- и телепередач — предполагает интеллектуального адресата, который способен уловить разнообразные нюансы, следовательно, публицистика, рассчитанная на такого адресата, и сама отражает язык интеллигенции конкретной исторической эпохи. Но каждая историческая эпоха видоизменяет носителя литературного языка — *субстрат*, по терминологии Е.Д. Поливанова. По нашему представлению, эта точка зрения на эволюцию языка [1] в постсоветскую эпоху, эпоху общественных, политических, экономических, культурных перемен, актуализировалась. Многочисленные изменения нашли отражение в СМИ как в особом языке, отличающемся от официального (письменного) языка советской эпохи.

Прежде чем остановиться на особенностях языка постсоветского времени, обратимся к концепции социальной дифференциации языка, его эволюции и формирования «стандартного» языка, представленной в ряде работ Е.Д. Поливанова [2]. Говоря о диалектологическом разделении русского языка на территориальные, социально-групповые разновидности (диалекты) в зависимости от территориального, классового, профессионального деления национального коллектива, он называет общую диалектологическую единицу, способную служить предметом школьного обучения, грамматического описания и образцовым языком, — «*стандартный*, или *литературный*» диалект. По утверждению ученого, *стандартный* язык, то есть *правильный*, означает привычность каких-либо языковых фактов для той социальной группы внутри национального коллектива, на долю которой выпадает историческая роль канонизации языковых норм.

Е.Д. Поливанов отмечал, что такая роль отводится культурной части господствующего в данный исторический период класса: «Иначе говоря, стандартный диалект данной эпохи и есть социально-групповой диалект данной культурно и политически господствующей группы (ибо «правильным» становится то, что для этой группы привычно)» [3]. Ученый определяет *субстрат* (то есть контингент носителей) стандартного языка на протяжении XIX и первой трети XX веков, манифестируя при этом *социальную характеристику русского стандартного языка*: 1) в XIX в. и дореволюционном периоде XX в. в *плоскости языковой культуры* социальным субстратом выступает *буржуазная интеллигенция*; 2) с 1917 года и в 1920-ые годы наблюдается расширение социального субстрата — это *советская интеллигенция*, куда входят революционный актив интеллигенции, культурные верхи рабочего класса, элементы деревенского населения, стремящиеся приобщиться к культуре и образованию.

Во время написания своих работ Е.Д. Поливанов дает еще одно определение *стандартного языка*, связывая и уточняя понятие в соответствии с экстралингвистическими причинами изменения субстрата: «...эволюционируя по направлению к признаку бесклассовости, современный русский стандарт есть язык определенного коллектива — культурной верхушки советской общественности, коллектива, который по статистическому своему составу оказывается гораздо более значительным, чем субстрат стандартного языка в дореволюционную эпоху» [4]. Термин «литературный язык» он связывает с *письменным языком*, то есть утверждает, что в тех случаях, когда культурно и политически господствующая верхушка говорит на том же языке, что и пишет, значения термина «литературный язык» [1] как

язык литературы, 2) как письменный язык] совпадают, то есть *стандартный язык* будет и языком *письменной литературы*, то есть *письменным языком*.

Общеизвестно, что в советскую эпоху (1917-1991 гг.) господствовал официальный письменный язык, на котором создавались, в частности, газетно-журнальные тексты, и его же предпочитали в устном общении. Нормы устной речи были, конечно, «свободнее», и оказывалось возможным привлечение как литературных, так и периферийных языковых средств для того, чтобы общение стало непринужденным, результативным. Однако различного рода цензура (например, идеологическая, филологическая) способствовала закреплению не только в письменной, но и в устной речи норм письменного языка, характеризовавшегося официальностью, «сухостью», шаблонностью, идеологической направленностью, репрезентировавшей деятельность коммунистической партии и советского правительства.

С середины 1980-ых гг., то есть в эпоху гласности и перестройки, устный язык все более оживляется просторечными, жаргонными средствами, что находит отражение как в устных, так и в письменных СМИ. В связи с распадом СССР, со сменой государственного, политического строя, общественными, экономическими, культурными переменами в стране изменяется и классовая структура: исчезает как мощный трудовой и социально пополнявшийся класс пролетариат, уменьшается состав крестьянства и преобразуется интеллигенция, появляется заметная прослойка деклассированных элементов. Соответственно меняется и субстрат языка, он расширяется и уточняется, манифестируя процесс эволюции социального, профессионального, территориального расслоения общества.

Изменяется понятие *интеллигенции* (до спорных моментов), иным стал ее состав: это прежде всего часть советской интеллигенции (ученые, писатели, государственные деятели, работники культуры), но это и новая интеллигенция, в которую включаются представители изменившихся политических, социальных и культурных сфер, например, политики, чиновники, депутаты Госдумы, бизнесмены, представители шоу-бизнеса. Политически и экономически господствующие слои состоят из людей с разным культурным и образовательным уровнями, с разным уровнем языковой способности. Язык большей части чиновников — это язык, отражающий особенности социальных групп (в том числе социально ограниченных), территориальных (диалекты), асоциальных групп, связанных с криминальным миром. Наблюдается, таким образом, яркое несоответствие языка постсоветской эпохи нормам литературного языка советского периода вследствие снятия идеологической и филологической цензуры, с одной стороны, с другой — изменения субстрата стандартного языка.

В ряде лингвистических исследований язык советской эпохи получил название «новояза» [5], «дубового языка», а лексика и фразеология, обозначающая понятия советской действительности, именуется «советизмами» [6]. Язык постсоветской эпохи подвергся лингвистическим дискуссиям, результатом которых стало мнение о том, что наблюдающиеся языковые процессы не повлияли на структуру языка, а изменились языковая способность и тексты на данном языке.

Безусловно, в советскую эпоху среди стилей господствующее положение занимал официальный язык, язык политический. В эпоху демократизации общества наблюдается и активная демократизация языка. Однако следует иметь в виду, что так же господствует политический язык, но который подвергся влиянию со стороны его носителей по причине изменения состава политиков, чиновников. Известную часть чиновничьего аппарата составляют люди с криминальным прошлым и соответственно владеющие языком преступного мира, поэтому политический язык с начала 1990-ых гг. изобилует арготической лексикой и фразеологией (*беспредел*, *крыша*, *мочить*, *в натуре*, *базар* (*базарить*), *жить по понятиям* (*по беспределу*) и т.п.).

В конце 1990-ых годов родилось новое лингвистическое направление – «политическая лингвистика», предметом изучения которого стал язык как устных, так и письменных СМИ, язык политиков [7]. С конца 1990-ых гг. мафиозные структуры пытаются легализовать свою деятельность. Как свидетельствуют публикации центральных газет, оргпреступность распространила свое влияние на все сферы деятельности: под ее влиянием находится до 90% российской экономики, начался ее поход во власть и в политику. Оргпреступность срастается с чиновничьим аппаратом (А. Данилкин «Спрут» // «Труд». 22.11.2005). Все это отражается в письменном языке. По данным СМИ, число чиновников по сравнению с их числом в советский период увеличилось в 14 раз: 2,5 млн. против 400 тысяч на весь Советский Союз («Известия». 14.11.2005. Данные представлены в докладе Ольги Крыштановской – социолога, руководителя «Сектора изучения элиты» в Институте социологии РАН и «Института прикладной политики»). Таким образом, можно утверждать, что слово *интеллигенция* в наше время заменяется словом *элита*, которое имеет диффузную семантику, включая семантику слов, обозначающих социальные и профессиональные группы: чиновники, политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса (артисты, кинематографисты, эстрадные певцы), по традиции сюда же включаются писатели, ученые, представители прессы.

Как в письменной, так и в устной форме литературного языка наблюдаются изменения, связанные прежде всего с лексическими нормами, так как – лексика самый динамичный пласт русского языка, и именно она является отражателем социально-экономических, политических и других преобразований в стране. Язык печатных СМИ в постсоветскую эпоху отражает язык устного общения современного субстрата. СМИ – это не только пропагандист идеологии и политики, но и доминирующего языка, точнее языка господствующей части общества, элиты. Печатные СМИ позволяют зафиксировать особенности речи отдельных известных личностей (государственных деятелей, артистов, писателей и др.), которые демонстрируют язык современного субстрата (например, в жанрах интервью, репортажа). Иногда журналисты сознательно имитируют современный язык для решения своих прагматических задач, но тем самым давая индульгенцию на функционирование в разных сферах коммуникации. Таким образом, современные печатные СМИ отождествляют язык письменный и язык устного общения, стирая грань между письменной и устной формами литературного языка [8], каждая из которых по традиции характеризуется своими нормами.

Литературный, кодифицированный язык базируется на традициях употребления языка, но, с другой стороны, может включать и часть новых средств. Так, следует помнить, что язык – это явление духовной культуры, а не только средство коммуникации. Связь этноязыка и культуры определяет, с одной стороны, выработку и становление новых языковых норм литературного языка, с другой – соблюдение традиций. Последнее предполагает не только знание норм письменной и устной форм литературного языка, но и специфики жанра текста, его функционального стиля, предполагает умение переключать стилистические регистры, высокий уровень языковой компетенции. В 1990-2000-е годы отмечалось неумеренное лексическое перемещение от периферии к центру, в результате чего некоторые лексические единицы вошли в литературный язык, например, *беспредел*, *бомж*, *крутой*, *фанат* и др., развив словообразовательные гнезда: *бомжевать*, *бомжиха*; *круто*, *крутяк*, *крутизна*, *фан*, *фанатеть* и т.д.). Эволюция языка – процесс неизменный, но может меняться темп эволюции. Например, в период социально-экономических, политических преобразований он ускоряется, что вызывает тревогу по поводу появления новых языковых особенностей, когда требуется их социальная, этическая и лингвистическая оценка. Проблемы языковой нормы, литературного и стандартного языка, письменного и устного языка, литературных, кодифицированных и некодифицированных языковых средств отразились и выразились в печатных СМИ прежде всего на

лексико-фразеологическом уровне — это употребление жаргонной лексики и фразеологии.

В современной русистике ведутся дискуссии по поводу отнесенности жаргонов, просторечия к какой-либо разновидности русского языка, составляющих иерархическую модель *стандарт — субстандарт — нонстандарт* [9]. Так, З. Кёстер-Томас относит к субстандарту языковые элементы, обладающие свойствами системы, которые проявляются на всех языковых уровнях. Это *диалекты* и *язык фольклора*. Кризис «стандартного» (образцового) языка, вызванный как экстралингвистическими, так и собственно лингвистическими причинами (например, влиянием жаргонов, народной этимологии и пр.) привел к необходимости дифференцировать *новые* и *традиционные* языковые факты в соотношении с литературными и нелитературными средствами языка. Так, *просторечие* как языковая, но не стилистическая категория, то есть как совокупность отклонений от норм кодифицированного языка, относится к промежуточным разновидностям между субстандартом и нонстандартом, а жаргон (арго, сленг) включается в нонстандарт по причине отсутствия в нем системности и ограничения явлений лексико-фразеологическим уровнем языка. По утверждению лингвистов, нонстандарт является коррелятивным оппозитом стандартного, то есть литературного языка. На наш взгляд, современный «стандартный» язык создается прежде всего СМИ, в особенности печатными. В свою очередь нынешние печатные СМИ выступают популяризаторами и пропагандистами языка современного субстрата, характеризующегося изобилием жаргонной и просторечной лексики и фразеологии. С другой стороны, именно СМИ влияют на формирование языкового вкуса нашего современника, на культуру языка в целом. Языковая культура связана с языковой способностью носителя языка, и ее высокий уровень предполагает умение переключаться с языка литературного в официальной ситуации общения на язык неофициальный в ситуации непринужденного, дружеского общения. В письменном языке, в частности, в печатных СМИ, это умение использовать литературные и маргинальные, периферийные средства языка целесообразно коммуникативно-прагматическим установкам в соответствии с нормами жанра — все это означает следовать традициям языковой культуры. Так или иначе, но современные печатные СМИ соединяют традиции и новаторство в языке, репрезентируя эволюцию языка в постсоветский период. Именно печатные СМИ позволяют зафиксировать языковые новшества, что, в свою очередь, способствует изучению языковых особенностей нашего современника (субстрата) не только с социолингвистической, но и с лингвокультурологической точки зрения. Например, благодаря СМИ, удастся зафиксировать жаргон новых современных социальных групп — *рейдеров*, *автолюбителей Дальнего Востока* и пр. Безусловно, социолингвистическая традиция изучения жаргонов удобна для систематизации, фиксации и лексикографического описания материала. Связь же языка с культурой народа демонстрирует ментальные особенности народа. Так, на рубеже XX-XXI веков появляется социальная группа автолюбителей японских машин, которые, разнообразя общение, тяготея к «смеховому» началу русской ментальности, придумывают образные номинации машин, их частей и т.д. Функционирование русского языка как живого, динамичного явления, реагирующего на изменения общественной жизни и быта, проявляется в создании новых слов, необходимых для общения людей, связанных с автомобильным бизнесом, в котором заняты тысячи человек — от моряка, погрузившего машину в японском порту, до железнодорожника и автовладельца. Например: *бабушкаотбойник* — дуга от джипа; *банан* — запасное колесо на японском авто; *весла* — ручные стеклоподъемники, *геморрой* — большой (спортивный) глушитель; *капсула смерти* — маленькая японская автомашинка; *кегли* — пешеходы на проезжей части; *ноздра* — воздухозаборник на капоте; *слепыш* — автомобиль с открывающимися фарами; *якорь* — ручной тормоз и др. (ж. «Экспресс», январь 2006. — С. 40). В данном случае наблюдается герметизация словесного общения, то есть жаргонизмы автолюбителей Дальнего

Востока, связанных с японскими машинами, непонятны для автолюбителей, связанных с российскими машинами. Герметическая обособленность диктуется и региональной (географической) обособленностью, но, в отличие, например, от герметического комплекса воров, автожаргон не стремится к сознательной эзотерике, а используется в экспрессивных целях.

Таким образом, несмотря на проблему в терминологии, используемой для обозначения литературного языка или его разновидности (например, *стандарт*, *субстандарт*, *нон-стандарт*; *жаргон*, *сленг*, *арго*; *общий жаргон*, *интержаргон*, *социолект* и пр.), в постсоветский период, на наш взгляд, доминирует проблема функционирования языка, проблема его эволюции, которая непосредственно связана с конкретным субстратом, а последний определяется элитой общества. Как живой организм литературный письменный язык и литературный разговорный язык заимствует из разных социальных, профессиональных, возрастных жаргонов прежде всего лексику и фразеологию, часть которой со временем пополнит кодифицированную лексику и фразеологию, трансформируя семантику или изменив словообразовательные элементы, породив ряд производных слов и т.д.

Печатные СМИ, с одной стороны, являются фокусом традиции и новаторства в языке, с другой — зеркалом трансформаций «стандартного», то есть литературного языка, письменного языка, разговорного языка, то есть эволюции языка на данном этапе развития общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Поливанов Е.Д. Русский язык как предмет грамматического описания // Архив петербургской русистики (<http://www.ruthenia.ru/apr/>); Поливанов Е.Д. Фонетика интеллигентского языка // Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. — М., 1968. — С. 225-229.

2. Поливанов Е.Д. О литературном (стандартном) языке современности // Родной язык в школе. — 1927. — №1; Поливанов Е.Д. Фонетика интеллигентского языка // Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. — М., 1968. — С. 225-229; Поливанов Е.Д. Задачи социальной диалектологии русского языка. — 1928. — №2. — С. 39-49. (Архив петербургской русистики).

3. Поливанов Е.Д. Русский язык как предмет грамматического описания. // Архив петербургской русистики (<http://www.ruthenia.ru/apr/>);

4. Там же.

5. См.: Русский язык конца XX столетия (1985-1995) / Отв. ред. Е.А. Земская. — М., 1996. — С. 19-25.

6. См.: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. — СПб., 1998. — С. 5-9.

7. См.: Современная политическая лингвистика: Материалы международной научной конференции. — Екатеринбург, октябрь, 2003 г. / Отв. ред. А.П. Чудинов. — Екатеринбург, УрГПУ, 2003.

8. Литературный язык мы понимаем как форму исторического существования русского национального языка, принимаемую его носителями за образцовую. Это исторически сложившаяся система общеупотребительных языковых элементов, речевых средств, прошедших культурную обработку в текстах (прежде всего письменных) авторитетных мастеров слова, а также в устном общении образованных носителей этноязыка. / См.: Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Караулов Ю.Н. — Изд-е 2-е. — М., 1998. — С. 221.

9. Кёстер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика. — 1993. — №2. — С. 15-31.

О ДУАЛИСТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ ПЕРСОНАЖНОГО СУБТЕКСТА

Для того чтобы сделать оптимальный выбор методов исследования того или иного явления, необходимо определить онтологический статус изучаемого объекта. В центре нашего внимания находится персонажный субтекст.

Термин «персонажный субтекст» соотносим с двумя другими, значительно совпадающими по содержанию, терминами — «конструкция прямой речи» и «реплика». Реплика есть явление лингвопоэтическое, она выступает как средство сюжетно-композиционного членения художественного текста, тогда как конструкция прямой речи — грамматическое явление, к которому относятся не только случаи передачи чужих слов с использованием авторского ввода, но и цитирование без авторской интродукции.

Введение нового термина обусловлено тем, что он подчеркивает автономность, самостоятельность персонажного высказывания и указывает на его особые свойства: *персонажные высказывания весьма отчетливо сопрягают в себе отличительные признаки текста и дискурса*.

В определении понятия «текст» мы исходим из двух принципов — принципов утилитарности и относительности. В соответствии с первым из них, из множества критериев, призванных определить текст, отбираются такие, которые оказываются наиболее существенными для целей и задач конкретного исследования.

Сформулировав подобным образом исходное определение абстрактного текста, следует перейти к практическому этапу, в ходе которого выявляется соответствие конкретных текстов тому определению, которое было дано на предыдущем этапе. Таким образом, текст изучается в двух «ипостасях»: как абстрактная сущность и как конкретное явление. Примером применения подобного подхода является исследование И.Я. Чернухиной [1]. На втором этапе, то есть в процессе определения «текстовости» персонажного высказывания, приходит время учитывать принцип относительности, согласно которому любое персонажное высказывание может рассматриваться как потенциальный текст (даже в случае значительного «приглушения» признаков текстуальности), и в то же время реплика, максимально отвечающая отобранным на первой стадии критериям определения текста, не может в полной мере считаться текстом, так как она недостаточно самостоятельна в силу своей субординатной природы, своей включённости в более сложное словесное образование. При таком подходе изучаемые конкретные объекты сохраняют своё качественное сходство, анализируются как класс однородных объектов, так как все они стремятся к некой идеальной точке — эталонному тексту или инварианту текста, но в то же время удалены от неё на разные расстояния. Удалённость промежуточных точек от правой конечной точки отрезка (инвариант текста) будет тем большей, чем больше насчитывается «значимых нулей» текстовых признаков. Вслед за Е.А. Протопоповой мы трактуем понятие «значимый ноль» признака не как отсутствие данного признака, а как «его переход в свою диалектическую противоположность» [2]. Так, без аномальных случаев, отступлений от правил вряд ли возможны более или менее точное определение нормы, глубокое и всестороннее осознание правил, в том числе и правил текстопостроения. Как замечает А.Е. Бочкарёв, «бессвязная “заумь” В. Хлебникова подтверждает а contrario требование связности, молчание христианских молчаливников — принцип выраженности, а неоднозначные модернистские тексты — принцип единства смысла» [3].

Качественная однородность объектов является наиболее важным условием для их *сравнительного* изучения, для максимально адекватной интерпретации.

Номинативный компонент термина «персонажный субтекст» отражает понимание реплики литературного героя как субординатного текста, при этом его подчиненность приглушает проявление отдельных признаков текстуальности. Иногда эти признаки за-

темнены настолько значительно, что исчезают основания для квалификации реплики как текста. Но когда возникают трудности с определением реплики как текста, когда постулируется якобы наличие «не-текста», следует вспомнить о субординатности этого «не-текста», имплицитующей его соположенность с другими словесными образованиями, которые могут определяться как тексты на более веских основаниях. К тому же предположить существование значительного по объёму текста, возникшего в результате интеграции «не-текстов», довольно сложно.

При семантическом подходе к определению текста на первый план выдвигается соотносительность языкового означающего с тем или иным денотатом [4: 529]. В рамках этого подхода исходными текстами являются так называемые минимальные «номинативные тексты», к которым можно отнести команды («Огонь!»), уличные вывески, рекламу («Гастроном», «Почта») и пр. [5]. Лишенные коммуникативно-прагматической оболочки, оторванные от экстралингвистических условий актуализации, перечисленные слова не осознаются как тексты, теряют свой текстуальный статус несмотря на то, что соотносительность с конкретным денотатом сохраняется. Слово, таким образом, «текстуализируется» в речевом процессе (см., в связи с этим, определение, данное тексту в [6]), то есть тогда, когда информация, заложенная в слове-тексте, «рассчитана на определенные эффект и воздействие на адресата» [7: 514].

Одним из критериев текстуальности является протяженность. В связи с этим неслучайна постановка вопроса о минимальной длине текста, о том, какую лингвистическую «субстанцию» можно назвать текстом и что есть исходный, примитивный текст. В лингвистике о тексте часто говорят как о совокупности предложений, связанных между собой в соответствии с языковыми (речевыми) правилами [8: 7]; [9]. С точки зрения семиотики текст понимается как некая сущность, образованная в результате интеграции элементов, как «комплексный <...> знак более высокого смыслового наполнения», чем знак-слово [10].

Следует отметить, что при всём разнообразии мнений по поводу того, что можно считать текстом (см., например [11]; [12]), многие из взглядов на эту проблему не противоречат, а дополняют друг друга. Так как текст является системным и многомерным объектом, трудно дать в одном определении исчерпывающее описание всех его свойств.

Автору этой работы наиболее близок психолингвистический подход к определению понятия «текст». В психолингвистике самым важным критерием текстуальности становится коммуникативный потенциал словесного образования, что значительно упрощает процедуру текстовой идентификации той или иной вербальной конструкции. Отмечая особую трактовку понятия «текст» в психолингвистике, Ю.А. Сорокин пишет, что для лингвиста текст выступает как продукт, а для психолингвиста текст есть «коммуникат» со специфичным «поведением» и «менталитетом». Далее учёный подмечает следующее обстоятельство: «Если <...> для лингвиста остаётся актуальным вопрос, какую знаковую систему считать текстом, то для психолингвиста этот вопрос не является таковым: для него текстом является любая совокупность знаковых средств, обслуживающих процесс общения» [8: 9].

Настало время перейти к анализу термина «дискурс». Дискурс не воспринимается как полноценный «теоретический конструкт», но, несмотря на это, он признаётся центральным объектом лингвистических исследований [13]. Понятия «дискурс» и «текст» все ещё довольно сложно разграничить — неслучайно их подчас объединяют в одно целое [14] или определяют одно понятие с помощью другого [15]; [16]. Так, в лингвистике текста дискурс может пониматься как количественно изменяющаяся, находящаяся в процессе развития совокупность, множество каким-либо образом взаимосвязанных между собой текстов [17]. На общность содержания этих терминов указывает Е.С. Кубрякова: «Текст создается в дискурсе и является его детищем» [7: 536].

Терминологический статус слова «дискурс» ослабляется тем, что, во-первых, в разных языках оно приобретало различные смыслы, порой противоположные первоначальным, и, во-вторых, так же как и термин «информация» [18], термин «дискурс» является достоянием не только лингвистики, но и других гуманитарных и даже естественных наук [19].

Следовательно, приходится говорить о существовании трудностей в гипостазировании дискурса. Сущность гипостазирования заключается в том, что формально определенный термин указывает на объект, существующий в идеальной форме, но способы оперирования этим термином в научной коммуникации таковы, что возникает ментальная проекция термина, не имеющего конкретного материального соответствия в действительности, «на отдельную “вещную” реалию» [20: 8]. Для того чтобы избежать вульгарно-материализирующего гипостазирования, связанного с таким явлением, как дискурс, следует применять иной подход к трактовке этого термина, основанный на понимании процессуальности стоящего за термином объекта. Такое понимание термина «дискурс» определяет методологический вектор исследования объекта. Этот вектор направлен на выявление функциональной стороны явления, так как она часто оказывается более существенной, чем его субстанция. Основой для излагаемой нами трактовки понятия «дискурс» послужило описание одного из альтернативных способов гипостазирования (одного из «неклассических модусов гипостазирования»), сделанное В.А. Михайловым и В.М. Павловым при объяснении понятий «глубинная структура» и «поверхностная структура», принадлежащих концепции Н. Хомского. Данный способ заключается в следующем: «нечто, предметно, “вещно” существующее как компонент определенного целого и имеющее функциональную ценность только как компонент этого целого, в мысли односторонне обособляется от этого целого» [20: 8]. В дальнейшем делается допущение, что эта “вещь”, нечто есть не предмет, а процесс (подчеркнуто авторами. — А.Б.)» [там же].

Продолжая традицию характеризовать одно понятие с помощью другого, можно сказать, что дискурс есть текст в авторе и автор в тексте. Бесспорно, что судить о тексте в авторе можно только после овнешнения первого: текст в авторе есть лишь потенциальный дискурс. Текст в авторе — это п е р е п л е т е н и е знаний, информации о реальности с эмоциями, чувствами, оценками, «подсвечиваемое» мотивами речепроизводства — коммуникативными интенциями (которые также переплетаются с ранее перечисленными явлениями). Повторимся: судить о «преддискурсе» можно исключительно благодаря его овнешнению в коммуникативном акте, а точнее — в речевом событии. Именно в речевом событии проявляет себя языковая личность. «Вся система проявлений языковой личности¹» и понимается как дискурс [21: 9]. Следовательно, текст допустимо понимать как словесное образование, предельно отчужденное от автора, вербальный конструкт с нулевым авторским «коммуникативным фокусом» (А.В. Флоря). Текст — это полностью материализованное явление, данное на фено-уровне. Дискурс — это феномен, находящийся в процессе материализации, его представленность не ограничивается только уровнем непосредственного (физического) восприятия.

Можно разграничить понятия «дискурс» и «текст», если трактовать второе из них с семиотических позиций или, если быть более точным, при рассмотрении текста в ракурсе семиотической семантики, то есть изучая взаимодействие знаков (субзнаков) текста как сложного знакового объекта. Такое изучение являет собой пример наибольшего отдаления этого объекта от создателя — языковой личности. Трудно помыслить изучение дискурса, сохраняющее даже минимальную дистанцию от его создателя/создателей.

Семиотическая трактовка понятия «текст» дает исследователям право говорить о вербальных и невербальных текстах [22], в текстовом ключе «могут исследоваться различные культурные артефакты» — произведения кино- и фотоискусства, музыкальные опусы,

¹ - Или текстовой личности [21: 17].

архитектурные памятники, живопись [23]. Дискурс же (хотя в этом понятии и значителен пласт всего «внязыкового»), как отмечалось выше, неотделим от речевого события, его нельзя рассматривать в полном отрыве от языка (напомним: рассматривать текст в полном отрыве от его продуцента всё-таки возможно). Изучение дискурса может включать в себя анализ неречевой деятельности как среды функционирования речи. В свою очередь, с помощью анализа речевого продукта верифицируются цели и задачи социального процесса, в ходе которого данный речевой продукт и возникает.

Мы не задаёмся целью дать фундаментальное теоретическое обоснование понятия «дискурс». Однако, чтобы снять многозначность этого «термина-понятия», позволяющую его использование в целом ряде отраслей гуманитарного знания [4: 53], приведем определения, схватывающие наиболее существенные признаки явления. Ю.С. Степанов определяет понятие «дискурс» в логико-философском ключе, подчеркивая то, что дискурс — это «возможный (альтернативный) мир» [24: 676]². Выражая лингвистическую составляющую в понимании явления, автор говорит о том, что дискурс — это «язык альтернативного мира» [там же, 739], то, что существует преимущественно «в текстах <...>, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика» [там же, 676].

С позиций когнитивной лингвистики, акты речепроизводства (и текст, и дискурс) суть попытки воссоздания альтернативных миров, и этой цели подчинена вся совокупность языковых форм текста/дискурса [7: 22]. В каждом речевом акте обновляются и преобразуются значения [25], лингвистические единицы получают новое семантическое наполнение. Индивидуальный альтернативный мир не замыкается сам в себе, он открыт другим возможным мирам, благодаря чему можно говорить об «интеракциональности» дискурса, его адресатности [7: 528, 529]. Интенсиональные (возможные) миры вступают друг с другом в перифрастические отношения: тогда, когда у двух возможных «миров» имеется некое общее основание, то они будут восприниматься как перифразы один другого» [25: 310].

Точка зрения создателя текста обеспечивает концентричность интенционального архимира, каковым можно признать художественное произведение в его целостности. Но внутри этого архимира существует подмножество возможных миров, средоточий иных сознаний, пульсирующих антропоцентров в виде персонажных субтекстов. Полисубъектный повествовательный план (то есть вся совокупность прямых персонажных высказываний любого художественного произведения) имеет эксцентрическую организацию в силу множественности возможных миров, представленных в персонажных субтекстах. Эксцентрическая организация полисубъектного повествовательного плана динамична, так как она характеризуется разнонаправленным движением интенциональных миров относительно друг друга внутри художественного текста, их смещением под действием центробежных (семантические оппозиции в системе персонажных субтекстов) и центростремительных (явление релятивной интертекстуальности) сил.

Об уместности рассмотрения персонажного субтекста как дискурсивного образования свидетельствуют следующие положения:

1. Персонажный субтекст есть, как правило, результат стилизации устной речи. Прямая речь — продукт мыследеятельности писателя — является образцом смоделированного результата вербализации виртуальных ментальных процессов, соотносимых с персонажами произведения.

2. Персонажный субтекст изображает речь индивида в контексте деятельности.

3. Персонажный субтекст, если рассматривать его как семантически «герметичное» образование, часто воплощает в себе отдельный, новый интенциональный мир или микромир. Этот микромир определённым образом противопоставлен другим мирам через

² - Выражение «возможный мир» встречается в более ранней работе Ю.С. Степанова [25: 113].

дейктическую триаду «я — здесь — сейчас», в которой личное местоимение — ключевой элемент.

4. Персонажный субтекст, если *не* рассматривать его как семантически «герметичное» образование, намеренно адресатен: возможные миры открыты друг другу для диалога как универсального способа сближения эгоцентрических «Я». Этот факт, несомненно, является еще одним обстоятельством, говорящим о дискурсивном статусе персонажного субтекста, поскольку исследователи отмечают адресованность (то есть наличие не менее двух интерпретантов высказывания) среди прочих свойств дискурса, таких как, например, процессуальность, незавершенность [26].

5. Конструирование альтернативных миров есть сформулированный в наиболее обобщенном виде способ действия (*modus operandi*) индивидов в их коммуникации друг с другом, «вписанный» в контекст других видов деятельности.

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

I. Исследуя внутреннюю структуру персонажного высказывания, мы постигаем, главным образом, текстовую природу явления. При исследовании внешней соотнесённости объекта с себе подобными, мы вольно или невольно высвечиваем когнитивную подоплёку персонажного субтекста.

II. С текстуальным статусом прямого персонажного высказывания теснейшим образом связано развертывание информации денотативного уровня. Дискурс же — это всё то, что надстраивается на прочный фундамент денотативной информации. Анализ показывает, что полисубъектный повествовательный план представляет собой крайне неоднородное информационное поле: информативность субтекстов варьирует весьма заметно, их отличает разная семантическая плотность.

III. Прямое персонажное высказывание должно осознаваться не только как текст, но и как отснятый (зафиксированный на письме) момент порождения дискурса, часть дискурса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чернухина И.Я. Принципы организации художественно-прозаического текста: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1983. — 30 с.

2. Протопопова Е.А. Структурно-композиционные и семантические характеристики предтекстов в стилях художественной и научной литературы английского языка: Автореферат дис. ... канд. филол. наук. — М., 1985. — С. 19.

3. Бочкарёв А.Е. Семантический словарь. — Нижний Новгород, 2003. — С. 155.

4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожинной. — М., 2003. — 696 с.

5. Ившин В.Д. Синтаксис речи современного английского языка (Смысловое членение предложения). — Ростов-на-Дону, 2002. — С. 300.

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов. Пособие для учителя. — М., 1972. — С. 440.

7. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. — М., 2004. — 560 с.

8. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1988. — 52 с.

9. Глухов Б.А., Шукин А.Н. Термины методики преподавания русского языка как иностранного. — М., 1993. — С. 303.

10. Молчанова Г.Г. Импликативные аспекты семантики художественного текста: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1990. — С. 13.

11. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. — 3-е изд., перераб. — М., 2003. — С. 218-220.

12. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста: теория и практика: Учебник: Практикум. — 3-е изд., испр. — М., 2005. — С. 25-28.
13. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. — 1994. — № 5. — С. 127.
14. Миронова Н.Н. Структура оценочного дискурса: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1998. — С. 15.
15. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — 2-е изд. — М., 2000. — С. 136-137.
16. Морозов И.Ю. Программа на алгоритмическом языке как модель текста на естественном языке // Алгоритмы в лингвистике. Сборник статей. — Сер. «Информатика и лингвистика». Вып. 3. / Сост. И.Ю. Морозов. — Омск, 2003. — С. 30.
17. Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., Романова О.И. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. Около 9000 терминов. — Изд-е 2-е, испр. и доп. / Под ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. — М., 2001. — С. 111.
18. Боронин А.А. О трактовке понятия «информация» в лингвистике // Проблемы лингвистики, межкультурной коммуникации и лингводидактики. Межвуз. сб. науч. трудов. Выпуск VI. — М., 2004. — С. 13-22.
19. Белозерова Н.Н. Парадоксы дискурса / Language and Literature. — № 13. // <http://www.frgf.utm.ru/journal/No13/journal.htm>.
20. Михайлов В.А., Павлов В.М. Когнитивные структуры и порождение речи // Языковые единицы в речевой коммуникации. Межвузовский сборник. — Л., 1991. — С. 3-15.
21. Флоря А.В. Лирический дискурс как объект лингвоэстетической интерпретации: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. — СПб., 1995. — 46 с.
22. Диброва Е.И. Коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения // Семантика языковых единиц: Доклады V Международной конференции. — Т. 2. — М., 1998. — С. 130.
23. Елина Е.А. Вербальная интерпретация произведений изобразительного искусства: Автореферат дис. ... д-ра филол. наук. — М., 2003. — С. 5.
24. Степанов Ю.С. Язык и Метод. К современной философии языка. — М., 1998. — 784 с.
25. Степанов Ю.С. В трёхмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Отв. ред. В.П. Нерознак. — М., 1985. — 335 с.
26. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. — М., 1996. — С. 23.

МЕТАФОНИЯ И РИФМА

Метафонические отношения между единицами языка и речи — это отношения синтагматической асимметрии на фоне общности звукового состава соотносимых элементов, отношения комбинаторного и акцентного варьирования в звуковой цепи. Метафонический звуковой повтор в тексте — проявление обращенного параллелизма, который подрывает единообразие синтагматической организации, ведет к перестановкам (в частном случае — палиндромного типа) и превращает эти перестановки в систему ритмически непредсказуемых преобразований, выступая как фактор динамизации речи за счет противостояния звукового ряда инерции эхообразного повторения сегментов.

С точки зрения активности использования этого повтора как вида звуковой ассоциации (корни — кроны, перфект — префект), метафония преимущественно характерна для поэтической речи, где эффект обманутого ожидания на всех уровнях речевой структуры становится текстообразующим. Ср., например, в русской пословице:

- Каков у хлеба, таков и у дела (лЕ — Ел) [1];
- Чужой рот не свои ворота — не затворишь (рОт — рОт - т-Ор);
- Суди бог того, кто обидит кого (дИбо — обИд);
- Муж — как бы хлеба нажить, а жена — как бы мужа избить ((а)нажИ — ажен(А));
- Не хочет коза на базар, да ведут за рога (азАр — заро);
- Кто ленив, тот и сонлив (ленИ — онлИ);
- Кому полтина, а кому ни алтына (олтИн — ниалт);
- Кому скоромным куском подавиться — хоть век постись, комара проглотишь — подавишься (корОм — комар);
- Просят покорно, наступя на горло (нокОрно — панагОр);
- Не куплен — не холоп, не закабален — не работник (некУпле(н) — нехолоп — кабалОн — або-ник).

Метафония — антипод эхообразного (эквифонического) звукового повтора, основанного на структурно-слоговом и просодическом параллелизме. Это особенно ощутимо там, где метафония входит в противоречивое, напряженное соединение с эквифонией, канонизированной в рифме — финальных словесных импульсах стиха, часто служащих пружиной звукового развертывания благодаря повышенной способности выступать точками сплетения контрастных «звуковых линий» текста и отправными точками для его дальнейшего звукового и ритмико-синтаксического развертывания [2].

В.М.Жирмунский, предлагая классификацию неточных рифм, советует «особое внимание обратить на явление замены, при котором несоответствия в заударной части слова как бы уравниваются добавочными созвучиями в предударной части», и приводит, в частности, примеры из Державина: свободной — богоподобной (обОд — подО(б); бО — бо — Об); распутных — преступных (тУн — пУт). Специально отмечается, что «повторяющиеся в рифмовом созвучии согласные не всегда расположены в одинаковом порядке» [3]. Метафонические рифмы считаются нормой лишь там, где охватывают факультативные созвучия, но не затрагивают главных; некоторые из них, как, например, волны — безмолвны (волны — олвны), превращаются в клише. Тем не менее к рифме в ее классическом виде такие созвучия могут быть отнесены лишь в той мере, в какой они удовлетворяют ожиданиям фоносиллабического параллелизма. В то же время эквифоническая инерция, в сущности определяющая механизм рифмы (волны — полны), встречает здесь мощное противодействие: это не разрушение «правильного» сочетания, но именно его подрыв и качественное осложнение путем введения принципиально иного, инверсивного типа соотношения первоэлементов повтора — фоносиллабом (слоγοобразных звуковых групп).

Известно, что рифмующие звуки — это звуки, построенные в определенном поряд-

ке, — в отношении друг друга и ударного гласного. Однако значение порядка звуков в классической русской рифме — не первично, а производно: рифма образуется не просто звуковым повтором, но структурно-слоговой и акцентной корреляцией созвучий — эквиритмией в звуковой цепи. Общеизвестно классическое определение В.М.Жирмунского, называющее «рифмой... звуковой повтор в конце соответствующих ритмических групп (стиха, полустихия, строфы), играющий организующую роль в строфической организации стихотворения», и, в широком смысле, «всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в метрической композиции стихотворения» [4]. Всякому исследователю рифмы, а интуитивно — всякому носителю языка, конечно, ясно, что речь идет не о любом звуковом повторе, а лишь о таком, где распределение звуков регламентировано слоговой структурой слова (почему и актуальна сама проблема «замен», «пополнений», «тождества», «лишних согласных» и т.п.). Однако если это обстоятельство не подчеркивается (особенно когда за основу принимается бриковское понимание звукового повтора, как это свойственно работе В.М.Жирмунского [5], то определение рифмы может показаться относимым и к силлабически неупорядоченному повтору. В основе рифмы лежит слоговой и просодический параллелизм (эквиритмия), усиленный полным или частичным сходством звуков, заполняющих слоговую модель. При этом эквиритмия в заударной части рифмы, в том числе многосложной, обязательна, а эквиритмия в предударной — факультативна. (В мужской открытой рифме эквиритмия захватывает также опорный согласный, а при зиянии — предударный гласный; поэтому *дрова* — *боа* — рифма неточная, или недостаточная, *дрова* — *нова*; *боа* — *Гоа* — точные; *боа* — *Бова* — неточная укрепленная, или компенсированная).

Можно думать, что «стремительный расцвет новоявленной открыто-закрытой рифмы» в эпоху Маяковского-Сельвинского, когда «закрыто-открытые типа “врага-ураган” сравниваются по употребительности с обычными открытыми типа “врага-тайга” у Пастернака и в “Пугачеве” Есенина и даже превосходят их в полтора-два раза у Маяковского и Асеева и в четыре раза — у молодого Сельвинского» [6] — не просто свидетельство пренебрежения к точности заударного созвучия в контексте в перенесении внимания на предударные, но и проявление установки на свободное слоговое варьирование (метафонию и метаритмию) и вовлечение в этот процесс конечных слогов стиха. Эпентетические согласные в опорном созвучии открытой рифмы (*ушла* — *душа*) в этом смысле — продолжение той же игры асимметрично-слоговых финалей. «Кажется, что мужские закрытые (“удар-пар”) и мужские открытые (“труда-руда”) готовы слиться в едином универсальном типе рифмовки с опорным (“удар-труда-видал”)» [7]. Это наблюдение М.Л.Гаспарова интересно и тем, что иллюстрацией к нему служит метафоническая открыто-закрытая рифма: *удар* — *труда*. Можно предполагать, что именно возможность «обращения» рифменного созвучия (как слогового, так и звукового), а также соединение принципов метафонии и эквифонии в соотношении финальных слов создает эту новую ситуацию в истории русской рифмы. Метафонические созвучия *удар* — *одру*, *удар* — *орду* и т.п., полностью разрушающие эквифонию, как рифма уже невозможны. Но *орду* — *одру* (открытая) и *орду* — *Помпадур* (открыто-закрытая) оказываются в полном соответствии с просодической эстетикой той эпохи, совмещающая метафоническое «выворачивание» звукового ряда со слабой эквифонией (ор-У — о-ру; ду — ду). С другой стороны — диссонансные рифмовки (*солнце* — *сердце*) возвращаются на фоне расширения консонантной базы созвучия (повышения консонантной насыщенности рифмуемых слогов, углубления слоговой эквифонии), а также за счет повышения роли предударных гласных (*окопное* — *целокупное* Мандельштама).

В понятии рифмы следует разграничивать идею композиционно-стихового приема и идею особого типа созвучия. Если параллелизм конечного созвучия преодолевается метафонией, как в примере Г.Шенгели *вокзал* — *глаза* [8], то такое созвучие, продолжая выполнять ту же композиционную роль, что и рифма, вместе с тем инверсивно подрыв-

вает установку на эхообразное соответствие, начинает выполнять функцию, типичную уже для неконечных сегментов рифмованного стиха. Поэтому метафонические рифмы, собственно, и не могут количественно «пересилить» эквивфоническую рифму и представляются аномалией, зато усиливают аналитичность, структурность и способность семантизации созвучия, по-своему «развинчивая слово».

Понятно настойчивое стремление М.Л. Гаспарова «так называемую “перестановку” (Жирмунский) или “перемещение” (Самойлов) типа *ПеТР—ПоРТ*... не выделять в особый род рифмы» на том основании, что, «видимо, это рифмы больше “для глаза”, чем “для слуха”» (и действительно, метафония резко усиливает графический фактор) и что «на практике они употреблялись мало» [9]. В числе рифм, компенсирующих расшатанное созвучие предупредительными элементами, М.Л. Гаспаров выделяет такие, как «*КоПуТ—ТроПуК, МоШ-Кой—наМоКШий*», считая «частным случаем этого приема... так называемую рифму “с перестановкой” или “с перемещением” (*ТуШе—ниШуТе*)» и указывая на то, что «об их широких возможностях охотно упоминали теоретики и составители литературных манифестов (со времен еще французского постсимволизма)» [10].

«Широкие возможности» такого рода созвучий, конечно, связаны не столько с типичными для рифмы функциями, сколько с перспективой «уплотнения» звуковой ткани стиха, усиления интеграции рифмы с другими видами повторов. Не случайно метатетическую («палиндромическую») рифму охотно использует народный балаганный стих, где метафония конечных созвучий периодов резко противодействует статусу рифмы как «служанки параллелизма», направляя звуковую игру в русло карнавального «выворачивания» слов и смыслов. Таковы, например, отмеченные многими исследователями рифмы Авраамия Палицына: *прут — труп; торг — горд* и т.п.

Метафоническая рифма построена не только на внутрислоговых инверсиях (*мош-кой—намокий* : *мошкой — мокий*), но и на перестановке слогов (*копит—тропик* : *кОпит — т-Опик, тише—пишите* : *тИше — шИте*). При этом рифмой такие образования могут считаться лишь там, где их фоносиллабическая структура опирается хотя бы на минимум эквивфонических соответствий (*копит—тропик; тише—пишите*), в частности на двуслововую вокалическую эквивфонию — полифонический ассонанс (в последних примерах - О-и — О-и; И-е — И-е), благодаря чему и устанавливается необходимое напряжение в созвучиях. Эквивфонический слой в рифме, хотя бы и ослабленный, все же остается основным. Рифма-диссонанс (*рОзы — рИзы*) не терпит перестановок слогов: метафоническое *рОзы — зОри* — еще возможная рифма за счет полифонического ассонанса (О-ы — О-и), однако теперь введение диссонанса (*рИзы — зОри*) — тот шаг, который окончательно выводит созвучие за пределы рифмы.

Градация явлений, характеризующих сдвиг рифмы от эквивфонии к метафонии может выглядеть так. *Сом — кругом* (1) — классическая рифма и сильная эквивфония, *сонм — кругом* (2) — эпентезированная рифма и ослабленная эквивфония («у закрытых рифм есть своя интересная специфическая особенность, которую можно назвать терпимостью к лишним согласным звукам, “вклиненным” между ударным гласным и замыкающим согласным» [11]); далее, *сонм — вином*, а тем более *сонм — сном* (3), формально оставаясь в пределах эпентезированного созвучия, создают подрыв эквивфонии: слабая эквивфония (О-м — Ом; сО-м — с-Ом) «компенсирована» здесь сильной метафонией (*сОни — винОм; сОни — снОм*), при этом ощущение самостоятельности фоносиллабемы, ее своеобразного протеста против роли «служанки параллелизма» (выражение М.Л. Гаспарова) — грамматического, просодического параплазма синтагм, стихов — резко возрастает. Последний шаг (4): *сонм — с ним* (сОнм — снИм), с диссонансом, чередованием гласных, — уже чистая метафония, противопоставленная рифме.

Заметим, что открытые рифмы, хотя и в меньшей степени, также способны использовать эпентезу: *весна — краса*, особенно если они поддерживаются левосторонней экви-

фонией (созвучием предударных слогов) — *весну* — *везу*; однако созвучие не просто «углубляется», но становится фактором звукового осложнения и своеобразного синтагматического «торможения» там, где возникает возможность метатетического соотнесения фоносиллабем: *весну* — *несу* (*еснУ* — *несУ*)

То же и прежде всего происходит в нерифменных позициях: *Не всякому Савелью* *веселое похмелье* (*евсА* — *савЕ* — *весО*) (посл.) и т.п.

Среди метафонических, «асимметричных» рифм, если использовать примеры А.А.Илюшина, появляются такие: *отверз*—*влез* (В.Майков), *след*—*звезд*; *чёрт*—*Эрот* (Державин), *толст*—*прост* (Крылов); *Петербург*—*друг* (Полежаев); *мороз*—*промерз* (Ершов). Очевидно, что подобные рифмы существенно и по форме (характеру используемых линейных процедур), и функционально (по глубине созвучия, силе ассоциации) отличаются от часто помещаемых в этот же ряд эпентетических простых рифм: *мечт* — *свет*; *сон-тёрн*, так как в последнем случае повтор определяют эквивфонические отношения с нарушенной структурно-слоговой эквивалентностью (вставкой согласного), тогда как в первом случае созвучие — целостный «звуковой оборотень». Метафония совершает своеобразный синтагматический «переворот» в звуковой цепи, и это звуковое «сальто» возможно лишь потому, что его совершает одно, сплошное «звуковое тело» (*Ург*—*рУг*; *морОз*—(*р*)*омОрз* и т.п.), обнаруживающее внутреннюю интегрированность и выделяемое в речевой цепи.

Метафония — не обязательно «игра слов». Однако, как только аналитические тенденции в стихе усиливаются и слово в строке получает повышенную самостоятельность, просодически автономизируется, метафония в рифменных созвучиях превращается в фактор соотнесения отдельных слов. Роль заударных созвучий в таком стихе ослабляется, а роль предударных, особенно в инициали, усиливается. Случаи, когда у Маяковского используется «перестановка согласного звука из предударной части в ударную или обратно», М.П.Штокмар склонен «признать законной и естественной» для рифмы поэта, поскольку она происходит «в условиях равноправия предударных и послеударных созвучий» [12]. Но такое равноправие традиционно характерно для неконечных созвучий в стихе. По существу, метафонические рифмы Маяковского демонстративно эксплицируют механизм «внутристрочной» метафонии, направляя его на игру рифмуемых слов и наделяя сходство гласных большим весом, чем этого требуют нерифменные созвучия: *ржа* — *жар*, *ядр* — *полуярд*; *худо* — *друга*; *жара* — *жрать*; *стакан* — *станка* (*стакАн* — *станкА*), *кофту* — *эшафоту* (*ОфтУ* — *фОтУ*); *шлемы* — *шельмы* (*шлЕмы* — *шЕлмы*); *родин* — *орден* (*рОдин* — *Орден*); *карте* — *кратер* (*кАрте* — *крАте*) и т.п. (выборка М.П.Штокмара). Легко заметить, что двусложные фоносиллабические комплексы в рифме допускают перестановку лишь в одной из фоносиллабем, в то время как вторая остается неизменной, эквивфоничной. При этом перестановка самих фоносиллабем (в отличие от внутристрочной метафонии) не допускается. Фоносиллабический слух поэта, таким образом, контролирует как границу фоносиллабем, так и правила их преобразования и перемещения.

Легко заметить, что метафония провоцирует своеобразную слоговую перестройку слова. «Естественная» ритмика слова опирается на органику слогаделения (пускай и неоднозначного): *с утра* как «су—тра». Метафонические повторы «взламывают» эту ритмику и подчеркивают нетождественность слога как произносительного единства и слога (фоносиллабемы) как единства функционального, перцептивного — одновременно звукового и психологического, во всяком случае, там, где действует звуковой повтор. Так, фоносиллабема ТРА в ряду с *утра* — *нетарда* еще не противоречит «естественному» слогаделению (*су-тра* и *не-тар-да*), но *су-тра* и *ка-рта* нарушает ожидаемое слогаделение, сохраняя синтагматическое объединение согласных вокруг одной гласной, то есть преодолевает последовательность произносительно-силлабическую ради последовательности «мыслимой», фоносиллабической. Ср. поведение фоносиллабемы в рифме Державина *ласточка* —

касамочка, где происходит своеобразный разрыв слога: ла-сто-чка еще возможно, но касат-оч-ка идет вразрез со слоговым членением, создавая затрудненность восприятия и сосредоточивая внимание на звуковых гранулах слова.

Этот поэтический подрыв слога деления не деструктивен, а вытекает из самой природы слога, поскольку слог — это прежде всего то, что «собрано» вокруг сонорных вершин, а следовательно, поэтическое варьирование слога должно в первую очередь осуществляться за счет того, что находится «в долинах». Выступая, по выражению Ю.С.Степанова, «ареной действия» звуковых свойств и признаков [13], слог «контролирует» звуковые отношения в слове. Метафонические звуковые соответствия в повторе, в частности рифменном, усиливают эффект синтагматической консолидации слога как звукового и просодического единства с перспективой использования фоносиллабических элементов и комплексов для формирования альтернативной, поэтической «морфологии символа» [14] и текста в целом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь и далее использована условная фонографическая (звукобуквенная) транскрипция.
2. См.: Векшин Г.В. Синтактика анаграммы // Проблемы изучения анаграмм. — М., 1995. — С.17-30.; Векшин Г.В. К фоностилистике порождения текста: (Стихотворения А.Пушкина) // ФН. — 2005. — № 6. — С. 22-31.
3. Жирмунский В.М. Теория стиха.. — Л., 1975. — С. 287.
4. Там же. — С. 246.
5. Там же. — С. 251.
6. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. — М., 1984. — С. 246.
7. Там же.
8. Шенгели Г. Техника стиха. — М., 1960.
9. Гаспаров М.Л. Фоника современной русской неточной рифмы // Поэтика и стилистика. 1988-1990. — М. 1991. — С. 25, 33.
10. Там же. — С. 33.
11. Илюшин А.А. Консонантные условности русской мужской рифмы // Исследования по теории стиха. — М., 1978. — С. 73.
12. Штокмар М.П. Рифма Маяковского. — М., 1958. — С. 37.
13. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). — М., 1981. — С. 292.
14. Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. — М., 1980. — С. 246.

А.С. ПУШКИН И РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Называя Пушкина основоположником русского литературного языка (В.В. Виноградов, Г.И. Шкляревский), основоположником национального литературного русского языка (И.Ф. Протченко), основоположником современного русского литературного языка (В.А. Ковалев, Е.Г. Ковалевская, М.А. Кустарева, Н.А. Мещерский), законодателем нормы современного русского языка (А.И. Ефимов) и т.д., ученые субъективно завысили оценку личности и творца А.С. Пушкина. Общеизвестно, что а) «Язык создается народом» (М. Горький); «Создать язык невозможно, ибо его творит народ» (В.Г. Белинский); б) нормы литературного языка формируются в соответствии с формированием самого литературного языка. Нормы литературного языка пушкинского периода и нормы языка художественного пространства Пушкина – это не одно и то же [1]. Возникает закономерный вопрос: чего такого необыкновенного, неординарного Пушкин сделал в области русского литературного языка, если он сподобился после физической смерти стать *основоположником, создателем, законодателем* русского литературного языка, вечно живым классиком отечественной и зарубежной филологии? На этот вопрос лаконично ответил В.Г. Белинский: «Из русского языка Пушкин сделал чудо» [2: 160].

Чудо, на наш взгляд, заключается в том гениальном подходе Пушкина к отбору языковых средств (книжных, разговорных, просторечных, заимствованных и т.д.) для языка своих произведений, который перестроил систему книжной речи русского литературного языка, сообщил ей стилистическое многообразие и самобытность, сформировал новые, ранее неизвестные стилистические разновидности художественного стиля, новые стилистические категории русского языка в виде *разговорной речи* и *просторечия*. Феномен Пушкина как *творца* (каким мы его считаем) литературного языка заключается в том, что он в рамках своего художественного пространства создал новую для литературного языка стилистическую систему, оказавшую огромное влияние на становление и развитие стилистики и лингвистики русского литературного языка. А.И. Ефимов заметил: «Далеко не все современники правильно поняли и оценили пушкинское *преобразование стилистической системы* [выделено Ефимовым А.И.] литературного языка, новаторство поэта, выражавшееся в смешении и объединении крайне разнородных речевых средств» [3]. На этот факт, в свое время, обращал внимание и В.В. Виноградов: «Стилистическая система Пушкина послужила базой дальнейшего развития русского национального литературного языка» [4].

В отборе языковых средств Пушкин руководствовался принципами «соразмерности» и «сообразности», которые стали определяющими для Пушкина в вопросе, какие единицы русского национального языка следует предпочесть в создании стилистического разнообразия, многогранности, богатства художественного пространства. Пушкин выбрал живую стихию русского национального языка, которая до него обозначалась одним словом *просторечие* и которая существовала в национальном русском языке в виде лексической разновидности, или категории. Вспомним систему трех стилей Ломоносова, который вывел просторечие за рамки стилистической классификации и определил его место в лексической классификации, обозначив его как «...презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях» [5]. Открыв дорогу общерусскому просторечию, Пушкин закрыл художественное пространство для грубого просторечия, социально-профессиональных и социально-территориальных жаргонов.

Просторечие и разговорная речь начинают противопоставляться сферой своего использования: единицы разговорной речи становятся тем корпусом языковых единиц, которые составляли основу языка произведения, просторечие же изначально стало восприниматься как стилистически маркированное, сниженное средство – таким образом Пушкин сообщил и поэтической, и прозаической речи легкость, непринужденность, ди-

намичность, стилистическое разнообразие, что отвечало его требованиям к языку поэзии и особенно прозы. Однако просторечие как стилистическая категория не могла противопоставляться разговорной речи как лингвистической категории. Пушкин, определив разницу между просторечием и разговорной речью, в языке своих произведений начинает их использовать в разных контекстах, с разными функциями. Просторечие как сниженное стилистическое средство – в функции исторической стилизации, в функции средства речевой характеристики героя.

К использованию разговорной единицы у Пушкина другой подход. Разговорная единица в пушкинском художественном пространстве – одно из основных средств изображения картины мира и выражения художественного мира поэта. Пушкин использовал те разговорные слова, формы, выражения, которые: а) в условиях контекста сохраняли статус разговорной единицы, б) всему контексту сообщали разговорный характер, в) обладали способностью к нейтрализации высокого характера книжной единицы. Если разговорная единица не соответствовала этим условиям, она не использовалась Пушкиным в качестве стилистического средства.

Рассмотрим условия реализации слов *окно* и *окошко* в художественном пространстве творчества писателя.

В XVIII и первой половине XIX вв. слова *окно* и *окошко* выступали как дублетные лексические единицы, обозначая «проем в стене для свету; открытая полынья в трясине» (ТСЖВЯ), где В.И. Даль приводит такие примеры употребления этих слов в речи: *Только и свету, что в вашем окошке; В окно всего свету не оглянешь; Бог даст, так и в окошко подаст; В окно подать – Богу подать*³ и др., то есть в почти идентичных контекстах лексемы *окно* и *окошко* выступают как слова с определенным, дублирующим значением, но не являются стилистически дифференцированными единицами.

В языке произведений Пушкина:

1) слова *окно* и *окошко* выступают как дублетные лексические единицы, если в контексте они сохраняют нейтральный в стилистическом отношении характер: *Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам* («Капитанская дочка»); *В это время кто-то заглянул к нему в окошко, – и тотчас отошел; Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко* («Пиковая дама»). Слово *окошко* в данных примерах не выступает стилистически дифференцированным средством по отношению к слову *окно*, и в условиях определенного контекста оно не сообщило всему контексту разговорный характер;

2) в контексте со стилистически высокими словами слово *окошко* не нейтрализует высокий, приподнятый тон, создаваемый книжными единицами, а потому оно выступает как нейтральное в отношении стиля лексическое средство с определенным значением: *«Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! Прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный!» – говорила добрая попадья. – Счастливым путь, и дай Бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина* («Капитанская дочка»); *Зинаида подошла к окошку; смотрела, как подали ему карету, как он сел и уехал. Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло. Наконец она сказала вслух: «Нет, он меня не любит», позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик* («На углу маленькой площади...»);

3) в окружении единиц делового языка лексема *окошко* также выступает в своем основном значении, не развивая разговорного характера: *У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагой, готовый записывать мои показания* («Капитанская дочка»).

Однако стилистический статус слова изменяется, оно из нейтрального становится разговорным при следующих условиях его реализации в художественном тексте:

1) если используется в контексте со стилистически сниженными единицами, обо-

³ По техническим причинам примеры из словаря даны в современной графике и орфографии.

значающими реалии быта: *Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера... Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар* («Гробовщик»). Здесь весь контекст представляет собой бытописание, которое передается стилистически сниженными языковыми единицами (*кивот, шкаф, в задней комнате, всякого размера, готовить самовар*). Лексема *окошко*, погруженная в бытовой контекст, оказывается на своем месте: она развивает разговорный характер, составляя оппозицию нейтральной в стилистическом отношении лексеме *окно*;

2) лексема развивает разговорный характер, если она используется в качестве характерологического средства в контекстах, изображающих отрицательных героев: *Кирила Петрович выслушал его, сидя на дрожжах. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом со двора. Он взглянул и в окошко...* Здесь же: *В это время больной [Андрей Гаврилович] сидел в спальней у окна* («Дубровский»);

3) разговорный характер развивается, если лексема используется в форме множественного числа. Ср.: *Солнце светит во все окошки, и мне очень весело* («Русский Пелаг»); *...но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение* («Станционный смотритель»). Здесь стилистическая оппозиция очевидна и бесспорна. Она создается использованием лексем с одним и тем же грамматическим значением, в котором лексема *окно* выступала в единственном варианте: — *Окна закрыты, барышня; ...все бросились к окнам* («Арап Петра Великого»); *По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон* («Капитанская дочка»); *В сию минуту приказные показались в окнах, стараясь выломать двойные рамы* («Дубровский»);

4) разговорный характер лексема *окошко* развивает в прямой речи: *«Как бы здесь на двор окошко Нам проделать?» — молвил он, Вышиб дно и вышел вон* («Сказка о царе Салтане...»).

Итак, А.С. Пушкин, используя слова *окно* и *окошко* в языке своих произведений, постепенно сообщает лексеме *окошко* стилистически сниженный характер, который сформируется окончательно во второй половине XIX — первой трети XX вв. и который в современном русском языке ляжет в основу регулярной оппозиции *нейтральный ↔ сниженный*. См. словарную статью, посвященную слову *окошко*: «-а, -мн. —шки, -шек, ср. (разг.). То же, что *окно*... *Сидеть у окошка, О. с резными наличниками. Домик в три окошка. О. в касе. О. в трясине, в болоте...*» (СРЯ С.И. Ожегова).

Признание живой стихии русского национального языка важнейшим структурным компонентом литературного языка вовсе не означало недооценки Пушкиным роли книжных единиц в организации художественного пространства. И здесь Пушкин превзошел своих предшественников и современников. Отбирая книжные единицы, Пушкин руководствовался принципом «ограничения»: не всякое книжное слово может стать единицей художественного изображения картины мира. Пушкин отдает предпочтение тем книжным словам, формам и выражениям, которые в контексте с единицами разговорного характера способны под их воздействием нейтрализовать свой высокий, книжный характер. Например: *Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика* («Арап Петра Великого»). В этом примере книжная единица *всходил* в контексте со словами разговорного характера *встал поспешно, бросились, в самом деле* утрачивает свой книжный характер и становится нейтральным стилистическим средством. Ср.: *всходить на трон* и *всходил на крыльцо*. Более того, старославянские и церковнославянские по происхождению единицы, которые традиционно в XIX в. использовались в языке художественной литературы как высокое стилистическое средство, в пушкинском художественном пространстве становятся либо нейтральным, либо разговорным, стилистически марки-

рованным средством. Например: — *А то в них дурно*, — отвечал разгоряченный супруг, — *что с тех пор, как они завелись* [ассамблеи. — К.В.] *мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: жена да убоится своего мужа; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам* («Арап Петра Великого»). Здесь церковнославянская единица *жена да убоится своего мужа* утратила свое церковнославянское значение и истолкована героем по-своему: *жена должна угождать мужу, бояться его, заботиться о хозяйстве, не обращать внимания на других мужчин*. Церковнославянизм стал общенародным, нейтральным в отношении стиля языковым средством. А вот в контексте: *Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали... напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей!»* — церковнославянская по происхождению единица *утоли меня с печали*, претерпев и структурную, и смысловую трансформацию, изменила свой стилистический статус: из высокой, книжного характера единицы она превратилась в разговорную лексическую единицу.

Оберегая чистоту родной речи от заимствований, Пушкин использует иноязычные элементы, руководствуясь принципом: «чуждый язык распростанется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством». В этом подходе просматриваются следующие шаги: 1) заимствовать следует те лексические единицы, которые не имеют семантических параллелей в русском языке (*Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет*. «Евгений Онегин»); 2) в художественном тексте следует использовать освоенные русским языком заимствования, ставшие общенародными в русском языке лексическими единицами (*вкус, трогать, сделать одолжение, убить время* и др.); 3) в разговорных конструкциях следует использовать те заимствования, которые способны развить разговорный характер. Погружая в бытовой контекст заимствованную единицу, Пушкин окружает ее рядами просторечных единиц — от этого она развивает разговорный характер: *Иль чума меня подцепит, Иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит Непроворный инвалид* («Дорожные жалобы»); *...И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке, не раз Уж отворял свой васисдас* («Евгений Онегин»).

Таким образом, формируя стилистическое многообразие корпуса языковых средств, Пушкин в одном контексте использовал генетически и стилистически разнородные языковые элементы. Его гений, его талант выражался в том, что отбором языковых средств из общенационального языка Пушкин стирал грань между высоким и низким, между исконно русским и иноязычным (в том числе старо- и церковнославянским), между прозаическим и поэтическим, между письменным и устным и, наконец, между литературным и разговорным. Пушкина не понимали, Пушкина критиковали за его язык, потому что он был и остается писателем настоящего и будущего, он никогда не будет принадлежать прошлому — «Пушкин, слишком рано родившись для России, слишком рано и умер для нее» [2, 172].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. об этом подробнее: Войлова К.А. Норма пушкинского художественного пространства как единство объективного и субъективного в языке // Русский язык: история, диалекты, современность. Сб. науч. тр. Вып. 3. — М., 2001. — С. 124-128.
2. Белинский В.Г. Собр. соч. в 3-х томах. — Т. 2. — М., 1948. — С. 160.
3. Ефимов А.И. История русского литературного языка. — М., — 1967. — С. 173.
4. Виноградов В.В. Роль художественной литературы в процессе формирования и нормирования русского национального литературного языка до конца 30-х гг. XIX в. // Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков. — М., 1960. — С. 8.
5. Ломоносов М.В. Полное собр. соч. — Т. 7. // Труды по филологии. — М.-Л., 1952. — С. 589.

СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСТИЦЫ КАК БЫ В ПРОЗЕ В. КАТАЕВА

- *Запейте водичкой. Вот так.
А теперь спите спокойно.
Я вам обещаю райские сны.
— Цветные?*
- *Какие угодно, — сказала она
и вышла из палаты.
После этого начались сны.
В. Катаев. Святой колодец.*

Частица *как бы* привлекает внимание своей активностью в современной устной и письменной речи. Ее употребление позволяет увидеть, как расширяется и изменяется ее семантика. Многослойность модальной семантики этой частицы способствует ее активизации в речи, однако неразличение оттенков этих значений приводит к речевым ошибкам и нарушению смысла высказывания. Так, неуместное использование частицы *как бы* в речи современной молодежи превращает эту частицу в слово, не только засоряющее речь, но и искажающее ее смысл: *Извините, я как бы опоздал* (опоздал или не опоздал?); *Я как бы на зачет пришел* (на зачет или не на зачет?); *Я вот как бы контрольную работу принесла* (контрольную или другую работу?). Все сказанное определяет необходимость исследования семантики и функционирования этой частицы в современном русском языке.

Задача статьи — описать особенности семантики и функционирования частицы *как бы* в прозе В. Катаева, который активно использовал эту частицу в художественных текстах с определенной целью. В качестве материала для исследования были избраны произведения: «Святой колодец», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер». Один из наиболее интересных периодов творчества этого автора связан с разработкой им «школы мовизма». Сам В.П. Катаев определяет эту литературную школу так: «Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого — терпит фиаско. Я уверен, что Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров; он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было для меня невыносимо. Их разделение сразу превратило бы искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма» [1]. Это одновременное существование в действительном и воображаемом мире, отраженное в исследуемых произведениях писателя, как нельзя лучше иллюстрирует продуктивность и многозначность частицы *как бы* в произведениях В.П. Катаева.

В толковом словаре С.И. Ожегова (ТСО) отмечается одно значение частицы *как бы*: 'условно-предположительное сравнение'. *Отвечает как бы нехотя* [2]. Более широким, но менее точным, на наш взгляд, является толкование частицы, предложенное в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова: 'выражает условное предположение'. *Говорил как бы нехотя* [3].

Наши наблюдения показывают, что частица *как бы* в современном русском языке является многозначной. Безусловно, на семантику частицы *как бы* не может не влиять ее происхождение. Будучи образована путем соединения двух частиц, она объединяет в себе ирреальную семантику частицы *бы* и сравнительное значение частицы *как*. Как известно,

объективно-модальное значение ирреальности частица *бы* выражает в составе глагольных форм сослагательного наклонения: *вошел бы, читал бы*. В сочетании с независимым инфинитивом и независимыми субстантивными формами эта частица выражает и субъективно-модальное значение желательности: *Сейчас бы уехать; Чаю бы горячего!* — потенциальное действие и названный предмет оцениваются говорящим как желательные. Частица *как* обладает сложным модальным значением. Основным для этой частицы является значение сравнения. Суть сравнения заключается в том, что предмет, явление, признак, ситуация и т.д. отождествляется с другим предметом, явлением, признаком, ситуацией и т.д. через обнаружение сходства между ними. Поэтому, с одной стороны, семантика *как* характеризует отождествление как реальное, с другой стороны, сравниваемые предметы продолжают сохранять свою неповторимую сущность, не становятся тождественными в представлении говорящего, что позволяет отметить условную реальность сравнения, субъективность его. Соединение ирреальности *бы* и субъективной (условной) реальности *как* в частице *как бы* делает ее модальную семантику максимально близкой к ирреальной. На наш взгляд, основным модальным значением связки *как бы* является значение **ирреального уподобления**. На базе основного значения частицы *как бы* (объективно-модального) развивается субъективно-модальное значение недоверности, неуверенности говорящего в том, что высказывается. Как известно, семантика субъективной модальности выражается в русском языке преимущественно вводными компонентами с модальным значением, а также разнообразными частицами. Частица *как бы* находит среди таких частиц свое место. Совмещение объективного и субъективного модальных значений характерно для многих модальных частиц, употребляющихся в неглагольном предложении.

Модальная семантика частицы *как бы* по-разному проявляется в зависимости от того, как грамматически представлен тот член предложения, с которым она употребляется.

При сказуемом, выраженном глагольной формой, частица *как бы* выражает модальное значение ирреального уподобления: *Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал* (Уже написан Вертер); *Он даже как бы несколько помолодел, будто для него началась вторая юность* (Алмазный мой венец); *Он как бы пытался понять, кто я ему буду — враг или друг?* (Алмазный мой венец). Описательный глагольно-именной оборот в функции сказуемого в редких случаях допускает использование частицы *как бы* в своем составе, потому что его стилистическая окраска (преимущественное использование в официально-деловой речи) вступает в противоречие с ирреальным модальным значением частицы: *Но все это как бы не имело к нам отношения* (Алмазный мой венец); *Подписывая наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой экономической политике* (Алмазный мой венец). Активное использование частицы *как бы* в художественном тексте позволяет В. Катаеву выразить состояние героя как существующего вне реальной действительности, в воображаемом мире, во сне, в состоянии между жизнью и смертью (Святой колодец), когда реальные события переплетаются с воображаемыми и рожают новое осознание мира и себя в мире (Святой колодец, Алмазный мой венец, Уже написан Вертер).

Представляется, что частица *как бы* в современном русском языке приобрела особое модальное значение, которое условно можно обозначить как **ирреальное сравнительное отождествление**. Выявлению такого значения способствует продуктивное употребление частицы *как бы* в функции частицы-связки в неглагольном бисубстантивном предложении: *Теперь эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной любви* (Святой колодец); *Наша поездка была как бы прощанием штабс-капитана со своим городом, со своим старым другом, со своей жизнью* (Алмазный мой венец); *А между тем ты лично знаешь, что твой дом где-то совсем рядом, рукой подать, он есть, существует, но его не видно, он как бы в другом измерении* (Алмазный мой венец). Частица-связка ослабляет

объективное модальное значение реальности, выраженное в предложении связкой *быть* в форме изъявительного наклонения, вносит в высказывание субъективное модальное значение сомнения, неуверенности говорящего в реальном наличии **именно этого** приписываемого субъекту предикативного признака. Факт наличия признака признается реальным, а вот точное наименование признака вызывает у говорящего сомнение: *Забывший дом служил как бы резервом кружку людей, знакомых по Москве* (Алмазный мой венец) [4]. Наглядно проявляется тесная семантическая связь частицы-связки с основной частью связочно-субстантивного сказуемого, потому что вещественное значение (объект сравнительного отождествления) заключается именно в основной части, ср.: *любовь была отражением, любовь была как отражение, любовь была как бы отражение*. Семантика ирреального сравнительного отождествления позволяет В. Катаеву представить не только состояние героя как мнимо-реальное, но и саму окружающую его действительность как ирреально-реальную: «Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гофмановской фантазии» (Алмазный мой венец).

При модульном осложнении предложения [5] частица *как бы* в зависимости от позиции реализует модальную или сравнительную семантику. Особенно распространенным в художественных текстах В. Катаева является функционирование частицы *как бы* в качестве компонента, присоединяющего обособленные определения, выраженные причастным оборотом: *Ему очень нравилось выдуманное им самим выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа»* (Уже написан Вертер); *Красное кресло, как бы предназначенное для главного судьи, стояло одиноко, и не каждый мог догадаться о его назначении* (Алмазный мой венец); *Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для окружающих: ключик был скрытен и самолюбив; он ничем не выдал своего отчаяния* (Алмазный мой венец). Полупредикативность причастного оборота способствует активизации модальной семантики частицы *как бы*. Именуемый причастием событийный признак представляется недостоверным, сравнительная семантика частицы в таких конструкциях нивелируется, что помогает автору выразить семантику «нереальной реальности», а также описать состояние героя «на стыке времен» или вне времени и пространства. Аналогичную функцию выполняет частица *как бы*, вводящая деепричастный оборот: *Слова «чертили ударами шпага» он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой* (Алмазный мой венец). Позиция непосредственного при-мыкания частицы к причастию или деепричастию определяет реализацию модальной семантики ирреальности по отношению ко всей полупредикативной конструкции.

В некоторых случаях употребление В. Катаевым частицы *как бы* представляется, на первый взгляд, неправомерным: *В течение часа мы избежали тысячу смертей, и когда пилот наконец посадил свою грузную машину на песчаном аэродроме рядом с бунтующим морем, то у него дрожали руки и пот градом катился по как бы натруженному лицу с пепельными губами* (Святой колодец). Перелет в сложных условиях, действительно, тяжелый труд для пилота, почему же «как бы натруженное» лицо? И здесь автор отражает ирреальность ситуации: перелет состоялся в воображении героя, понимающего, что это не реальность.

Употребление вне предикативной основы или вне полупредикативного компонента при модульном осложнении предложения чаще активизирует в частице *как бы* не модальную, а сравнительную семантику. Но и сравнение приобретает оттенок ирреального, недостоверного.

Продуктивно использование частицы *как бы* в произведениях В. Катаева при обстоятельствах различной семантики: *К счастью, наша четырехмоторная улитка ползла над облаками Атлантики все-таки медленнее солнца, ползла как бы со страшным усилием и лопасти ее винтов не сливались, а замедленно мелькали как бы в обратную сторону с необратимым постоянством* (Святой колодец). Реальное объективно-модальное значение, вы-

ражаемое в сказуемом, не испытывает влияния частицы *как бы*. Недостоверными (через ирреальное сравнение) представляются обстоятельства, в которых развивается описываемая ситуация. Преимущественно это обстоятельства места: *На горизонте как бы прямо из земли росла готическая колокольня с прямым крестом, на вершине которого можно было простым глазом разглядеть железного петушка* (Святой колодец); *Он сидел за маленьким одноногим столиком, перед чашечкой под сенью каштана, как бы под тентом кафе*, взирая вокруг сквозь очки изумленно-детскими глазами обреченного (Алмазный мой венец) — или способа действия: *Тень бронепоезда с погашенными огнями как бы с тяжелыми вздохами медленно двигалась мимо разрушенной водокачки* (Уже написан Вертер). Активизация сравнительного значения частицы *как бы* в подобных конструкциях создает возможность для художественного изображения восприятия героем реально происходящих событий. Аналогичный процесс происходит и в тех случаях, когда внутри обособленного оборота частица *как бы* относится к зависимому компоненту (модальная семантика ослабляется и активизируется сравнительная): *Его [Командора] буду писать с большой буквы, потому что он уже памятник и возвышается над Парижем поэзии Эйфелевой башней, представляющей собой как бы некое заглавное печатное А* (Алмазный мой венец) — метафорическое изображение поэта. Метафоричность высказывания с частицей *как бы* появляется в результате реализации сравнительного значения: *Я не захотел уступить ему первенство откровения, что Гоголь гений, и напомнил, что у Гоголя есть «природа как бы спала с открытыми глазами» и также «графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке» в чулане Плюшкина, похожего на бабу* (Алмазный мой венец).

Несовпадение реальной жизни героя и его видений, фантазий вызывает авторскую оценку неуместности, несовместимости их: *Стоять в неряшливых стоптанных ботинках перед «Откровением святого Иоанна» Эль Греко или перед «Мадам Шарпантье и ее детьми» Ренуара, где чернобровая дама в черно-лиловом шелковом платье, с черно-лиловыми глазами и черно-лиловыми волосами, а сама вся как бы сделанная из парижского сливочного масла, и две прелестные, похожие на нее маленькие девочки в голубых платьицах, а также лежащий на ковре сенбернар с черно-лиловой шелковой шерстью с белыми пятнами, как бы рифмующийся с самой мадам, — все они вместе — мадам, девочки и собака — как бы являлись высшим проявлением той богатой, аристократической, недоступной парижской жизни конца века, в присутствии которой находиться в нечищенных башмаках было бы равносильно святотатству* (Святой колодец).

Приведенный анализ показывает, что в зависимости от употребления в тексте частица *как бы* реализует разные свои значения, основными среди которых являются ирреальное уподобление и ирреальное сравнительное отождествление. В. Катаев использует эту частицу в художественных текстах для создания атмосферы нереальной реальности, для описания героев, находящихся в пограничном состоянии: между жизнью и смертью, между прошлым и настоящим, между живыми и ушедшими.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Катаев В. Святой колодец // Уже написан Вертер. — М., 1992. — С. 63-64.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. — 14-е изд., стереотип. — М., 1983. — С. 232.
3. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А.Кузнецов. — М., 1998. — С. 410.
4. В. Катаев цитирует стихотворение Б. Пастернака по памяти.
5. Лекант П.А. Проблема структурно-семантического осложнения простого предложения / Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 90.

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТИВА

Сопоставительный анализ однокоренных слов *чернила*, *черника*, *черныш* ('птица'), *чернушка* ('вид грибов'), *черняй* ('соколий самец'), *черняк* ('неопрятный человек', 'чёрный шар при баллотировке'), *чернец*, *черница*, *чернь*, *чернота*, с одной стороны, и *чёрный* и *чернеется* — с другой, подвел А.М. Пешковского к выводу: прилагательное и глагол «могут быть в одном пункте о б ъ е д и н е н ы друг с другом и вместе п р о т и в о п о с т а в л е н ы» категории существительного [1]. Этим одним объединяющим пунктом является самое общее значение имени прилагательного и глагола — обозначение ими признаков, которые приписываются предметам. Действительно, обе категории обозначают признаки, но признаки, отличные друг от друга, так как в общих значениях этих категорий есть коренные различия и даже полярность. Если в случае с существительными Пешковским решалась задача найти то общее, что объединило бы ряд однокоренных форм и, шире, *бег*, *лёт*, *скок*, *прыжок*, *бегание*, *летание* и др. — «д в и ж е н и я человека и животных»; *еда*, *питьё*, *торговля*, *шитьё*, *рубка* и др. — «д е й с т в и я человека, индивидуальные и социальные»; *сон*, *лёжка*, *летание*, *сидение* и др. — «с о с т о я н и я животных, а в переносном смысле и неживых предметов»; *пространство*, *верста*, *метр* и др. — «п р о с т р а н с т в е н н ы е представления»; *час*, *минута*, *лето*, *зима* — в р е м е н н ы е представления»; *тысяча*, *миллион*, *двойка*, *пяток*, *десяток*, *дюжина*, *сотня* — «к о л и ч е с т в е н н ы е представления»; *ум*, *воля*, *негодование*, *любовь* — «д у ш е в н ы е явления»; *свет*, *гром*, *гроза*, *буря* — «ф и з и ч е с к и е явления», что способно было наслаиваться на лексические значения, денотат которых не предметен, и позволило бы рассуждать о категории «п р е д м е т н о с т и, или, говоря грамматическим языком, с у с т е с т в и т е л ь н о с т и», об «опредмечивании л ю б о г о н е п р е д м е т н о г о п р е д с т а в л е н и я», то в случае с категориями имени прилагательного и глагола необходимо было различить «тот, иногда очень тонкий о т т е н о к действия, присущий формам *ленился*, *веселится*, *радуется*, *звучит*, *звонит*, который рознил бы их со сравниваемыми с ними формами *ленив*, *весел*, *рад*, *звучен*, *звонок* [2].

Оставляя за рамками статьи детальное освещение грамматической концепции А.М. Пешковского, в которой, по выражению Виноградова, сочетались идеи Ф.Ф. Фортунатова с отголосками потебнианства, взгляды Ф. де Соссюра и бодуэновской школы с концепциями А.А. Шахматова [3], подчеркнём, что «оттенок», противопоставляющий глагол имени прилагательному, считал Пешковский, «вносится самой ф о р м о й глагола» [4].

Понятие «форма» — ёмкая, многофункциональная, неоднозначная доминанта грамматической концепции А.М. Пешковского, ср., напр.: «форма языка», «форма слова», «форма словосочетания», «формы частей речи». В схеме анализа ф о р м ч а с т е й р е ч и (части речи понимаются Пешковским одновременно и как морфологические, и как синтаксические категории), вступающей в конфликт с фортунатовским пониманием «формы отдельного слова» и сближающейся с основными положениями грамматической системы Д.Н. Овсяннико-Куликовского, и, конкретно, в схеме анализа «ф о р м ы глагола» выдвигалось как центральное понятие ф о р м а л ь н о г о з н а ч е н и я части речи, понятие **формального значения** (общекатегориального значения) части речи и **формального выражения**, в определении Пешковского, данного значения (средств организации и репрезентации категориального значения части речи).

Избегая строгой критики собирательного понимания Пешковским грамматической категории как «... ряда семантически объединённых ф о р м с л о в и ф о р м с л о в о с о ч е т а н и й», обуславливающего постановку вопроса о количественном соотношении, противопоставлении «грамматической категории» и «формы слова» и «формы словосочетания», не останавливаясь на противоречиях между провозглашённым лозунгом: «За борьбу с антиграмматическим г и п н о з о м, исходящим от вещественных частей сло-

ва!» и представленными образцами лексического анализа, подменяющими анализ грамматический, учитывая полемический задор при обсуждении вопроса о грамматической категории в работах нового и новейшего времени, отметим в концепции Пешковского главное для нас: категориальное, именуемое формальным, значение категории **часть речи** создаётся системой форм; ср.: «... Формы частей речи создаются в с е м и д р у г и м и ф о р м а м и» [5].

Начав анализ имени прилагательного и глагола со сходства их друг с другом, А.М. Пешковский приходит к выводу: категории эти антитетические. Их полярность обеспечивают категории времени и наклонения, присущие глаголу и оформляющие его формальное значение — «признак, создаваемый деятельностью предмета», за прилагательным остаётся формальное значение признака как качества [6]. Общекатегориальное значение ‘процессуального, развивающегося во времени, динамического признака предмета’, в современной терминологии, глагола оформляется грамматическими категориями времени и наклонения (а также вида, залога и др.), не характерными для имени прилагательного с его категориальным значением качества, ‘непроцессуального признака’. Что же касается категориального содержания «существительности» разных по значению форм, то оно выражается в частных морфологических категориях рода, числа, падежа: «о б ш а я же категория предметности» создаётся «с и с т е м о й с к л о н е н и я»; любая из форм передаёт это абстрактное значение [7].

Положение А.М. Пешковского: «Для грамматики достаточно просто констатировать, что в с ё непредметное может быть в языке при помощи определённых грамматических средств о п р е д м е ч е н о», получило дополнительную аргументацию в опытах П.А. Леканта с экспериментальными, окказиональными словами и словечками, которые, «чтобы не быть абракадаброй, должны иметь р е а л ь н у ю форму и только на правах **части речи** могут быть включены в текст» [8]. И «опредмеченные» наречия, и квалифицируемые парадигматикой и синтагматикой «по образу и подобию» существительного частицы в примерах П.А. Леканта, ср.: *И «сегодня» у нас как «вчера», Но нам «завтра» не надо иного* (И. Северянин); *Авоось небосю родной брат* (пословица), и «опредмеченные» безличные (?), личные (?) предикативы или частица (?) и предикатив в нашем примере, ср.: *Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай моё неладно, а своё ладно забудь!»* (Д. Мамин-Сибиряк. Золото), подчеркнули сложный характер отношений между морфологией и синтаксисом как грамматическими субстанциями и, главное, суверенный, свой, пускай и “с оглядкой” на другую, по образному выражению П.А. Леканта [9], предмет каждой из них. Категория **части речи** принадлежит слову и составляет предмет изучения морфологии, хотя «в грамматической структуре слов морфологические своеобразия сочетаются с синтаксическими в органическое единство» [10].

Сторонник категориального принципа понимания и выделения частей речи; ср.: «Мы не делим слова на разряды, а в ы д е л я е м из языка группы слов и форм с одинаковым формальным (категориальным. — М.Д.) значением» [11], А.М. Пешковский подчеркнул ключевую роль морфологических категорий и форм в формировании категориального содержания части речи. Идея о категориальной семантике части речи, “категории высшего ранга”, оформляемой частными морфологическими категориями, формально выражающейся в них, воплощена в блистательном по точности положении П.А. Леканта: «В формировании категориальной семантики последнее слово, конечно, принадлежит системе категорий и форм, — она перекрывает все противоречивые смыслы и оттенки, можно сказать, парит над ними» [12].

Итак, категориальное, абстрактное значение части речи противопоставлено конкретному лексическому значению слова. Оно создаётся набором частных морфологических категорий и форм, неотделимо от них, обнаруживается в любой форме системы. Наконец, категориальное значение части речи определяют «специализированные ярлы-

ки» [13]; ср.: *кто? что?* — предметность; *какой?* — признаковость; *что делать? что сделать?* — процессность.

Имя прилагательное — одна из четырёх основных частей речи и основных грамматических (формальных) категорий, выделяемых А.М. Пешковским [14], вызывало его особый интерес. Пешковским были осмыслены и проговорены те, уже проявившиеся, и другие, протекающие пока скрыто, процессы в недрах категории имени прилагательного, которые касались краткой формы. Отметим, что закономерности функционирования полных (членных) и кратких (нечленных) форм в истории русского языка: распад связей грамматических — полная/ краткая — форм с категорией определённости — неопределённости, утрата нечленными формами косвенных падежей, утрата краткой формы относительными и притяжательными прилагательными, перегруппировки грамматических форм в предикативной позиции, вызванные противопоставлением предикативных нечленных атрибутивных членным формам и “внедрением” творительного предикативного со значением «динамичного, активного признака, приобретаемого субъектом или приписываемого ему» [15], — обусловили становление категории имени прилагательного в современном русском языке.

Сравнивая особенности функционирования полных *богатый, умная* и кратких *богат, умна* форм, А.М. Пешковский сделал вывод: краткое прилагательное «предикативно само по себе, по самой форме своей» [16]. Спорный и неоднозначный термин «морфологически составное сказуемое» к выделенным «*и равен был неравный спор*», «*но тяжело будет им похмелье*» открывает его видение новой грамматической природы краткой формы, отражает попытку осмыслить функции в данных построениях связки *быть*, подводит к идее об **аналитическом способе** выражения грамматических значений наклонения и времени именной формой. Однако Пешковский не выделил краткие формы в особый грамматический разряд: противореча собственным теоретическим выкладкам, он сопоставлял пары *веселится* и *весел*, *ленится* и *ленив*, тогда как, следуя логике его собственных рассуждений, должны были быть сопоставляемы “автономные” формы *веселится* — *весел* — *весёлый*, *ленится* — *ленив* — *ленивый*, обнаруживая уникальное — на грани глагола и имени прилагательного — положение краткой формы, которой присущи морфологические категории времени и наклонения.

Серьёзный ущерб не только морфологическому, но и лексико-семантическому наносит, безусловно, «синтаксическое начало», которое в грамматической концепции Пешковского «гиперболизировано и гипертрофировано» [17]. Остроумное высказывание «... краткое прилагательное за самое последнее время резко изменило свою синтаксическую физиономию» не содержало вывода о переходе свойств члена предложения в морфологические признаки грамматической формы, «... превращении синтаксических пород в морфологические», принявшего вид абсолютного тезиса в высказывании В.В. Виноградова: «Морфологические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы» [18].

Специфические признаки краткой формы в современном русском языке, представляющие «отдаление нечленных, кратких форм от категории имени прилагательного» и обособление их «в качестве самостоятельного грамматического класса», отчётливо осознал и показал В.В. Виноградов. Его категоричные положения о статусе краткой формы, специфике её категориального значения, оформляемого категориями времени и наклонения; ср.: «Формы времени кладут резкую грань между краткими прилагательными и полными, употреблёнными в той же функции»; «... значение качественного состояния, мыслимого в формах времени, уже несколько выходит за пределы имени прилагательного»; «Они (краткие формы. — М.Д.) являются *грамматически гибридным разрядом форм*, в которых синтаксические свойства имени прилагательного не только ограничены, но и осложнены ростом новых функций» [19], — опирающиеся на развёрнутую систему достоверных языковых фактов, представляются нам одними из самых реалистичных в учении

Виноградова о частях речи и, в первую очередь, в теории о грамматическом статусе переходных, «смешанных», «нечистых», «гибридных» частей речи. В отечественном языкознании этот вопрос связан в первую очередь с именем В.В. Виноградова. Его заслугу в осмыслении многообразных, противоречивых, головоломных грамматических явлений, смелого теоретического новаторства в сфере частей речи, почти фантастического предугадывания “судьбы” грамматической категории, класса, разряда, формы переоценить невозможно.

У В.В. Виноградова перспективные теоретические характеристики грамматической природы краткой формы получили дополнительную аргументацию и должное теоретическое обоснование. Виноградов назвал категориальное значение «*гибридного разряда форм*» – «**качественное состояние**» и охарактеризовал формы рода и числа и аналитические формы времени и наклонения, в которых оно выражается. Эти положения дают принципиальную возможность объяснения природы «грамматически гибридного разряда форм» и представляются нам прологом для выделения и описания новой грамматической категории русского языка. Термин *предикатив*, предложенный П.А. Лекантом, отражает намерение обозначить новый частеречный статус краткой формы [20].

В краткой (нечленной) форме имени прилагательного, по-видимому, оформляется часть речи предикатив.

Её категориальное значение качественного состояния выражается: а) в категориях рода и числа; б) в категориях наклонения, времени и вида (последнее с некоторыми оговорками); в) личными (*каков?*, *какова?*, *каково?*, *каковы?*) и безличными (*каково?*) формами; г) формами степеней сравнения [21].

Категориальное значение качественного состояния кратких форм, которое мы заявляем для части речи предикатив, представляется, вернее всего отражает его грамматическую природу. В термине «качественное состояние» нет ничего входящего в противоречие с русскими лингвистическими традициями именования грамматических категорий (в широком смысле). Его первая часть отражает неразрывную связь предикатива с разрядом качественных имён прилагательных. С категорией состояния, выражающей «“недействительное” состояние», которое может мыслиться безлично (*досадно*, *стыдно*) или приписываться тому или иному лицу как субъекту, испытывающему это состояние (*я рад*, *ты должен* и т.п.)» [22], связана его вторая часть.

Осмысление безличной формы в парадигме предикатива позволяет ответить на вопрос о грамматическом статусе слов, относящихся к категории состояния. В.В. Виноградов обозначил тенденцию к слиянию кратких форм имени прилагательного со словами категории состояния. «В самом деле, если отдельные краткие формы имён прилагательных уже перешли в категорию состояния, а остальная масса их находится на пути к слиянию с этой категорией, то нет ничего удивительного, что в этой области развиваются, наряду с формами родовыми и личными, разные типы безличных форм» [23]. Это положение В.В. Виноградова легло в основу идеи В.Н. Мигирова о «бессубъектных прилагательных» [24] типа (*мне*) *весело*, *грустно*, *радостно*; (*за окном*) *пасмурно*, *дождливо*, *холодно*; (*в комнате*) *душно*, *светло*, *грязно* и позволяет нам сделать вывод о личной и безличной форме в парадигме части речи предикатив. «Бессубъектные прилагательные» могут быть квалифицированы как функционально обособленная форма предикатива, реализующая свой грамматический потенциал в специализированном типе односоставных безличных предложений.

Таким образом, с именем прилагательным предикатив связывают формы рода и числа, формы степеней сравнения, а также приёмы словообразования, способность быть обособленным определением к существительному. С глаголом – категориальное значение действия, протекающего во времени, “одаренного” сложными оттенками пространственно-видовых значений, его сближают формы наклонения, времени и вида, особенности синтаксического употребления. Смешанные формальные признаки связывают пре-

дикатив с именем прилагательным, глаголом и словами категории состояния, но в сумме одновременно морфологически противопоставляют им предикатив как формирующуюся самостоятельную, знаменательную, пускай с оговоркой «гибридную», часть речи, оформляют его категориальное значение качественного состояния.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. — М., 1938. — С. 96; здесь и далее разрядка автора. — М.Д.
2. Там же. — С. 85; 93-94; 96.
3. Виноградов В.В. История лингвистических учений. — М., 1978. — С. 153.
4. Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 96.
5. Об эволюции грамматических взглядов А.М. Пешковского см. подр.: Виноградов В.В. Указ. соч. — С. 140-153.
6. Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 103.
7. Там же. — С. 86.
8. Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 94; Лекант П.А. Категориальная семантика частей речи в русском языке / Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 11; выделено авторами. — М.Д.
9. Лекант П.А. Указ. раб. — С. 7.
10. Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). — М.; Л., 1947. — С. 29.
11. Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 159.
12. Лекант П.А. Переходные явления в системе частей речи / Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 19.
13. Лекант П.А. Категориальная семантика частей речи в русском языке... — С. 11.
14. «Имя существительное, имя прилагательное, глагол и наречие являются основными частями речи и основными грамматическими категориями её»: Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 119.
15. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение / Под ред. академика В.И. Борковского. — М., 1978. — С. 89. См. подр., напр.: Древнерусская грамматика XII-XIII вв. / Отв. ред. В.В. Иванов. — М., 1995. — С. 322; Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. — М., 1983. — С. 307-316; Якубинский Л.П. Из истории имени прилагательного // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. — 1951. — № 1. — М., 1952. — С. 52-60; Котов А.А. Грамматическое своеобразие и стилистические функции полных и кратких имён прилагательных в роли предиката в русском литературном языке XVII-XVIII вв.: АКД. — СПб., 1999 и др.
16. Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 220.
17. Виноградов В.В. История лингвистических учений... — С. 151.
18. См.: Пешковский А.М. Указ. соч. — С. 221; Виноградов В.В. Русский язык... — С. 29.
19. Виноградов В.В. Русский язык... — С. 265; 270; 269.
20. Лекант П.А. Часть речи *предикатив* // Структура, семантика и функционирование в тексте языковых единиц: Сб. ст. — М., 1995. — С. 6; 7.
21. См.: Дегтярёва М.В. Об одной «глагольной» морфологической категории части речи предикатив // Русский литературный язык: Номинация, предикация, экспрессия: Межвуз. сб. научн. тр. — М., 2002. — С. 161-164; Дегтярёва М.В. О частеречном статусе предикатива // Вестник Московского государственного областного университета. — № 4. — Серия «Русская филология». — Вып. 1. — М., 2004. — С. 14-22.
22. Виноградов В.В. Русский язык... — С. 401-402.
23. Виноградов В.В. Указ. соч. — С. 412.
24. Мигирин В.Н. Категория состояния или бессубъектное прилагательное? // Исследования по современному русскому языку: Сб. ст. — М., 1970. — С. 150-157.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ НА –СЯ

Термин «причастие» (metoxe) был введён основателями школы стоиков (3 в. до нашей эры), как особая часть речи причастие было выделено в грамматике Дионисия Фракийского (170-190 гг. до нашей эры).

При изучении причастия всегда возникает вопрос о частеречной принадлежности этой формы, о его грамматическом статусе. Мы предполагаем, что этот вопрос при изучении системы русского причастия не должен становиться главным, хотя вопрос о частеречной принадлежности этого класса слов был и остаётся одной из вечных проблем русской грамматики, так как связан с глобальной проблемой выделения частей речи. И при исследовании причастий, казалось бы, главным становится именно этот вопрос: что это такое, часть речи или не часть речи? Эта спорность и нестабильность отражается и в учебниках для школ и для вузов. Представляется, что этот вопрос вовсе не является главным и принципиальным, который должен ставиться при изучении причастия, тем более что среди русских грамматистов никогда не было единого мнения о частеречном статусе причастия.

А.М. Пешковский в «Русском синтаксисе» определял причастие как «смешанную часть речи», он указывал на резкие отличия причастий «от прочих глагольных прилагательных и наречий». Отличия эти заключаются в следующем:

- в категории причастий наблюдается последовательное значение вида;
- причастия имеют значения залогов, и это значение выражено более последовательно, чем у глаголов;
- причастия имеют значения времён, которые хоть и не тождественны временам глагольным, но аналогичны им.

Именно эти свойства причастий, по мнению А.М. Пешковского, создают в них «такую степень глагольности, которая уже не является только осложняющим моментом в их основных значениях прилагательного и наречия, а оказывается равноправным конкурентом с этими основными значениями, так что получается смешанная часть речи. В причастии смешаны глагол и прилагательное» [1].

Вопрос о грамматическом статусе «смешанных» частей речи в отечественном языкознании связан в первую очередь с именем В.В. Виноградова. Его заслуга заключается в осмыслении многообразных и противоречивых грамматических явлений, в констатации неразрывной связи всех языковых уровней. «История морфологических элементов и категорий — это история смещения синтаксических границ, история превращения синтаксических пород в морфологические. <...> В морфологических категориях происходят постоянные изменения соотношений, и импульсы, толчки к этим преобразованиям идут от синтаксиса. Синтаксис — организационный центр грамматики. Грамматика, имманентная живому языку, всегда конструктивна и не терпит механических делений и рассечений, так как грамматические формы и значения слов находятся в тесном взаимодействии с лексическими значениями» [2] (далее см. ссылки на страницы в примечаниях).

В.В. Виноградов, пожалуй, одним из первых обратил внимание на обычность существования в системе частей речи классов «гибридных» слов, не нашедших пока своей части речи или оставивших её по ряду причин. «Гибридные части речи» — это свидетельство прозрачности границ между частями речи, свидетельство динамичности грамматической (морфологической) системы русского языка.

Виноградов в «Русском языке» определяет причастие как «гибридную глагольно-прилагательную форму»: «Между тем непосредственно от глагола шёл поток форм, вливавшихся в класс имён прилагательных. Это причастия, в которых глагольность выражается как окачествлённое действие, приписанное предмету и определяющее его наподобие

имени прилагательного» [2]. В.В. Виноградов считает, что причастие ещё не оторвалось от системы глагольных форм, в нём ещё сохраняются «основные семантические признаки глагольности, то есть вид и залог» [2].

В.В. Виноградов, когда писал о причастиях, то поместил их в главу об именах прилагательных, подчеркнув тем самым неопределённое положение причастия в грамматической системе. Он выделяет пять типов причастий, но, будучи вовлечёнными в систему прилагательного, эти типы причастий располагаются следующим образом:

1. Действительные и возвратные типы причастий: 1) а) на *-ущий, (-ющий), -ащий, (-ящий)* и б) на *-ущийся, (-ющийся), -ащийся, (-ящийся)*; 2) на *-вший, -ший и -вшийся, -шійся*.

2. Страдательные причастия: 1) на *-мый (-мый, -имый, -омый)*; 2) на *-нный (-анный, -енный)* и на *-тый*.

В разных типах причастий по-разному соотносятся значения глагольности и признаковости. Одни типы причастий легче подвергаются процессу окачества, другие — с большим трудом.

В.В. Виноградов отмечает, что в разряде нестрадательных причастий прежде всего необходимо выделить причастия на *—ся*, так называемые возвратные причастия. «Их резкое морфологическое отличие от прилагательных (то есть конечное *—ся*), их залоговые значения, служат препятствием к их окачеству. Лишь полная грамматическая изоляция такого причастия от других форм того же глагола, включение его в круг чисто качественных значений могут повлечь за собой нейтрализацию его глагольных свойств [2]. Виноградов указывает на «сильное глагольное начало» в причастиях на *—ся*, тем более что употребления их в страдательном значении может только подчеркнуть глагольность причастий такого рода.

Причастия на *—ся* вызывают интерес именно в силу своих глагольных свойств и специфического лексического значения, которое им придаёт постфикс. При рассмотрении причастий этого типа прежде всего необходимо учитывать то, от каких глаголов они образованы, какую синтаксическую позицию они занимают, немаловажную роль также играют лексическое значение причастной формы и её валентностные свойства.

Как известно, форму страдательного залога могут иметь лишь те глаголы с постфиксом *—ся*, которые образованы от переходных (мы сейчас опираемся на трёхзалоговую классификацию). Согласно этой классификации, к возвратному залогу относятся глаголы с *—ся*, образованные от переходных и находящиеся вне страдательного оборота. Вне категории залога остаются глаголы непереходные без *—ся* (*плыть, идти*), глаголы с *—ся*, образованные от непереходных (*чернеется*), глаголы, без *—ся* не употребляющиеся (*улыбаться*), глаголы с *—ся*, образованные от переходных, но утратившие с ними семантическую связь (*спеться, слушаться*), безличные глаголы с *—ся* (*смеркаться*). Рассмотрим, от каких глаголов образуются причастия с постфиксом *—ся*. В нашей картотеке языкового материала выделяются три группы причастий:

- «собственно возвратные» причастия, образованные от переходных глаголов с помощью постфикса *—ся*, например: *Повесившийся и приколотый великан сучил ногами...* (М. Успенский); *Грохнув мольбертом, выскочил из мастерской муж, обхватил её **трясущиеся** плечи* (Д. Рубина);
- причастия, образованные от глаголов, без *—ся* не употребляющихся, например: *Всех неустойчивых, сомневающих, связанных с той стороной, готовящихся к измене...* (Ю. Домбровский); *Всю эту ночь, **роящуюся** звёздами и полную звуков веселья* (К. Паустовский);
- причастия от глаголов на *—ся*, образованных от переходных глаголов, но утративших с ними семантическую связь, например: *И **прижившийся** на диво, / Петушок — была пора — / По утрам будил комдива, / Как хозяина двора* (А. Твардовский); *Ездили в*

нём и арабские рабочие, *добирающиеся* на заработки в центр страны (Д. Рубина).

Не зафиксированы в картотеке причастия на —ся, образованные от глаголов типа *чернеться, стареться* (потенциальные причастные формы — *чернеющийся, стареющийся*) и, естественно, причастные формы от безличных глаголов типа *смеркается, икается*, и этому можно найти объяснение. Известно, что образование причастных форм от безличных глаголов невозможно в силу их семантики: безличное значение не предполагает наличие «лица», активного субъекта, а действительное причастие предполагает наличие своеобразного «лица», так как обозначает процессуальный признак предмета. Можно считать, что этот предмет, определяемое слово и обозначает лицо, которое можно считать активным деятелем, следовательно, сочетания типа *смеркающийся день* или *икающийся человек* невозможны. Причастные формы типа *чернеющийся* потенциально возможны, но их употребление, по-видимому, крайне редко по причине редкого употребления исходных глаголов.

А.А. Камынина отмечает, что причастия в разных звеньях предложения приобретают разные значения: «Одни и те же причастия... употребляются двояко: так, что простое предложение становится полипредикативным, и так, что полипредикативности не возникает. Предикатность причастия — элемент синтаксического строения предложения [3]. А.А. Камынина выделяет три синтаксические позиции для обособленного причастия, они связаны с тремя аспектами предложения:

- полупредикативные члены, осложняющие семантический предикат — дополнительное сказуемое;
- полупредикативные члены, осложняющие семантический субъект, безотносительно к включенности его в ремю — второстепенное сказуемое;
- полупредикативные члены, осложняющие существительное безотносительно к тому, как используется существительное в высказывании и семантической организации предложения — обособленное определение в субстантивной группе [3].

А.А. Камынина в своей монографии говорит об обособленных причастиях, мы рассматриваем употребление причастия как в обособлении, так и вне его. В дальнейшем представляется интересным проследить, действительно ли причастие не во всех случаях создаёт дополнительную предикативность.

Итак, причастные формы на —ся могут употребляться в следующих синтаксических позициях:

1) как согласованное определение, без зависимых слов, чаще в препозиции к определяемому слову, например: *Тот отвечал так же тихо, но каким-то странным, не то уговаривающим, не то извиняющимся голосом* (Ю. Домбровский); *И, проходя в смеющиеся дали, / Здесь путник ждал, задумчив и смущён* (А. Блок); *Я выскользнула в коридор мимо дерущихся, пыхтящих и матерящихся Клары, Саввы и Мити* (Д. Рубина);

2) как согласованное необособленное определение в препозиции к определяемому слову, но с зависимыми словами, например: *В окраинах было своё очарование <...> в давно заброшенных маленьких фабриках с валяющимися среди лебеды красными от ржавчины котлами...* (К. Паустовский); *Жихарь привёл наконец колотящееся от бега и тревоги сердце в порядок и прислушался* (М. Успенский); *В отличном настроении я заняла своё хорошо запирающееся и отлично протопленное купе СВ* (Д. Рубина);

3) как согласованное обособленное определение в препозиции к определяемому слову, например: *Зато в последние две недели мой таинственный, не откликающийся на вопросы, корреспондент завалил меня целым ворохом странных документов...* (Д. Рубина);

4) как обособленное определение в составе причастного оборота в постпозиции, например: *Самое шествие сткрывается изувером, беснующимся с саблей в руках* (В. Гаршин); *Ездили в нём и арабские рабочие, добирающиеся на заработки в центр страны* (Д. Рубина); *Она была старшей сестрой той, не то скоропостижно скончавшейся, не то застрелившейся*

(Ю. Домбровский);

5) в постпозиции к предикату предложения, например: *Он появлялся редко — измятый, невыспавшийся, с набухшими веками* (К. Паустовский); *...она не совсем такая, как всегда, — не то встревоженная и затаившаяся, не то спокойная...* (Ю. Домбровский);

6) в составе именного сказуемого, например: *Были они* (игральные кости. — И.З.) *старые, пожелтевшие, округлившиеся по рёбрам* (М. Успенский); *Грохот был рокошущий и перекатывающийся, подобный тому, как бывает при землетрясениях* (А. и Б. Стругацкие);

7) в позиции либо подлежащего, либо дополнения, с зависимыми словами или без них, например: *Опытная сестра подумала, покачала головой, и, возжегши тоненькую свечку, зажала её в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся* (Н. Лесков); *Вспомним с нами отступавших, <...> помолившись за нас* (А. Твардовский).

Разумеется, в каждом конкретном случае употребления причастия в этой синтаксической позиции необходимо рассматривать степень субстантивации причастия.

Выше уже отмечалось, что причастие на —ся также может употребляться в страдательном значении, что при этом употреблении укрепляется глагольность причастия, и это «способно лишь укрепить и подчеркнуть их глагольный характер (особенно форм прошедшего времени несовершенного вида на -вшийся, -шийся, так как соответствующие страдательные формы с суффиксами -нн, -т неупотребимы) [2]. Страдательное значение причастия на —ся должно поддерживаться падежной формой творительного падежа со значением субъекта действия или, по словам Виноградова, «общим смысловым контекстом» [2], но в нашей картотеке языкового материала не зафиксировано ни одного случая употребления страдательной конструкции с причастием на —ся. Ни в одном примере нет формы творительного падежа со значением субъекта или орудия действия. Зафиксирован один случай употребления формы творительного падежа с причастием на —ся: *Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но всё-таки сыну...* (М.Е. Салтыков-Щедрин), но и в этом примере форма творительного не имеет значения орудия действия или субъекта. Конечно, на это можно возразить, что выборка причастий недостаточно широкая (около 150 примеров), но, как нам кажется, даже такие данные являются весьма показательными.

Можно предположить, что страдательное употребление причастия на —ся не фиксируется потому, что страдательная конструкция типа *строящийся рабочими дом* является в какой-то мере искусственной и книжной. Мало того, страдательный оборот и с глаголами в форме страдательного залога (*Дом строится рабочими*) тоже может восприниматься как форма книжная и стилистически ограниченная. В.В. Виноградов отмечает неустойчивость, нерегулярность употребления пассивных (страдательных) оборотов: «Трудно сомневаться в том, что соотношение и противопоставление активных и пассивных оборотов — историческое зерно категории залога (правда, в славянских языках структура страдательных оборотов очень своеобразна). Но в русском языке и этот грамматический центр начинает распадаться» [2].

По-видимому, и в системе причастий на —ся происходят процессы утраты страдательного значения этой формы. Многие русские грамматисты обращали внимание на то, что конструкции с кратким страдательным причастием лучше выражают пассивное состояние субъекта, чем пассивные обороты с глаголом в форме страдательного залога. В полной мере это можно отнести и к конструкциям с действительным причастием на —ся, употребляемым в пассивном значении. Страдательные обороты — сфера страдательных причастий, как кратких, так и полных, но даже в конструкциях с кратким причастием наблюдается утрата формы творительного падежа со значением субъекта. Мы проследили этот процесс на примере безличного употребления кратких причастных форм, данными об утрате формы субъектного творительного в двусоставных конструкциях с кратким причастием мы пока не располагаем, но в связи с этим вызывают интерес некоторые

факты английского языка. Так, по данным Есперсена, в английской литературе от 70 до 94% пассивных предложений не содержат упоминания о субъекте действия [4]. В чём же причины устранения субъекта в страдательных конструкциях? Мы предполагаем, что такое явление может быть обусловлено разными факторами, в том числе и семантикой предиката, и коммуникативными задачами высказывания, и контекстом.

Итак, обнаруживается семь синтаксических позиций для действительного причастия на *—ся*, хотя, повторяем, потенциально возможно и существование восьмой синтаксической позиции — причастие на *—ся* в составе страдательной конструкции.

Как говорилось выше, В.В. Виноградов отмечал «сильное глагольное начало» в возвратных причастиях, их отличие от прилагательного главным образом благодаря постфиксу *—ся*, что создаёт «препятствия к их окачеству». Рассмотрим, в каких случаях может ослабляться «сильное глагольное начало» возвратных причастий. Ясно, что это значение поддерживается управляемыми падежными формами при причастии, следовательно, в причастиях в составе причастных оборотов и в причастиях с зависимыми падежными формами в препозиции к определяемому слову (синтаксические позиции 2, 3, 4) преобладает глагольная семантика.

С точки зрения ослабления глагольного начала в семантике причастия наиболее интересны случаи употребления «одиночного» возвратного причастия (синтаксические позиции 1, 5, 6, 7). Чтобы установить степень утраты глагольности «одиночного» причастия, нужно учитывать такие факторы, как лексическое значение причастия, его время, а также контекст, в котором оно употреблено. В данной статье мы не будем рассматривать синтаксические позиции 6 и 7 (позиция предиката и позиция субъекта/объекта), такое употребление причастия на *—ся* является предметом особого разговора, и в этих позициях оно может быть употреблено как с зависимыми словами, так и без них.

Итак, мы рассмотрим возвратные действительные причастия, употребляющиеся в позициях 1, 5 (препозитивное необособленное определение и обособленное причастие в постпозиции к предикату). Обособленное причастие в постпозиции к предикату употребляется редко — такое употребление нами зафиксировано только в трёх случаях из 150-ти, тем не менее, эти случаи заслуживают внимания. Находясь в постпозиции к предикату, причастия могут либо входить в его состав, например: *...она не совсем такая, как всегда, — не то встревоженная и затаившаяся, не то спокойная...* (Ю. Домбровский); либо относиться к субъекту, например: *Он появлялся редко — измятый, невыспавшийся, с набухшими веками* (К. Паустовский). Безусловно, и в первом, и во втором случае причастие обладает значением предикативности, и, следовательно, в нём сильнее ощутимо глагольное начало, прежде всего из-за более ярко выраженного значения времени.

Причастия на *—ся*, употреблённые в препозиции к определяемому слову, по-видимому, в разной степени могут выражать значения качественности и глагольности. Как уже упоминалось выше, это может зависеть от многих условий, в том числе и от видо-временного значения причастия. Так, Виноградов считает, что «причастия на *-вишийся*, *-шийся* особенно редко поддаются качественному преобразованию» [2]. И происходит это по той причине, что в этих формах ощущается отношение к прошедшему времени. «Прошедшее время как сильное время глагола сохраняет своё значение и в глагольных образованиях смешанного типа» [2]. Это замечание Виноградова относится к невозвратным причастиям прошедшего времени, но оно в полной мере справедливо и для причастий на *—ся*. Значение причастий на *-вишийся* относится к прошлому, это значение может усиливать приставка или суффикс совершенного вида, например: *Я побрёл вдоль берега... увидел кусте камыша затаившегося рыбака* (К. Воробьёв); *У распахнувшихся дверей / Поникнувшей головой / Ждал дрессированный лакей / В чулках и с булавой* (Д. Кедрин).

Возвратные причастия настоящего времени в препозиции к определяемому слову в большинстве случаев также сохраняют преобладающее глагольное значение, хотя, пс

мысли Виноградова, причастия настоящего времени «обозначают лишь наличный процессуальный признак» [2], и, следовательно, значение времени не поддерживает в них значение глагольности. В некоторых случаях глагольность причастий этого типа ослабляется, и это может зависеть от контекста. Сильное глагольное начало преобладает в возвратных причастиях, если они относятся к существительному, обладающему значением активного субъекта-лица, например: *Я выскользнула в коридор мимо дерущихся, пыхтящих и матерящихся Клары, Саввы и Мити* (Д. Рубина); *Он потёк мимо неё с толпой, что валила за ошалелым, кривляющимся и обезумевшим человеком* (Ю. Домбровский). Семантика глагольности причастия усиливается также в том случае, если оно относится к субъекту предложения, например: *Таёт в небе журавлиный / Удаляющийся крик* (А. Блок). Она может ослабляться, когда причастие относится к существительному, лицо не обозначающему, например: *Зазвонил мобильник, и меня продрал вдоль позвоночника истеричный голос дочери. Вернее, это был даже не голос, а задыхающийся визг...* (Д. Рубина); *...лишён чувства, которое заставляет художника... перекачивать в руках светящуюся раковину* (Ю. Домбровский).

Разумеется, мы перечислили не все условия, при которых значение качественности и глагольности причастия может колебаться в ту или другую сторону. В частности, мы предполагаем, что эта семантика может усиливаться или ослабляться в зависимости от того, в каком значении употреблено причастие — прямом или переносном, находится ли оно в ряду однородных членов или употреблено как одинокое определение. Также рано ставить точку и в вопросе о страдательном употреблении возвратных причастий, возможно, в текстах, принадлежащих другим языковым стилям, сложится совсем иная картина — языкового материала пока явно недостаточно, чтобы делать какие-то окончательные выводы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. — М., 1956. — С. 115.
2. Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове) — М., 1972. — С. 31, 221, 222, 502, 225.
3. Камынина А.А. Синтаксис простого предложения. Осложнение простого предложения полупредикативными членами. — М., — 1983. С. 14-15.
4. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика (пер. с англ.) — М., 1976. — С. 79.

К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОГО В ДИАЛОГЕ С МАЛЕНЬКИМ РЕБЕНКОМ*

Особый статус речи, обращенной к маленькому ребенку (child directed speech, input, motherese, nursery language, baby talk, автономная детская речь, язык нянь, регистр общения с детьми), и ее лингвистические характеристики являлись объектом описания в целом ряде работ, выполненных на материале самых разных языков. Речь идет об «особой форме языка», «которая рассматривается речевым коллективом как подходящая главным образом для общения с маленькими детьми, а не для нормального общения взрослых». Эту языковую подсистему Ч. Фергюсон отнес к «маргинальным системам языка» и охарактеризовал как «относительно устойчивую, конвенционализированную» его часть, «передаваемую “естественными” средствами языковой передачи» [1]. Ему принадлежит и обнаружение собственно лингвистических черт такой речи взрослого, анализ имеющих в ней место изменений, модификаций с точки зрения языковых «универсалий» (список которых был проверен исследователем на материале 22 языков), а также попытка обобщения происходящих в ней процессов упрощения и приспособления. Систематическое «межъязыковое» изучение автономной детской речи было продолжено в целом ряде исследований. В настоящее время в данном отношении изучено более тридцати пяти языков, однако особенности речи русской матери до недавнего времени отражения в этих работах не находили [2].

Мы остановимся на вопросах взрослого — одном из интереснейших феноменов адресованной ребенку речи, устойчивость и частотность проявления которого отмечены во всех изученных в данном отношении языках, на явлении, претендующем на роль «универсалии» лингвистического инпута, и покажем особую роль вопросительных реплик взрослого в речевом онтогенезе ребенка, сосредоточившись на их **функциональном** аспекте. Несмотря на то, что в лингвистике разработана общая концепция вопросительного предложения, о специфике вопросов, обращенных к ребенку, многое еще остается неизвестным. Между тем трудно переоценить их роль в речевом и когнитивном развитии ребенка. В частности, более быстрое языковое развитие зафиксировано у тех детей, чьи матери использовали большое количество вопросов и давали полные ответы на вопросы детей. При этом более результативными, с точки зрения получения информации от ребенка, оказались вопросы с измененным порядком слов, в отличие от вопросов с обычным порядком слов. Наш материал выявляет ведущую роль вопросной реплики в организации всего диалога «мать — ребенок» на разных этапах речевого онтогенеза. Вопросы взрослого выступают в качестве одного из языковых средств, способствующих внеязыковой и языковой **категоризации** действительности. Вопросы существенны для становления всех компонентов коммуникативной компетенции ребенка — системно-языковых (фонетического, лексического, грамматического) и собственно коммуникативных (диалогического и монологического). При этом особую роль вопросы играют в развитии синтаксической компетенции ребенка, в становлении синтаксической структуры детского высказывания: они способствуют развертыванию синтагматической цепи высказывания и связанному с этим процессу «размораживания» валентностей предиката, а также пониманию и самостоятельному использованию ребенком начальных синтаксис (понятие **синтаксемы** используем вслед за Г.А. Золотовой и в ее трактовке). Без владения речевым актом вопроса (как на уровне понимания, так и на уровне продуцирования) невозможно освоение диалога и диалогического синтаксиса во всех его многочисленных аспектах, в

* Исследование осуществлено при содействии Фонда Президента РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2006.6.

том числе в аспекте актуального членения. Моделируя диалогическую ситуацию, задавая вопрос и сначала отвечая на него, взрослый показывает ребенку, каким образом новая информация может быть совмещена с данной, то есть показывает сущность тема-рематических отношений. С помощью вопросов происходит освоение понятийных (семантических) категорий (локативности, субъектности, объектности и др.) в их языковой интерпретации (функционально-семантических полей) (А.В. Бондарко), углубляется языковая категоризация действительности. Наконец, подчеркнем общие условия использования вопросов взрослым. Выстраивая диалог (стараясь при этом ликвидировать коммуникативные неудачи, прибегая в случае недопонимания к подсказке) и используя вопросы в различных **функциях**, взрослый всегда находится как минимум на шаг впереди (абсолютное опережение отменяет самое возможность диалога с ребенком) и в тематическом, и в формальном отношениях. Итак, речевой акт вопроса оказывается в центре пересечения многих проблем становления коммуникативной компетенции ребенка в раннем речевом онтогенезе.

В качестве исходных критериев для классификации вопросительных реплик взрослого в диалоге с ребенком примем **формальное** деление вопросов на общие (*да / нет*-вопросы): Взрослый (В.): *Влезешь* (на диван. — В.К.)? Ребенок (Р.): *Полезла* (1.08) [3], частные (специальные): Р.: *Варенька упала*. В.: *Почему упала?* Р.: *Ноги сломанный* (1.08) и альтернативные: В.: *Папа маленький или большой?* Р.: *Маленький* (то есть хороший. — В.К.) (1.09) [4]. Будем также иметь в виду **семантическую** дифференциацию вопросов на диктумные (см. вышепривед. прим.) и модусные: Р.: *Там твои детки кушают конфетки*. В.: *А кто, как ты думаешь, мои детки?* Р.: *Ну я, ну папа* (2.02) [5].

Функциональная субкатегоризация реплик обусловлена тем обстоятельством, что диалог — явление многоаспектное; соответственно, его структурные элементы — реплики — могут рассматриваться в каждом из возможных аспектов, ибо в каждом из них реплика наделена определенной функцией. Следовательно, каждая диалогическая реплика (в том числе вопросительная) выполняет несколько разноаспектных функций. Ведущими аспектами функционального плана следует считать содержательный и структурный. Для адекватного описания **содержательных** функций вопросов взрослого следует учитывать особенности диалога взрослого и ребенка, и, собственно, специфику языкового материала — речевой продукции ребенка и взрослого, во многом обусловленные уровнем развития коммуникативной компетенции ребенка [6]. Содержательная дифференциация функций вопросительных реплик опирается на разграничение **собственно** интеррогативных (собственно вопросительных, чисто-информативных): (Р. чешет глаз.) В.: *Что, спать хочешь?* Р.: *Нет, воткнула в глаз*. (Случайно попала пальцем. — В.К.) (2.01), — и **метаинтеррогативных** функций, выполняемых репликой: Р.: *Это нитка*. В.: *Что мы можем с ней сделать?* Р.: *Пришить кроватку иголкой* (1.08). Если в первом случае взрослый не обладает запрашиваемой у ребенка информацией, то во втором случае ответ взрослому известен. Различаются два основных типа метаинтеррогативных функций — метакоммуникативная и метаязыковая.

Целью **метакоммуникативных** вопросов (вопросов в метакоммуникативной функции) является привлечение и удержание внимания собеседника, вовлечение его в диалог, развитие последнего, предупреждение или ликвидация коммуникативных неудач, иными словами, подлинная регуляция процесса коммуникации. Необходимо разграничивать собственно метакоммуникативную функцию реплик, которая свойственна, главным образом, диалогу взрослых, и лингводидактическую разновидность этой функции, с которой мы имеем дело в диалоге с ребенком. Оговорим сразу, что чистые проявления метакоммуникативной функции в диалогах с ребенком малочисленны, «удельный» же вес ее лингводидактической разновидности, напротив, значителен. Речь идет о формировании **диалогической ситуации**, обеспечивающей не только становление первичных коммуникативных навыков, но и — что крайне существенно — становление навыков собственно

языковых. Метакоммуникативные вопросы выполняют и фатическую функцию, которая в диалоге с ребенком имеет утрированный характер: В.: *Вот видишь, я вот ее совсем зашиваю. Видишь?* Р.: *Я буду тоже так делать* (4.03); В.: *Да ты что?* Р.: *Да-а. Можно даже целый год ездить не рас... заправляясь.* В.: *Да-а?* Р.: *Да-а.* В.: *Интересно* (5.06). В первом из этих примеров функция повторного «*Видишь?*» имеет именно метакоммуникативный характер: это настойчивое приглашение ребенка к участию в диалоге, к выражению реакции на реплику собеседника, напоминание о том, что ребенок в данный момент является не только наблюдателем, но и участником диалога. Фатическая функция реализуется также в таких репликах-подтверждениях, репликах-скрепах (репликах модусной природы), как *представляешь? понимаешь?* и под. Во втором случае вопросительные реплики взрослого явно преувеличенно выражают его интерес к сообщаемому ребенком: фатический характер этих реплик очевидным образом обусловлен стремлением взрослого дать ребенку пример активного поведения второго участника диалога. Все это объясняется тем, что в ранней коммуникации с ребенком фатический и эмоциональный аспекты играют ведущую роль, по сравнению с аспектом предметно-информационным [7]. Метакоммуникативную функцию выполняют также поясняющие реплики, которые используются взрослым в ситуациях недопонимания или недослышания, при наличии каких-то помех в коммуникативном канале. При помощи этих вопросительных реплик может осуществляться требование разъяснения или уточнения: Р.: *Ой. Я... ноге...ногами... ноги вверх.* (Берет книжку «вверх ногами». — В.К.) В.: *У зайца, да?* Р.: *Нет, у меня* (3.04). С помощью метакоммуникативных вопросов может выражаться одобрение и поддержка коммуникативного поведения ребенка и в целом стимулироваться развитие диалогических отношений.

Метаязыковые вопросы также выполняют в рассматриваемом типе диалога обучающие функции, но в ином плане. Метаязыковым можно назвать вопрос о языке, в том числе запрос о номинации предмета, лица, его действия, признака и т. п. Метаязыковые вопросы дифференцируются на **собственно метаязыковые** и **лингводидактические** метаязыковые. В первом случае речь идет о таких вопросах (о языке), с которыми, например, встречается школьник (или студент филфака). Во втором подразумевается первичное обучение языку, с которым мы имеем дело в диалоге взрослого и ребенка раннего возраста: В.: *Дима, кто это?* Р.: взял игрушечную лошадь в руки. В.: *Дима, кто у тебя в руках?* Р.: *Го-го* (так в это время называет лошадку. — В.К.). В целом метаязыковые вопросы взрослого направлены на формирование и развитие различных компонентов языковой компетенции ребенка и, вне всякого сомнения, имеют отчетливый дидактический характер. К метаязыковым вопросительным репликам близки и так называемые подводящие вопросы: Р.: *Это буква мама* (о букве «м» в слове «молоко», написанном на молочном пакете. — В.К.). В.: *Где «о»?* Р.: *Нет «о».* В.: *А что это такое?* Р.: *Это яичко* (буква «о» на надписи вытянута в высоту. — В.К.) (2.00). К периферии метаязыковых вопросов может быть отнесено исправление неверного (по форме или по сути) ответа ребенка — в форме уточняющего вопроса, вопроса-переспроса, вопроса-повтора. С их помощью взрослый осуществляет неявную, или косвенную, коррекцию, мягко выражает несогласие (реагируя на ошибку ребенка): В.: *Данюля, как черепаху зовут?* Р. (смеется): *Татила.* В.: *Тортилла?* (2.00). Подобный вопрос может быть дополнен переспросом «да?» или «м?». Между тем правильный ответ может провоцироваться не только при помощи повтора: В.: *Ты большая девочка, должна сама убирать.* Р.: *Нет, я маленькая, я ведь не могу ходить, ноги у меня не могут.* В.: *Что?* Р.: *Не могут* (2.01). Данный метаязыковой вопрос взрослого провоцирует ребенка к исправлению и к тому же обладает яркой эмоционально-экспрессивной окрашенностью.

В структурном аспекте целесообразно различать динамическую и статическую составляющие; таким образом, этот аспект подразделяется на структурно-динамический и

структурно-статический (позиционный). Функция реплики в структурно-динамическом аспекте — это ее роль в разворачивании диалога. В этом аспекте реплики дифференцируются на **инициативные** (1) и **реактивные** (2): 1) В.: *Можно тебе яблоко дать?* Р.: *Нет, я репку буду доедать* [на] *стульчике* (2.00); 2) Р.: *А где ключик?* В.: *Вот он.* Р.: *А ты мне* ее не отдала.* В.: *Как же не отдала?* (2.02). В структурно-статическом аспекте реплика характеризуется с точки зрения ее места (позиции) в структуре диалога; в этом плане различаются первые (3) и непервые (4) реплики: 3) В.: *А можешь нарисовать меня?* Р.: *А ты, как я, повернись* (2.02); 4) Р.: *Я сама поем немножко из тарелки рукой.* В.: *Там еще есть ягоды?* Р. (нашла одну): *Есть немножко* (1.10); ср. более ранний пример — с невербальной «репликой» ребенка: Р. показывает на кошелек матери, «просит», чтобы та его достала. В.: *А зачем тебе нужен кошелек, Юля?* (1.00). Крайне существенно, что в качестве диалогической реплики может рассматриваться некоторое невербальное действие ребенка (как в последнем примере). Если для диалога взрослых подобная интерпретация является спорной, то в нашем случае она единственно возможна, так как для ребенка, особенно на ранней стадии онтогенеза, инициирование диалога вообще, и инициирование диалога с помощью словесного действия в частности, характерно отнюдь не в той мере, в какой для взрослого. Реагируя на некоторое действие ребенка (причем иногда даже не наделенное коммуникативной интенцией) как на диалогическую реплику, хотя оно таковой не является, мать учит ребенка вступать в диалог, тем самым формируя в его сознании первичное представление о том, что вербальная коммуникация есть наиболее эффективное средство регуляции совместной деятельности людей.

Исходя из этого, ясно, что инициативной репликой может являться и непервая реплика, как это часто происходит в трехкомпонентных диалогических единствах (при том, конечно, что типичным случаем вопросо-ответного диалогического единства является пара реплик: инициативная (первая) — реактивная (непервая). Именно внутри непервых реплик выделяются реактивные реплики-ответы и реплики-вопросы и подтипы последних — различного рода повторы и переспросы, в том числе нередкий для диалога с ребенком уточняющий вопрос-переспрос: Р.: *Пришей мне кофточку. Можешь мне шить?* В.: *Какую?* Р.: *Вот шерстяную кофточку пошей* (2.00). Основанием для выделения этих подтипов реплик является характер соотношения реактивной реплики с предшествующей, который проявляется в направленности реплики, то есть в ее преимущественной связи либо с предыдущей, либо с последующей репликой. Такие типы вопроса, как вопрос-повтор, переспрос (эхо-вопрос) и встречный вопрос, интересны тем, что, с одной стороны, принадлежат отвечающему и занимают в диалогическом единстве позицию непервой (следовательно, реактивной) реплики и предполагают некоторый ответ (то есть обладают определенной инициативностью); с другой — тем, что выполняют в этой позиции ряд нетривиальных содержательных функций. Например, в коммуникации взрослых встречный вопрос может выражать подтверждение, отрицание и даже уклонение от ответа. Разного рода «реактивные» вопросы важны и с точки зрения их роли в речеповеденческой тактике взрослого в диалоге с ребенком, так как именно с их помощью осуществляется завуалированная коррекция и / или выражается косвенное несогласие с репликой ребенка.

В целом многообразие структурных и содержательных функций вопросительных реплик может быть сведено к следующему: 1) структурно-динамический аспект (d): 1.1) инициативная, 1.2) реактивная; 2) структурно-статический аспект (s): 2.1) первая, 2.2) непервая; 3) содержательный аспект (c): 3.1) собственно интеррогативная, 3.2) метаинтеррогативная: 3.2.1) метаязыковая, 3.2.2) метакоммуникативная. Любая диалогическая реплика обладает как минимум одной структурно-динамической функцией, одной структурно-статической функцией и одной содержательной функцией. Таким образом, функциональный тип реплики определяется соотношением этих трех функций и может быть описан формулой вида $F_i = \{f_d, f_s, f_c\}$, где F_i — функциональный тип реплики, f_d — функ-

ция реплики в структурно-динамическом аспекте, f_s — функция реплики в структурно-статическом аспекте, f_c — функция реплики в содержательном аспекте. На данных основаниях можно выделить следующие функциональные типы диалогических реплик: 1) {1.1, 2.1, 3.1} инициативная, первая, собственно интеррогативная: В.: *Где ты нашла ромашку?* Р.: *На гулянье* (1.08); 2) {1.1, 2.1, 3.2.1} инициативная, первая, метаязыковая: В. (о голубе, клюющем хлебные крошки): *А что он делает?* Р.: *Кусь-кусь. Кусь-кусь.* В.: *А что он кушает?* Р.: *Хлебка* (1.03); 3) {1.1, 2.1, 3.2.2} инициативная, первая, метакоммуникативная: В.: *Помнишь дачу?* Р.: *Там одуванчики будут* (1.08); 4) {1.2, 2.2, 3.1} реактивная, непервая, собственно интеррогативная (центральными здесь — подчеркнем — оказываются уточняющие реплики): Р.: *Бах на пол.* В.: *Кто?* Р.: *Варенька на пол летит* (1.03); 5) {1.2, 2.2, 3.2.1} реактивная, непервая, метаязыковая: Р. (пытается нарисовать бабушку): *Это у меня будет Зая.* В.: *А как правильно нашу бабушку зовут?* (2.03); 6) {1.2, 2.2, 3.2.2} реактивная, непервая, метакоммуникативная: В. (бабушка): чихает. Р.: *Приятного аппетита!* В.: *Думаешь, «Приятного аппетита!» нужно бабушке сказать?* (2.03); 7) {1.1, 2.2, 3.1} инициативная, непервая, собственно интеррогативная: (Р. водит рукой матери с ручкой по листку.) В.: *Ну, давай нарисуем домик, да?* (1.00); 8) {1.1, 2.2, 3.2.1} инициативная, непервая, метаязыковая (основными здесь являются вопросы-повторы и вопросы-переспросы; по отношению к запросам о номинации (2-й и 6-й типы) — ядерным, центральным метаязыковым вопросам — этот тип, «корректирующий», представляет собой периферию): Р. (показывает на листья комнатного растения в незнакомом помещении): *Цветочки, листики, яблоко.* В.: *Где же здесь яблоко?* Р.: *Нет* (1.03); 9) {1.1, 2.2, 3.2.2} инициативная, непервая, метакоммуникативная (центральными являются этикетные реплики, спровоцированные невербальным компонентом ситуации и в известной мере отягощенные «обучающей» функцией): В.: *Что нужно сказать?* (в ситуации встречи / проводов гостя.) Р.: *Спасибо, Алеша, пока-пока* (1.04).

Отдельно следует сказать об особом типе вопросов взрослого, который не может быть подведен ни под категорию метаязыковых, ни под категорию метакоммуникативных. В приведенной выше исходной типологии он не учтен, так как представляет собой, скорее, особого рода косвенный речевой акт (псевдовопрос) или конвенциональный косвенный речевой акт. Такие вопросы задаются взрослым не с целью получения необходимой информации, обучения или коррекции, но с целью побуждения ребенка к действию или к его имитации, либо, напротив, к прекращению нежелательного действия: В.: *Где твои кубики?* Р.: несет кубики (1.00); В.: *Митя, куда полез?* (в реплике имплицирован запрет «нельзя, не лезь, упадешь») Р.: *Туда* (1.11). Важно подчеркнуть, что если ситуации, подобные первой, свойственны диалогу с самыми маленькими детьми (это специфически «детские» псевдовопросы), то подобные второй являются, по сути, конвенциональными косвенными речевыми актами. Иллокутивная сила ранних псевдовопросов и императивов «совпадает». Видимо, поэтому в большинстве случаев вопросы и императивы в речи взрослого взаимозаменяемы: иллокутивная цель выражается разными грамматическими средствами: В.: *А в домике живет... Егорушка, где мышка? Где мышка-норушка? Покажи, где она.* Р.: показывает (1.05). Чаще всего в качестве псевдовопросов используются где-вопросы [8]. Ответы, которые дает ребенок на конвенциональные косвенные речевые акты, показывают, что обычно он не способен «прочитывать» подлинную иллокутивную силу обращенных к нему реплик, см. фрагмент из вечернего диалога с ребенком, уже находящимся в кровати: Р.: *Не хочу спать, я еще не съела суп.* В.: *Какой суп?!* Р.: *Вареный* (2.00).

Следует оговорить некоторые особенности функциональной классификации вопросительных реплик взрослого. При функциональной дифференциации диалогических реплик возможны пересечения их классификационных характеристик. Например, не вполне зависимы друг от друга структурные характеристики реплики — ее структурно-динамическая и структурно-статическая функции: как было упомянуто, реплика-повтор

может быть непервой, но при этом все-таки инициативной (например, повтор-переспрос с угрозой, резко меняющий течение диалога). Содержательные функции могут соединяться в рамках одной реплики, а также — в целом — нежестко противопоставляться, например, собственно интеррогативная, метаязыковая и метакоммуникативная: Р.: *Помоги мне его надеть!* В.: *Кого — его?* (2.00) [9]. Наконец, важно и то обстоятельство, что практически все вопросительные реплики взрослого отмечены яркой эмоционально-экспрессивной окрашенностью, что, в свою очередь, дает основания для выделения в каждом типе вопроса соответствующих разновидностей. Эмоционально-экспрессивные оттенки могут выступать на первый план и брать на себя роль ведущей функции вопроса. С их помощью выражаются удивление, недоумение, недоверие говорящего: Р.: *А ногами можно ходить, и еще бегать, и еще играть, и вот так, вот так делать* (показывает, как можно прыгать. — В.К.). В.: *А прыгать можно?* Р.: *Нет.* В.: *А чем же прыгают?* Р.: подскакивает попой на сиденье (2.01). Таким образом, функциональная классификация вопросительных реплик не имеет строгой иерархической структуры — без каких-либо наложений и совпадений — видимо, потому, что она представляет собой один из случаев так называемой естественной классификации (в ее интерпретации Л.В. Щербой, И.М. Стеблиным-Каменским, В.М. Жирмунским, А.В. Бондарко).

Функциональная классификация вопросов взрослого позволяет выявлять типы, доминирующие на разных этапах онтогенеза. Доля собственно интеррогативной функции сначала крайне невелика; впоследствии таких вопросов становится значительно больше. Метафункции вопросов (и реплик в целом) взрослого реализуют разного рода лингводидактические и — шире — общедидактические задачи. Вопросы направлены на формирование системно-языковых и собственно коммуникативных (диалогических) навыков ребенка. Лингводидактические разновидности данных функций вопросительных реплик существенно преувеличены. При этом ни одна из функций вопросов не выступает в «чистом виде»: практически всегда они осложнены различными эмоционально-экспрессивными оттенками. Впоследствии, однако, ведущая функция вопроса становится более отчетливой, несмотря на тесную переплетенность аспектов коммуникации. Функциональная динамика вопросительных реплик взрослого заключается в том, что по мере взросления ребенка количество собственно вопросов увеличивается, количество метаязыковых и метакоммуникативных (обучающих) — уменьшается, количество же собственно метакоммуникативных, регулирующих диалог, — остается довольно устойчивым. В речи взрослого появляются узуальные риторические вопросы, а используемые им конвенциональные косвенные речевые акты получают адекватную реакцию со стороны ребенка.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фергюсон Ч. Автономная детская речь в шести языках // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VII. — М., 1975. — С. 423, 424.
2. На материале русского языка отдельные стороны речи взрослого рассматривались Е.И. Исениной, С.Н. Цейтлин, Т.О. Гавриловой, Е.Е. Ляксо.
3. Здесь и далее в круглых скобках приводится возраст ребенка — в годах и месяцах. Материалом для исследования послужил фонд данных детской речи (отдел теории грамматики Института лингвистических исследований РАН, лаборатория детской речи при РГПУ им. А.И. Герцена). Это дневниковые наблюдения, а также расшифрованные аудио- и видеозаписи. Фонетические особенности реплик ребенка раннего возраста изменены, речь ребенка передана в нормативном звучании.
4. Альтернативные вопросы, а также выделяемые на формальном основании *ли*-вопросы, негативные и крипточастные вопросы крайне редки на ранних этапах диалога.
5. См.: Казаковская В.В. Семантическая типология вопросо-ответных единств: к

проблеме становления категорий // Категории в исследовании, описании и преподавании языка: Сб. научн. трудов к 80-летию Е.С. Скобликовой. — Самара, 2004.

6. См.: Казаковская В.В. Вопросо-ответные единства в диалоге «взрослый — ребенок» // Вопросы языкознания. — 2004. — № 2.

7. См.: Лепская Н.И. Онтогенез речевой коммуникации. Дисс. ... д-ра. филол. наук. — М., 1989.

8. Этот факт отмечен и на материале других языков. В западной традиции для обозначения данных реплик используют особый термин — «запрос действия», в отличие от «запроса информации». См.: Clark H., Clark E. Psychology and language. An Introduction to Psycholinguistics. — NY; Chicago; San Francisco; Atlanta. 1977.

9. Автор дневника (мать ребенка) отмечает, что девочка часто в конкретной ситуации говорит просто «он» или «она», не ссылаясь на то, что имеется в виду. Вопросы взрослого в этой и подобных ситуациях не только иллюстрируют запрос и провоцируют ребенка на корректное продолжение, но и учат необходимому диалогическому умению — учету общей фоновой базы говорящего и слушающего и, соответственно, единству денотата.

ДЕФИНИЦИЯ КАК ПРИЗНАК ТЕРМИНИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Дефиниция — краткое по форме определение, которое раскрывает существенные и отличительные признаки специального понятия.

Проблема словарной дефиниции термина слабо разработана. На это указывает В.Д. Табанаква в своей монографии «Идеографическое описание научной терминологии». Она отмечает, что «пока нет однозначного понимания терминов *определение, дефиниция, толкование, описание*, не выработаны требования к форме и содержанию лексикографического определения термина в зависимости от типа словаря и от особенностей самого термина, остается открытым вопрос о соотношении лингвистического, семиотического и логического в природе и сущности словарного определения. Пока нет еще комплексных исследований теоретического и практического. В практическом плане было бы интересно проследить и описать все существующие разновидности определения термина во всех типах словарей. В теоретическом — разработать модели словарных дефиниций, терминованных на прагматические функции словаря» [1].

Нельзя не согласиться с этим утверждением. Словарные определения термина во всем многообразии не описаны и не систематизированы.

Можно отметить работы, посвященные отдельным видам определений: классифицирующим — неклассифицирующим, перечислительным — Л. В. Морозова; синонимическим — Д. И. Арбатский; системным — Б. А. Глухов; отрицательным — С. Д. Шелов; энциклопедическим и филологическим — П. Н. Денисов; отсылочным — Д. И. Арбатский.

С.В. Гринёв приводит полный перечень словарных определений терминов: «научная дефиниция, справочное определение, отсылочное определение, иллюстративное определение, контекстуальное определение, словообразовательное определение, антонимическое определение» [2]. Однако слово *определение* в этом перечне используется не в строгом значении словарной дефиниции, а в широком значении слова, и мы легко можем заменить контекстуальное определение словом «контекст», энциклопедическое определение — экстралингвистической информацией, иллюстративное определение — иллюстрацией и т. д.

На наш взгляд, следует разграничить понятия определение, толкование, описание, семантизация. Неоднозначное использование этих терминов требует уточнения их значений. Рассмотрим значение этих терминов.

В самом широком смысле термин *семантизация* — раскрытие и описание значения, представление семантической структуры слова. Семантизировать слово — значит представить читателю или слушателю информацию, обладая которой он мог бы правильно и идентично употреблять его в речи.

Можно понимать семантизацию широко, как осмысление, обнаружение смысла, и более узко, как совокупность способов раскрытия значения. Если рассматривать семантизацию в узком смысле, как лексико-семантический анализ, то нужно понимать его как любые способы раскрытия значения слова в словаре. Не противоречит этому пониманию и использование термина *семантизация* в значении *функция* словарной дефиниции.

Семантизация представляется наиболее подходящим обобщающим термином для обозначения способов раскрытия значения. Семантизация в научно-технической области определяется как семантический, логико-понятийный анализ, который включает все возможные способы раскрытия значения термина в специальном словаре.

Исходя из такого понимания термина семантизация, наиболее удобным для лексикографической практики будет термин *определение*, поскольку он шире, чем термин

толкование. *Описание* дополняет определение, по существу, оно представляет собой один из приемов выражения информации о семантизируемом термине.

Конкретизируя понятие **определение**, мы будем употреблять его как однозначный лексико-понятийный синоним к термину **дефиниция**.

Мы разделяем точку зрения С. Д. Шелова, который подчеркивает, что определение (собственно дефиниция) термина — это объяснение его значения, закрепляющее в данной тематической области результаты того или иного анализа определяемого понятия и выявляющее его понятийное место среди других ближайших для него понятий [3]. Далее учёный выделяет родовидовые, перечислительные, контекстуальные, операциональные, моноформные и полиморфные определения и толкования: «все определения представляют содержание определяемого термина в «расчлененном» виде: родовидовое определение использует родовое (для определяемого) понятие и его видовой признак; перечислительное определение фиксирует виды определяемого термина, сводя к ним его понятийное содержание; контекстуальное определение фиксирует содержание вводимого термина посредством отношений между определяемым и другими понятиями (в частности, между несколькими различными определяемыми), предполагая соответствующие отношения выполненными; операциональное определение представляет процедуру построения определяемого, базируясь на некоторых исходных объектах, операциях и инструментах. Поэтому при всем разнообразии дефиниционных процедур определение терминов как процесса всегда направлено на раскрытие понятийного содержания определяемой единицы в данной области, во-первых, и претендующий на познавательный, когнитивный характер такого раскрытия» [4].

Посмотрим, в какой мере данные подходы применимы к анализу дефиниций профессионально терминированных наименований и можно ли считать наличие дефиниции признаком терминированности.

Следует отметить, что своеобразие экономической лексики диктует выбор характера дефиниции. На наш взгляд, до некоторой степени применимы к экономическим терминам и родовидовые определения, и контекстуальные, и операциональные, порознь или большей частью в совокупности.

Родовидовые определения предполагают наличие или соответствующего типа родового понятия (предмет, процесс, свойство, признак, величина), или наличие сходных, повторяющихся видовых признаков и отношений, используемых при понятийной идентификации терминов и, в том числе, при их определении (часть — целое, процесс — объект процесса, процесс — свойства).

Такие родовидовые отношения в большей мере свойственны, вероятно, техническим терминам, но их можно выявить и в экономической терминологии.

Например, понятие **«лицо»** выступает как общая родовая или интегральная сема для следующих наименований: АГЕНТ (от лат. agent, agentis — действующий) — «физическое или юридическое лицо, гражданин или организация, выступающие в роли доверенного лица, посредника, уполномоченного совершать определенный круг действий от имени другого лица (принципала), по поручению и в интересах этого лица» [5]. В экономических операциях в качестве агентов и вообще лиц, занимающихся операциями «купли-продажи» используются термины БРОКЕРЫ, ВИЦЕ-БРОКЕРЫ, ГОФ-МАКЛЕРЫ, ДЕКХОЛДЕРЫ, ДИЛЕРЫ, МАКЛЕРЫ, МАРКЕТ-МЕЙКЕР и др.». В этом определении в качестве родового понятия выступает понятие **«лицо»**, а дальше характеризуются его функции (признаки) и приводятся видовые термины, без дефиниций.

В профессионально терминированной экономической лексике наблюдается большое количество наименований, спектр видовых признаков которых довольно разнообразен. Ср.: «ФЛИППЕР» — «лицо, продающее акции сразу же после их покупки, совершающее краткосрочные финансовые сделки» [СЭС: 307]; «НАЛЕТЧИК» — «физическое или юри-

дическое лицо, приобретающее акционерную компанию без согласия ее акционеров, работников, администрации, использующее в этих целях процедуру покупки на открытых торгах, агрессивно скупающее контрольный пакет акций. Синоним — РЕЙДЕР» [СЭС: 207].

В другие наименования сема 'лицо' включается имплицитно в понятие «**игроки**» и тем самым возникают родовидовые определения, сопровождаемые перечислением признаков и указанием на сферу деятельности: «**БЫКИ**» — «биржевые игроки, играющие на фондовых биржах. Заранее скупают ценные бумаги, курс которых должен повыситься с тем, чтобы потом продать по более высокой цене» [СЭС: 40]; «**ТОЛПА**» — «биржевые брокеры и другие участники биржевых торгов, собирающиеся в конкретном месте торгового зала для заключения сделок» [СЭС: 347]; «**ВОЛКИ — ОВЦЫ**» — «удачливые и, соответственно, побежденные игроки на бирже» [СЭС: 56]; «**МЕДВЕДИ**» — «биржевые игроки, играющие на понижение цен товаров, курсов ценных бумаг, валюты. Они продают на срок (с выдачей, поставкой через определенный период) биржевые товары, которых у них нет пока в наличии, по курсу, цене, зафиксированной в момент сделки, в расчете купить их до момента исполнения сделки по более низкой цене и тем самым получить прибыль в виде разности цен, курсов. Слово «медведи» отражает тот факт, что они «заваливают» цены вниз, дают их» [СЭС: 192].

Дефиниция «**МЕДВЕДИ**» состоит из трех фрагментов. Первую часть составляет родовое понятие игроки, их функции раскрываются путем контекстуального перечисления признаков: 'они продают биржевые товары на срок'. Этот контекст содержит экономические термины «продают по курсу», «цена», «сделка», «прибыль», «разность цен». Слово общего употребления *медведи* включается в систему экономического подязыка. Третья часть дефиниции указывает на то, что биржевые игроки «заваливают цены вниз, дают их», — и эта сема основывает факт привлечения слова «медведи» для обозначения понятия экономического содержания, наличие этой семы подчеркивает профессиональную ориентацию наименования. Дефиниция этого термина носит не случайный характер. Подобным образом структурируется приведенная выше дефиниция к слову «**быки**».

Родовую сему «**лицо**» имплицитно содержат профессионально терминованные наименования «**РАКЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ**» — «сотрудник биржи или брокерской фирмы, занятый операциями на финансовых рынках на основе новейших компьютерных программ и других технических методов, пользующийся разработками новых финансовых инструментов и операций» [СЭС: 276]; «**ДЕЛАТЕЛЬ РЫНКА**» — «(англ. market maker) — высококвалифицированный работник фондовой биржи, менеджер рынка ценных бумаг, отслеживающий ход процессов на фондовом рынке, оценивающий тенденции, ожидаемую доходность, надежность ценных бумаг, информирующий участников рынка о ценах, курсе, дивидендах» [СЭС: 190]. Как видим, их дефиниции лишены экспрессивно-образных характеристик, носят сугубо экономические характер, но в наименовании «**РАКЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ**» составной компонент *ученый* подчеркивает научный статус этого лица: пользуется «разработкой новых финансовых инструкций и операций». В дефиниции «**ДЕЛАТЕЛЬ РЫНКА**» подчеркивается «высокая квалификация работника», приводится уточняющий синоним — «менеджер рынка ценных бумаг», тем самым определяется круг обязанностей этого лица.

Родовая сема 'лицо' реализуется имплицитно в видовой семе 'торговец', 'продавец'. Например: «**ДИНАМИТЧИК**» («энергичный торговец, продающий ненадежные товары, ценные бумаги» [СЭС: 85]). В дефиниции подчеркивается напористость 'торговца', однако наличие термина «**ЦЕННЫЕ БУМАГИ**» включает это понятие в систему экономического подязыка.

То же самое можно сказать о дефиниции наименования «**ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕДВЕДЬ**» — «продавец, имеющий акции в наличии и играющий на понижении» [СЭС:

116]. В этом наименовании, несмотря на привлечение слов, содержащих экспрессивно-оценочную окраску, дефиниция реализуется в родовидовой форме. Профессионально ориентированные наименования «*медведи*», «*защищенный медведь*», «*быки*», «*рынок медведей*», «*рынок быков*» семантически связаны между собой.

Следует отметить, что слово «*челноки*» носит разговорный характер, однако имеет дефиницию в СЭС очень точную, лишенную экспрессии: «торговцы, снабженцы, закупающие товары массового потребления оптом на дешевых, как правило, зарубежных рынках и доставляющие их на мелкооптовый и розничный отечественный рынок. В российском челночном бизнесе в середине 1990-х гг. было занято более 15 миллионов человек» [СЭС: 392]. Здесь ярко выраженная родовидовая дефиниция раскрывается языковыми средствами экономического подязыка. В последнем предложении подчеркивается значимость «челночного бизнеса». Как видим, понятия «челноки», «челночный бизнес» включаются в систему экономической терминологии.

Сходные родовидовые дефиниции наблюдаются в семантике наименований с родовыми семами: «ЦЕННЫЕ БУМАГИ», «АКЦИИ»: «ХЭВИ-АКЦИЯ», «ГОЛУБЫЕ ФИШКИ», «КОШКИ» и «СОБАКИ», «СИНИЕ КОРЕШКИ», «ДОСТОЯНИЕ ОТЦА СЕМЕЙСТВА». В последнем наименовании дефиниция содержит указание на то, что это – «вид акций, выпускаемых крупными предприятиями с прочно утвердившейся положительной репутацией; эти акции заметным образом представлены в обращении, и их курс, как правило, не подвержен значительным колебаниям спекулятивного характера» [СЭС: 95].

В некоторых наименованиях родовая сема содержится эксплицитно, но тем не менее в дефиниции указывается вид ценной бумаги, ее характерные признаки путем привлечения мотивированных компонентов (младшая, старшая, кабинетная и др.): «МЛАДШАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА», «СТАРШАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА», «КАБИНЕТНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА», «ПЛАВАЮЩИЕ» ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЦЕННАЯ БУМАГА «БЕЗ ВАРИАНТОВ». В дефиниции «МИКСЕРЫ» подчеркивается спекулятивный их характер.

Мы не будем останавливаться на анализе дефиниций всех наименований фрагмента профессионально терминированной лексики. Отметим только, что этот родовидовой тип дефиниций преобладает и характерен в целом для многих профессионально терминированных наименований.

Нам хотелось бы обратить внимание на то, что в профессионально терминированной лексике есть небольшое количество наименований, где в качестве родового понятия выступает слово «*термин*», значение которого раскрывается через семантические связи с другими понятиями, причем для номинации используется слово или словосочетание общего употребления, которое носит вне контекста отнюдь не терминологический характер, например: «НЕВИДИМАЯ РУКА» – «термин, ведущий свое происхождение от Адама Смита и означающий *рыночный механизм саморегулирования экономики*. Согласно утверждению А. Смита, в экономике свободного рынка отдельные индивиды, руководствуясь собственными интересами, направляются как бы невидимой рукой рынка и их действия поневоле обеспечивают осуществление интересов других людей и общества в целом» [СЭС: 210] – вначале дано точное определение, а затем дается пояснение, почему используется эта лексема; «ТЕРПЕЛИВЫЕ ДЕНЬГИ» – «термин, характеризующий способность партнера, обеспечивающего финансирование в совместном предприятии, откладывать получение основных платежей, ссудного процента до тех пор, пока дело не станет прибыльным» [СЭС: 342]; ЦЕНА «ПРОСЕЛА» – «термин, обозначающий резкое падение цены, обычно непредсказуемое» [СЭС: 383]; «ДВОЙНОЕ ДНО» – «термин, используемый в техническом анализе рынка ценных бумаг для обозначения на графике ситуации, когда цена за короткое время дважды опускалась до низкого уровня, а затем поднималась» [СЭС: 72]; «ПОДСНЕЖНИКИ» – «термин ненормативной экономической лексики, означающий людей, зафиксированных в качестве работников, получающих

заработную плату, но фактически не работающих и не получающих заработную плату» [СЭС: 252]. В этой дефиниции подчеркивается ненормативный характер наименования, то есть его неофициальный статус; с одной стороны, это термин, а с другой — непризнание факта вхождения его в профессионально ориентированную терминологию.

«ЧЕРНЫЙ НАЛ» — понятие, получившее распространение среди российских предпринимателей постперестроечного периода. В широком смысле слова означает наличные деньги, денежную массу предпринимательской фирмы, не учтенные в официальных документах, бухгалтерских счетах, отчетных балансах, но используемые в предпринимательских операциях. «Черный нал» представляет собой невидимую для официальных лиц «денежную наличность, находящуюся в обороте, но не подверженную налогообложению, учету и контролю со стороны» [СЭС: 393]. Дефиниция наименования «ЧЕРНЫЙ НАЛ» построена так же, как и в предыдущих наименованиях, но здесь слово *термин* заменено словом *понятие* и содержится указание на то, кто использует в своей деятельности это наименование, а раскрывается понятийное содержание этого наименования и через контекст, который продолжает уточняться с тем, чтобы достичь наиболее полной семантизации.

Широкий объём комментирования свидетельствует о том, что дефиниция этого наименования еще окончательно не сформировалась.

Таким образом, процесс терминологизации наименований продолжается и развивается, однако графическое выделение наименования свидетельствует, что полной терминологизации еще не произошло.

Посмотрим, как образуются профессионально терминованные наименования в контекстах экономического содержания.

Это можно проследить на примере употребления профессионально терминованного наименования «ДОЙНАЯ КОРОВА», которое имеет значение «применяемое в зарубежной литературе условное название товаров, предприятий, приносящих постоянный, устойчивый доход, обеспечивающих практически неиссякаемый источник прибыли». Это наименование употребляется в кавычках, чем подчеркивается её не терминологический, а профессионально терминованный характер, однако в учебном пособии по маркетингу наименование «ДОЙНАЯ КОРОВА» употребляется как полноправный термин, входя в схему бостонской матрицы. Термин «ДОЙНАЯ КОРОВА» в данном пособии обозначает «товары, которые пользуются спросом и способствуют увеличению темпов рынка». «ДОЙНАЯ КОРОВА» является лидером на рынке, темпы роста которого незначительны, то есть на зрелом рынке. «ДОЙНЫЕ КОРОВЫ» — великолепные источники дохода, и за ними нужен минимальный уход для сохранения рыночной доли. Для любой компании они являются самым надежным источником прибыли» [6].

Как видим, хотя это наименование обозначает точное понятие, однако значение его в контексте всё время уточняется и расширяется, при этом переносный характер, его особенность сохраняется контекстом, включением слова «уход».

На наш взгляд, возникновение подобных наименований диктуется тенденцией сделать *определения* маркетинга максимально понятными. Так, в этой матрице встречаются наименования «ЗВЕЗДА», «НЕУДАЧНИК», «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». Вся матрица выглядит следующим образом:

«ЗВЕЗДА» О	«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» —
ДОЙНАЯ КОРОВА» +	«НЕУДАЧНИК» О

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (или «ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК») — это товар, который

еще не завоевал доминирующего положения на рынке, или, возможно, вырвавшись на какое-то время в лидеры, затем отступил с этой позиции». Комментарий не оставляет сомнений в значении этих наименований: «ЗВЕЗДА» находится на грани самофинансирования и, таким образом, приносит нулевой доход»; «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» еще не стал прибыльным и, таким образом, приносит чистый убыток»; «ДОЙНЫЕ КОРОВЫ» приносят максимальный доход, в то время как «неудачники» не приносят ни прибыли, ни дохода [7].

Исходя из предложенного анализа, мы можем сделать следующие выводы.

Подобно терминам, профессионально терминированные наименования содержат дефиницию, определение. Анализ своеобразия дефиниции этих наименований диктуется общим лексикографическим направлением в лингвистике — выявлением приемов семантизации терминов.

Для дефиниций профессионально терминированных наименований экономического содержания характерны родовидовые определения, но между ними нет иерархических отношений, а существуют отношения соподчиненности, сопряженности.

Анализ дефиниций этих наименований подтверждает наш тезис о том, что профессионально терминированные наименования представляют собой наименования, связанные на понятийном уровне, однако между ними слабо выражены деривационные и синтагматические связи. Вместе с тем, подобно терминам, они образуют профессионально терминированное семантическое поле, из которого терминология, в данном случае экономическая, черпает понятийные ресурсы.

Функционирование профессионально терминированных наименований в контекстах экономического содержания иллюстрирует процесс терминологизации общеупотребительных слов, которые первоначально проходят стадию профессионально терминированных наименований, а затем становятся полноправными терминами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Табанакова В. Д. Идеографическое описание научной терминологии. — Тюмень, 1999. — С. 59.
2. Гринёв С. В. Введение в терминографию. — М., 1995. — С. 45.
3. Шелов С. Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии. — СПб., 1998. — С. 165.
4. Шелов С. Д. Указ. соч. — С. 164.
5. Современный экономический словарь. Сост.: Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. — 2 изд., доп., — М., 1999. — С. 11. В дальнейшем СЭС, страницы из этого словаря будут указываться в скобках.
6. Макдональд М., Морис П. Маркетинг. Иллюстрированный путеводитель по джунглям бизнеса. — М., 1997. — С. 44.
7. Указ. соч. — С. 46.

О ЯЗЫКЕ ВОЕННО-МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ

Во второй половине XX века обрели популярность воспоминания командиров воинских частей и подразделений, дивизий и корпусов, командующих армиями и фронтами.

В мемуарах идет речь о событиях, оставивших глубокий след в памяти рассказчика как участника Великой Отечественной войны, в них также выражено желание донести до широкого читателя виденное, пережитое, поделиться опытом боевой деятельности на полях сражений.

Событийная информация о характере фронтовой жизни дополняется замечаниями личного плана. Личностное связано, например, с фамилией военачальника: генерал Жидов А.С. стал именоваться Жадовым А.С. в соответствии с пожеланием Верховного Главнокомандующего — «Мне вручили резолюцию Верховного Главнокомандующего: “Очень хорошо. И. Сталин”» [1]. Личностное чувствуется в мере ответственности, определяемой служебным положением рассказчика: «В середине 1942 г. Брянский фронт принял в командование К.К. Рокоссовский <...> Мы сразу почувствовали руку опытного организатора» [2].

Повествование обычно ведется от первого лица, что указывает на причастность рассказчика к виденному: «Я основывался главным образом на личных воспоминаниях <...> Я помню, например, такой случай» [3].

Рассказчик пытается не только передать виденное, но и разъяснить читателю причины неудач, а также обратить внимание на крупницы ценного боевого опыта: «Опыт войны позволяет сделать следующие основные выводы по организации и проведению контрудара» [4].

Повествование нередко предстает в виде репортажных зарисовок, что позволяет выразить душевное состояние рассказчика, например, перед началом атаки: «Войска уже на исходных <...> Разговор идет вполголоса, шепотом, — словом, всё затаилось. Я иду по траншеям, где красноармейцы изготовились к утреннему броску в атаку» [5].

Рассказчик позволяет читателю представить то, что изведаль фронтовик в годы окопной жизни: «Что такое окопная жизнь, говорить много не приходится. Тем, кто не испытал её, достаточно спуститься в сырой подвал или погреб с узким окошком и представить себе, как сидели в таких условиях люди неделями, а то и месяцами в ожидании, что этот подвал или погреб в любую минуту обвалится от попадания снаряда или мины и придавит бревнами» [6].

Описание порой принимает характер своеобразного наставления для достижения боевого успеха: «Уцелеть можно только вот так, следуя вплотную за ревушим, дымящим валом разрывов» [7], когда приходится пехоте преодолевать полосу огня противника.

Рассказчик пытается поделиться с читателем соображениями о поражающих свойствах боевого оружия, указывая внешние приметы возможной опасности (минометного обстрела, бомбежки и т.п.): «Пронзительный свист, он всё более истончался, потом — пауза...» [8].

При описании виденного, пережитого рассказчикам удается использовать выразительные возможности русского языка. Именно поэтому широко используются построения с глагольной формой второго лица единственного числа. Так, к примеру, дается представление о действиях штурмовых групп во время преодоления препятствий, обладающих системой инженерных сооружений: «Врывайся в дом вдвоем — ты да граната <...> врывайся так: граната впереди, а ты за ней; проходи весь дом опять же с гранатой — граната впереди, а ты следом» [9].

Описания, содержащие указание на время боевых действий, включают построения, определяющие скорость и продолжительность осуществляемой операции: *под утро, рано утром, к утру, днем, первая половина дня, на исходе дня, к исходу дня, вечером, к вечеру, в ночь, в первые часы ночи* и т.п.

Широко используются построения с деепричастными формами, позволяющие выделять сопутствующие действия и тем самым подчеркивать боевую значимость приёмов, которые способствуют успешному завершению поставленной задачи: *сломив сопротивление, получив приказ, форсировав водную преграду, отойдя к лесу, находясь в бою, учитывая ситуацию, развивая успех*, например: «Форсировав реку Западный Буг ...» [10].

Средства литературного языка позволяют рассказчику придать мемуарному изложению необходимую достоверность и доходчивость, но при этом в канву изображения включаются слова и выражения обиходно-бытового общения, содействующие нейтрализации профессиональной строгости военных понятий: *изматывать (противника), задействовать роту, наладить* — «вернуть в строй раненого», *передок* — «передовая позиция», *откатываться, сломаться* — «утратить способность к сопротивлению», *сковывать (противника), топтаться* — «замедлить ход боевых действий».

Слова и выражения обиходной, разговорной речи, а также средства общей образности (метафоры, сравнения, эпитеты: *горел свечкой, печенкой чуял, проскочили единым махом*) сглаживают налет книжности, свойственный текстам военно-деловой речи (наставлениям, уставам), поэтому мемуарные произведения в какой-то мере сближаются с художественными произведениями, отражающими те или иные аспекты сферы военного дела.

Однако произведения, созданные участниками Великой Отечественной войны, — это особая сфера мемуарного творчества: в них представлено описание реальных событий, но при этом нет истории войны. Более того, в них содержится личностный взгляд на факты, события, — взгляд сквозь призму памяти мемуариста.

Личностное восприятие былого предстает под пером мемуариста как «документ» того времени, как биение пульса огненных лет.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жадов А.С. Четыре года войны. — М., 1978. — С. 61.
2. Батов П.П. В походах и боях. — М., 1974. — С. 29.
3. Федюнинский И.И. Поднятые по тревоге. — М., 1961. — С. 36.
4. Еременко А.И. Сталинград. — М., 1961. — С. 321.
5. Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. — М., 1980. — С. 367.
6. Там же. — С. 499.
7. Третьяк И.М. Храбрые сердца однополчан. — М., 1987. — С. 58.
8. Белобородов А.П. Всегда в бою. — М., 1979. — С. 226.
9. Чуйков В.И. Выстояв, мы победили. — М., 1960. — С. 112.
10. Афанасьев Н.И. От Волги до Шпрее. — М., 1982. — С. 136.

ГРАДУАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Градуальная лексика – это слова или сочетания слов (фразеологические обороты, пословицы), семантическая структура которых содержит градусемеру (семеру меры и степени величины признака) [1]. Градуальная лексика употребляется говорящим или пишущим для достижения конкретной цели высказывания – указания на степень, величину того или иного признака, предмета, действия и т.д., усиления признака и под. Она (градуальная лексика) делится на 2 группы: *основная* – имена прилагательные, предикативы, глаголы, имена существительные, имеющие два плана выражения градуальности – имплицитное (гранд-значение заключено в самой лексеме): на уровне синонимии и антонимии – *черный ... белый; красивый ... уродливый* и т.д.; эсплицитное (функцию градуатора выполняют аффиксы – приставки, суффиксы), см.: в глаголах (*варить – недоварить, переварить; бегать – набегаться, избегаться* и т.д.); *вспомогательная* (градуаторы) – наречия меры и степени, частицы, союзы, междометия.

Градуальная лексика передает новую гранд-информацию и характеризуется следующими особенностями: 1) количество градуальных слов определяется наличием градусемеры; 2) вспомогательная градуальная лексика не имеет флексий (является неизменяемой); 3) роль вспомогательной градуальной лексики заключается в усилении значения флексивных единиц (основной градуальной лексики).

Основной группой градуальной (градационной) лексики в системе типологии градуального значения являются качественные и качественно-оценочные имена прилагательные, обозначающие градуальные признаки, свойственные живым и неживым предметам. Качественные имена прилагательные являются доминирующим, специализированным средством выражения категории градуальности и ее семантики. По степени употребительности выделяются слова *большой / маленький* с их синонимическими рядами, а также все имена прилагательные, выражающие гранд-значения. Градуальные значения отображают такие гранд-признаки, которые объективно принадлежат лицу, предмету или действию и которые представляют собой мыслительно-речевое построение, содержащее выражение мерительного отношения градуирующего субъекта к лицу, предмету или действию, выступающих в роли градуируемого (-ых) объекта (-ов).

Классификация качественных и качественно-оценочных прилагательных может быть построена на принципе различных оснований градуирования с соответствующей шкалой градаций и нулевой ступенью измерения. Выделяются следующие основания: эстетические – *белый – черный; большой – маленький*; чувственные (сенсорные) – *горячий – холодный*; социальные (экономические) – *дорогой – дешевый*; пространственные – *глубокий – мелкий* и др. Перечисленные и подобные качественные и качественно-оценочные имена прилагательные отличаются абстрагированием и способны выражать высокую и низкую степень признака. Любой объективно присущий градуальному предикату (или синтаксическому члену) гранд-признак субъективно может перемещаться по шкале градаций: *Это озеро большое (глубокое), а то маленькое (мелкое) // Это озеро больше (глубже), (чем) того (то) // То озеро меньше (мельче), (чем) этого (это); Это озеро большое (маленькое) (глубокое – мелкое)* – в зависимости от мнения градуирующего субъекта (для него размер или глубина этого озера считается, “большим (маленьким)” ; “глубоким (мелким)”.

Имена прилагательные, называющие гранд-признаки, приписываются градуирующим субъектом градуируемому объекту для его (объекта) характеристики. Значение собственно качественных имен прилагательных определяется вне зависимости от контекста и ситуации: а) имена прилагательные цветообозначения. Ср. *красный* – *помидор, лицо, яблоко*, где реально в каждом конкретном случае красный цвет будет иметь свою гранд-специфику, но признак “красный” и без этих контекстов будет обозначать вполне определен-

ный параметр в разных проявлениях, имеющий разное количественное выражение, но не теряющий из-за этого своей определенности.

Признак сам по себе имен прилагательных *красный, зеленый, синий* и др. не может быть в большей или в меньшей степени таковым, но может меняться его плотность (*темно-, светло-*) или же переходить из одного состояния в другое: из *зеленого (неспелого)* в *красный (спелый)* (= *краснеет*); если мы имеем дело с чистым цветовым признаком, или “удельный вес” признака, если мы имеем дело со смешанными или составными признаками: Ср.: *Яблоко краснеет // обретает цвет крови // Становится спелым*. Или: *И розовые краснеют мало-помалу* (В. Маяковский). // *Становятся больше красными // Увеличивают количество красного в своем составе*. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: *день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням* (Н. Гоголь).

Не везде, где четко выделяется признак, обозначенный данным именем прилагательным, можно употребить соответствующее прилагательное. Например, употребление имени прилагательного *розовый* – это часть семантического пространства признака *красный*. См.: *Розовый* указывает на наличие красноты в небольшой степени (= *светло-красный*). Указывается меньшая плотность. *Розовый* занимает в семантическом отношении подчиненное место по отношению к слову *красный*: *Розовый цвет. Розовое платье*. – семема “бледно-красный”. Употребляя сравнительную степень прилагательного *розовый* – *розовее*, мы отмечаем градуирование признака в результате усиления его (признака) интенсивности – *красноты*, увеличение плотности цвета, то есть *приблизительно красный* (= *чуть-чуть красный; больше красный, чем синий, зеленый*).

Качественно-оценочные имена прилагательные выражают релятивный признак (а не абсолютный) и вступают в антонимические отношения: “Они указывают лишь на относительное свойство предмета, выделяемое в процессе оценки” [2]: *глубокий* – *мелкий*... (основание – пространственное значение); *горячий* – *холодный*... (основание – чувственное восприятие); *дорогой* – *дешевый*... (основание – экономические отношения) и др.

Основную группу качественно-оценочных прилагательных составляют прилагательные с контрастными отношениями членов антонимических пар, когда отрицание одного признака не означает автоматически утверждения второго, данными двумя возможностями не ограничивается выбор: например, *большой* = “не маленький”; *маленький* = “не большой”. Как правило, место нуля здесь занимает *норма* (= *средний*), то есть то, что не совпадает ни с одним из антонимичных признаков.

На лексемном уровне градуирование имеет имплицитный характер. Например, синонимический ряд с точки зрения семантического содержания: *большой* -> *огромный* -> *гигантский* и др. (по типу восходящей градации) – слова градуированы и отличаются степенью проявления признака. См.: *огромный* = громадный = очень большой; *гигантский* – семантическая структура представляет семемы, объединенные семой “очень большой”: 1) очень большой по размерам (*Гигантский станок*); 2) (перен.) делать большие успехи (*Идти вперед гигантскими шагами*); 3) исключительный по силе, значению (*Гигантские усилия*). Например: *Но если просочится в газетной сети // о том, как велик был Пушкин или Дант, // кажется, будто разлагается в газете // громадный и жирный официант* (В. Маяковский) // – количественно-качественное градуирование = “очень больших размеров”.

Роль доминирующего средства выполняют и предикативы: *жарко, тепло, прохладно, холодно* и т. п. Ср.: *На улице холодно* (= *больше, чем прохладно*). *На улице прохладно* (= *больше, чем тепло (чуть-чуть теплее)*; *меньше, чем холодно*) и т.д. – обозначают состояние живых существ, природы, окружающей среды.

Ядром предикатной градуальной лексики являются глаголы размера, величины –

увеличивать(-ся), уменьшать(-ся); количества — толстеть, худеть; обозначение абстрактного количества — преувеличить, преуменьшить; силы, скорости — ускорить, замедлить. Данные глаголы имеют отношение к выражению градуальной семантики в силу того, что в их семантической структуре содержится градосема (градосемена), см.: *увеличить* — “сделать больше (размером, количеством и т.п.)” [3] — *Увеличить число рабочих. Увеличить выпуск товаров. Увеличить чей-нибудь портрет*; *увеличиться* — “стать больше (размером, количеством и т. п.)” — *Численность рабочих в цехе увеличилась*; *уменьшить* — “сделать меньше” — *Уменьшить нагрузку*; *уменьшиться* — “стать меньше” — *Вес уменьшился. Боль уменьшилась*; *толстеть* — “становиться толстым (большим в объеме, объёме), толще”; *худеть* — “становиться худощавым, худым” — *Тебе надо худеть: не ешь мучного*; *преувеличить* — “представить в больших размерах, чем на самом деле” — *Преувеличить опасность, трудности*; *преуменьшить* — “представить в меньших размерах, чем на самом деле” — *Преуменьшить опасность*; *прибавиться* — “стать дольше” — *В феврале дни заметно прибавились*; *ускорить* — “сделать более скорым” — *Ускорить шаги. Ускорить ход механизма*; *замедлить* — “сделать более медленным” — *Замедлить шаг*. См.:

Бумажное тело сначала толстело.

Потом прибавились клипсы-лапки.

*Затем бумага выросла в “дело” —
пошла в огромной синей папке.*

*Зав её исписал на славу,
от зава к замзаву вернулась вспять,
замзав подписал,
и обратно
к заву*

вернулась на подпись бумага опять (В. Маяковский).

Лексические средства выражения градуального значения трудно отделить от словообразовательных. Градуальный компонент (аффикс) у слов представлен в подобных случаях с помощью градосемы, соотносящейся с семантическим полем качественного признака. Аффиксы различаются по продуктивности, дистрибуции и добавочным значениям, которые они передают, будучи скрепленными общим словообразовательным значением поля градуальности.

Категория градуальности в области имен существительных выражают слова с суффиксами *-ишк-*, *-енк-*, *-ик-*, *-ищ-*. Уменьшительно-ласкательное и уничижительное значение придают словам суффиксы *-ишк-*, *-енк(о)*, увеличительное — *-ищ-*: *дом — домишко; домище; домина* и под. См.:

*Что ж,
с мостища с этого
глядим с презрением вниз мы?
Кверху нос задрали?
Загордились?
Нет;*

*Теперь
пошло
с измельчанием народа
пошрое,
маленькое,
мелкое дрянцо* (В. Маяковский).

Наличие качества лишь в некоторой слабой степени, далекой от нее, несет суффикс *-оват(-ат)-* (= чуть-чуть; слегка). В некоторых случаях значение такого имени прилагательного

тельного заметно отличается от значения производящего слова: *серый* — *сероватый*; *сухой* — *суховатый*; *дорогой* — *дороговатый*; *белый* — *беловатый* и т.п. Например:

Это время —
 трудновато для пера,
 но скажите
 вы,
 калеки и калекши,
 где,
 когда,
 какой великий выбирал
 путь,
 чтобы протоптанней
 и легче? (В. Маяковский)

Имена прилагательные с суффиксом *-оват-* занимают особое место среди слов, обозначающих степень признака.

Наречия меры и степени относятся к ядерным показателям градуальности. Их основными классификационными признаками является сема “степени величины некоторого признака” и функция указания на степень его величины. Условием функционирования данных единиц является факультативность употребления. Наречия со значением меры и степени были отмечены в трудах В.В. Виноградова, Н.Н. Прокоповича, И.П. Слесаревой, Е. Кржижковой, В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной и др. Выступая в качестве градационных слов, наречия меры и степени выполняют три функции относительной характеристики признака, которые реализуются в словосочетании, предложении, тексте:

1. Объективная характеристика одного явления относительно другого: *чуть, несколько, слегка* (небольшая степень); *гораздо, значительно, куда, много* (значительная степень); *неизмеримо, несравненно, бесконечно* (большая степень) и др.

2. Субъективная характеристика относительно субъекта речи: *удивительно, изумительно, донельзя, безмерно, так, беспредельно, безгранично, неизмеримо, страшно, ужасно* и др. Это наиболее устоявшаяся группа слов.

3. Внутривидовая характеристика части относительно целого: *совсем (не), вовсе (не), совершенно (не), абсолютно (не), далеко не, отнюдь не*. Слова данной группы наделены широким кругом функций — градуальной, модальной, эмфатической (выделительной).

Для слов, которые традиционно относятся к частицам, пока не найдено общепризнанного семантического инварианта (общего частеречного значения). Общим для всех частиц является выражение отношения сообщения к описываемой действительности, то есть соотнесение сообщаемого — определенной точки зрения — с действительностью. В.В. Виноградов характеризует частицы как “гибридно-полуграмматически полулексический тип” [4], отмечает их промежуточное положение между наречиями и модальными словами, с одной стороны, и с союзами — с другой.

Вступая в градационные отношения в структуре микрополя, частицы выполняют функцию градуаторов. Они вносят дополнительные оттенки в значения других слов, придают особую градуальную окраску (усиления или уменьшения степени признака). “Частица... звук или звучание придает своеобразный оттенок тому предложению, в котором оно находится... Только в предложении частица имеет свой смысл, свое значение. Значение частицы... состоит в том, что она придает известный оттенок речи, оттенок же часто улавливается только из контекста, а потому, приводя примеры на частицы, нужно выписывать не одно предложение, а несколько с ним соседних, в которых бы явствовало вполне смысл предложения с частицей” [5].

Усилительно-ограничительные частицы употребляются чаще всего перед словом, которое они выделяют или усиливают, или сразу же после него. Иногда они относятся ко всему высказыванию, придавая ему большую выразительность и убедительность. Они играют роль качественных показателей смыслового веса слов или высказывания в целом.

Усилительность некоторых первообразных частиц (*же, ведь, вот, еще, да, даже, и, а, то, уж* и др.) сближает их с союзами, которые структурно оформляют градуальную синтаксическую конструкцию.

В русском языке выделяется две частицы, выражающие значение отрицания: *не* и *ни*. В связи с *не* частица *ни* получает усилительное значение: *ни капли не боюсь; ни черта не знаю*. Градуальные значения частицы *не* ярко обнаруживают себя в сочетаниях с наречиями, выражающими степень отрицания. Из данных сочетаний образуются фразеологические единства и сращения, в которых проступают резко выраженные градуальные оттенки модальности. При наречиях *очень, весьма, вполне, слишком* и т.п. частица *не* сообщает значение ограниченного отрицания тем словам, к которым относятся эти наречия (*не очень, не весьма, не вполне и т.д.*):

*Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет.
В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика* (А. Пушкин).

Рассмотрим широко используемые частицы гранд-высказываний, коммуникативной целью которых является выражение степени величины признака.

Ограничительная частица *лишь* выступает в высказывании в 1-ом, 2-ом значениях частицы *только*: 1) “не больше, чем столько-то, ничего другого, кроме” — *Это стоит лишь* (= “только; всего”) *пять рублей // Это стоит только (всего только) пять рублей*; 2) “единственно, исключительно” — *Лишь* (= “только”) *в деревне, отдыхаю // Только в деревне отдыхаю, больше нигде*. Ср.: союз *лишь* несет значение “как только”: *Лишь вошел, она ему навстречу // Как только вошел, она ему навстречу*. См.: — *Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостинный гарнитур? — Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям* (И. Ильф, Е. Петров) // *...только к больным людям, больше ни к кому. Лишь только* (= “как только”) *они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему* (М. Булгаков) // *Как только прекратят они свои концерты, положение само собой изменится к лучшему*.

Высокую степень проявления признака выражает усилительная частица *только* (или в сочетании «*не* + глг.») в препозиции по отношению к местоимению и наречию в отрицательных предложениях для усиления представления в большом количестве, объеме, обхвате и др.: — *Кто только не бывал в доме Горького, кто только не писал ему, какими только делами не интересовался он!* (П. Павленко) // *Кто только не... + глг.* = “очень многие (почти все)”; *какими только (делами) не + глг.* = “очень многими (почти всеми)”. Или др. случаи употребления: *За время, пока я живу на этом свете, мне было страшно только три раза* (А. Чехов) // *Было страшно не более трех раз* (в сочетании с числит.); *Мне бы только рублей двести, или хоть даже и меньше* (Н. Гоголь).

При имени числительном, со словом *всего* или без него *только* употребляется в значении “не больше, чем ..., как раз”: — *Свирепствовал он [мор] всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод* (И. Ильф, Е. Петров). Со словом *еще* или без него *только* указывает на ограничение действия, явления начальным, предварительным и т.п. моментом в значении “еще, пока еще” — *Это только* (= “еще”) *начало; значение усиления — Все давно уже за работой, а он только* (= “еще”) *одевается. Только* (= “пока еще”) *семь недель, как он принял полк* (Л. Толстой). Ср.: союз *только* в сочетании со словами *как, лишь, едва* или без них присоединяет временное или условное придаточное предложение в значении “в тот момент, как.., сейчас же, как..”: *Только скажешь, я приду // Как только скажешь, я приду*. Как противительный союз *только* употребляется в значении “однако, но, при условии”: *Я согласен ехать, только не сейчас // Я*

согласен ехать, однако не сейчас.

Частица *даже* употребляется для выделения и усиления того слова, к которому относится: *Даже он придет. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами* (И. Ильф, Е. Петров) (= “не только А придет, но и Б”); *И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти* (М. Булгаков) // Ни при жизни, ни после смерти вы не отдадите эту тетрадь (= “никогда”).

Значение “очень, в большой мере” передается усилительной частицей *куда* в разговорной речи, см.: сочетание с именем прилагательным (или наречием в сравнительной степени) частица *куда* означает “значительно, несравненно, гораздо” и свойственна разговорной речи — *Куда красивее; Куда дешевле; Работа идет куда дружнее*.

Частица *еще* в разных контекстах выражает ряд значений. См., например, текст И. Ильфа и Е. Петрова: *Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами...* — значение добавочное; *Виктор Михайлович еще долго хорохорился; Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут* — в сочетании с местоимением *еще* употребляется для подчеркивания какого-нибудь признака. При употреблении после местоимений и наречий *еще* выступает в качестве частицы для усиления выразительности: *Какой еще подарок ему!* В разговорной речи вариант *еще какой* употребляется в значении “удивительный, замечательный, исключительный”. А сочетание *еще ничего* в значении “до некоторой степени удовлетворительно” — *это еще ничего! — Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попадался*, где *еще* с предшествующим союзом *и*, *да* выступает в значении “кроме того, в придачу, вдобавок, к тому же”. Ср.: в составе союза *еще* выступает в значении “до сих пор”: *Хотя дела свои мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось* (разг.) — в значении “до сих пор”.

Междометия *Ох, Ах, Ой, Эх, Ух* перед местоимением *какой*, наречием *как, сколько* употребляется в восклицательных предложениях для подчеркивания высокой степени проявления чего-либо, высокой интенсивности какого-либо признака: *Ох, какая обида! Ох, какая скука!* [6]. Данные сочетания употребляются и для подчеркнутого выражения восхищения, удивления по поводу высокой степени проявления чего-либо, высокой интенсивности какого-либо признака, ср.: *Ох, какая красавица! = Ох, какая красивая!* Компоненты *а...*, *и...* усиливают значение градуальной оценки. См.: *Ну, уж и женщины!* (М. Булгаков) — градуальная оценка-сарказм выражается посредством *ну, уж и...*

Таким образом, происходит пересечение функционально-семантического поля категории градуальности с полями оценки и отрицания, обусловленное качественным характером этих категорий. В градуальных суждениях служебные слова играют специфическую гранд-роль — слова-градуаторы (показатели градуальности), предназначенные для актуализации градуального значения в речи и процессе коммуникации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В статье используется терминосистема, введенная и обоснованная нами в работе Колесниковой С.М. Семантика градуальности и способы ее выражения в современном русском языке. — М., 1998. — С. 180.

2. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словесным. — В 2-х частях. — Братислава, 1965. — С. 234.

3. Здесь и далее семантическая структура слов представлена через словарные дефиниции Толкового словаря русского языка: В 4 т. / под ред. проф. Д.Н. Ушакова. — М., 1996. — Т. 1. — 824 с.; Т. 2. — 520 с.; Т. 3. — 712 с.; Т. 4. — 752 с.

4. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М., 1972. — С. 521.

5. Указ. соч. — С. 523.

6. Словарь структурных слов русского языка /В.В. Морковкин, Н.М. Луцкая, Г.Ф. Богачева и др. — М., 1997. — С. 254.

СЕМАНТИКА И СИНТАКТИКА САКРАЛЬНОГО ТЕКСТА

Содержание и круг тем сакрального текста (СТ) определяется особенностями народного «мировидения» (термин В. фон Гумбольдта). В сферу СТ попадают все виды и формы бытия, особенно осмысленные в мифологическом ракурсе. Как известно, «выделяется три типа отношения знака в процессе семиотического акта и соответственно три раздела семиотики: отношение знака к обозначаемому (семантика), отношение знака к другим знакам (синтактика) и отношение знака к участникам речевого акта (прагматика)» [1].

Определим, прежде всего, **содержательные параметры сакрального текста**. Содержательно значимой для СТ является семантическая сфера, неоднократно выступающая в качестве темы, которая подвергается интерпретации народным сознанием (например, темы цикла заговоров, примет и пр.). Определение круга тем СТ позволяет, в частности, выявить архетипические модели осмысления действительности, стереотипы национального сознания, представленные в наивной языковой картине мира. Архетипы (<греч. *arche* 'начало', *typos* 'образ') — первообразы коллективного бессознательного — свойственны каждой культуре, поскольку именно через их посредство в регулярно повторяющихся формах интерпретации (верованиях, ритуалах, фольклорных текстах) выявляются истоки традиций, истоки национального характера. Заметим, что национальный характер — феномен, весьма неоднозначно воспринимаемый философами, культурологами, психологами, филологами: от полного отрицания его существования до абсолютизации. Так, размышляя о русском национальном характере, П.Н. Милюков писал, что «привычка объяснять особенности духовной жизни России из особенностей склада народного духа, из русского национального характера ... значит объяснять одно неизвестное посредством другого, еще более неизвестного» [2]. Противоположная точка зрения изложена, например, в работах В. фон Гумбольдта, который рассматривал язык как «деятельность народного духа», как зеркало «народного мировидения», как представление «индивидуальных образов, в которых отражается индивидуальный характер народа» [3]. Видимо, решение вопроса о существовании национального характера лежит в логической плоскости определения критериев того, что является сущностью этого самого «народного духа». Наиболее приемлемым нам представляется следующее высказывание: «Существует ли национальный характер? *Нет*, если под ним понимается некая заданная «от природы» совокупность личностных, психических и нравственных качеств, отличающих представителей данной нации. *Да*, если понимать его как устойчивый комплекс специфических для данной культуры ценностей, установок, поведенческих норм» [4]. Здесь учитываются такие базовые параметры культуры, как антропологизм, аксиологичность, деятельностный характер, традиционность, регулятивность, системность, которые проецируются на сферу сакрального текста, позволяющего выявить архаические способы осмысления действительности.

Литература по проблемам изучения языковой картины мира весьма обширна. В рамках данной статьи не считаем возможным и необходимым предлагать еще один вариант теоретического осмысления этого вопроса или интерпретации существующих подходов. Отметим лишь существенные для целей исследования сакрального содержания параметры, структурирующие наивную языковую картину мира:

- синкретизм представлений об окружающем мире, который проявляется, во-первых, в слиянии рационально-логических и чувственных оснований представления, во-вторых, в неразложимости содержания представления между вербальным и невербальным знаками, в-третьих, в разноречивости фиксируемых явлений. Ср., например, смешение языческого и христианского в заговорах, когда в одном тексте содержится одновременно

обращение к Богородице и к природным явлениям как олицетворению сверхъестественной силы. Таким образом, синкретизм демонстрирует самые причудливые взаимосвязи в языковой картине мира: мистики и реальности, бытия и сознания, знания и представления и т.п.

- Аксиологичность: языковая картина мира отражает специфически переработанную по законам жанра информацию, значимую для данной культуры, положительно или отрицательно оцениваемую данным социумом. Так, положительно оцениваются: добро и добродетель, трудолюбие, человеколюбие, честность, верность, здоровье, целомудрие, щедрость и т.д. Отрицательно оцениваются: зло и злодеяние, зависть, лень, пьянство, воровство, ненависть, клевета, обман, болезнь (порча), прелюбодеяние, алчность и т.п. Ср., например, представление «ценностей средневекового человека» в монографии Т.И. Вендиной [5]. Доказательством особой аксиологической выделенности этих признаков может быть использование их в качестве средства параметризации народной афористики в сборнике В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа».

- Избирательность явлений, подвергаемых осмыслению и оценке и фиксируемых в языковых формах, что объясняется «ценностной неоднородностью реалий окружающего мира. Особо значимы только реалии, наделенные глубоким этнокультурным смыслом» [6].

- Системность: результаты осмысления действительности фиксируются в языковой картине мира не изолированно, а в семантических комплексах, которые, взаимодействуя и пересекаясь друг с другом, демонстрируют целостность и связность народных представлений о самом человеке и о мире, где он существует. Так, народные представления о болезни и ее лечении, нашедшие отражение в русской языковой традиции, основаны на логике мифологического мышления, базирующейся на вере в магическую силу слова, обряда, действий с предметами, с помощью которых можно изгнать болезнь и излечить больного. Это находит отражение в номинациях болезней, лекарей, средств лечения, ритуальных действий, причин болезни и т.п., создающих целые ритуализованные системы. Например: *бальник*, *баяльник* — ‘человек, владеющий знахарством, способами лечения с помощью магического слова, тот, кто бает’; *баять* — ‘заклинать, осуществлять действие, направленное на излечение’; *баевка* — ‘название травы, с помощью которой бают, заговаривают’ [7].

- Вариативность (содержательная, знаковая, территориальная, ситуативная и т.п.). В качестве иллюстрации содержательной вариативности можем привести тот факт, что в народном сознании по-разному представлены качества, атрибуты, функции лечащих людей в зависимости от их половой принадлежности, даже при использовании одного и того же номинативного признака. Ср.: *Знахарка* // *знахурка* // *знахарица* // *знатоха* // *знаха*. Обладает гипнотическими способностями. Если знахарка потеряла зубы, она уже не могла лечить. *Знахарь* // *знаток* // *знатель* // *знатец* — лекарь — самоучка, действующий собственными способами, с помощью колдовства. Должен иметь острое зрение, иначе он не видит болезнь. Подобная «специализация» традиционно сохраняется в системе народной медицины до сих пор.

Знаковая вариативность проявляется также в возможности передачи одного и того же содержания с помощью знаков, относящихся к разным культурным кодам (вербальному, предметному, акциональному и др.). Территориальная вариативность языковой картины мира широко представлена на разном языковом материале (см., например, исследование в рамках программы «Лексического атласа русских народных говоров») и т.д.

- Субъективность и социальность языковой картины мира наиболее ярко отмечена номинативной деятельностью. Процесс наименования определяется во многом субъективными факторами и внешелингвистическими основаниями, лежащими в основе выбора мотивировочного признака. Тем не менее, системный характер номинативной деятель-

ности проявляется в ориентации говорящих на действующие в номинативной системе конкретного языка (говора) тенденции, определенные принципы номинации (номинативные модели), в которых фиксируется типовое знание как о реалиях определенного класса, так и о способах означивания, принятых в культуре данного этноса. Так, типологизированными оценочными векторами номинации растений выступают лексические и словообразовательные маркеры обозначаемого признака, фиксирующие во внутренней форме фитонима оценочное отношение к называемому объекту. В этих моделях фиксируются стереотипы народной аксиологии, связанной с выбором выразительных языковых форм, несущих в себе не только отобъектную, но и отсубъектную информацию об обозначаемом. Ср., например, типологизированные модели метафорической номинации растений: зооморфная метафора (*медвежье ушко, волконог, вороний глаз*), антропоморфная метафора (*ладошка, грустиха, одуй-плешь, бабьи сплетни, сын без отца*), предметно-обиходная метафора (*зонтики, башмачки, бабий гребень, юбочка*), метафоризация с актуализацией сакрального мотива номинации (*ведьмино зелье, адамовы слезы, букалово молоко, чертовы подойники*). Сами средства оценочной номинации, как метафорической, так и прямой, выступают как типологизированные мелиоративы или пейоративы. Ср., например, мелиоративную коннотацию фитонимов, в состав которых входят имена святых и эмотивы типа *благо, улыбка, любимый, красивый*, экспрессивы типа *здоровый, крепкий, сильный* и т.п. Пейоративная коннотация закрепляется за фитонимами, содержащими в своей лексической основе названия нечистой силы, эмотивы и экспрессивы типа *злой, вредный, черный, худой, лихо, беда, хворь, несчастливый, невзрачный, ядовитый, зелье* и т.п.

- Многослойность: языковая картина мира закрепляет факты разных эпох, осмысленные разными социумами, отражающие разные системы ценностей (при наличии общенациональных культурных традиций). Подобная многослойность приводит к тому, что одно и то же явление, отраженное в языковых формах, характеризуется разной глубиной осмысления в соответствии с разными прагматическими установками.

Все отмеченные особенности наивной языковой картины мира объясняют тематическое содержание СТ, которое составляют осмысленные сквозь призму мифологического сознания основные бытийные параметры человеческого существования: 1. Человек и его характеристики (черты внешности, особенности характера, физиологические особенности, в том числе гендерные, интеллектуальные характеристики, витальные — направленные на обеспечение жизнедеятельности, психологическое состояние); 2. Окружающий мир по отношению к человеку: локусы (сакрально гарантированные и опасные), время (реальное, историческое, мифологическое), природные явления и стихии, сверхъестественные существа и т.п.

Синтактика сакрального текста предполагает необходимость определения способа организации СТ, того, как он может воздействовать на адресата, выполняя свою основную суггестивную функцию. Во-первых, в СТ создается особая реальность — воображаемая, возможная, виртуальная, построенная по особым канонам в соответствии с логикой мифологического мышления. Во-вторых, события этого смоделированного в сакральном тексте пространства воспринимаются как факты реальные, действительные, поскольку они вписаны в реальную жизнь посредством обряда и ритуала, с которым составляют неразрешимый смысловой комплекс. В этом смысле СТ сродни мифу, который «... объясняет и санкционирует существующий социальный и космический порядок в том понимании, которое свойственно данной культуре, миф объясняет человеку его самого и окружающий мир, чтобы поддерживать этот порядок; одним из практических средств такого поддержания порядка является воспроизведение мифов в регулярно повторяющихся ритуалах» [8]. Таким образом, ритуал выступает как способ объективации прагматических представлений, и в нем естественным образом переплетались и элементы магии, и реликты тотемизма, и социальные регламентации. Ритуал можно рассматривать и в качестве социокультурного

фона языковой коммуникации, участвующего в создании СТ.

Сила СТ базируется на идее всеобщей природной связи, мистического тождества или сопричастности предметов и тех, кому они принадлежат. Ср., например, описание комплекса «субъект — место — действие — слово — предмет — объект», которым достигается результат магического действия: *«Колдун выходит на дорогу и выжидает: не подует ли попутный ветер в ту сторону, где живет обреченный на порчу. Выждавши, он берет с дороги горсть пыли или снегу (смотря по времени года) и бросает на ветер, причитывая: «ослепи (запороши) у раба такого-то черные очи, раздуй его утробу толще угольной ямы, засуши его тело тоньше луговой травы». Главные напускные болезни — икота и стрелы. Снять икоту можно, передав ее какому-нибудь неодушевленному предмету, например, камню. Кто об него споткнется, тому она и передастся»* [9]. Соответственно обратный результат может быть достигнут с использованием того же комплекса с другим семантическим наполнением элементов: снимающий порчу выбирает сакральное место (например, *чисто поле с подвосточной стороны*), выполняет определенный набор ритуальных действий (*молится, бьет, плюет три раза* и т.п.), произносит сакральный текст (*заговор*), использует сакральные предметы (*святая вода, обереги, крест* и т.п.).

В качестве магического «усилителя» в контекст, предшествующий произнесению СТ, вводится дополнительная информация «из личного опыта», направленная на достижение большего суггестивного эффекта (*когда кому в подобных случаях ЭТО помогло*), что широко распространено в гадательной практике и опыте народной медицины.

Другим вариантом соотношения разных знаков в СТ является ритмизация вербального текста с элементами рифмовки, сочетающаяся с притопываниями и шумовым сопровождением, так как считалось, что это привлечет внимание сил, которым адресован СТ. Такой суггестивный прием использовался, например, в закличках — обрядовых песнях, выполнявших магическую функцию призыва мифологического персонажа или какого-либо одухотворенного явления природы. Приведем пример заклички, исполняемой на Юрьев день (день первого выгона скота на пастбище, когда, как считалось, трава обладала целительными свойствами): *Батюшка Егорий, Спаси нашу скотинку, Всю животинку. В поле и за полем, В лесе и за лесом, Волку да медведю — Пень да колода, Ворону-вороне — Камешек дресвянный, Нашей-то скотинке — Доброго здоровья* [10].

Воздействие СТ осуществляется и за счет дополнения словесных магических формул изобразительными символическими действиями или атрибутами. Типичным примером подобного рода изобразительной символики может служить обряд «обмана болезни»: *перед приступом лихорадки больного приносили в баню, клали на стол и покрывали белой простыней, чтобы, когда придет лихорадка, она думала, что этот больной уже умер, и уходила. Больной также прятался от лихорадки в печь, стараясь обмануть ее* [11]. Обман болезни осуществлялся разными способами, например *«во время эпидемии холеры на дверях домов, куда еще не проникла болезнь, часто писали углем: «Такого-то нет дома», полагая, что холера, прочитав эту надпись, поверит и обойдет дом стороной»* [12]. Чтобы обмануть болезнь, на кровать укладывали соломенное чучело, символически «заменяющее» больного. Такой прием отражает широко используемый способ излечения — «передачу» болезни на какой-либо символический эквивалент (заместитель) больного.

Изобразительно-символический код часто используется в детских страшилках и быличках, при обращении к традиционным в народной культуре образам (олицетворенной смерти, души умершего, оборотней и т.п.), ритуалам и обрядам (крестильный, поминальный, свадебный и т.п.). Например: *Жила женщина с мужем. Однажды родился у них ребенок. В честь новорождённого собрались гости. Начался пир. Вдруг в полночь кто-то постучал. Женщина открыла дверь. На пороге стояла белая старуха. «Что вам надо, бабушка?» — спросила она. Старуха ничего не ответила, только указала на ребёнка. Женщина закрыла дверь. «Это сама смерть приходила», — сказал один из гостей. Женщина посмотрела в люль-*

ку. Ребёнок был мёртв [13].

В этом тексте можно отметить целый комплекс культурно насыщенных знаков, в сочетании передающих сакральное содержание:

- Обряд хождения «на кашу» к новорожденному.
- Полночь — сакрально негарантированное, опасное для человека время, когда и совершается всякая «чертовщина».
- Смерть стучится в дверь, окно (или зовет по имени), кто ей откроет (отзовется), того она и забирает (или у того забирает близкого человека).
- Белая старуха — один из традиционных антропоморфизированных образов смерти (наряду с черной костлявой старухой с косой), белый цвет — символ погребального савана.
- Указующий перст судьбы при полном молчании (тишина и молчание в данном СТ — знаки мистической невербальной коммуникации).

Магическая символика, выражающая идею «всеобщей сопричастности», может быть представлена в СТ посредством метафорического параллелизма названия обряда и ассоциативно связанного с ним предмета, с помощью которого производится действие. Так, название обряда излечения немоты *добыть языка на колокольне* связано со следующим действием: когда у человека *отнимается язык*, то обливают водой *колокольный язык* и поят этой водой больного [14].

Таким образом, синтактика СТ представлена как сочетаниями знаков одного кода (например, только вербального), так и разнокодовых, но в обоих случаях смысл такого соединения диктуется канонами СТ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. Изд. 2-е. — М., 1998. — С. 360.
2. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. — М., 1994. — Т. 2. — С. 14.
3. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. — М., 1984. — С. 85.
4. Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. — СПб., 1997. — С. 268.
5. Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. — М., 2002.
6. Соколова Т.С. Очерки по русской лингвофольклористике. — Белгород, 2002. — С. 107-110.
7. Коновалова Н.И. Демонологическая лексика как фрагмент концепта «сакральное» в русском языковом сознании // Язык. Система. Личность. — Екатеринбург, 2000.
8. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. — М., 1976. — С. 169-170.
9. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями др. родственных народов. — М., 1865. — Т. 1. — С. 237.
10. Мудрость народная: Жизнь человека в русском фольклоре. — IV/ Сост. В. Аникин, Л. Астафьева, В. Бахтина. — М., 1991. — Вып. I. — С. 239-240.
11. Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. — СПб., 1996. — С. 17.
12. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. — М., 2003. — С. 384.
13. КДФЭ — Картотека диалектологической и фольклорной экспедиций факультета русского языка и литературы. Далее указывается год фиксации материала.
14. Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. — СПб., 1994. — С. 179.

ВАРИАТИВНОСТЬ ФЛЕКСИЙ МЕСТОИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVIII В.

Вариативность как одна из важнейших особенностей орфографии делового письма сохраняется и в скорописных текстах XVIII столетия. Анализ различных вариантов обозначения одной и той же морфемы, традиционных и новых, общерусских и локальных, позволяет решать не только проблемы исторической морфологии, но и проследить основные тенденции в развитии русской орфографии.

Особенно широкой вариативностью отличаются в деловой письменности отдельные падежные формы полных прилагательных и причастий, местоимений, порядковых числительных, то есть всех слов, склонявшихся по местоименному типу.

В им.-вин. пад. ед. числа мужского рода нормальным окончанием в севернорусской деловой письменности XVIII столетия, как и в предшествующий период, была флексия *-ои(-еи)*, отражавшая живое произношение: *онои явочной мои извѣтъ* (Антониев Сийский м-рь, 1746, 1196, 1, 258)[1], *угол отвалившеися весь снова переправить* (там же, 1800, 1359, л. 1), *а нашли вынятой у меня ножикъ* (Архангельск, 1750, 403, 2, 45, л. 1), *которои в Кичменскомъ городке целовалникомъ* (там же, л. 3); *кавтанъ на немъ зеленои* (Важская воеводская канцелярия, 1745, 468, 1, 9, л. 11), *ефесь меднои* (там же); *на сѣжеи двор* (Каргополь, 1716, 1048, 1, 30, л. 5), *шушун женскои крашениннои мѣх заячиннои бѣлои* (1721, там же, 64, л. 20), *гсдрѣственнои крѣстьянинъ* (1755, там же, 547, 1, 382, л. 1); *николскои попъ* (Кострома, 1706, 881, 1, 92, л. 1), *галстук бѣлои* (1711, там же, 95, л. 4), *и всякои скотъ* (1729, Кострома, 431, 1, 278, л. 5 об.); *за третей мѣъ* (Новая Ладога, 1713, 1145, 1, 333, л. 4); *кушакъ сырцовои* (Новгород, 1745, 1208, 2, 40, л. 2 об.), *открытой указ* (Новгород, 1774, 651, 7001, л. 5), *весь материалъ ставить мне годнои а кирпичъ железной красной алои и белои* (там же, л. 8), *каждои годъ* (Новгород, 1794, 1208, 2, 53), *крѣстьянскои сынъ* (1802, там же, 75, л. 6); *лежачей кол* (Олонец, 547, 1, ч. 1, 1735, 15, л. 12 об.), *прилучившеися лежать кол* (там же, л. 13), *мужъ мои бывшей* (л. 14), *бѣглои мои крѣстьянинъ* (1750, там же, 263, л. 13); *на предписаннои срочной терминъ* (Соловецкий м-рь, 1769, 1201, 4, 617, л. 28 об.); *в Вороновскои погостъ* (Тихвин, 1722, 1074, 1, 632, л. 1), *незнаемой человекъ* (Тихвин, 1773, 588, 1, 5, л. 9), *каждои день* (там же, л. 14 об.); *упоминаемой братъ ево* (Устюженская воеводская канцелярия, 1746, 596, 1, 453, л. 4); *и вышеписанной взрослои хлѣб* (Устьянские волости, 1720, 651, 12, л. 2), *и взрослои непожатой овесъ* (там же, л. 4); *средней братъ нашъ* (Ярославль, 1765, 807, 2, 16, л. 1), *таз болшей* (1766, там же, 18, л. 3), *стоканъ болшей* (л. 3), *другои ветхой* (там же, л. 4).

Приведем примеры из документов южновеликорусской письменности: *левои бока* (1716, Курск, 1043, 1, 81, л. 1), *четвертой год* (1718, Смоленск, 417, 1, 16, л. 5), *в великои постъ* (там же), *караулной афицер* (там же, л. 11), *ведомой вор* (1710, л. 47), *кавтан суконной каришной швѣцкой мехъ лисей хрептоваи* (Л. 48), *крестъ серебряной* (там же), *на конюшей двор* (1718, Солотчинский м-рь, 1202, 2, 115), *винои котел* (1725, Курск, 1043, 1, 215), *ночми пьяной кѣлью свою многократно тапливалъ* (1747, Солотчинский м-рь, 1202, 2, 200, л. 1), *крепосной онъ крѣстьянинъ* (1754, Курск, 1094, 1, 102, л. 2 об.), *про брацкой и мнѣстрьской столовой общей обиход* (1763, Солотчинский м-рь, 102, 2, 255, л. 16).

Написания с *-ьи(-ии)* в памятниках XVIII в. встречаются редко, хотя, по сравнению с текстами XVII столетия, число их несколько возрастает. Эта флексия отмечается в обозначениях дат, титулов, должностей: *марта въ десятии день* (1720, Тихвин, 1074, 1, 605, л. 3), *а штрафу что великии гсдръ укажетъ* (1718, Каргополь, 1048, 1, 43, л. 11), *таинныи советник и кавалер* (там же, л. 17) — выпись из документа, составленного в Петербургѣ *штатныи служитель* (1800, Новгород, 1208, 2, 75, л. 2 об.). Иногда это написание встречается в наименованиях канцелярских учреждений, в словах, характерных для канцеляр-

кого стиля того времени, особенно в прилагательных *нижаишии*, *нижеименованный* и т.п.: *в Костромской правинцыялныи магистратъ* (1763, Кострома, 431, 3, 130, л. 1), *я нижеписавшиися с товарищи* (1718, Каргополь, 1048, 1, 43, л. 8), *я нижаишии* (1729, Архангельск, 403, 2, 4, л. 48), *я нижеименованныи* (1749, Ант. Сийск. м-рь., 1196, 1, 569, л. 1), *я нижеименованныи* (1755, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 519, л. 1), *я именованныи* (1753, Важская воеводская канц., 468, 1, 16, л. 17), *онъ именованныи* (1757, Белозерск, 421, 3, 564, л. 1), *всенижаишии репортъ* (1778, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 679, л. 7).

Но даже в составе канцелярских штампов формы с *-ои(-еи)* более употребительны: *а мои вышеписанной бѣглои крестьянин* (1720, Тихвин, 1074, 1, 605, л. 1), *вышеобъявленной приводной крестьянин* (там же, л. 7), *в показанной Ляховицкой погостъ* (1745, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 40, л. 1), *на предписанной срочной терминъ* (1769, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 617, л. 28 об.), *вышеупоминаемой незнаемой человекъ* (1773, Тихвин, 588, 1, 5, л. 2).

В других случаях написания *-ои(-еи)* единичны: *немалои деревянныи уголокъ* (1773, Тихвин, 588, 1, 5, л. 3) – ср.: *немалои деревянной уголокъ* (там же, л. 9), *безсемѣиный* (1802, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 75, л. 6), *находящийся въ ономъ Юрьевѣ монастырѣ* (там же).

Таким образом, норма обозначения флексии им.-вин. пад. ед. числа мужского рода прилагательных, местоимений, числительных и причастий на протяжении всего XVIII столетия остается практически непоколебленной. Она отражает живое произношение данных форм в этот период, в говорах формы на *-ои(-еи)*, как известно, сохранились и до нашего времени.

М.В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» приводит три варианта им. пад. мужского рода, располагая их в такой последовательности: *ый, ой, ей* [2]. Сам он употребляет как русский, так и церковнославянский варианты: *каждой человекъ* (с. 11), *российской язык* (с. 31), *именительный множественный* (с. 86), *превосходный степень* (с. 91). Можно заметить, что флексия *-ый* употребляется обычно в словах, относящихся к лингвистической терминологии. Однако в парадигмах причастий указываются только формы на *-ый(-ий)* [3].

А.А. Барсов в «Российской грамматике», написанной в конце XVIII столетия, отмечал, как правильные, окончания *ый* или *иу*, хотя и указывал, что «в обыкновенном слоге... и в именах в просторечии употребляемых...особливо же и непременно в разговорах, переменяется...ый на ой ... и ий на ей» [4].

Сложной и многочисленной является норма передачи в деловой письменности XVIII в. окончания род. пад. ед. числа мужского и среднего рода прилагательных и других аналогично склоняющихся частей речи. Она представлена в памятниках написаниями *-ого (-его)* (полностью или с выносными *г, ог, ег*), *-ово(-ево)*, *-ова(-ева)*. Кроме того, встречается церковнославянское окончание *-аго(-яго)*. Написания с *г* в целом преобладают, но и окончание *-ово(-ево)* является обычным, при этом оно, как правило, употребляется наряду с *-ого(-его)*, что свидетельствует о том, что вариантность допускалась писцами сознательно: *от того ево братьево нахождения* (Антониев Сийский м-рь, 1726, 1196, 123, л. 5), *от того блудного грѣха* (1749, там же, 569, л. 3); *для торгового своего промыслу* (Каргополь, 1716, 1048, 1, 30, л. 2), *а из другою воза* (1716, 30, л. 1), *да хлѣба сухою* (1721, 64, л. 20); *и того числа выкинуто и мѣлково и розъхожого и гнилово триста тесницъ* (Новая Ладога, 1712, 1145, 1, 200, л. 36 об.), *и в томъ тесу есть худою половина* (там же, л. 37); *или от другою чего* (Олонец, 1735, 547, 1, ч. 1, 15, л. 7 об.), *на ево мѣсто старосту другою* (1736, там же, 22, л. 27), *другою определенного старосту* (л. 33), *кормовых денег ему и другою питомства не даетъ* (1751, там же, 263, л. 32 об.); *из своего мяхково тянутово желѣза* (1761, Соловецкий м-рь, 1201, 4, 617, л. 3), *молока вареново* (1778, там же, 679, л. 7), *молока ж тварожново* (там же); *мерина рыжево* (1772, Устюжна, 1728, 596, 1, л. 100), *дву меринов гнедаго да коурово* (там же, л. 107); *на брата своего родного ярославского жъ кунца*

(Ярославль, 1766, 807, 2, 18, л. 1), *от деда ево родного* (1774, там же, 32, л. 3) и мн. др.

Довольно многочисленны в документах XVIII в. написания с *-ова(-ева)*: *взявъ ево Никиту пьянова* (1711, Кострома, 881, 1, 95, л. 5), *мяса свинова шесть полтеи* (1729, Кострома, 431, 1, 278, л. 6), *мяс свинова и говяжя* (1740, Судисл. и Бувеск. канц., 693, 1, 4, л. 20), *а кромѣ означѣннаго другаго хлеба мукъ пшанишних и ржаных и крупъ овсяныхъ и прочею* (там же, л. 77), *жилова двора* (1765, Ярославль, 807, 2, 16, л. 16 об.) и т.д.

Почти исключительно с окончанием *-ова* пишутся местоимения *такой, никакой*: *спору никакова не было* (1704, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 163, л. 45), *ни для какова подлогу и вымыслу* (1720, Тихвин, 1074, 1, 605, л. 4), *доказательства никакова он Нуромской не имѣетъ* (1729, Архангельск, 403, 2, 4, л. 44), *и никакова пропуску не было* (1755, Олонец, 547, 1, 382, л. 2), *неведомо с какова случаю* (1772, Устюжна, 596, 1, 1728, л. 49), *ни от какова другаго нечаеннаго случая* (1774, Новгород, 615, 7001, л. 28) — ср., однако: *никакого кошту от оного Лихачева не дается* (1751, Олонец, 547, 1, ч. 1, 263, л. 31).

Форма род.-вин. пад. местоимения 3-го лица и (соответствующее притяжательное местоимение) так же, как и в деловых текстах XVII в., передается преимущественно написанием *ево*: *и тутъ ево ножемъ попало* (1704, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 163, л. 2 об.), *и учали ево Антона бить кулаками* (л. 6), *ево Григорья* (л. 46), *въ ево Ивановѣ дворѣ* (1716, Каргополь, 1048, 1, 30, л. 2), *товару ево* (там же, л. 4), *в ыску ево* (1722, Устьянские волости, 651, 2, л. 5), *и учаль ево Гаврилова бранить* (1735, Олонец, 547, 1, ч. 1, 15, л. 5), *ево Семенова* (там же, л. 5 об.), *и при бою ево* (л. 5 об.), *и жену ево* (1736, Новгород, 615, 6762, л. 4), *а вместо ево по ево прошению* (там же, л. 8), *невеске ево* (1741, Вологда, 424, 2, 30, л. 1), *дворовые ево люди* (1743, Кострома, 431, 3, 89, л. 1), *родственникъ ево* (1759, Новгород, 615, 6932, л. 1), *ево пожитки* (там же, л. 7), *въ ево келье* (1762, Ант. Сийск. м-рь, 1196, 1, 908, л. 11), *возле ево* (1765, Ярославль, 807, 2, 16, л. 2), *в приеме ево* (1776, Олонец, 547, 1, 1860, л. 17), *по прозбѣ его* (1800, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 75). Написания *его* встречаются редко: *брата его* (1716, Каргополь, 1048, 1, 30, л. 4 об.), *и звала его Степана* (1726, Ант. Сийск. м-рь, 1196, 1, 123, л. 2), *а вмѣсто ево по его прошению* (1735, Олонец, 547, 1, ч. 1, 15, л. 39), *по прозбѣ его* (1794, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 53). Однако, если форма употребляется с начальным *н*, буква *г* пишется почти исключительно: *у него Антона* (1704, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 163, л. 4), *на него Василья* (там же, л. 7), *на него Сидара* (л. 18), *с нево Григорья* (л. 46), *у него* (1722, Каргополь, 1048, 1, 67, л. 3), *от него* (1726, Ант. Сийск. м-рь, 1196, 1, 123, л. 2), *от нево* (там же, л. 5), *от него* (1735, Олонец, 547, 1, ч. 1, 15, л. 5 об.), *от него Гаврилова* (там же), *у него* (1770, Новгород, 615, 6975, л. 1), *у него* (1775, Ярославль, 807, 2, 32, л. 2), *у него* (1776, Ант. Сийский м-рь, 1196, 1, 1148, л. 6 об.).

В деловых документах XVIII в. по-прежнему слабо представлены книжные формы на *-аго(-яго)*, хотя их число в этот период несколько возрастает: *без меня нижаишаго* (1721, Каргополь, 1048, 1, 64, л. 13), *Рышевскаго погоста* (1729, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 27, л. 1) — ср.: *Рышевскаго погоста пономар* (1730, там же, л. 2), *с третьяго розыску* (1738, Вологда, 424, 2, 3, л. 4), *про дядю моего нижаишаго* (1745, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 40, л. 1), (1750, Устюжна, 596, 1, 356, л. 4), *а не доживу показаннаго в сеи записи срока* (1770, Новгород, 615, 6975, л. 1 об.), *Новгородскаго уѣзду* (там же, л. 6), *за двороваго своего члвка* (1772, Устюжна, 596, 1, 1728, л. 4), *лѣта тысяща седмъсот семдесят четвертаго* (1774, Новгород, 615, 7001, л. 6 об.), *против прежняго* (там же, л. 20), *Богоявленскаго прихода крестьянѣ* (1800, Ант. Сийск. м-рь, 1196, 1, 1359, л. 1). Формы на *-аго (-яго)* возможны в деловых текстах всех жанров, в любом контексте и, видимо, у любого прилагательного или аналогично склоняющегося слова. Но обязательными они являются, как и в документах XVII в., для порядковых числительных при обозначении дат. Судя по нашим текстам, они часто употребляются в кругу причастий и отглагольных прилагательных. Следует отметить также, что число подобных написаний весьма заметно возрастает

в документах самого конца XVIII столетия.

В период XVII – XVIII вв. происходит закрепление флексии *-ои (-еи)* в род. пад. женского рода в качестве единого для всей деловой письменности написания. Формы на *-ои(-еи)* отмечаются в новгородских памятниках с XIII в. [5]. В двинских грамотах XV в. формы на *-ои(-еи)* не знают исключений, двусложные окончания, по свидетельству А.А. Шахматова, сохранились только в местоимениях [6].

В деловых памятниках XVI в., относящихся к Двинскому уезду (Сб. ГКЭ, I), наряду с обычной флексией *-ои(-еи)*, отмечаются и окончания *-ые(-ие)*, что, безусловно, следует связывать с влиянием московского приказного языка. В то же время в документах фонда ГКЭ по Вологодскому уезду и в приходе-расходных книгах Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря XVI и первой половины XVII в. двусложные формы являются господствующими. Преобладают они также в белозерских, устюжских, костромских, ярославских и др. документах этого времени.

Однако с середины XVII в. варианты *-ые(-ие)* и *-ои(-еи)* на всей территории севернорусского наречия становятся равноправными, а затем односложная флексия становится все более употребительной, достигая к концу столетия господствующего положения.

Однако окончание *-ые(-ие)* употребляется в наших текстах вплоть до 20-х годов XVIII в. включительно: *тоя ж Шурецкие влсти крстьянина* (1702, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 163, л. 3), *Тихвинские волости крстьяна* (1706, Тихвинская комендантская канц., 1074, 1, 26), *муки ржаные семдесят три четверти* (1711, Новая Ладога, 1145, 1, 188, л. 12 об.), *по два пуда муки ржаные* (1712, там же, 200, л. 4) – ср.: *дворовой моеи приданой женки* (там же, л. 3), *вместо дворцовые крстьянки* (л. 51 об.), *да бумаги пищие куплено* (1720, Белозерский уезд, 421, 3, 39, л. 2 об.), *и без всякие охулки* (1718, Каргополь, 1048, 1, 43, л. 10 об.), *из мнстрские казны* (1729, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 23, л. 1). В поздних памятниках такие формы уже единичны: *а сенного покосу ни единые копны* (1776, Тихвинская воеводская канц., 588, 1, 12, л. 1).

Таким образом, норма обозначения флексии род. пад. женского рода местоименного склонения в севернорусской деловой письменности только до середины XVII в. обнаруживает территориальные различия. Северо-западные говоры относительно рано усвоили окончание *-ои(-еи)*, формы на *-ые(-ие)* вновь появляются в памятниках бывшей Новгородской земли в основном с XVI в. под влиянием делового языка Москвы и долгое время уступают формам с односложной флексией. В текстах же, написанных за пределами северо-западной территории, написания с *-ые(-ие)* господствуют еще в первой половине XVII в., отражая относительно позднее развитие новообразований с односложным окончанием, а в ряде случаев синхронно соответствуя фактам живой речи: формы на *-ые(-ие)* сохраняются в ряде говоров севернорусского наречия и в настоящее время, особенно характерны они для вологодских говоров [7]. Но начиная со второй половины XVII столетия написания, связанные с передачей форм род. пад. женского рода прилагательных и других аналогично склоняющихся частей речи, теряют свое значение для исторической диалектологии, представляя интерес лишь для изучения особенностей письменной нормы.

Написания на *-ыя(-ия)* в деловых текстах как XVII, так и XVIII в. не получили заметного распространения: *костромския ее водчины Емецкия волости селца Горок и дрвен крстьянишка* (1664, Кострома, 881, 1, 15), *и всѣм Живоначалныя Трцы прихожеям* (1681, Ант. Сийск. м-рь, 1196, 7, 27), *Шурецкия волости жители* (1705, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 163, л. 47), *из мнстрския казны...которыя днги намъ заимшиком и заплатит* (1727, Новгородский Юрьев м-рь, 1208, 2, 23, л. 2), *без всякия пощады* (1753, Важская воеводская канц., 468, 1, 16, л. 18) и некот. др.

Именительный-винительный пад. мн. числа прилагательных в деловой письменности русского Севера представлен тремя общими для всех трех родов флексиями: *-ые*

(-ие), -ья(-ия) и -ьи(-ии). Наиболее употребительной была форма на -ье(-ие), при этом конечный гласный мог, разумеется, передаваться буквой ѣ: *и багровые места знатны* (1711, Новая Ладога, 1145, 1, 147, л. 6 об.), *да сороки чюлки вязены* (1721, Каргополь, 1048, 1, 64, л. 3), *выхватя из саней ево Пастухова пистолеты медные маленькие* (1729, Кострома, 431, 1, 278, л. 8), *мирские люди* (1736, Олонец, 547, 1, ч. 1, 22, л. 1), *и происходили разные решения* (1759, Новгород, 615, 6923, л. 1), *дочери мое малолетные* (1772, Устюжна, 596, 1, 1728, л. 102), *что они беглые* (там же), *твердые и безопасные суда* (1774, Новгород, 615, 7001, л. 13 об.) и т.п.

Значительно реже, но чаще, чем в род. пад. женского рода, используется церковнославянская флексия -ья(-ия): *и иныя многия люди* (1704, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 163, л. 17), *и крюки телѣжныя и обручи чшанныя* (1712, Новая Ладога, 1145, 1, 200, л. 16 об.), *на всякия служебныя потребы* (1724, Соловецк. м-рь, 1201, 4, 281, л. 258), *и кому за какия работы плачено* (там же, л. 260), *надлежащая паишпорты* (1729, Архангельск, 403, 2, 4, л. 54 об.), *четыре шубки женския* (1729, Кострома, 431, 1, 278, л. 6), *многия крепости* (1745, Новая Ладога, 1145, 1, 3196, л. 40), *оныя дворовыя люди и крестьяне* (1772, Устюжна, 596, 1, 1728, л. 24), *носки шерстяныя* (там же, л. 34), *нижеслѣдующия вещи* (1800, Ант. Сийск. м-рь, 1196, 1, 1359, л. 1), *и старыя трубы* (там же) и др. Как свидетельствует приведенный материал, между вариантами -ье(-ие) и -ья(-ия) стилистические различия отсутствуют.

Употребление варианта -ьи(-ии) территориально ограничено: он встречается в северо-западных (новгородских, тихвинских, новолодожских и двинских) памятниках. Формы с этим окончанием обычны в текстах XVI в., в памятниках XVII они отмечаются уже сравнительно редко. Отдельные случаи их употребления встречаются в текстах начала XVIII в.: *а по него де священника домашнии ево послали малого* (1700, АХЕ II, 206), *нижаишии раби* (1712, Новая Ладога, 1145, 1, 200, л. 14), *и нижаишии раби и бгомолцы тое цркве* (там же, л. 15 об.), *стороннии люди* (л. 63 об.), *нижаишии раби Лицкои влсти* (1718, Николо-Корельский м-рь, 1389, 198, л. 4). В более поздних памятниках такие формы не отмечены.

Таким образом, некоторые нормы обозначения флексий местоименного склонения в деловой письменности остаются практически неизменными на протяжении всего XVIII в., другие меняются (хотя и с опозданием) под влиянием живой речи или в результате того, что определенные написания, соответствующие диалектным особенностям, с точки зрения писцов уже перестают быть допустимыми. В любом случае орфография скорописных текстов не зависит от кодификационных процессов, происходивших в типографской практике и отразившихся в русских грамматиках. В им. пад. ед. числа в это время живой была флексия -ои(-еи), что и отражено в текстах деловой письменности; кодифицируется, однако, книжное окончание -ый(-ий). Церковнославянские формы были закреплены в род. пад. всех трех родов: -аго(-яго) в мужском и среднем, -ья(-ия) — в женском. Родовая дифференциация была проведена в им. пад. мн. числа: флексия -ье(-ие) закреплялась только за формами мужского рода, для женского и среднего было рекомендовано употреблять окончание -ья(-ия). Это правило было установлено Академической типографией в 1733 г., поддерживал его и В.Е. Адодуров [8]. В деловых рукописях такие написания широкого распространения не получили.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В статье использованы рукописи, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов. В ссылках на источники в скобках указывается место написания документа, год, затем номер фонда и описи, номер единицы хранения и номер листа.

2. См.: Ломоносов М.В. Российская грамматика. — М., 1755. — С. 76.

3. См. там же. — С. 176 — 177.

4. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова /Под. ред. и с предисловием Б.А.Успенского. — М., 1981. — С. 466.
5. См.: Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. — М., 1990. — С.199.
6. См.: Шахматов А.А. Исследование о двинских грамотах XV века //Исследования по русскому языку. Т. II. — СПб., 1903. — С. 109.
7. См.: Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии. — М., 1970. — С. 276.
8. См.: Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. — М., 1996. — С. 167.

ГИБРИДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СЛОВСОСЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Среди единиц словосложения (сложносоставных слов и аппозитивных словосочетаний) особую группу составляют языковые единицы, соотносительные одновременно и со сложносоставным существительным, и с аппозитивным словосочетанием. Это образования с оценочным компонентом *горе*, *чудо*, *царь*, *свет*, *душа* и некоторые другие. По деривационным свойствам они сближаются со словами разных типов: по модели образования и по структуре — со сложносоставным существительным, по словообразовательному форманту — со сложным слитным словом (первый неизменяемый компонент, обладающий оценочным значением, выполняет в единицах словосложения функцию префиксоида: *горе-охотник*, *горе-ученик*, *горе-дипломат* и т.д.; *царь-яблоко*, *царь-пушка*, *царь-колокол*, *царь-девица* и т.д.; *чудо-печь*, *чудо-остров*, *чудо-человек* и т.д.). В «Русском толковом словаре» В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной (1998 г.) компонент *горе* выделяется как словообразовательный элемент: «*Горе* (ирон.). Первая часть сложных слов в значении плохой, неважный, например, *горе-охотник*, *горе-руководитель*, *горе-повариха*» [1]. Некоторые образования с вышеуказанными компонентами и другими, функционально аналогичными, имеют лексикографическое закрепление, например: «*Горе-рыболов*, *горе-хозяйственник*, *горе-руководитель*. Плохой, неумелый» [2]; «*Душа-человек*. Очень хороший, отзывчивый человек» [3]; «*Рубаха-парень*. Откровенный, простой в обращении человек» [4]; «*Чудак-человек*. Станный, чудной человек»; «*Чудо-ягода*, *чудо-печка*, *чудо-гриб*, *чудо-дерево*, суворовские *чудо-богатыри*. Необыкновенный, выдающийся среди себе подобных» [5].

По номинативному содержанию эти языковые единицы относятся к сложным словам с предметно-признаковым значением. Но в то же время некоторые такие образования, подобно аппозитивным словосочетаниям, могут быть развернуты в предложение, в котором оценочный компонент выступает в функции предиката: *Вдруг увидел он чудо-цветок. — Этот цветок — чудо; Вспоминались ей те чудо-встречи и чудо-вечера. —*

Какое чудо эти встречи

В трамвае в поздний-поздний вечер (В. Ерофеева).

Оценочный компонент может обособляться от характеризуемого (определяемого) существительного, а также отделяться словом или несколькими словами. Сравним:

На втором корабле чисто серебро,

На третьем корабле душа-девица (А. Пушкин). —

А как он, арап, чернешенек,

А она-то [девица. — Т. К.], душа, белешенька (А. Пушкин);

Полно, князь, душа моя,

Не печалься ... (А. Пушкин);

Рыболов мой, душа!

Не ночуй у меня ... (А. Кольцов);

Свет мой, зеркальце! Скажи

Да всю правду доложи ... (А. Пушкин) (*свет-зеркальце*);

Ах ты, свет моя медведиха,

На кого меня покинула ... (А. Пушкин) (*свет-медведиха*).

Способность этих единиц словосложения расчлененно характеризовать предмет выявляет у них элемент потенциальной предикативности (что свойственно конструкциям, включающим оценочный компонент). Признак потенциальной предикативности рассматриваемых языковых единиц сближает их с одноструктурными аппозитивными словосочетаниями, содержащими оценочно-характеризующий компонент.

Таким образом, рассматриваемые языковые единицы обладают и признаками производного слова, и признаками аппозитивного словосочетания. Нам представляется, что такие образования можно назвать *гибридными единицами словосложения*. Они имеют общую с соответствующими аппозитивными словосочетаниями природу образования. В художественной литературе, а также в устной речи встречаются примеры функционирования сложений с оценочными компонентами *душа*, *свет* и в постпозиции, что характерно для аппозитивных словосочетаний:

Милый купчик-душа!
Чем тебя мне принять? (А. Кольцов);
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души.

Сравним также: *Свет-цветочек в сыру землю зашел* (устн. нар. оборот); *У тещи-света для зятя приспето* (пословица из сборника В. Даля «Пословицы русского народа»).

На генетическую связь гибридных единиц словосложения с аппозитивными словосочетаниями указывает и то, что некоторые оценочные компоненты способны препозитивно сближаться с именами собственными, при этом имя собственное не утрачивает значения индивидуального имени (для образования слов это не характерно):

Свет-Наташа, где ты ныне? (А. Пушкин);
Душа-Александра Сергеевна,
Я лучших не знаю имен,
И с Вашей судьбою напевной
Уже навсегда породнен (В. Кузнецов).

Препозитивная закрепленность оценочных компонентов в гибридных единицах словосложения придает оценочным компонентам статус деривационных морфем, функционально аналогичных тем, которые участвуют в образовании слитных слов (типа *супер-*, *ультра-*). Возможно влияние (в соответствии с действием в языке закона аналогии) функциональных закономерностей гибридных единиц словосложения на производные слитные слова, образованные при помощи префиксоидов с оценочным значением. Так, например, морфема *супер-* (интерпретируется лингвистами по-разному: приставка, префиксоид) в речи приобретает способность к отделению от той части слова, которая является мотивирующей в образовании производного слова. Например:

— *Хороший шашлык получился?*
 — *Супер!* (из т/ф «Убойная сила»).

У меня машина — супер (из разговорной речи) (*супершашлык*, *супермашина*).

В образовании гибридных единиц словосложения могут участвовать, помимо названных слов-морфем, и некоторые другие слова — существительные: *ветер* (*ветер-человек*, *ветер-баба*), *золото* (*золото-человек*, *золото-ребенок*), *ягода* (*ягода-девица*, *ягода-баба*), *огонь* (*огонь-девка*, *огонь-парень*). Гибридные единицы словосложения, содержащие названные компоненты, аналогичны аппозитивным словосочетаниям с метафоричным компонентом, за счет которых пополняется разряд гибридных единиц словосложения путем препозиционного закрепления оценочного компонента и развития у него деривационных функций. Признаково-оценочное значение у вышеназванных компонентов эксплицируется в процессе словосложения, как и у слов *душа*, *царь*, *горе* и др. Слова-компоненты гибридных единиц словосложения отличаются по значению от соответствующих свободных слов, хотя между первыми и вторыми существуют семантические связи.

Гибридные единицы словосложения имеют разную мотивацию. Так, деривационное значение слова-компонента *царь* в гибридных единицах словосложения («выделяющийся среди других подобных») мотивируется значением общеязыковой метафоры «царь» («Первый, лучший среди остальных, где-н.» [6]): «*Руслан* не только лучшая опера Глинки, но вообще лучшая из всех опер, так сказать, опера из опер, *царь-опера* (П. Чайковский);

В газетах писали тогда «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь-огонь» (А. Солженицын);

*И в сказках на Руси слыла,
Как всем известно, Царь-Девуца* (И. Богданович).

Оценочное значение слова-компонента «горе» в единицах словосложения сформировалось в результате десемантизации прямого значения слова «горе» («Скорбь, глубокая печаль». «То же, что несчастье» [7]) в сложении с личным существительным. В составе гибридной единицы словосложения «горе» является признаковым компонентом оценочной номинации предмета («Горе. Употр. иронически в сочетании с существительными в значении *плохой, неважный*» [8]): *горе-водитель, горе-ухажер*.

Деривационное значение компонента *душа* в сложениях мотивировано глубинной семантикой слова «душа» и его концептуальным значением. Главным в концепте «душа» является жизненное начало в человеке, связывающее его с Богом. Ю. С. Степанов пишет: «Слово *душа* произведено от слова *духъ* ... *Духъ* — слово мужского рода, а *душа* — женского рода, и в соответствии с общим правилом индоевропейской грамматики первое означает нечто основное и доминирующее, а второе, женский род, нечто производное, частное и подчиненное» [9].

Обозначение духовной, внутренней, сущности человека словом «душа» отражается в его словарном толковании: «*Душа*. 1. Внутренний психический мир человека, его переживания, настроения, чувства и т.п. <...>. По религиозным представлениям: бессмертное нематериальное начало в человеке ... 2. Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности; характер человека» [10]. «*Душа* ... 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание <...>. 2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. *Добрая душа. Низкая душа*. 3. перен., чего. Вдохновитель чего-н., главное лицо. *Душа всего дела. Душа общества*. 4. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях; разг.) <...>. 5. В старину: крепостной крестьянин. <...>. *Душа-человек* (разг.) — очень хороший, отзывчивый человек. <...> [11].

Слово-компонент «душа» участвует в сложении с чисто оценочным значением, в отличие от свободного именованного «душа»:

*Прочил молодец,
Прочил доброе,
Не своей душе —
Душе-девице* (А. Кольцов).

Основой положительной оценочной коннотации слова-компонента «душа» является сема «дух» (жизненное начало).

В функции деривационного оценочного компонента в гибридных единицах словосложения выступают слова, получившие в языке этнокультурное кодирование в качестве элементов оценочной характеристики предмета (вот почему только в соположении двух существительных проявляется это значение). Деривационная валентность оценочных компонентов различна: одни слова-компоненты могут сближаться только с одушевленными личными существительными, другие не имеют ограничений на сложение с существительными. Всякое слово представляет собой единицу языка, включенную в систему взаимодействующих элементов» [12]. Деривационный компонент гибридных единиц словосложения является полнозначным словом, которое находится в определенных лингвистических отношениях с другими словами и обозначаемыми ими реалиями. Деривационная валентность оценочного компонента словосложения связана с положением этого слова-компонента в ментальном языковом пространстве, стандартизированной системой русского языка. Так, языковой стандарт не допускает участия слов «горе», «душа», «свет», «рубаха» в сложении с неличными существительными (кроме окказиональных случаев, связанных с персонификацией предмета), так как в языковом опыте

закрепилась соотнесенность обозначаемых этими словами понятий с характеристикой человека: *И долго брели бы неведомо куда и зачем наши горе-охотники* (русская народная сказка «Уголек»); *Мужик у ей есть, и мужик — душа-человек* (Ф. Абрамов).

Слова «золото», «чудо», «царь» могут участвовать в сложении с любым существительным в качестве препозитивного оценочного компонента (*золото-человек, золото-руки, золото-голова* и т.д.). Особенно продуктивны в деривационном отношении компоненты «чудо» и «царь»:

*И я вижу: вальс старинный,
Расплескавшийся наряд,
Чудо-ножки балерины,
Что над сценою парят* (В. Флейшер);
*...И чудо-Днепр, и чудо-поле,
И эти чудо-берега* (Д. Бедный);
*В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек* (А. Твардовский);

На козлах кареты сидит чудо-богатырь с широкой окладистой бородой, в новом кафтане (А. Чехов);

*Что ежели, сестрица,
При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица* (И. Крылов);
*Звезды мои, звезды голубые,
Очи царь-девицы золотые* (А. Толстой).

При склонении гибридных единиц словосложения первый компонент не изменяется (исключение составляют компоненты женского рода с окончанием -а), что дает основание квалифицировать этот элемент как префиксоид. Компоненты на -а «ведут себя» аналогично склоняемому первому компоненту сложносоставных существительных. Сравним:

Магазины завалены чудо-йогуртами (газета «Яикъ», № 3, 2003 г.);

*Что же взираю угрюмо,
Будто из мрачного трюма,
А не из чудо-трюма* (Н. Емельянова);
*В этой сказке говорится
О прекрасной царь-девице* (П. Ершов);
*Кольцо души-девицы
Я в море уронил* (В. Жуковский).

Гибридные единицы словосложения являются знаками элементной номинации. И хотя они обладают некоторой «внутренней» предикативностью, к пропозитивным единицам не относятся. Они тяготеют к сложносоставным существительным и, скорее всего, должны к ним относиться (как относятся, например, устойчивые и воспроизводимые слова «царь-колокол», «царь-пушка»).

Гибридные единицы словосложения обозначают реалии, соотносимые с многообразными понятийными сферами, — все те, которые могут быть вообще обозначены существительным.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. — М., 1998. — С. 104.
2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 2001. —

С. 138.

3. Там же. — С. 184.

4. Там же. — С. 685.

5. Там же. — С. 889.

6. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1973. — С. 801.

7. Там же. — С. 128.

8. Там же.

9. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е. — М., 2001. — С.

718.

10. Словарь русского языка: в 4 т. Изд. 2-е. — Т. 1. — М., 1981. — С. 456.

11. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1973. — С. 168—169.

12. Каравашкин В. И. Внутренняя валентность и функционирование композитных моделей в современном немецком языке (на материале каузальных композит). — Харьков, 1983. — С. 19.

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТОМ ПРИВЕСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Описательные глагольно-именные обороты (ОГИО) с компонентом *приводить/привести* образуют одну из продуктивных моделей рассматриваемых конструкций. Исторически сложилась сочетаемость каузатива с девербативами (*дрожь, негодование, недоумение, отчаяние, раздражение, смятение, содрогание, трепет, ужас* и т.п.) и деадъективами (*бешенство, ярость* и т.п.), обозначающими отрицательные эмоции [1]. Сочетания с названиями положительных эмоций немногочисленны: *привести в восторг, привести в восхищение, привести в умиление*.

Как известно, непосредственной причиной эмоции является “интеллектуальная оценка этого положения вещей как вероятного или неожиданного, желательного или нежелательного для субъекта” [2].

В семантике абстрактных имен, включенных в состав ОГИО, представлено разное соотношение рационального и эмоционального начала. В существительных *смятение, содрогание, ужас, ярость* преобладает чувство. Абстрактные имена обозначают интенсивное проявление неконтролируемых эмоций. Ср.: *смятение* ‘сильное волнение, возбуждение, вызванные борьбой противоречивых чувств’; *содрогание* ‘судорожное движение, дрожь (от боли, отвращения, ужаса и т.д.)’; *ужас* ‘чувство, состояние очень сильного испуга, страха’; *ярость* ‘сильный гнев, бешенство’ [3]. В девербативах *изумление, негодование, недоумение, отчаяние, трепет* преобладает рациональное начало. Заметим, что самостоятельное употребление имен и их функционирование в составе ОГИО различаются. В каузативной конструкции возрастает доля рационального компонента. Это проявляется, например, в отсутствии непосредственной эмоциональной реакции на ситуацию, вызвавшую то или иное состояние.

ОГИО с компонентом *привести / приводить* образуют особый тип осложнения простого предложения. ОГИО имеют расчлененную семантику: каузативный глагол указывает на причинно-следственную связь двух событий, абстрактное имя обозначает каузируемое состояние. Данная модель является четырехчленной [4]. Кроме перечисленных компонентов, в структуру предложений включаются именные синтаксемы, называющие каузатора состояния и объект каузируемого состояния (каузируемый субъект). Различаются два типа предложений с компонентом *приводить / привести*: 1) предложения, в которых каузатором является непредикатное имя, и 2) предложения с каузатором — предикатным именем.

В зависимости от структурно-семантических свойств основных компонентов высказывания можно выделить пять разновидностей предложений с непредикативным каузатором.

1. Каузирующий субъект — конкретное имя (существительное, личное местоимение), называющее лицо или неодушевленный предмет, каузируемый субъект — именная синтаксема в винительном падеже, обозначающая лицо. Каузирующее событие представлено имплицитно. В подобных предложениях наблюдается «метонимический сдвиг: предмет метонимически замещает ситуацию его участием» [5]. Ср.: *она проводила до ворот челоуека, **который привел** ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых* (Б. Пастернак); *и хотя проклятые карты **приводили** в совершенное отчаяние, но в одной близости любимой женщины ...есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада* (И. Тургенев); *Александра Павловича загородный дворец Шереметева в Останкине **привел** в восторг* (И. Кошелева).

2. Каузирующий субъект представлен непредикатным вещественным существитель-

ным, каузирующее событие названо в контексте. Каузируемый субъект (лицо) обозначен метонимически: *Мазь, могущая излечивать всякие болезни и в то же время употребляемая с успехом вместо помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие недалекие умы в смятение* (А. Чехов).

3. В роли каузирующего субъекта употребляется абстрактное имя, утратившее связь с глаголом. Каузируемый субъект представлен конкретным именем, называющим лицо: *Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас ...* (И. Бунин); *Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость* (А. Чехов).

4. Каузатором отрицательной эмоции является абстрактное имя, обозначающее негативное психическое состояние. Каузируемый субъект – синтаксема в прямом или метонимическом значении, называющая лицо: *У Маши валилось все из рук, и полная депрессия привела в ужас компанию* (Газ).

5. Каузирующее событие, занимающее позицию субъекта, представлено словами обозначающими непосредственную реакцию на увиденное: *вид, зрелище, картина, спектакль* и др.: *В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и казалось, это зрелище приводило его в недоумение* (М. С. Щедрин); *Однажды (недели полторы спустя), поздно проснувшись, он вышел на террасу и увидел картину, которая его поразила, возмутила и привела в сильнейшее негодование* (А. Чехов); *Спектакль приводит малышей в восторг* (Газ.).

6. Каузирующий субъект выражен неопределенно, каузируемый субъект – именем с значением лица: *Что же меня привело в восторг?* (В. Вересаев).

В приведенных предложениях обозначается нецеленаправленное воздействие. Причиной каузируемого состояния являются свойства характера, поступки человека, какие-либо качества предмета, выраженные имплицитно в названии этого лица или предмета. ОГИО образуют полисубъектные монопропозитивные конструкции.

Более сложную формально-семантическую организацию имеют предложения, в которых позицию каузатора занимают девербативы (*восклицание, желание, замечание, пах, напоминание, отношение, поклон, посещение, поступок, появление, проявление* и т.п.) деадъективы (*возможность, остроумие, робость, щедрость* и т.п.), а также словосочетания, включающие информативно недостаточное слово и девербатив (*факт отмены* и т.п.). Кроме четырех обязательных компонентов, в структуру предложений включают необлигаторный компонент – синтаксема (существительное в родительном падеже и притяжательное местоимение *его*), обозначающая каузирующий субъект. Ср.: *... этот поступок его привел в ужас его мать и родных ...* (Л. Толстой); *А появление в доме полосатого квартиранта и вовсе привело женщину в ярость* (Газ.); *Серпилин оказался прав, и Батюк это понимал. Но сам факт отмены его предыдущего приказания, хотя бы и от его имени, привел Батюка в бешенство* (К. Симонов).

Основная (четырёхчленная) модель реализуется в следующих вариантах.

1. Каузирующее событие представлено девербативом или деадъективом. Каузируемый субъект – существительное или местоимение в винительном падеже, прямо или косвенно (метонимически) называющее лицо. Каузатор состояния – девербатив в форме множественного числа – обозначает неоднократно повторявшееся в прошлом действие: *Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины* (Б. Пастернак); *Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу* (А. Чехов). Рациональная оценка каких-либо событий как неприятных, противоречащих общепринятым нормам или представлениям субъекта может быть вызвана не самим фактом (событием), а вероятностью такого факта (события): *Теперь, когда Наташа вернулась стояла на дороге, Сергея Александровича приводила в негодование самая возможность вопросов, которые она ему задавала* (В. Вересаев).

2. Каузирующее событие, обозначенное девербативом или деадъективом в именительном падеже, конкретизируется предикатным существительным в творительном падеже (таким образом, в выражении причины состояния проявляется семантическая избыточность). Каузируемый субъект — синтаксема в винительном падеже. Ср.: *Щедрость его хотя и очень понравилась тетюшкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью* (Л. Толстой).

3. Каузирующее событие — предикатное имя, каузируемый субъект выражен имплицитно. Нулевая форма выражения субъекта, испытывающего воздействие, указывает на обобщенное лицо: *Прародители всех наших пушкинских и не пушкинских сцен давно уже отжили свой век и давным-давно уже сослужили свою службу. Во время оно головы их были носителями едкой сатиры и заморских истин, теперь же остроумие их приводит в недоумение, а бедность таланта соперничает с бедностью балаганной обстановки* (А. Чехов). Каузируемый субъект — конкретное лицо выявляется в контексте: *Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшилась даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря и — огонь* (И. Бунин).

4. Каузирующее событие представлено пропозицией. Формально позицию агенс-каузатора занимает дейктическое слово (*что, это*), однако оно вмещает в себя содержание всего предшествующего высказывания. Каузируемый субъект — конкретное существительное с собирательным значением: *Столицей своего княжества, а значит, и всей Руси, Андрей сделал тогда еще совсем молодой, небольшой и малоизвестный Владимир, что привело в возмущение знать больших городов, особенно Ростова* (В. Банинг).

ОГИО с компонентом *приводить / привести* при предикатных именах образуют полисубъектные полипропозитивные конструкции. Девербатив содержит свернутую пропозицию, оформляемую с помощью «свернутой предикации» [6]. Пропозитивное значение имени выявляет трансформация его в предложение (ср.: *Ей напоминали об этом, и это приводило Лару в смятение...; В доме появился полосатый квартирант, и это привело женщину в ярость* и т.п.).

Исследование структурно-семантических особенностей каузативных ОГИО (включая неспрягаемые формы ОГИО) представляется важным для установления специфики ОГИО как особой единицы номинации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подробнее см. в: Лагузова Е.Н. Описательный глагольно-именной оборот как единица номинации. — М., 2003. — С. 33-35.
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. — Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. — М., 1995. — С. 368.
3. Значения лексем приводятся по Словарю русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П.Евгеньевой. — Т. IV. — С. 162, 182, 472, 784.
4. Лекант П.А. Семантика членов предложения // Семантика слова и высказывания. — М., 1989. — С. 12.
5. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. — М., 2005. — С. 279.
6. Термин П.А.Леканта. См.: Лекант П.А. Виды предикации в структуре простого предложения // Лингвист. сб. — М., 1975. — С. 76.

ЛСГ ГЛАГОЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, В ПИСЬМАХ Н.С. ЛЕСКОВА 90-Х ГОДОВ

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) глаголов, обозначающих качественное состояние, включает слова этой части речи с семантикой «становление качества, признака», «изменение качества, признака» или «утрата качества, признака».

В текстах писем Н.С. Лескова не представлена семантическая парадигма глаголов «Становления внешних и социальных признаков человека», хотя ЛСГ «Становления внутренних качеств» имеется. Для слов рассматриваемой в данной статье ЛСГ, как и для экзистенциальных глаголов, оказалось более характерным соотнесение со сферой ментального, духовного. Это позволяет судить о неослабевающем интересе писателя к человеку и о специфике авторского видения: человек есть физическая и социальная данность, которую Н.С. Лесков принимает такой, какова она есть.

Однако о духовном росте, об изменении качеств личности, в том числе собственной, писатель размышлял всегда. Об этом он говорил в произведениях на тему праведничества, об этом печалился, осмысляя жизнь различных сословий России, сатирически изображая нравственное оскудение российского дворянства. Нравственной и религиозной проблематике посвящены его поздние новеллы-легенды, обращенные к темам Пролога в связи с поисками духовно высоких личностей как образцов и примеров истинной красоты в истории развития человечества и др. Так отражается жизненное кредо Н.С. Лескова в запечатлении текстами многочисленных произведений художественной литературы. Оно также нашло отражение в эпистолярном наследии в темах нравственного наставничества, заботы о душе. Наличие ЛСГ глаголов «Становления внутренних качеств человека», таким образом, в письмах симптоматично.

Не представлены глаголы ЛСГ «Выделение объекта по качеству», что подтверждает отсутствие значительного интереса у Н.С. Лескова к реалиям действительности (дополнительным подтверждением этого служит небольшой количественный состав ЛСГ глаголов становления качества, становления цветового признака).

К глаголам «Становления качества» относятся: **надоесть** («Стать неприятным, противным, невыносимым вследствие однообразия, утомительной повторяемости») (ТСУ) [1]: *Если бы не совпавшие обстоятельства, он бы надоел.* 286 [2]; **обозначаться** («Несов. к обозначиться: сделаться заметным, видным, наметиться») (ТСУ): *Из них я узнал, что к Вам ездил Суворин и что теперь во многих местах обозначается большой неурожай хлеба, угрожающий голодом.* 198; **одебелеть** («церк. Грубеть») (СЦС): *Тогда будешь расти, а иначе «одебелеет и утучнится сердце твое, и будешь яко свинья в теплом кале», — от чего и да сохранил нас живой бог, «живущий в движении естества».* 220; **слабеть** («Делаться слабым, становиться слабее, терять силу») (ТСУ): *...и «укрепить слабеющие руки».* 205; **смелеть** («Становиться смелым, смелее») (ТСУ): *«Зверство» и «дикость» растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества.* 186.

Среди них отметим глаголы «Становления/изменения цветового признака»: **краснеть** («Сов. покраснеть. Становиться красным, приобретать красный цвет») (ТСУ); **синеть** («Становиться синим, синее, принимать синий оттенок») (ТСУ): *Ясниц свистит по его дудку, а знаменитый критик не видит, что из него делают шута, и на каждый посвист лопочет во весь голос, то краснея, то синевя и «наливая соплю».* 251.

К глаголам подгруппы «Проявления качества» данной ЛСГ относятся такие, как **выражать** («Обнаруживать, показывать каким-н. внешним проявлением, знаками; высказывать, передавать») (ТСУ): *Я тоже застенчив и неловок, но в старости стал это не беждать, так как это выражает большое самолюбие, не расходящееся, впрочем, и с большою добротою...* 232; *Все то, что Вы думаете и выражаете в этом сочинении, — мне сподобилось.*

по вере и по разумению. 248; **обнаружиться** («Стать видимым, явным») (ТСУ): *Изменять в дальнейшем ничего нельзя, потому что тогда обнаружится еще более беспорядок плана во всем сочинении.* 247; **пробудиться** («Появиться, обнаружиться (о каком-н. свойстве, душевном явлении)») (ТСУ): *...я боюсь, что при сближении его со мною в нем опять **пробудится** его беспокойство...* 269; **светить** («Излучать свет») (ТСУ): *...как чистое светило, после которого оставалась бы несомненная уверенность, что она где-то горит и **светит**, в каком бы она там ни явилась положении.* 229; **светиться** («**книжн.** Проявляться, обнаруживаться в выражении, сиянии глаз (о внутренних состояниях)») (ТСУ): *...у меня **светилось** в сознании то же самое, что я узнал у Вас, но у меня все было в хаосе — смутно и неясно, и я на себя не полагался...* 225; **сжалиться** («**книжн.** Почувствовать, выказать жалость по отношению к кому-чему-н.») (ТСУ): *Бог **сжалился** и научил драться...* 169; **чувствоваться** («Сказываться, проявляться») (МАС): *В первой половине статья читается тяжеловато: **чувствуются** длинноты, и видно, где они заключаются: это выписки из газет...* 282.

Глаголы с семантикой «изменение признака» представлены базовыми [3], но тем не менее низкочастотным у Н.С. Лескова коррелятами **изменить/ изменять** («Сделать иным, переиначить, произвести перемены в ком-чем-н.») (ТСУ): *Я Вас прошу, любезный друг и товарищ Алексей Сергеевич, повелеть Н.Ф. Зандроку, чтобы отрезки VI тома были приняты на хранение в кладовую, пока время **изменит** обстоятельства.* 165; *Ч—в пишет, чтобы «не **изменять** ни одного слова», а Суворин видит крайнюю необходимость **изменить** одно слово—именно слово «девка», имеющее у нас очень резкое значение.* 182; а также **множиться** («Увеличиваться в числе, размножаться, умножаться») (ТСУ) в философской прецедентной отсылке к известной заповеди: *...требованием природы и задачей человечества — совершенствоваться в целой цепи поколений, обязанных явиться по благословению: «**множьтесь**».* 240.

Корреляты **обратить /обращать** («**книжн.** Превратить в кого-что-н., изменив форму, вид, строение, содержание») (ТСУ) применяются к различным объектам в отношении описания изменения их признаков, свойств: *Землю-то надо **обратить** в «рай» — в «сад, насажденный богом» (умом).* 222; *Они ведь все с заковыками, и притом такими, которых нельзя **сглаживать**, потому что всякое ослабление **обращает** их в карикатуру.* 250. То же относится к более связанным с преобразующей деятельностью человека **переделывать/ переделывать** («Сделать что-н. иным, придать чему-н. новый, измененный вид») (ТСУ): *Переделай это и пусти на кон ни с того ни с сего — будет бесцельно...* 198; *Иначе на что бы ее и **переделывать**, а надо бы брать ее просто и перепечатывать...* 223.

К глаголам подгруппы «Изменение признака» относятся также **расти** («Усиливаться, крепнуть») (ТСУ), **расшевелить** («Трогая, прикасаясь, заставить прийти в движение, пошевелиться») (ТСУ): *Рука Петра могла **расшевелить** застоявшееся болото и разворошить его, или освежить, или очистить, но... «**встряхнуть** болото».* 218; **расширяться** («Несов. к расширяться: стать более широким») (ТСУ): *Вы совершенно правы: он рос, и кругозор его **расширялся**, и то, что он дал, есть дорогое достояние.* 283; **сгладить** («Выровнять, сделать одинаковым на всем протяжении, уничтожить противоречия, шероховатости в чем-н.») и коррелят **сглаживать** («Несов. к сгладить. Уничтожить, сделать незаметным, смягчить») (ТСУ): *Вы отлично поняли, почему я так сделал, и прекрасно поступили, чтобы **сгладить** отношения.* 194.

Одним глаголом **утрачивать** («**книжн.** Несов. к утратить: Лишиться кого-чего-н., потерять кого-что-н.») (ТСУ) обозначено наличие ЛСГ «Утрата качества»: *...тон местами не **отвечает** предмету и от этого **утрачивает** значение мыслей прекрасных, честных, острых и сильных и сопоставлений блестящих.* 198.

Еще раз подчеркнем, что в большей части контекстов глаголы исследуемой ЛСГ использованы в лесковских рассуждениях о людях: *надоесть, одевелеть, сжалиться, слабеть, смеяться.* В связи с характеристикой изменения состояния использованы метафорически

употребленные *краснеть, синеть*. Касаются оценки морального, психического, умственного состояния человека и глаголы *выражать (самолюбие), пробудиться (о беспокойстве), светиться (в сознании)*. О состоянии отношений с иными людьми свидетельствуют *обращать, сглаживать*. Несколько чаще встречаются глаголы несовершенного вида, в связи с семантическими компонентами 'изменение' и 'становление' у рассматриваемых слов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Использованы словари: ТСУ — Толковый словарь русского языка//Под ред. Ушакова Д.Н. — Тт. 1–4. — М., 1935–1940 (эл. вариант); МАС — Словарь русского языка АН СССР: В 4-х тт. — М., 1981–1984; СЦС — Словарь церковнославянского и русского языка, составленный П отделением Императорской Академии наук. — СПб., 1847–1848.

2. Лесков Н.С. Собрание сочинений в 11-ти тт. — М., 1958. При цитатах введен номер письма.

3. Лексико-семантические группы русских глаголов: Учеб. словарь-справочник / Под общ. ред. Т.В. Матвеевой. — Свердловск, 1988.

ЧАСТИ РЕЧИ КАК ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Категория частей речи — ядро грамматической системы русского языка; в ней наиболее глубоко и наглядно представлены целостность, единство, иерархическая структура грамматического строя, а также оригинальность и национальная самобытность русского языка.

Категория частей речи является стержнем грамматического учения В.В. Виноградова о слове, и не только о слове — его синтаксическая концепция в полной мере раскрывает грамматический потенциал частей речи. Идея единства грамматического строя русского языка чеканно (хотя и несколько загадочно) сформулирована в тезисе: «Морфологические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы» [1].

В.В. Виноградов отстоял, защитил, обосновал главенствующее место частей речи в грамматической системе русского языка. «... Многим авторам грамматик, — отметил он, — старое учение о частях речи кажется совершенно скомпрометированным» [2]. Он не отверг это «старое» учение, не взорвал, но внёс такие коррективы, которые в корне его преобразовали.

Новаторство в учении В.В. Виноградова о частях речи определяется тремя основными положениями. Во-первых, части речи представлены как элемент иерархической системы — структурно-семантических классов слов. Во-вторых, сформулирован категориальный принцип обоснования, выделения и разграничения частей речи. В-третьих, система частей речи представлена во взаимосвязанности и в развитии, в движении.

Категориальную сущность частей речи Виноградов установил относительно имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия. Категориальность первых трёх заключается в системе категорий и форм, определяющих общее значение [3] и синтаксическое употребление. Наречие противопоставлено им бесформенностью (неизменяемостью) и отсутствием грамматических категорий. В.В. Виноградов отстоял частеречный статус наречия. «Если лингвистический скептицизм простирается дальше, то подвергается сомнению право наречий на звание самостоятельной части речи» [4].

В пользу указанного статуса наречия говорит его высокая продуктивность, интенсивное пополнение. «В современном русском языке происходит непрестанное передвижение именных форм в систему наречий» [5].

Категориальный подход В.В. Виноградова к определению четырёх основных частей речи аналогичен трактовке их А.М. Пешковским: «Имя существительное, имя прилагательное, глагол и наречие являются основными частями речи и основными грамматическими категориями её (выделено автором. — П.Л.)» [6]. А.М. Пешковский склонен усиленно подчёркивать формальную сущность категории частей речи: так, в имени существительном он видит «формальную категорию» «предметности», или «существительности» [7].

Для В.В. Виноградова грамматическая категория — это единство общего грамматического значения и формальных средств его выражения. Имя существительное: «Под эту категорию подводятся слова, выражающие предметность и представляющие её в формах рода, числа и падежа» [8].

Эта формула определения части речи в Грамматике-80 перенесена на все выделяемые ею знаменательные части речи, в том числе на те, которые не имеют категориального значения, — местоимения и числительные. Указательность и количество — это значения номинативного плана, а не категориального [9].

Только в четырёх «основных» частях речи категориальное значение формируется оригинальным комплексом частных категорий и их показателей (в наречии — их полным отсутствием). Все другие категории слов, именуемых частями речи, являются так или

иначе «смешанными», «гибридными». Это не умаляет их грамматической значимости, а для грамматистов — привлекательности. Именно в этой сфере грамматики рождаются идеи «новых» частей речи.

В.В. Виноградов обосновал частеречный статус категории состояния. Отмечая общую грамматическую категорию разнородных групп слов — аналитически выраженное время, он попытался подкрепить свою идею синтаксическим аргументом — безличным употреблением данной части речи. В свою очередь, в сфере безличности, безличного сказуемого оказалась значительная группа существительных, которые в сочетании с инфинитивом выступают в качестве модально-экспрессивного компонента, по В.В. Виноградову, «слова категории состояния, выражающие морально-этическую квалификацию действия: *грех, стыд, срам, досада, смех, каторга, жуть, страх, ужас, мука, позор* и т.п.»; *долженствование — пора, время* [10]; «это бывшие формы именительного падежа существительных, утратившие основные свойства категории существительного и сблизившиеся по своим функциям с безлично-предикативными словами, <...> самый оттенок предметности в них ослабевает» [11].

Мы, однако, полагаем, что синтаксическая функция — употребление в составе безличного сказуемого — и эмоционально-оценочная или модально-экспрессивная семантика не могут считаться достаточными аргументами для «отлучения» указанных слов (и многих подобных!) от категории имени существительного. Форма времени, представляемая *безличной* связкой (*было, будет* и нулём), принадлежит сказуемому в целом, а не словам категории состояния.

В указанных словах «оттенок предметности» не утрачивается; он может быть даже подчёркнут и усилен согласуемым интенсификатором *какой*: *какой грех, стыд, срам — обманывать; какая жуть, мука, каторга — расставаться*; ср.: *самое время, самая пора — уезжать* и т.п. Между тем *жаль*, этимологическое имя существительное, не допускает употребления согласуемого интенсификатора, но только *как*: *Как жаль было уезжать!*

Закрепление за определённой группой слов категории имени существительного модально-оценочной функции в сочетании с инфинитивом — это, на наш взгляд, грамматическая тенденция, но не категориальное явление. В представленном В.В. Виноградовым составе часть речи категория состояния не имеет ни общего категориального значения, ни общего формообразования. Вследствие этого идея особой части речи не получила должного признания и поддержки, что наиболее серьёзно проявилось в «молчании» трёх грамматик, изданных академическим Институтом русского языка; все они ограничились выделением особого разряда наречия — предикативных наречий. Подробное описание категории состояния как части речи было представлено Е.М. Галкиной-Федорук [12].

К сожалению, не получила должного развития другая плодотворная грамматическая идея В.В. Виноградова — об отходе так называемых кратких качественных прилагательных от категории данной части речи. Утрата склонения, закрепление исключительности в предикативной функции и становление аналитической формы времени и наклонения давно стали грамматическим фактом. Непрестанно идёт процесс лексико-семантического расхождения полных форм прилагательных и их кратких дериватов; «значение качества переходит в значение качественного состояния» [13]. В современном русском языке употребление «кратких форм» без связки невозможно. «Формы времени кладут резкую грань между кратким и полными прилагательными» [14].

Таким образом, есть все основания говорить о том, что в русском языке сформировалась часть речи *предикатив* как грамматическая категория [15]. В ней совмещены глагольные и именные формы и значения. Связка оформляет время, наклонение, лицо, число (в прошедшем времени и в сослагательном наклонении — число и род); именная форма изменяется по числу и роду, имеет сравнительную степень. По образу и подобию глагола предикатив обладает безличной формой, показателями которой являются фор-

манты связки *-ет*, *-л-о*, *-л-о бы* и именная форма на *-о*. Идея безличной формы предикатива принадлежит В.Н. Мигирину [16]. В предложениях *Было уже поздно*; *Мне стало весело*; *На улице было пустынно* и т.п. употреблена безличная форма предикатива.

Часть речи предикатив имеет категориальное значение состояния, представляемое системой перечисленных выше форм.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М.-Л., 1947. — С. 29.
2. Там же. — С. 41.
3. Мы называем это значение категориальным; см.: П.А. Лекант. Категориальная семантика частей речи в русском языке / Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 7 и сл.
4. Виноградов В.В. Указ. соч. — С. 40.
5. Там же. — С. 42.
6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. — М., 2001. — С. 119.
7. Там же. — С. 85.
8. Виноградов В.В. Указ. соч. — С. 48.
9. Подробнее см.: Лекант П.А. Указ. соч. — С. 20-22.
10. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / Избранные труды. Исследования по русской грамматике. — М., 1975. — С. 66.
11. Виноградов В.В. Русский язык... — С. 417.
12. См.: Современный русский язык. Морфология. Под ред. акад. В.В. Виноградова. — М., 1952. — С. 394-405.
13. Виноградов В.В. Русский язык... — С. 254.
14. Там же. — С. 265.
15. См.: Лекант П.А. Часть речи предикатив / Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 26-31; Дегтярёва М.В. О частеречном статусе предикатива // Вестник Московского государственного областного университета. — № 4. — Серия «Русская филология». — Вып. 1. — М., 2004. — С. 14-22.
16. См.: Мигирин В.Н. Категория состояния или бессубъектные прилагательные? // Исследования по современному русскому языку. — М., 1970. — С. 150 и сл.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПИСКИ ЦАРСКИХ САНОВНИКОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА: М.М. СПЕРАНСКИЙ И А.А. АРАКЧЕЕВ

Общая картина частной и частно-официальной корреспонденции царских вельмож первой трети XIX в. складывается благодаря синтезу персональных эпистолярных архивов, за которыми стоят личности, вершившие судьбы людей и России. «В частной и даже деловой, но не официальной переписке, выясняются характеры лиц их писавших, и отчасти тех, к кому письма адресованы. Перед нами являются живые люди с особенностями их характера и привычками; являются деятели высокодаровитые, но неизвестные ни современникам, ни ближайшим потомкам, по скромности их характера и нежеланию хвалиться своими заслугами. Мы видим в этих письмах даровитую, скромную и высокочестную личность барона Кампенаузена, искательный характер М. Магницкого, дипломатическое поведение М. Сперанского относительно лиц его окружавших, своеобразный характер графа Ростопчина и др.», — писал в 1883 году издатель этих писем Н. Дубровин [1].

Звезды Сперанского и Аракчеева, кого А.С. Пушкин назвал «гениями блага и зла», звезды двух временщиков, восходили на политическом небосклоне России одновременно. В журнале «Русская старина» за 1876 год находим замечания исследователя о том, что «Александр I как бы чувствовал необходимость быть под влиянием другого человека. И когда один любимец падал, сейчас являлся другой. ... Сперанский и Аракчеев владели им, что каждый в свою очередь мог назваться правителем государства. Разница между ними была великая. Аракчеев, при всех своих заслугах, бросал мрачную тень на своего государя: Александр и Аракчеев — это были ангел и сатана (!). Сперанский, сколько ни возродил против себя ропота и сказок в народе, видится каким-то светлым гением» [2]. Д.П. Рунич называл Сперанского человеком «ума великого, характера твердого, способностей необыкновенных» [3]. После его смерти М.А. Корф, пожалуй, наиболее удачно вписал его биографию яркий эпитет — «светило русской администрации». Именно административно-государственной службе посвятил всю свою жизнь Сперанский.

В частно-официальной и частной переписке М.М. Сперанский сознательно старается избегать сухого канцелярского повествования. Его частно-официальные письма очищены от бюрократических оборотов, неправильностей и шероховатостей разного рода. Великолепно владея риторической техникой, независимо от адресата, М.М. Сперанский придерживается риторических канонов и постоянно оттачивает языковое мастерство, сохраняя константы жанра письма. При этом он не стремится к разнообразию эпистолярного общения: для него в письмах важна самореализация. Специфика писем детерминирована целостностью личности адресанта. Тексты их выявляют особенности языковой личности «русского реформатора» — сильное прагматическое начало, сущность которого можно определить как устремленность к самовыражению и реализации ментальных установок, областью которых должна стать общественно-политическая, идеологическая сфера. Интенциональность автора сильна, поэтому письма М.М. Сперанского по форме экспликации представляют собой монолог характера «Я-общения».

В своей «Риторике» М.М. Сперанский писал, что необходимо «приискать слова, распорядить их, дать им оборот и, связав известным образом сии обороты, предложить свою материю известным слогом, или, короче, ... выразить предмет словами. И отсюда происходит третья часть риторики, которая рассуждает о выражении и, собственно, называется *elocutio*» [4]. Поэтому М.М. Сперанский использует **перечислительный** прием почти в каждом частно-официальном и частном письме, чем подчеркивает логичность изложения: 1) *О переписке...*, 2) *О денежных делах...*; 3) *О деревне...*, 4) *О жаловании...*

книгах... (П.Г. Масальскому) [5]; *При помощи Божией и милостях Государевых мне нужны к сему две вещи: первое, чтоб вы дозволили мне из Сибири откровенно к себе писать о деле и безделье и, различая одно от другого, одному давали бы ход, другое же отлагали бы в сторону...; второе, чтоб донесения мои по службе, не рассыпаясь по частям, входили прямо к вам, и от вас и через вас получали бы разрешение* (А.А. Аракчееву); *градацию и гиперболу: Отсюда [из Иркутска. — И.Л.] до Нижнеудинска был один голос, или лучше сказать один вопль на жестокости и поборы* (А.Н. Голицыну); *Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, что и можно бы было сделать, то здесь оставалось бы уже всех повесить* (А.А. Столыпину); *антитезу: Чем злоупотребления очевиднее, тем тягостнее искать еще на очевидность сию доказательств* (А.Н. Голицыну); *Везде, на всех концах света, есть всеобщее движение от телесного к духовному, от тьмы к свету, от заблуждений к истине* (С.С. Уварову); *анафору: Тысячу раз искал я в себе средств против смертоносных его действий, тысячу раз жалел о той лестной безрассудности, на которой беспечно в летах моей юности опочивала душа моя, тысячу раз хотел преобразовать план моей жизни, принять другие правила* (К.В. Злобину); *цитирование: В Высочайшем рескрипте от 20 марта Вашему Императорскому Величеству благоугодно было повелевать, «по окончании возложенного на меня поручения, прибыть в С.-Петербург к последним числам марта месяца будущего года»...* (Александру I); *риторический вопрос: Но рассуждают ли о цене, когда покупают счастье?; Налагают ли законы сердцу?* (К.В. Злобину) [6] и т.д.

Таким образом, языковая личность хорошего стилиста видна в письмах М.М. Сперанского.

Ощущая интенциональность писем, предполагая их коммуникативно-стилистическую направленность, М.М. Сперанский при этом, как показывают наши наблюдения, не стремился установить жанровые границы своих частно-официальных и частных писем. Степень близости адресанта и адресата нередко можно определить лишь по историческим свидетельствам и заметкам самого автора. Тексты подобных писем отличаются комплексным содержанием, в большинстве своем это риторически правильно выстроенный монолог с элементами описания, повествования и рассуждения, степень использования которых зависит от поставленной адресантом коммуникативной задачи.

Скрытность, заложенная в натуре М.М. Сперанского, способствовала тому, что современники считали его «малоспособным к истинной дружбе». На наш взгляд, это мнение не совсем справедливо. В своих письмах М.М. Сперанский опровергает это суждение. В 1817 году 16 января из Пензы он писал Д.Б. Тевкелеву: *Судьба моя имела ту примечательную странность, что я не потерял во все сие время ни одного друга; и напротив приобрел еще несколько новых; и сие приобретение, подобно как дети в старости, есть самое привлекательное и драгоценное* [7]. На протяжении всей своей жизни Сперанский ценил своих друзей (К.В. Злобина, В.Н. Каразина, А.Ф. Лабзина, П.Г. Масальского, П.А. Словцова, А.А. Столыпина, Д.Б. Тевкелева), был благодарен им, ощущал острую необходимость в общении с ними, что и иллюстрируют его частные письма.

Но «единственным другом» Сперанского, по его собственным словам [8], была дочь Елизавета. В тяжелые опальные годы именно дочь смогла стать Сперанскому настоящим другом, в котором он так безмерно нуждался. Письма Сперанского к дочери, написанные в данную пору, выделяются из всей его переписки своей содержательностью, глубиной мысли и проникновенностью. Их лексическое наполнение, синтаксический строй, система средств интимизации показывают, что подобные письма пишут обычно лишь в том случае, когда рассчитывают на понимание и сочувствие [9]. 21 ноября 1816 года: *Я с тобою только составляю одно целое: без тебя же я не могу иметь всей полноты моего бытия;* 21 января 1820: *К тебе одной, моему единственному другу, пишу я с полной откровенностью и доверием;* 15 мая 1820 года: *Не бери в счет моего бытия: думай только о своем счастье и будь уверена, что я буду совершенно счастлив, когда за 6 т. верст буду только знать, что ты*

счастлива. Любовь моя к тебе совершенно бескорыстна: ибо мое личное счастье и по летам моим и по милости Божией так удостоверено, что оно ни от кого не зависит. Следовательно, думай только о себе, если хочешь видеть меня счастливым [10].

Коммуникативная направленность и интенциональность писем Сперанского к дочери и П.Г. Масальскому несомненна. Они имеют и свои специфические лексико-стилистические особенности, что заметно отличает их от остальной частной переписки. В них и вопросная манера изложения: *На что же было присылать ко мне и письмо губернатора? — Не понимаю* (П.Г. Масальскому, 4 февраля 1815 года); *Что делает наша невеста? Спокойна ли? Верит ли своему счастью?* (дочери, 23 октября 1820 года); *Кто тот молодой человек, который так восхищен служить под моим начальством (а не подо мною)? Ты забыла мне сказать его имя* (дочери, 20 июня 1819 года) и разговорность синтаксических конструкций: *31 марта ... я сидел после обеда у окошка и беседовал с моим греческим Геродотом — колокольчик, фельдъегерь — я сибирский генерал-губернатор* (дочери, 5 апреля 1819 года).

Отмечена нами и незначительная маркированность контекстов, что в принципе Сперанскому не свойственно: просторечное — *прожиток*; разговорные — *враль, приятель, безделка, присылка, развязаться*; шутливо-бранное с ироническим оттенком — *дура*; и даже потенциальное новообразование — *полусвидание*. Обратимся к примерам: *Из всей суммы сей мне нужно только 5.000 р. ас. на прожиток* (П.Г. Масальскому, 14 августа 1812 года); *...а остальные 500 р. отдавать Елисавете Андреевне на прожиток* (ему же, 6 июля 1813 года); *Но сей самый высокий, парящий Шатобриан есть простой площадной враль в политике* (дочери, 21 июля 1820 года); *Я боюсь, чтоб нечаянный возврат [Александра I из-за границы. — И.Л.] не заставил нас сожалеть о времени, и чтоб приятель наш с отчаяния не запалил еще какой-нибудь грамоты, коею повредит себе, а может быть и мне* (П.Г. Масальскому о М.Л. Магницком, 4 февраля 1815 года). Здесь отметим также контекстуально-сниженное *запалить* в значении «написать». В письме к П.Г. Масальскому от 30 мая 1816 года: *P.S. Две безделки...; Поздно, любезный мой, было бы благодарить вас за все хлопоты в домашних моих поручениях: вы меня совершенно и надолго присылкою их успокоили* (ему же, 1815 год, без числа); *Радостная также весть и о прибытии сюда г. Руско. Советы его мне весьма нужны: ибо здешний землемер и глуп и пьян. Я совершенно с ним развязался* (П.Г. Масальскому, 14 марта 1815 года, Великополье) [11]; *Здесь получил я два положительные письма, коими утверждается наше свидание в марте, а может быть несколько и ранее. Подвяжи крылья сим пяти или шести месяцам. ...Из шести месяцев можно вычесть один на путешествие; а это уже полусвидание* (дочери, 19 августа 1820 года из Томска) [12].

Использование разговорно-просторечной лексики в частных письмах Сперанского нечасто и не несет специальной стилистической направленности. Лишь сознательно, прагматически взвешенно, в стилистических целях, использует отец-Сперанский сниженное *дура* в контексте шутливо-ироничного письма к дочери, подчеркнуто вводя его не один раз: *Стихи твои действительно прекрасны. Самое чувство пером твоим водило. Последняя строфа особенно прекрасна нравственным ее отливом. Я знаю ее наизусть; но скажи мне: много ли есть на свете дур, которые влюблены в своих мужей и пишут им стихи? Не знаю, много ли, но желал бы, чтоб они все тебе были подобны; тогда дуры были бы любезнейшие и счастливейшие на свете создания* [13].

Анализ эпистолярных бумаг показал, что всегда особыми, неординарными были отношения М.М. Сперанского и Александра I. До 1812 года — любимец, государственный секретарь, вельможа первой величины, после — опальный ссыльный и генерал-губернатор Сибири. Все случившиеся в его жизни несчастья Сперанский приписывал не лично му недоброжелательству или несправедливости царя, а единственно людской клевете. Об этом он писал и в письмах друзьям, дочери, сановникам и самому царю: *Бог был и будет свидетелем между Вами и мною* (Александру I, январь 1813 года, из Перми) [14].

1812 год стал рубежным для Сперанского. Эпистолярные бумаги свидетельствуют

опала и ссылка сломили его. Меняется прагматический уровень языковой личности. После открытых, смелых писем царю до 1812 года в письмах пензенского и сибирского периодов заметен иной характер интенций и прагматических установок: становятся частотными оправдательные сентенции, ласкательства, выделяются «показатели» самоунижения и унижения (например, в ответе на рескрипт о назначении его генерал-губернатором Сибири), непреодолимое стремление снова возвратиться в Петербург. В силу своего опального положения Сперанский заискивает перед А.А. Аракчеевым. С 1812 года все благородные влечения Сперанского во многом подчинились обыденным целям рядового придворного.

С 1815 года, с того времени, когда император всецело занялся вопросами внешней политики, уже после Отечественной войны и падения Сперанского, Россией управлял граф А.А. Аракчеев. К своему предшественнику М.М. Сперанскому Аракчеев относился неоднозначно. Сближение Сперанского с императором он переживал как личную трагедию.

Будучи человеком недалекого ума, Аракчеев сам осознавал недостаток своего образования и блестящий талант Сперанского. Об этом он писал в декабре 1809 года императору: *Государь! Вам известна мера бывшего моего в молодости воспитания: она к несчастию моему ограничена была в тесном самом круге данных мне пособий, а чрез то я в нынешних своих летах не более себя чувствую, как добрым офицером, могущим только наблюдать в точности за исполнением военного нашего ремесла... Ныне же к точному исполнению мудрых Ваших постановлений потребен министр, получивший полное воспитание о общих сведениях... Я к оному, Государь, неспособен...* [15]. Незнатность Сперанского сближала его с Аракчеевым. Бедный дворянин по происхождению, Аракчеев ненавидел аристократов. Во всяком случае, падение Сперанского он принял в качестве большого выигрыша русской аристократии и дурного предзнаменования для себя.

Г.С. Батенков, служивший долгое время секретарем сначала у одного временщика, а затем и у другого, так сравнивает их в 1826 году: «Аракчеев страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед; Сперанский страшен морально, ибо прогневить его значит уже лишиться уважения. Аракчеев зависим, ибо сам писать не может и не учен; Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным. Аракчеев в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично, с подчиненным совершенно искренен и увлекается всеми страстями. Сперанский всегда является в приличии, дорожит каждым словом и кажется не искренним и холодным» [16]. Но сопоставление эпистолярия Сперанского и Аракчеева свидетельствует, что письма последнего проигрывают в яркости лингвистических красок, оставаясь лишь фактом истории. И мы продолжаем утверждать, что стилистическую тональность письма в первую очередь диктует личность самого адресанта.

Исследуемая частная и частно-официальная переписка Аракчеева представляется мрачной, как сама фигура сановника. Как показывают наши наблюдения, эпистолярный архив царского временщика — пример лицемерного раболепия, нередко слащавого и постоянно заискивающего угодничества в письмах к царю и грубой, нетерпимой безграмотности казенного царедворца, наделенного безграничной властью. Сопоставление писем Аракчеева к Александру I, Николаю I, М.М. Сперанскому, Ф.В. Ростопчину, олонецкому и новгородскому губернаторам А.А. Ушакову и П.И. Сумарокову, к друзьям, как он их называет, Н.С. Свечину и И.Т. Сназину, к братьям Петру и Андрею фиксирует незначительное жанровое отличие. Четкий риторически канонизированный формуляр, прогнозируемая структура, однообразная тематика, статусное разделение своих адресатов, подчеркнутое Вы-общение, на этом фоне невозможная по сути своей экспрессия, ограниченная только в отдельных письмах междометиями *Ах!* и *Ох!* и плаксивостью тона и т.п. усугубляются неприкрытой безграмотностью.

Начиная с 1796 года, Аракчеев и великий князь Александр Павлович писали письма друг другу. Нами определено, что, действительно, письма Аракчеева к царю, на фоне всей переписки в целом, оказываются чуть ли не самыми теплыми и душевными, если не принимать во внимание неприкрытое низкопоклонство и слащавость тона: *Целую ручку у вашего высочества, остаюсь верный подданный ваш Аракчеев*. Великого князя Александра Павловича Аракчеев называет не иначе, как **батюшка**, повторяя это слово не менее пяти раз в одном письме: **Батюшка**, ваше императорское высочество... по приезде, **батюшка**, вашем... полученные дела я, **батюшка**, в скорости отделаю и доставлю... Я все боюсь, **батюшка**, чтоб Апрелев мог вам угодить... Ах! Если бы я мог летать всякий день в Павловское и делать то, что угодно моему **батюшке** Александру Павловичу... (22 мая 1797 года) [17].

Тематика писем Аракчеева к Александру I однообразна. Как правило, одно письмо подчинено определенной теме, имеет запланированную адресантом прагматическую установку. Это могут быть сетования на здоровье свое и императора: *Болезнь Ваша испугала меня... Государь! И Ваши лета приближаются к нашим, то нужно беречь здоровье*, худо без него, я оно каждый день чувствую над собою (2 апреля 1820 года из Грузино) [18]. И поздравления с различными праздниками: *Я сию неделю говею и при душевной моей исповеди не имею греха против Вас, Батюшка, а поздравляю Вас с наступающим праздником, в котором первая моя мысль обратиться к Вам, ибо я теперь не имею родительницы, следовательно все на свете у меня заменяете собою* (6 апреля 1821 года, Грузино) [19].

История умалчивает о действительно искренней привязанности Аракчеева к кому-либо. В своем окружении он не дифференцировал своих адресатов. Судя по эпистолярным источникам, частная переписка Аракчеева не была четко выражена в жанровых характеристиках. Будь то письма к царю или к братьям, Н.С. Свечину — новгородскому губернскому предводителю дворянства, или к генерал-майору И.Т. Сназину, которого Аракчеев знал еще со времен их совместной службы в Гатчино, везде присутствовал четкий риторический канон, прогнозируемая структура.

В поздних письмах А.А. Аракчеева эксплицитная самооценка почти отсутствует. Пополнить сведения о языковой личности их автора можно по оценкам такого объекта, как историческая личность, данным в отзывах современников. Невозможно представить себе более ненавистную современникам личность, чем Аракчеев. Князь П.М. Волконский называл Аракчеева в своих письмах и разговорах не иначе как *проклятый змей, злодей*. В письме к А.А. Закревскому о кончине императора Александра I: *Проклятый змей и тут отчасти причиною сего несчастья мерзкою своею историей [убийство Настасьи Минкиной. — И.Л.] и гнуснейшим поступком; ибо в первый день болезни государь занимался чтением полученных им бумаг от змея, и вдруг почувствовал ужаснейший жар, вероятно происшедший от досады, слег в постель и более уже не вставал. Не правда ли я говорил вам, что изверг губит Россию и погубит государя, который узнает все его неистовства, но поздно. Вот мое чувство мое и сбылось! Может ли сей изверг показываться еще на глаза в свете, и неужели совесть его не убьет; но хотя бы сие и случилось, не воротить уже несчастья, постигшего Россию и всех нас, истинно преданных государю* [20]. А.А. Закревский, в свою очередь называл Аракчеева *вреднейшим человеком*. Великая княгиня Александра Федоровна так вспоминала о царском временщике: «Этого человека боялись, его никто не любил... чувствовала себя приятнее в обществе Голицына, нежели Аракчеева, который говорил только по-русски и внушал мне какой-то инстинктивный страх» [21]. Подобное же отношение было к Аракчееву и в обществе.

Только после смерти Александра I, в апреле 1826 года, он сходит с политической арены России, где так долго играл первую роль, «не имея никаких нравственных данных, кроме безграничной лживости, изворотливости и беззастенчивости, которые затмевали в глазах потомства его служебные качества: энергию и трудоспособность, разменявшиеся на мелочь и несоответственно им направляемые» [22].

Частная переписка царских сановников первой трети XIX столетия сообщает не только о ярких исторических деталях, но и репрезентирует языковую личность самих адресантов. Сперанский и Аракчеев, два значительных государственных мужа одной эпохи, самым своим участием в исторической жизни России «как бы оттеняли друг друга», а анализ текстов их писем, наполненных субъективными интенциями, отраженными текстовой тканью позволяет современникам и потомкам судить об их заслугах перед царем и Отечеством.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I. — СПб., 1883. — С. III.
2. Ссылка М.М. Сперанского в 1812 г.: Исторический очерк по вновь открытым материалам // РС 1876. — Т. XVI. — С. 75-76.
3. Журнал «Русская старина» (РС) 1905. — Т. СХХII. — С. 452.
4. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. — СПб., 1844. — С. 159.
5. Дружеские письма гр. М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому... — СПб., 1862. — С. 25-27.
6. В память гр. Михаила Михайловича Сперанского. 1772-1872. — СПб., 1872. — С. 118, 228, 232, 246, 248, 302, 363, 365.
7. РС 1880. — Т. XXVIII. — С. 745.
8. Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне... — М., 1869.
9. Нами впервые представлено лингвистическое исследование частных писем М.М. Сперанского к дочери. Ср. историко-биографическое описание писем в кн.: Томсинов В.А. Светило российской бюрократии... — М., 1991.
10. Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне... — С. 4, 95, 103.
11. Дружеские письма гр. М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому... — С. 66, 84, 60, 80.
12. Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне... — С. 177, 188-189.
13. В память гр. Михаила Михайловича Сперанского. — С. 672.
14. Русский заграничный сборник. — Paris, 1858. — № VI. Карамзин и Сперанский. — С. 40.
15. История царствования императора Александра I и России в его время. — СПб., 1871. — Т. VI. Приложение. — С. 86.
16. Батенков Г.С. Граф М.М. Сперанский и граф А.А. Аракчеев // РС 1897. — Т. XCII. — С. 88-89.
17. РС 1903. — Т. СХIV. — С. 508-509.
18. История царствования императора Александра I и России в его время. — С. 100.
19. Там же. — С. 109.
20. Журнал «Русский архив» (РА) 1870. — Ст. 630.
21. Цит. по кн.: Якушкин В.Е. Сперанский и Аракчеев. — СПб., 1905. — С. 53-54.
22. Федоров В.П. Аракчеев в приказах его по военным поселениям // РС 1911. — Т. CLV. — С. 570.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ «САНКТПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» О ПУГАЧЕВСКОМ БУНТЕ

«Санктпетербургские ведомости» — основная газета России XVIII века. Она пришла на смену самой первой русской печатной газете и до появления в 1756 г. «Московских ведомостей» была единственной российской газетой.

XVIII век — важный период в развитии русского литературного языка. В это время происходило оформление норм литературного языка, становление стилей. Несмотря на то что газета отражала речевую практику эпохи, в научной литературе отсутствуют специальные лингвистические исследования «Санктпетербургских ведомостей» XVIII века.

В статье на основе анализа частотных лексических единиц, грамматических форм и конструкций рассматриваются основные лексико-грамматические особенности публикаций о Пугачевском бунте, представленных на страницах «Санктпетербургских ведомостей».

Обычно в XVIII столетии «Санктпетербургские ведомости» выходили с «Прибавлениями», в которых, как и в основном выпуске газеты, находили отражение важнейшие события международной и внутренней жизни, разнообразные объявления. Однако в «Прибавлениях» шире освещались дела, имеющие внутривластный характер. Именно в «Прибавлениях к Санктпетербургским ведомостям» преимущественно в форме выдержек из рапортов, поступавших в Петербург от военачальников, были опубликованы сообщения о подавлении Пугачевского бунта («Прибавления» к номерам 16, 23, 29, 34 за 1774 год).

В газетных материалах о Пугачевском бунте центральной лексико-семантической оппозицией является оппозиция «МЫ — ОНИ», разделяющая русское общество на два враждующих лагеря. Все упоминания на газетных страницах Пугачева и его сторонников сопровождаются исключительно словами с отрицательной эмоциональной оценкой, наибольшей частотностью среди которых обладают лексические единицы с корневым компонентом *зл-* (всего 74 употребления). Весь бунт в целом характеризуется как *зло*, *злота*, которому противопоставлено *благо*. Слова с компонентом *благ-* (38 употреблений) используются только по отношению к действиям дворян, дворянского корпуса, регулярных войск и Екатерины II (то есть к группе МЫ). Оппозиция «МЫ — ОНИ» в газетных публикациях о подавлении Пугачевского бунта соотносится с оппозициями «БЛАГО — ЗЛО» и «ПОКОЙ — НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ».

Материалы «Санктпетербургских ведомостей» о Пугачевском бунте наполнены лексическими и грамматическими формами и конструкциями церковно-книжного языка, характерными для высокого стиля. Среди ярких примет книжного стиля в первую очередь следует отметить употребление многих церковнославянизмов: *восприять*, *восторг*, *вещи*, *вспоможение*, *воскурить*, *восписываем*, *вопиет*, *неизглаголанной*, *поспешествование*, *увещание*, *водружаем*, *сокрушение* и мн. др. Особую группу составляют старославянизмы, отличающиеся от соответствующих слов русского языка фонетическим обликом (неподголосие): *град* — 1 употребление, *глас* — 3, *враг* — 1, *чрез* — 4. На газетных страницах, освещающих Пугачевский бунт, используется большое количество слов, содержащих приставки книжнославянского происхождения. Слова, начинающиеся книжной приставкой *воз-* / *вос-*, представлены тридцатью шестью употреблениями (*воз-* — 23 употребления, *возвизгало* — 1, *возвещенному* — 1, *возвратившагося* — 1, *возвратившихся* — 1, *возвратились* — 2, *возвратился* — 1, *возвратясь* — 1, *возвращением* — 1, *воздать* — 2, *возлюбленную* — 1, *возможно* — 1, *возможности* — 2, *возмутитель* — 1, *возникнуть* — 1, *возпользовавшись* — 1, *возпрепятствовало* — 1, *возпротивиться* — 1, *возстановления* — 2, *возчувствовали* — 1; *вос-* — 13 употреблений: *воскликнули* — 1, *восклицании* — 1, *воскурить* — 1, *восписываем* — 1, *воспи-*

менением – 1, восприимите – 1, воспрять – 2, восторг – 4, восхищение – 1). Приставка **пре-** употреблена семь раз в одноприставочных словах (*превеликим* – 1 употребление, *превеликою* – 1, *превышающая* – 1, *премудрой* – 1, *пресекая* – 1, *пресечения* – 1, *пресечь* – 1), двадцать – в двухприставочных словах, двенадцать из которых во второй позиции имеют книжную приставку **воз-** / **вос-** (*превозношение* – 1 употребление, *Превосходительство* – 10, *превосходство* – 1, *пренебречь* – 1, *преодолели* – 1, *преподали* – 1, *препроводить* – 1, *препровождаямы* – 1, *препровождаямым* – 1, *препровождаящим* – 1, *препровождения* – 1). Многочисленны (39 употреблений) в газетных сообщениях о Пугачевском бунте слова с приставкой **из-** / **ис-** (**из-** – 30 употреблений: *изъявил* – 1, *изъявления* – 2, *изъяснить* – 1, *изъятия* – 1, *избавясь* – 1, *избрало* – 1, *избран* – 1, *избранного* – 1, *избранной* – 1, *изъявления* – 1, *известился* – 2, *известие* – 5, *известного* – 1, *известной* – 1, *известясь* – 2, *изволению* – 1, *изкоренить* – 1, *изливаете* – 1, *изливая* – 1, *излияние* – 1, *изобилие* – 1, *изобразить* – 2; **ис-** – 9 употреблений: *искоренения* – 1, *исполнение* – 4, *исполнено* – 2, *исполнить* – 1, *истребление* – 1). Однако надо учитывать, что не все слова с приставкой **из-** / **ис-** маркированы как стилистически книжные лексемы. В русском языке приставка **из-** / **ис-** употреблялась не только для выражения пространственно-временных отношений, как в церковнославянском, но и для обозначения «полноты действия, ср. *исходити* (весь город), *исписати* (весь лист), *изорати* (все поле)» [1]. В отличие от церковнославянской приставки **из-** / **ис-**, которой регулярно соответствует русская **вы-**, приставка **из-** / **ис-**, указывающая на полноту действия, не противопоставляется приставке **вы-** и не осознается как книжная.

В лексическом составе газетных публикаций о Пугачевском бунте широко представлены семантически емкие и образно-выразительные сложные слова, характерные для книжнославянского языка: *человеколюбие*, *благоденствие*, *благодаяния*, *благовремения*, *благоговение*, *благодарение*, *благоутробие*, *боголешие*, *единодушие* и др. Одну из самых частотных лексических групп, включающую 36 употреблений, образуют сложные слова с первым компонентом *благо-*.

Распространены в анализируемых материалах отвлеченные понятия: *благоволение* – 7 употреблений, *благодарение* – 3, *благодарность* – 1, *благоденствие* – 3, *благополучие* – 3, *верность* – 1, *великодушие* – 2, *восторг* – 4, *восхищение* – 1, *долг* – 4, *жертва* – 1, *зло* – 1, *злоба* – 1, *излияние* – 1, *истина* – 1, *милосердие* – 5, *милость* – 3, *мужество* – 1, *подвиг* – 1, *радость* – 7, *ревность* – 3, *скорбь* – 1, *согласие* – 1, *усердие* – 11, *храбрость* – 4, *человеколюбие* – 1, *увещание* – 1, *щастие* – 2 и т. д. Большинство отвлеченных существительных образовано от прилагательных и глаголов. Наиболее частотны абстрактные существительные, образованные:

- от прилагательных с помощью суффикса **-ость** – 82 употребления: *безопасность* – 1, *верность* – 3, *дерзость* – 1, *искренность* – 2, *милость* – 8, *храбрость* – 4 и др.;

- преимущественно от прилагательных с помощью суффикса **-и** [j] – 74 употребления: *благоприятие* – 1, *великодушие* – 2, *подобие* – 1, *усердие* – 11, *милосердие* – 5 и др. Отглагольных абстрактных существительных с суффиксом **-и** [j] зафиксировано всего 9 употреблений: *занятие* – 1, *изъятие* – 1, *отбитие* – 1, *отнятие* – 2, *прибытие* – 2, *прикрытие* – 1, *принятие* – 1;

- от глаголов с помощью суффиксов **-ни** [j] / **-ени** [j] – 172 употребления. Суффикс **-ни** [j] представлен в 39 словах: *восклицание*, *выслушание*, *желание*, *обрадование*, *пожертвование*, *прогнание*, *пропитание*, *благодаяние*, *деяние*, *даяние*, *излияние*, *разсеяние*, *сияние*, *состояние* и др. Самую многочисленную группу абстрактных существительных составляют существительные с суффиксом **-ени** [j] (133 употребления): *благоволение*, *благоговение*, *воспламенение*, *изъявление*, *истребление*, *отмщение*, *поспешение*, *повеление* и др.

При образовании абстрактных существительных довольно редко в сообщениях о Пугачевском бунте встречаются суффиксы **-ств-** / **-еств-** и **-от-**.

Несмотря на то что зафиксировано 125 употреблений суффикса **-ств-** / **-еств-**, для образования отвлеченных существительных используется только 10. В остальных существ-

вительных названный суффикс имеет другие значения. Часто он указывает на собираемость: *дворянство* — 22 употребления, *товарищество* — 2, *человечество* — 1. Но независимо от выражаемого значения суффикс *-ств-* / *-еств-* использован исключительно в словах, характеризующих группу МЫ.

Суффикс *-ом-* представлен тремя словоупотреблениями: *высоты*, *щедроту*, *щедроты*. Два раза из трех слова с суффиксом *-ом-* употреблены во множественном числе, что не характерно для отвлеченных существительных. Слова с суффиксом *-ом-*, как и большинство других абстрактных существительных, используются для обозначений качеств-свойств группы МЫ. Множественное число, по-видимому, призвано усилить положительные качества группы МЫ.

С.П. Обнорский в статье «К истории словообразования в русском литературном языке» [2] выдвинул точку зрения, получившую широкое распространение в научной литературе, о старославянском происхождении таких суффиксов существительных, как *-ость*, *-ствие*, *-ние*, а также об исконно русском характере таких суффиксов, как *-ота*, *-ина*, *-ь*. Разделяя мнение ученых [3]; [4], которые не соглашались с С.П. Обнорским по этому вопросу, мы, опираясь на фактический материал, должны констатировать стилистическое использование в газетных сообщениях о Пугачевском бунте всех суффиксов, употребляемых для образования отвлеченных имен существительных. Данные суффиксы в изучаемых публикациях используются как элементы высокого стиля, придающие книжность, и преимущественно представлены в словах, описывающих группу МЫ.

Исключительно к группе МЫ относятся также прилагательные в сравнительной и превосходной степени, образованные с помощью суффикса *-айш-* — 17 употреблений: *величайшее* — 1, *Высочайшаго* — 1, *высочайшее* — 1, *высочайшей* — 3, *высочайшем* — 1, *высочайшую* — 4, *горячайшаго* — 1, *дражайшаго* — 1, *дражайшем* — 1, *дражайшею* — 1, *дражайшим* — 1, *тончайшее* — 1; суффикса *-ейш-* — 14 употреблений: *всемилоствейшаго* — 1, *Всемилоствейшая* — 3, *всемилоствейшее* — 1, *всемилоствейшей* — 1, *всемилоствейшим* — 1, *всемилоствейшую* — 1, *всеподданнейшее* — 1, *всеусерднейшее* — 1, *скорейшаго* — 1, *усерднейшее* — 1, *чувствительнейшее* — 2; приставки *пре-* — 3 употребления: *превеликим* — 1, *превеликою* — 1, *премудрой* — 1; приставки *наи-* и суффикса *-айш-* — 1 употребление: *наивеличайшее*; суффикса *-ее* — 1 употребление: *величественнее*. Среди прилагательных, употребленных в сравнительной и превосходной степени, преобладают прилагательные высокого стиля на *-ий* (31 употребление): «Славенской рассудительной и превосходной степень на ШИЙ мало употребляется, кроме важного и высокаго стиля...» [5: 91 — 92].

Представлены в газетных материалах о Пугачевском бунте книжные, устаревшие для русского языка XVIII в., формы прошедшего времени — формы аориста: *облиста* (от *облистать* — 1. Сиять, блистать; 2. Освещать (осветить), озарять (озарить) см. Словарь рус. яз. XI — XVII, Т. 12, С. 76 — 77) и *бысть* (форма аориста 3 л. ед. ч. глагола нетематического спряжения *быти*). Форма *бысть* обращает на себя внимание довольно редким вторичным окончанием аориста *-сть*, «занесенным из 3-го л. ед.ч. настоящего времени» [6], а также сочетанием со словом *угодма*: «И *бысть* *угодма* наша жертва пред Тобою». В словарях русского языка XVIII в. и XI — XVII вв. слово *угодма* не зафиксировано, несмотря на то что в «Словаре русского языка XI — XVII вв.» приводится довольно много слов, оканчивающихся на *-ма*, среди которых имеется большая группа существительных (*ковма*, *маньяма*, *радостьма*, *реждама*, и др.), предлоги (*раджама*, *радьма*) и наречия (*больма* означает 'больше, сильнее' (Вып. 1, 1975, 284) *леждама* — 'в лежащем положении, лежа' (Вып. 8, 1981, 199), *лестьма* — 'притворно' (Вып. 8, 1981, 215), *непутьма* — 'без дорог' (Вып. 11, 1986, 261), *сидма* и нек. др.). Иллюстрации к наречиям на *-ма* даны в словаре только из церковной литературы. Это позволяет предположить, что слово *угодма* в языковом сознании русских людей XVIII века соотносилось с наречиями, образованными по устаревшей и редко используемой модели церковнокнижного языка.

Для анализируемых текстов характерно обилие деепричастий. Шестидесяти одному употреблению деепричастий высокого стиля на *-а* / *-я* противопоставлена только одна форма на *-учи* / *-ючи*, служащая грамматической приметой простого стиля [5: 145]: *иду-чи*.

В описаниях столкновений сторон частотны (38 употреблений) деепричастия, образованные от основ глаголов прошедшего времени присоединением суффиксов *-в* и *-вши*: *заяв, захватив, обождав, отбив, открыв, отняв* и др.

Составленные словари-конкордансы показывают, что большинство из деепричастий в материалах о Пугачевском бунте используются только для описаний действий группы МЫ. Из ста всего употребленных в изучаемых публикациях деепричастий только тринадцать характеризуют действия группы ОНИ.

В анализируемых материалах широко представлены причастия, что, согласно «Российской грамматике» Ломоносова, является характерной особенностью высокого «славянского» слога [5: 123]. Общее количество причастий на газетных страницах, освещающих Пугачевский бунт, составляет 43 употребления, из которых 21 имеет суффиксы *-ущ-* / *-ющ-*, *-ащ-* / *-ящ-*. Именно причастия с этими суффиксами, образованные преимущественно от книжных слов, являются яркой приметой высокого слога.

В материалах о подавлении Пугачевского бунта двадцать семь раз местоимение *она* в родительном падеже единственного числа употреблено в форме *ея* и один раз в форме *ее*. Форма *ея* указывает в текстах только на *Екатерину II*, а форма *ее* обозначает *крепость* и используется в контексте: *«решился ее атаковать с примкнутыми штыками»*. Формы родительного падежа местоимений также подвергались в «Российской грамматике» стилистической регламентации: *«Ее, в просторечии, Ея в штиле употреблять пристойнее»* [5:171].

Анализируя газетные публикации о Пугачевском бунте, нельзя не заметить, что книжнославянские языковые средства, соответствующие высокому стилю, употребляются наряду со средствами, характерными для низкого стиля. На фонетическом уровне употребляются как неполногласные сочетания (*град, глас, враг, чрез*), так и русские полногласные формы (*Володимерский, волость, ворота, город, полон*). Книжной приставке *из-*, пришедшей в русский язык из церковнославянского (*изъявил, избрал*), противопоставлены слова с приставкой *вы-* (*выбрав, вышел* и др.). Абстрактные существительные (*верность, долг, жертва, истина, мужество*) соседствуют с конкретными (*город, деревня, дорога, завод*). Церковнославянизмы (*взящий, глас, поспешествование*) используются наряду с разговорными, просторечными словами (*сунулся, схватил, вскакав, идучи*).

В родительном падеже единственного числа прилагательных мужского рода, а также местоимений, причастий и порядковых числительных, склоняющихся по типу прилагательных, преобладает окончание церковнокнижного языка *-аго*, составляя 108 употреблений. Прилагательные мужского рода, причастия и порядковые числительные имеют в родительном падеже единственного числа только окончание *-аго*. При склонении «прилагательных местоимений» (термин А. А. Барсова), см.: [7] наблюдаются варианты, что свидетельствует о проникновении в газетные материалы не книжных элементов, отражавших произношение.

В родительном падеже единственного числа существительных мужского рода, употребленных с прилагательными, преобладает окончание высокого стиля *-а*. Оно составляет 26 употреблений. Окончание *-у*, допустимое только для низкого стиля, встречается в родительном падеже единственного числа существительных мужского рода десять раз в словах: *полк* — 8 употреблений, *зброд* — 1, *год* — 1.

Согласно теории трех стилей, прилагательные в форме именительного падежа единственного числа мужского рода в высоком стиле оканчиваются на *-ый* в ударном и безударном положении, в просторечии — на *-ой*. Те же окончания отмечены Ломоносовым и у «прошед-

ших» причастий старательного залога (Российская грамматика, § 441, 442). В нашем материале из пятнадцати зафиксированных примеров только четыре формы имеют окончание высокого стиля: **-ый**: *приятный фимиан, всенародный читель, новый глас, достойный Генерал*. Одиннадцать форм употреблены с окончанием **-ой**: *храброй Полковник, посланной к Уфе корпус, конной корпус, Титулярной Советник, гусарской Поручик, отправленной к стороне Мензелинска деташамент, предводитель дворянской, подобной поступок, благодарной молебен, достопамятной и прямо торжественной день, избранной в нем начальник*.

Противопоставление окончания **-ый**, отнесенного М. В. Ломоносовым к высокому стилю, и **-ой**, характерного для низкого стиля, в именительном падеже единственного числа прилагательных мужского рода отражено и в более поздних грамматиках (см., напр., «Российскую грамматику» А.А. Барсова). По словам Академической грамматики, «перед простыми существительными именами приличие слога требует и прилагательные ставить простые же, т.е. с простым окончанием...» [8], следовательно, «славенские» существительные надо употреблять с соответствующими прилагательными. Однако анализируемый материал свидетельствует о меньшем количестве форм на **-ый** и об употреблении форм на **-ой** с существительными, характерными не только для низкого или среднего стиля, но и для высокого. Напр.: *благодарной* молебен (отправлен был благодарной молебен о дражайшем и многолетнем здравии); *достопамятной* и прямо *торжественной* день.

Составители газетных материалов о подавлении Пугачевского бунта намеренно используют большое количество редко употребляемых в обыденной речи элементов высокого стиля, подчеркивая значимость этой борьбы. Поэтому можно сделать предположение, что окончания **-ый** и **-ой** в именительном падеже единственного числа прилагательных мужского рода в речевой практике не противопоставлялись к середине 70-х годов XVIII века как высокое и низкое.

Исследование употребления языковых средств высокого стиля в контексте на основе анализа конкордансов показывает, что основная их масса характеризует группу МЫ. Так, например, принадлежащий высокому стилю глагол *возвратиться* и образованные от него причастия и деепричастия используются для обозначения действий тех, кто составляет группу МЫ (*послал Подполковник Гринев разъезды свои... которые возвратясь уведомляли, что...; но хорошим распоряжением возвратившагося туда с рекрутскою командою Казанскаго гарнизона Майора Папова; По разсеянии сих, лишь только возвратился он (Майор Гагрин) в завод, как получил известие, что...; разъездныя партии со стороны, откуда их ожидать надлежало, возвратились так же без всяких известий*), и тех, кто «добровольно» перешел из группы ОНИ в группу МЫ (*По занятии Заинска возвратились в законное повиновение жители дватцати двух деревень...; многих собою добровольно на истинной путь возвратившихся*).

Образованное же от глагола низкого стиля деепричастие *поворотясь* употребляется по отношению к группе ОНИ: *злодей Пугачев, которой, по неудачной на Яицкаго Коменданта Симонова осаде и многих приступах, поворотясь в свое гнездо...*

То же наблюдается и в паре глаголов *избрать* – *выбрать*. Слова, образованные от книжного глагола *избрать*, характеризуют исключительно действия группы МЫ: *Синбирское дворянство избрало к своему корпусу Шефом...; Руководством его составилась у нас корпус. Избранной в нем начальник трудится; Восприимите в свое покровительство избранного нами Шефа с его товарищами...; К новому от дворянства составляемому корпусу избран от онаго...*

Для действий же группы ОНИ употребляется деепричастие, образованное от глагола *выбрать*: *злодей Пугачев... выбрав себе подобных самых надежных ему злодеев...*

Синтаксис материалов о Пугачевском бунте, как и другие языковые уровни, отличается смешением книжных и разговорных форм и конструкций. Синтаксическое

оформление материалов во многом определено его морфологическими особенностями. Так, деепричастия и причастия, присущие высокому стилю употреблены в анализируемых материалах 102 раза, что обусловило большое количество книжных деепричастных и причастных оборотов, чередующихся с характерными для простого слога конструкциями, вводимыми местоименным словом *который* (24 употребления) и т. д. В то же время встречается в тексте и деепричастный оборот, характерный для простого стиля: *Господин Генераль-Маиор Мансуров идучи по Самарской линии, достигнул 10 числа Февраля крепости Борской.*

Доминируют в материалах о Пугачевском бунте длинные периоды, представляющие собой сложные предложения с разными типами синтаксической связи, многочисленные части которых, осложненные причастными и деепричастными оборотами, разрывают ткань главных предложений: *Он отрядя от себя команды, чтоб занять ведущия к сему заводу дороги, дабы злодеи на помощь находящимся тут приттить не могли, атаковал, вошел в завод, и обратил злодеев в бегство, преследовав по дороге к Шайтанскому заводу верст 6.*

Простые предложения встречаются редко и используются в определенных стилистических целях. Как правило, простые предложения употреблены в стилистически сильной позиции конца текста. Они либо завершают «Прибавление»: *В сии действия Маиором Гагриным у злодеев отнято всего 13 пушек и множество ядер и картечь; да пленено 1294 человека* (№ 23); либо завершают сложное синтаксическое целое: *Показания их не преподали почти никакого сведения о прямом состоянии злодеевъ; да и разъездныя партии со стороны, откуда их ожидать надлежало, возвратились так же без всяких известий. Сия неизвестность однакож скоро решилась* (№ 29); *30 Генваря прибыл Полковник Бибиков в Мензелинск и там известился, что злодейская толпа, скопившаяся до двух тысяч человек, находится в селе Пьяном Бору, и укрепилась засеками и дровами на подобие полисадов. Тотчас отрядил он Подполковника и Кавалера Бедрягу, дав ему три ста гранодер и эскадрон гусар с двумя пушками, коего злодеи не допуская до себя, встретили на дороге: но будучи збиты ушли в свое укрепление. Он же отрядя с пехотою Маиора Неклюдова, конной гвардии Порутчика Кошелева, и Гранодерскаго полку Порутчика Графа Сантия, велел атаковать их с трех сторон. Все сии храбрые офицеры не останавливаясь ни мало опрокинули и разсыпали как укрепление, так и злодеев. После сего жители пятидесяти деревень обратились в законное повиновение* (№ 16).

В газетных материалах о Пугачевском бунте дается представление о развитии описываемых событий, об их последовательности, то есть соблюдается отмеченная в русских риториках хронологическая и причинная последовательность повествования. Простые предложения, завершая рассказ о событии, часто указывают на его следствие.

В целом для «Прибавлений к Санктпетербургским ведомостям», освещающих события Пугачевского бунта, характерен метафорический, «украшенный» стиль, изобилующий риторическими фигурами и тропами. Анализируемые тексты наполнены разнообразными метафорами и эпитетами: *радостные слезы, горькая участь, разсыпал туман уныния, живые краски, монумент милости* и т. п. Широко представлены лексические повторы, которые сочетаются с разнообразными стилистическими фигурами. На основе повтора и параллелизма строятся многочисленные перечисления. Часто встречаются риторические вопросы. Распространены также инверсия, антитеза, нанизывание однотипных синтаксических единиц, что создает градацию, которая приводит к нарастанию интонации эмоционального напряжения речи: *«Он (Бибиков. — М. Л.) приездом своим разсыпал туман уныния, носящегося над градом здешним. Он ободрил души наши. Он укрепил сердца подлые, колеблющиеся в верности Богу, Отечеству и Тебе Всемилостивейшая Государыня. Словом сказать, он оживотворил страну почти умирающую».*

Итак, в газетных публикациях, освещающих Пугачевский бунт, на разных языковых уровнях наблюдается смешение форм и конструкций, принадлежащих различным сти-

лям речи, со значительным преобладанием средств церковнокнижного языка, характерных для высокого стиля. Разговорные элементы проникают преимущественно в реляции, описывающие столкновения между группами МЫ и ОНИ. Но даже в реляциях можно говорить о случайном проникновении разговорных элементов, а не о сознательном их использовании. Реляции, как и остальные тексты, в своем большинстве выдержаны в высоком стиле, например: «*Когда же злодеи, нашед жестокою со всех сторон оборону, возчувствовали свой урон и зачали убираться; то втораго гранодерскаго полку Секунд-Маиор Пушкин, не упуская времени, пошел далее в перед на них и совершил их прогнание*». Еще одной языковой особенностью газетных сообщений о Пугачевском бунте является использование средств высокого стиля исключительно или преимущественно при описании действий и качеств группы МЫ. Исключительно характеризуют группу МЫ: окончание -а в родительном падеже единственного числа существительных мужского рода, сравнительная и превосходная степень прилагательных, аорист, форма родительного падежа ея, образованная от местоимения она; сложные слова, тропы и фигуры. Преимущественно к МЫ употреблены: окончание -аго в родительном падеже единственного числа прилагательных, местоимений, причастий, порядковых числительных мужского рода, причастия и деепричастия, церковнославянизмы, отвлеченные понятия.

Лингвистический анализ материалов о подавлении Пугачевского бунта, опубликованных на страницах «Прибавлений к Санктпетербургским ведомостям», свидетельствует, что газета служила каналом коммуникации, посредством которого осуществлялся контакт между дворянством, являвшимся адресатом, и Екатериной II — адресантом по поводу референта (Пугачевский бунт) с помощью общего для участников коммуникации кода, в качестве которого использовались языковые средства высокого стиля, с целью выражения адресантом в кризисный момент верности адресату.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI — XVII вв.) — М., 2002. — С. 253.
2. Обнорский С.П. К истории словообразования в русском литературном языке / Русская речь, новая серия. — 1927. — Вып. I.
3. Горшков А.И. История русского литературного языка. — М., 1960. — 366 с.
4. Шанский Н.М. О происхождении и продуктивности суффикса -ость в русском языке // Вопросы истории русского языка: Сб. науч. ст. — М., 1959. — С. 104 — 131.
5. Ломоносов М.В. Российская грамматика Михайла Ломоносова. Печатана в Санктпетербурге При Императорской Академии Наук 1755 года. — 212 с. (факсимильное изд-е 1982 г.)
6. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. — М., 1962. — С. 258.
7. Барсов А.А. Российская грамматика А. А. Барсова. — М., 1981. — С. 534.
8. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв. — М., 1982. — С. 121.

О ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛАНДШАФТА

Когнитивная модель мира, о которой много говорят в последнее время, являет собой концептуальную репрезентацию действительности в многообразии ее внешних и внутренних связей. Она существует в виде определенной системы понятий. Элементарная форма представления когнитивного содержания осуществляется через наименования. Разные, даже родственные, языки обнаруживают своеобразие в концептуализации окружающего мира, обусловленное различиями в опыте носителей языков, а также спецификой их представлений, ассоциаций. Межъязыковые различия есть проявление языковой относительности, возникающей под влиянием жизненных условий, верований, традиций, обычаев, а также связанной с глубиной опыта человека в процессе познания окружающей действительности. Процесс познания мира находит отражение в языке в виде двух противоположных тенденций: специализации, связанной со все большим членением и освоением окружающей действительности, и генерализации общих свойств мира.

Вместе с тем различия есть оборотная сторона единства, так как все языки устроены по единому образцу, отражающему единство человеческого мышления. Взаимная переводимость языков является свидетельством существования универсалий. Поэтому изучение межъязыковых различий не может осуществляться без изучения языковых универсалий, что составляет основу лингвистической типологии. Главный принцип, лежащий в основе типологии, — принцип сравнения, как внутриязыкового, диахронического, так и межъязыкового, синхронического. Именно в системном сравнении языковых явлений для установления универсалий языка и состоит сегодняшняя перспектива типологии как науки. Наиболее исследованными в этом плане являются фонологический, морфологический и синтаксический уровни языковой структуры. Лексика, в особенности лексическая семантика, продолжает оставаться малоисследованной с точки зрения типологической. Однако и в содержательной стороне лексики обнаруживаются диахронические универсалии.

Попытки учитывать семантическую сторону языка в изучении межъязыковых сходств восходит еще к работам Э. Сэпира и И.И. Мещанинова. На типовые корреляции в развитии значений указывал еще Б.А. Серебренников [1]. Большой вклад в развитие лексико-семантической типологии внесли труды Б.Ю. Городецкого [2], А.А. Уфимцевой [3], А.Е. Супруна [4]. Весьма плодотворными являются также работы М.М. Маковского [5], Л.С. Бархударова [6]. Обнаружение в различных языках определенной мотивированности тех или иных понятий является свидетельством существования типологических лексико-семантических инвариантов. На актуальность установления семантических соответствий обращал внимание и Л. Чейф [7].

По справедливому замечанию О.Н. Трубачева, «развитие языка — это универсальная реальность», «мотивация и динамика... — в природе человека, метафорического человеческого мышления» [8: 28]. Задачей типологии является установление «семантической амплитуды колебаний» лексем [9: 28], а также характера семантических сдвигов. Рассмотрим вопрос о сохранении тех или иных слов праславянского языка, их смысловой эволюции, мотивационных основах как исходной точке семантического развития на примере слов, номинирующих характер местности.

Понятие «лес как совокупность деревьев» в большинстве славянских языков представлено лексемой *лес* (чеш. *les*, как и в украинском, польском, словацком) (ЭСРЯ). Вместе с тем переносные значения данной лексики различаются в разных языках. В за-

паднославянских языках у нее отсутствует значение «лес как материал», в южнославянских же языках, например в словенском, сербско-хорватском, наоборот, это значение является основным и лишь изредка в книжном употреблении *les* обозначает «совокупность деревьев». (Дальнейшее развитие значения *les* в сербско-хорватском — «гроб», в основе которого лежит метонимический перенос «материал» → «изделие из него») (РСХЈ). Для обозначения совокупности деревьев в словенском языке используется лексема *gozd* (родственная рус. *гвоздь*), а в сербско-хорватском — *шума* (КССЯ) (ср. с рус. *шуметь*), названном по звуку, который издает лес при ветре.

Толковыми словарями современного чешского языка также фиксируется лексема *hvozd* в значении «густой лес» (PSJČ). Несмотря на общность происхождения южнославянского *gozd*, чеш. *hvozd* с рус. *гвоздь*, обозначающим «металлический стержень», на синхронном уровне данные лексемы находятся в семантических отношениях дизъюнкции. Однако в более ранние периоды им были присущи общие значения: др.-рус. *гвоздь* (*гвоздь*) имело следующую семантическую структуру: «1) гвоздь; 2) втулка, которой затыкают бочки; 3) горы в Северной Далмации» (Срезн.); ст.-чеш. *hvozd* употреблялось в значениях «лес», «холм, поросший лесом», «гора» (SČS). «Лес» и «гора», по замечанию чешского лингвиста Й. Гебуэра, исторически смежные понятия, поэтому одно слово служило для обозначения и леса, и горы (SČS). На связь этих понятий указывал и Н.И. Толстой, ссылаясь на данные современных славянских языков, в которых лексемы *gora*, *polnina*, *balkan*, *bor*, *sopka* служат для обозначения понятий «гора», «холм», «гора, покрытая лесом», «лес», «горное пастбище» [9: 38].

Вместе с тем исторические словари чешского языка отмечают, что в речи сплавщиков плотов слово *hvozd* бытовало в значении «пробойник» («ручной инструмент для пробивания небольших отверстий») (ESJČ), близком первоначальному значению рус. *гвоздь* — «кусок дерева, клин». Это значение изменилось в русском языке в современное «металлический стержень» (в результате эволюции самого предмета: гвозди, первоначально деревянные, впоследствии стали делать из металла). В чешском языке, как и в ряде других славянских языков, сема «лес» у рассматриваемой лексемы является следствием «расщепления» обобщенного значения «гора, покрытая лесом», содержащего в себе два компонента: «лес» и «гора». На русской языковой почве можно предположить следующее смысловое развитие слова *гвоздь*: «гора, покрытая лесом» → «лес как совокупность деревьев» → «дерево» → «кусок дерева в виде клина для затыкания чего-л. или пробивания отверстий».

Подтверждением древней связи понятий «лес» и «гора» является и тот факт, что основным обозначением леса в болгарском языке служит лексема *гора* (РБЕ) (в этом значении *hora* известно и в ряде диалектов чешского и словацкого языков). Лексема *лес* здесь весьма ограничена в употреблении, а в македонских словарях она вообще не фиксируется [10]. Лексема *hora* первоначально служила обозначением «горы, поросшей лесом» (как и устар. чеш. *hvozd*, обозначавшее «густой лес» и «лесистые горы»). Впоследствии понятия «гора» и «лес» дифференцировались в сознании людей, что нашло отражение в семантике слова *гора*, которое в отдельных языках стало обозначать «возвышенность» (в русском, украинском, чешском, польском и др.), в других — «лес» (болгарском, македонском) (КССЯ).

«Амплитуда колебаний» значения лексемы может достичь крайних, противоположных пределов и привести к образованию энантиосемии. В качестве примера можно привести общеславянское слово *гай*, семантическая эволюция которого в разных славянских языках привела к формированию полярных семем по принципу «зеркального отражения»: «небольшой лиственный лес, окруженный безлесным пространством» ← «небольшое безлесное пространство, окруженное лесом» [11: 359]. Возможность пол-
ризации значения намечается и в словарной статье, посвященной слову *гай*, у В.И. Да-

«небольшой лиственный лес, особенно в низменных местах, в лугах», «иногда лес уже истреблен, а остается одно название».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что причиной развития значения, его «расщепления», крайними пределами которого является внутрисловная антонимия, может послужить отсутствие четко ограниченного объема, «диффузность» понятия, в составе которого обнаруживаются несколько признаков, недостаточно расчлененных между собой. Впоследствии на первый план может выступить какой-либо один из признаков (в разных языках различный), который и послужит основой дальнейшего развития значения лексемы. Синкретизм первоначального значения (а многие праславянские лексемы имели обобщенные, недифференцированные семы) — основа семантического развития многих праславянских лексем.

В древнерусских памятниках встречается слово *рамень* (а также его дериват *раменье*) в значении «лес на краю пашни» (Срезн.), неизвестное в других славянских языках. В диалектах данная лексема зафиксирована в значениях: «лес, соседний с полями, с пашней», (костр., ряз.) «мешаное чернолесье», (волог.) «деревня, селенье под лесом», (в языке промышленников) «бревно» (Даль). В современных русских говорах (в Нижегородской области) *рамень*, *ромень* встречается как наименование «густого леса» (наряду со словами *глушняк*, *густарник*, *густолесье*, *трущоба*, *чаща*, *чернолесье* и однокоренными) (ЛАРНГ: карта № 8). В «Словаре современного русского литературного языка» *рамень* приводится в значении «густой, дремучий лес (обычно еловый)» (БАС). Этимология слова до сих пор остается неясной. По мнению Н.И. Толстого, «честь установления надежной этимологии слова *рамень*, *раменье* принадлежит Ю.В. Откупщикову» [12: 349], который поставил его в один ряд со словами *пламень*, *камень*, *стремень*, *ремень* и т. п., образованных с помощью суффикса **-теп-* от основ *пламы*, *камы* и т. д. В таком случае перед нами древнее отглагольное образование, подобное *сѣма* от *сѣти*, *брѣма* от *брати*, *прамень* «нить» от *прати* «стирать»: от *орати* «пахать» — *рамень* «вспаханный участок земли» (того же корня, что и *рало*, *ратай*). Эта словообразовательная модель носит типичный характер и встречается не только в славянских, но и других индоевропейских языках: ср. лит. *brti* «пахать» и *armiô* «пашня» (аналогично лит. *bugti* «расти» и *augmiô* «нараст»; лит. *lenkti* «сгибать» и *lenktiô* «сустав, сгиб»), др.-греч. *árho* «пахать» и *árhoia* «пашня, нива». В латинском языке от глагола *arâre* не сохранилось существительного со значением «пашня», однако имеется производное от него: *armentum* «крупный скот, обычно рабочий», первоначально как «скот, используемый для работы на пашне» (от утраченного впоследствии **arpen* «пашня») [13: 150].

Предложенная этимология объясняет значение слова *рамень*, которое определяется не просто как «лес», а «лес, находящийся по соседству с пашней». Этот момент неоднократно подчеркивается и в словаре В.И. Даля, и в других словарях. Родственное слово *рама* означает «пашня по соседству с лесом». Следовательно, мы вновь встречаемся с развитием своего рода внутрисловной антонимии, основанной на «зеркальном отражении»: с одной стороны, *рамень* «лес рядом с пашней», а с другой — *рама* «пашня рядом с лесом». По мнению Ю.В. Откупщикова, лес получил свое название от наименования соседней пашни [13: 148]. Аргументом в пользу предложенной этимологии является и дериват *за-раменье* «лес, окружающий поле, пашню», приведенный в словаре В.И. Даля. Если лес, находящийся за пашней, называется *зараменье*, то *рамень* или *раменье* — это, естественно, сама пашня. Именно таково и было, вероятно, первоначальное отношение между пашней (*рамень*) и лесом за пашней (*зараменье*). Развитие энантиосемии связано в данном случае с метонимическим переносом на основе соположения пашни и леса. Эволюция значения может быть представлена в виде семантической цепочки: «пашня» → «пашня, заросшая лесом» → «лес на заброшенной пашне» → «лес». Так же, как любой семантический сдвиг обусловлен не только лингвистическими, но в первую очередь экстралингвистическими

факторами, так и в данном случае семантическое движение, вероятно, является отражением подсечной системы земледелия древних славян.

Необходимо отметить, что семантический перенос «пашня» → «лес рядом с пашней» является закономерным и подтверждается рядом аналогий, например, в словаре В.И. Даля в статье, посвященной слову *край* сказано, что «в Калужской губернии лес нередко зовется *краем*, т. е. закраиною поля» (Даль).

Причиной «расподобления» значений вплоть до их поляризации может стать и дифференцирующий признак, выраженный синтагматически в виде определения. Со временем он начинает восприниматься как носитель референции (выполнять функцию наименования объекта реальной действительности). Примером синтагматически обусловленного смещения значения слова является судьба праславянского **polnina* (родственного современному русскому *поляна*, т. е. «открытое пространство в лесу», от **polъ* «открытый, свободный, пустой») (КЭСРЯ). Данная лексема в говорах южных славян соотносится как с понятием «луг, пастбище», так и с понятием «гора» [11: 357], которые можно считать противоположными. Развитие такой «контрарности» стало возможным через промежуточные значения «горный луг, пастбище», «часть горы с пастбищем, лугом», включающие в себя дифференциальный признак «горный», ставший основным в следующем звене семантического развития.

Топкое место в лесу обозначается в современном русском языке лексемой *болото*, в то время как его чешский вариант *bláto* имеет более широкое, нетерминологическое значение «грязь». Это общеславянское слово (из **bolto*), известное и в других славянских языках (например, в польском, сербско-хорватском) (КССЯ), связывают с лит. *báltas* «белый», а в качестве мотивировки этимологи указывают на белый цвет растений в болоте (КЭСРЯ, ЭССЯ, ESJČ). Значение «грязь» – вторичное, является результатом семантического расширения.

Для обозначения болотистого, топкого места в славянских языках известны праславянского периода лексемы с корнем **bag-* (чеш. *bařina*, н.-лужиц. *bagi* «болото» и **moč-* (чеш. *močál*, словац. *močiar*, пол. *moczar*, болг. *мочур*, с.-х. *мочвар*, корень тот же что и в *мочить, мокрый*) (ЭССЯ). В русских диалектах встречаются лексемы *багно* (ср. чеш. *bahno* «ил», «грязь») и *мочаг, мочага* (СРНГ). *Багно* послужило мотивировкой для наименования кустарника, растущего на болотах – *багульник*.

В современных русских говорах отмечается лексема *бочага* в значении «яма, заполненная водой» (Даль; ЛАРНГС: 196), *бочаг, бучило* «яма на дне реки, озера; овраг» (ЛАМО карта № 118), форма которых является, вероятно, результатом контаминации первых двух лексем. Возможно в данном случае и сближение с корнем *боч-/бок-* (ср. с лексемой *бочка*, обозначающей большой деревянный сосуд, в который наливают воду). По мнению Д.Н. Шмелева, «изменение этимологической формы слова, смысловое взаимодействие его с другими близкими по звучанию словами может служить причиной сдвигов в его семантике» [14: 17]. Иногда в результате лексико-семантической контаминации происходит полное разрушение прежнего значения слова, о чем свидетельствует семема «овраг» у диалектных *бочаг* и *бучило*, утратившая связь с понятием «вода». В диалектах известен дериват *бачажник* со значением «густые заросли кустарника» (ЛАРНГ: карта № 9), иллюстрирующем дальнейшее семантическое движение данной лексемы, обусловленное метонимическим переносом: «топкое место» → «кусты, растущие в этом месте».

Для обозначения понятия «вязкое, жидкое, стоячее, кислое и ржавое место» известно в русских говорах и слово *солотина* (СРНГ), а также *солоть* с более широкой смысловой структурой, которая отмечалась еще В. И. Далем: «вязкое болото», «слякоть, грязь». В русских говорах известны и неполногласные варианты *слотина, слоть*. В украинском языке данной лексемой обозначается «солончаковое болото». В западнославянских языках лексема *slatina* (в чешском, словацком) распространена в значении «болотистое место».

то, возникшее в процессе зарастания водоемов в низменных местах», «торфяное болото» (PSJČ). В языках южных славян (болгарском, сербско-хорватском, словенском) *слатина* обозначает «место, из которого вытекает соленая или кислая вода» (КССЯ) (хотя в древнеболгарском ему было присуще значение «болото», по данным словаря Ф. Миклошича). Большинство исследователей связывают **soltina*, к которому восходят приведенные выше лексемы, с **solъ* «соль» (Brückner, Holub а Кореѣнз, Pokorný). Точка зрения В.М. Мокиенко расходится с общепринятой: он считает данную праславянскую лексему родственной лит. *šaltinis* «холодный источник, ключ, родник» от лит. *šáltas* «холодный», выдвигая в качестве мотивировочного «температурный» признак [14: 148]. В пользу предложенной этимологии свидетельствует и то, что в основе наименования источников часто находится признак «холодный»: ср. ст.-сл. *стоуденьць* (СС), болг. *студенец* (РБЕ), чеш. *studně* (PSJČ), рус. диал. *холодник* (СРНГ). Предлагаемая В.М. Мокиенко этимология легко объясняет и дальнейшие семантические сдвиги: «источник» → «болото» → «грязь», обусловленные реальными географическими условиями, что подтверждается регулярным семантическим переходом «источник» ↔ «болото» в чеш. *rybník* «пруд» и *řebříšena* «болото», диалектных псковских *бочага*, *бродень*, *патожина*, *струга*, *холодник* [4: 151]. Дальнейший сдвиг — «детерминологизация» слова, выражающаяся в переходе «болото» → «грязь» также широко подтверждается параллелями в славянских языках: ср. рус. перен. *болото*, болг. *блато* (РБЕ), чеш. *bláto* (PSJČ), пол. *bloto* (MSJP) в значении «грязь», в то же время рус. *грязь* и его славянские параллели, известные в диалектах в значении «болото» (ЭССЯ).

Слова одной тематической группы стремятся к однотипным моделям переносного употребления, «развивают сходные «вторичные» значения или вообще видоизменяют свое основное значение в одинаковом направлении» [14: 157]. Это было отмечено еще исследователями прошлого века и названо «синонимической деривацией», «синонимической аналогией». Обращает на себя внимание сходство переносных значений и у слов анализируемой тематической группы: болг. *гора* обозначает, как и рус. *лес*, также «лес как материал» (РБЕ). Можно говорить и об аналогичном семантическом развитии слов, объединенных по признаку «большая совокупность чего-л.»: *лес*, *гора*, *обилие* (первоначально «зерно, урожай»), *пропасть*, *бездна*, *прорва*, развивших абстрактное значение «большое количество чего-л.». Универсальным является и перенос названий природных явлений на явления социальной, общественной жизни. Подобный метафорический процесс наблюдается и в словах рассматриваемой тематики, например: *болото*, *омут*, *дрязга* (в диалектах: «болото, поросшее лесом»; ЛАРНГ: 195).

Сопоставительный анализ лексиконов славянских языков, помимо чисто практических целей, представляет собой ценность и в плане теоретическом. Во-первых, он раскрывает многообразие видения мира славянами, становится ясной глубина происшедшего за последние полтора тысячелетия расхождения между славянскими языками, а также позволяет установить типологический характер семантической эволюции лексем, выявить некоторые причины возникновения различий в лексико-семантических системах современных славянских языков. Во-вторых, выясняя своеобразие каждого из языков в отражении лексическими средствами тех или иных участков действительности и ее познании, «славянская сопоставительная лексикология, безусловно, помогает создать более объемную, более богатую и яркую картину лексикона каждого из сопоставляемых языков, картину более выпуклую и интересную, чем та, которая возникает при автономном анализе лексикона одного отдельно взятого языка, где многое просто не замечается» [10: 50]. Итак, сопоставительная лексикология дает результаты, важные как для понимания единства, единообразия, общности языков, так и для раскрытия своеобразия, специфического характера лексико-семантических систем каждого из них.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ИХ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАБОТЕ

- Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. – М., 1978-1980.
- КССЯ – Краткий словарь шести славянских языков / Под ред. Ф. Миклошича. – Спб. – М., 1885.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров (Под ред. Ф. П. Филина) – Л.- Спб., вых. с 1965.
- БАС – Словарь современного русского литературного языка в 17-ти т. – М., 1950-1965.
- ЛАРНГ – Лексический атлас русских народных говоров. – СПб, 2004.
- ЛАМО – Войтенко А. Ф. Лексический атлас Московской области. – М., 1991.
- Срезн. – Срезневский И. В. Материалы для словаря древнерусского языка. – М., 1958.
- СС – Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.), 2-е изд. – М., 1999.
- ЭСРЯ – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т., 2-е изд. – М., 1986.
- КЭСРЯ – Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. – М., 1995.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. – М., вых. с 1974.
- SČS – Gebauer J. Staročeský slovník. T. 1-2. – Praha, 1903-1916.
- ESJČ – Machek V. Etymologický slovník jazyka českého, 2-й vyd. – Praha, 1968.
- PSJČ – Příruční slovník jazyka českého. T. 1-9. – Praha, 1935-1957.
- РБЕ – Речник на българские език. Т. 1-9. – София, 1977-1998.
- РСХЈ – Речник српскохрватскога књижевног језика. Т. 1-6. – Загреб, 1967-1982.
- MSJP – Mały słownik języka polskiego, 9 wyd. – Warszawa, 1993.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Серебренников Б. А. К критике некоторых методов типологических исследований. – Вопросы языкознания, 1958. – № 5. – С. 24-33.
2. Городецкий Б. Ю. К проблеме семантической типологии. – М., 1969.
3. Уфимцева А. А. О типологическом изучении лексики // Структурно-типологическое описание современных германских языков. – М., 1966.
4. Супрун А. Е. Сопоставительно-типологический анализ лексики // Методы изучения лексики. – Минск, 1975. – С. 163-170.
5. Маковский М.М. Опыт типологической характеристики лексико-семантических систем. – Вопросы языкознания. – 1969. – № 3. – С. 24-36.
6. Бархударов Л.С. К вопросу о типах межъязыковых лексических соответствий. – Иностранные языки в школе. – 1980. – № 5. – С. 11-17.
7. Чейф Л. Значение и структура языка. – М., 1975.
8. Трубачев О. Н. Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. – Краков, 1998. Докл. рос. дел. – М., 1998. – С. 3-33.
9. Толстой Н. И. Из опытов типологии славянского словарного состава. – Вопросы языкознания. – 1963. – XII. – № 1. – С. 29-45. – С. 36.
10. Супрун А. Е. Лексическая типология славянских языков. – Минск, 1994. – С. 31
11. Толстой Н. И. С. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI Межд. съезд славистов. – М., 1968. – С. 339-365. – С. 359
12. Толстой Н. И. Избранные труды. – Т. 1. – М., 1997.
13. Откупщиков Ю. В. Очерки по этимологии. – С.-Пб., 2001.
14. Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. – М., 2003. – С. 179.
15. Мокиенко В. М. Сербохорватские *подниква*, *сла́тина* и некоторые проблемы изучения славянской географической терминологии. В кн.: Исследования по сербохорватскому языку. – М., 1972. – С. 139-156.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РУССКОГО ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА: СОЧИНЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ-СТРАННИКОВ

Язык сочинений старообрядцев-странников (или бегунов), одного из влиятельных согласий староверия, возникшего во второй половине XVIII века и существующего поныне, репрезентирует одну из экстремальных возможностей развития русского литературного языка в эпоху столкновения разных культурных парадигм, из чего следует актуальность разноаспектного изучения данного дискурса.

Исследование изменений письменного языка данной особой формы этнического самосознания и национальной русской культуры представляет интерес как в лингвистическом, так и в культурологическом отношении, проецируя проблемы развития современного русского языка и возможные пути его эволюции, так как в переломные исторические периоды всегда встает вопрос о выборе дальнейшего пути развития. Выбор лежит между полярными модусами: либо включаться в мировое культурное пространство, либо изолироваться от него. Первый путь влечет за собой ассимиляцию и размывание, а иногда и утрату национальных культурных традиций, второй — их консервацию и сохранение. Любой из выбранных путей взаимообусловлен языковыми процессами.

Языковая ситуация в России до возникновения полифункционального языкового стандарта до сих пор в науке не имеет общепринятого, всесторонне обоснованного решения, неоднозначно трактуется проблема русского литературного языка этого периода и его нормы [1]. Поэтому актуальное значение приобретает изучение всего комплекса письменных источников, где представлена реализация нормы оригинальных текстов разного направления.

Следует уточнить понятие *письменная норма*. Под письменной нормой понимается «совокупность устойчивых написаний обозначений фонем и морфем, исторически сложившихся в пределах определенного языкового коллектива» [2]. Характер письменной нормы определяется, с одной стороны, системной организацией языка, на котором создается текст, с другой стороны, реализациями этой системы в конкретном тексте, которые признаны обществом, определяются традицией и подчиняются кодифицирующему образцу.

Языковая система, представленная в сочинениях старообрядцев-странников, отражает ее функционирование в условиях изоляционизма, иногда сознательного, иногда вынужденного, в ярко выраженном типе антиассимилятивного культурного поведения.

Ключевая идея странничества заключается в представлении о наступлении в России царства антихриста. Идеолог согласия, инок Евфимий, талантливый проповедник и писатель, в XVIII в. обосновывал два выхода для спасения души благочестивых христиан в «последние времена». Первый путь требовал вступить в борьбу с антихристом, смело исповедовать перед ним свою веру, обличать словом и делом; второй путь — бежать от его власти, из оскверненных мест, чтобы сохранить в чистоте «древлеправославную веру» и свою душу. Непременным условием содержания правой веры в доктрине странничества являлось неповиновение императору-антихристу и его преемникам, гражданским властям и официальной церкви [3].

Отличительной чертой данного конфессионального объединения является то, что, кроме авторитетной топики, авторы-странники активно используют в своих сочинениях различные светские источники: законодательные документы, указы, распоряжения, светскую литературу — для доказательства правоты своих взглядов, для аргументированной полемики со своими оппонентами, которыми были старообрядцы других согласий (Федосеевцы, Филипповцы и т. д.), государственная власть, официальная церковь. Использование светских материалов выделяет странничество среди других старообряд-

ческих согласий, у многих из которых существовал запрет на то, чтобы брать в руки «оскверненные» книги [4].

Гетерогенность состава страннических сочинений проецируется присутствием в них языковых элементов двух систем: традиционной (средневековой), в которой отражается неконвенциональное отношение к языковому знаку; и новой — унифицированной.

Старообрядцы равно владеют двумя данными системными кодами, что позволяет им осваивать и реинтерпретировать новые ситуации, аккумулируя при этом традиционный опыт, увеличивая коммуникативную активность и эвокационные способности.

Образцовым текстом для авторов-странников была авторитетная топка: тексты Св. Писания, святоотеческих поучений, раннего староверия. Но, ориентируясь на данные сакральные тексты, авторы не максимально сближают свои сочинения с ними по языковому составу. В сознании авторов существовал определенный набор признаков книжности, который позволял им квалифицировать свои произведения как созданные в книжно-литературной традиции. Таким образом, несмотря на императивность авторитетного топоса, мы должны говорить о диспозитивной норме страннических сочинений, так как в них присутствуют варианты, выходящие за рамки книжно-литературных, релевантные для дихотомии книжных и нейтральных признаков.

Среди маркированных знаков книжности можно выделить устойчивые элементы, не подвергавшиеся изменению и разрушению на протяжении веков, и подвижные элементы. Вариативность последних не противоречила мировосприятию авторов, настроенных на консервацию традиции, близкую к пуризму. Данная вариативность не противоречила сохранению традиции, так как основополагающей интенцией являлась соотнесенность вновь создаваемых текстов с книжно-литературным языком присутствием в них устойчивых элементов.

Состав показателей книжности в сочинениях странников в диахронии практически не меняется.

Маркированными знаками книжности были следующие элементы:

- **формы двойственного числа:** *ногама, по плещама, рукама; от двою древу, двѣ естествоѣ, въ двою естеству, двѣма перстома;*
- **сложная система прошедших времен.** Соотношение форм аориста, имперфекта, перфекта и л-форм (перфект без связки) зависит от типа текста и времени создания памятника. В полемических и назидательных сочинениях процент употребления претеритов выше, чем в текстах, где преобладает историческое повествование, здесь чаще появляются л-формы. При сопоставлении страннических рукописей с книжно-литературными текстами синхронного периода оказалось, что явное предпочтение форм простых претеритов существенно отличает страннические рукописи от книжно-литературных текстов XVIII века, в которых доминирующей формой прошедшего времени выступают л-формы. Соотношение форм прошедшего времени в страннических рукописях почти полностью совпадает с системой книжно-литературных текстов XVII века [5]: *того ради сице и исполних. а и къ сту же вы статиямъ иже неинаго ради чесого неподписахуся, но точию ради положеннаго вних ко исправленю вашей присяги тыя же их статии соборнѣ издашася и обща всѣхъ братеи рукоподписанием законнѣ укрѣнишася* (510, 7) [6];
- **формы вокатива.** Проповеднический характер бегунских сочинений подчеркивается прямым обращением к читателям, что провоцирует частое использование вокатива: *брате, любимиче, хртолюбче, оче, человекѣ, читателю;*
- **в именном словоизменении: формы Р. п. мн. ч. муж. р. с нулевой флексией (-ѹ)** Словоформы с флексией -ѹ Р. п. мн. ч. отмечаются последовательно в устойчивых сочетаниях: *стѹхъ отецъ, стѹхъ аплѹ.* Дифференциация по семантическому принципу четко прослеживается в употреблении вариантных флексий, напр. у лексемы *отецъ*

по послѣдованию прежних поморских *оцѣ* (510, 23); но: а понеже вы сами себе признаша во оной присягѣ быти запрогрѣшность, и якож освоей присягѣ, тако и о *отцовѣ* (510, 132). Традиционная форма используется в значении святых отцов, форма с флексией *-овѣ* - в повествовании о современниках автора, имеющих прегрешения. Ср.: *предания старецѣ - от тамошних старцовѣ* (510),

- **флексии П. п. мн. ч. с —ѣхъ, -ехъ**: во хртианѣхъ, в человекѣхъ, в вещехъ, судѣхъ, в расколѣхъ, законѣхъ, временехъ, чедесехъ, уставѣхъ, случаяхъ, глаголахъ, в заповѣдехъ, вовратѣхъ;
- **формы со свистящими**: в рукописях XVIII в. без вариантов отмечаются формы Д. п. и П. п. ед. ч. со свистящими у лексем *рука, книга*, а также существительные м. р. основ на **-о* в П.п.: *о бзѣ, о члцѣ*. Формы со свистящими используются в устойчивых сочетаниях типа: *на дѣсней руцѣ, в книзѣ псалтыри, в книзѣ о правой вѣрѣ*. Наиболее последовательно представлены формы со свистящими в И. п. мн. ч.: *отступницы, волцы, хищницы, друзи, раздорницы, спорницы, поборницы*;
- **формы И. п. мн. ч. на —ие** существительных не только с исторической основой на **i*, для обозначения множественности: *людие, пастырие, царие, мужие, жителие, обличителие* и др.;
- **формы инфинитива на —ти**: *поведати, быти, повѣдати, умирати, прельстити, украсити, убити*;
- **формы презенса 2 л. ед.ч. на —ши**: *твориши, глещи* (510), *видиши, слышиши* (Бесед.);
- **формы презенса нетематических глаголов**: *имать, вѣлмы, есмы, не вѣдают, имаши, ни есть: неимать хотѣния до сего* (511, 28 об.);
- **формы повелительного наклонения**: *зри, реши, помози, яви, не таи, облецы, остави, востани, воньмите: помози намъ грѣшним соотвѣтствовати вопрошающимъ насъ* (Цв. 950, 26 об),
- **формы личных местоимений**: *азъ отвѣщах, азъ писалъ и послахъ* (510), *азъ разумѣваю* (Цв. 447), *на тя уповаем* (Цв. 950), *яви ми* (Бесед.);
- **формы неличных местоимений**: *симъ, которыя, по сему, сие, оныя, оныи, в коихъ, сему, тако: вси члцы* (Цв. 447), *вси тѣбѣ покаряемся* (Цв. 950);
- **формы прилагательных ж.р. в Р. п. ед. ч. на —ья/-ия, в Д-П. ед.ч. на —ей**: *стыя церкви* (511), *ради великия скорби* (Улож., 2 об);
- **формы прилагательных в Р. п. на —аго**: *общественнаго, подлаго, душевнаго, живущаго, церковнаго, телеснаго*;
- **церковнославянские наречия**: *абие, сице, такожде и т. д.*;
- **церковнославянские союзы и частицы**: *аще, аки, дондеже, понеже, егда, бо, де, убо* и др.

Рядом с церковнославянскими элементами в текстах старообрядцев-странников используются варианты, выходящие за рамки книжно-литературных, напр., в сочинениях странников XIX в. доминирующее положение занимают уже *л*-формы глаголов прошедшего времени, а простые претериты выступают как вторичные вариантные формы: *и приидоша сии новыя и вольныя отступницы... и раздѣлишася между собою на двѣ части, первая неприяша сщенства и нареклись в поморский секты, а вторая прияла* (Цв. 950, 113); или использование номинатива в функции обращения рядом с вокативом: *любимцы, друзи, животолубцы, послушатели, поповцы*.

В XIX — нач. XX вв. состав маркированных книжных элементов практически не меняется, но их наполненность в процентном соотношении по сравнению с XVIII в. снижается, напр., аористные формы последовательно используются в сочинениях данного периода только в функции ввода слов сакральных лиц: *гдѣ же рече* (Цв. 950; Улож. и др.); *пророцы прорекоша* (Цв. 950), *стии апли и стии оцы предаша и повелѣша* (ТН); или в названиях статей: *вопрошеше их, описаха* (Цв. 950). Самой частотной аористной формой явля-

ется форма иллокутивного глагола *рече*. Но в XIX в. она выступает уже как формализованный структурный элемент в конструкциях с прямой речью. Ее употребление избыточно с точки зрения и выражаемого лексического значения, и грамматических характеристик, она являет собой символический индикатор книжной принадлежности текста [7].

Из всей сложной системы прошедших времен именно аористные формы имеют более частотное употребление, что может служить доказательством их «первоначального» усвоения в языке [8].

Использование грамматических вариантов не противоречит целостности мировосприятия авторов-странников. Традиционные и «новые» (кодифицированные) формы, находясь в одном контексте, отражают восприятие окружающего мира как двойственности бытия, с параллелизмом идеального и материального, духовного и физического, внутреннего и внешнего. Заметим, что такое мировосприятие, где противопоставляются не объекты, а уровни, помогает человеку в акцептации самого себя, мира, событий, помогает принять целостность человеческой экзистенции в ее сложности.

Конфессиональная принадлежность авторов-странников накладывает на функциональные варианты символические смыслы. Церковнославянские элементы имеют для них культурологическую значимость как индикаторы традиционной духовной культуры, отражающие когнитивную базу христианства. Основополагающее значение имеют именно функциональные параметры данных элементов в языковом сознании авторов, а не их генетическая квалификация.

Свободное владение церковнославянским языком (традиционным языком православия) не только оказывает влияние на присутствие элементов данной системы в текстах, но имеет определяющее значение для «неупрощенной» духовной практики старообрядцев, что повлияло на жизненность данного конфессионального дискурса.

В старообрядчестве превалирует доктрина бережного сохранения книжно-литературной традиции позднего средневековья. Но, ревностно оберегая «древлеправославное благочестие», старообрядцы вынуждены были создавать новое, особое «церковное общество», свою догматическую систему, поэтому мы имеем возможность наблюдать дальнейшее развитие древнерусских традиций в условиях нового времени, в иной культурной ситуации, с обязательным доминированием национального приоритета ценностей духовного порядка.

Письменный язык старообрядцев не остается неизменным, так как является не мертвым языком (в отличие от церковнославянского языка официальной церкви), а живым, на нем не только воспроизводятся сакральные тексты, но и создаются новые.

Странники чутко ощущают автономию письменного узуса. В их тексты очень редко проникают разговорные формы, напр., отражающие произносительную норму, практически не встречаются диалектные слова и просторечия. Язык духовных стихов или так называемых «бегунских» паспортов, которые являются фиксацией устной традиции, отличается от текстов книжных своим грамматическим устройством.

Изменения в письменном книжном языке происходят по пути постепенного замещения элементов на основе их схожести по форме, содержанию или функции [9]. На начальном этапе «новый» элемент сосуществует со «старым» как дублирующий, становится нейтральным и, наконец, базовым. На начальной стадии «новый» элемент не может находиться без традиционного, так как восприятие новой информации всегда наталкивается в человеческом сознании на отторжение инновации [10].

Рукописное наследие старообрядцев-странников как факт культуры включает в себя непрерывный духовный опыт русской нации, требует пристального изучения и оценки. Развитие письменного узуса концептуализирует сознательные установки авторов по преемственности и соотнесенности с книжной традицией.

Для того чтобы определить динамику и причины изменений данного письменного

узу, необходимо проследить структурные отношения между элементами представленных систем, выявить их функциональные свойства и сопоставить с литературными и деловыми текстами синхронного периода, что позволит выявить различия и общие черты между ними не только в диахронии, но и в синхронии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Алексеев А.А. Внутренняя хронология русского литературного языка// Philologia Slavica: К 70-летию академика Н.И.Толстого/ Ин-т славяноведения и балканистики РАН. — М., 1993; Кречмер А. Актуальные вопросы истории русского литературного языка// Вопросы языкознания. — 1995. — № 6. — С. 96-123. Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. — М., 1994; Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. — М., 1996; Ремнева М.Л. История русского литературного языка. — М., 1995.

2. Копосов Л.Ф. Севернорусская деловая письменность XVII-XVIII вв. (орфография, фонетика, морфология). — М., 2000. — С. 22.

3. См.: Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII-первой половине XIX в. — Новосибирск, 1996; Дутчак Е.Е. Старообрядческое согласие странников (втор. пол. XIX-XX вв.). — Дисс...канд. истор. наук. — Томск, 1994.

4. Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами. — М., 1988.

5. Ср.: Хабургаев Г.А., Рюмина О.Л. Глагольные формы в языке художественной литературы Московской Руси XVII в. (К вопросу о понятии «литературности» в предпетровскую эпоху) // Филологические науки. — 1971. — № 4. — С. 75.

6. Примеры в работе приводятся из рукописных текстов странников без сохранения авторской орфографии: *Сказ.* — Сказание о происхождении страннического согласия, и разнообразных его отраслях, РГБ, собр. Барсова, № 858; *510* — Ответы Архангелогородских староверцов, XVIII в., РГБ, собр. Ундольского, ф.310, № 510; *Цв. 950* — Цветник, РГБ, собр. Барсова, ф.17, № 950; *Цв. 447* — Цветник, РГБ, собр. Барсова, ф.17, № 447; *511* — Сборник старообрядческий, РГБ, собр. Ундольского, № 511; *Бесед.* — Бесѣдословія, изъявления винъ, заблуждения, обрѣтающихся в различных сектах, РГБ, собр. Олонецкой семинарии, № 70; *ТН* — Тестамент наказательный, собрание при старообрядческой церкви г. Новосибирска.

7. В рукописях XVIII в. используются две формы аориста, напр., в сочинениях Евфимия, от глагола *речи* и *решти* «архаического» типа: *такѡ рекохъ ему (510, 6); и рехъ ему (510, 177 об.)*. Но уже в XVIII в. наблюдается нарушение нормы использования форм аориста иллокутивных глаголов: *онъ же рѣхъ (510, 177); вы же на она мое изъглашение рекоша (510, 125), онъ же де к нимъ сице отвѣщахъ (510, 177 об.)*. Заметим, что нарушения отмечаются в собственно авторском тексте, в цитатах канонических текстов они не встречаются.

8. Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974. — С.39.

9. Степанов Ю.С. Семиотика культурных концептов// Семиотика: Антология / Сост. Ю.С.Степанов. Изд. 2-е. — М., 2001.

10. Петров В.М., Мажуль Л.А. Преграды на пути устойчивого развития: информационные конфликты// Информационная культура и эффективное развитие общества: Материалы междунар. науч. конф. — Краснодар, 2005. — С. 7.

СОМНЕНИЕ В ЯЗЫКЕ¹

Попытки описания сомнения как логической мыслительной операции предпринимались неоднократно, в том числе и на лингвистическом уровне [1]. В то же время достаточно очевидна фрагментарность лингвистических исследований этой проблемы, что обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, сомнение базируется на целом комплексе формально-грамматических, семантических, коммуникативно-прагматических, логических и семиотических аспектов характеристики предложения как языкового средства выражения мысли, поскольку сомнение является смыслом конкретизирующего характера, который развивается на основе базовых для него смыслов «возможность», «вероятность», «предположение» [2]. Во-вторых, в лингвистике пока, к сожалению, отсутствует выработанная системность в подходах к изучению сомнения как квалификативного смысла модусной сферы [3]. Этим и обусловлена актуальность предлагаемых далее размышлений относительно статусных характеристик сомнения в языке.

Сомнение – универсальная ментальная операция говорящего. Как универсальная, данная операция оказывается, с одной стороны, характерной для субъекта вообще, вне зависимости от принадлежности последнего к тому или иному культурному или историческому этносу. С другой стороны, универсальность сомнения интегрируется со специфичностью средств его выражения в национальных языках. Национальный менталитет вырабатывает оригинальные языковые и внеязыковые формы, средства и способы выражения сомнения. Данные языковые и внеязыковые факторы систематизируются в национальных языковых картинах мира и представляют собой упорядоченную сферу с четко проявленной ядерно-периферийной организацией.

Сомневаясь, говорящий лично, субъективно квалифицирует событие. Данная квалификация осуществляется «здесь» и «сейчас» как констатация недостоверности сообщаемого, вводит в предложение-высказывание оценочную модусную характеристику, накладывая ее на диктумное содержание предложения. Операция квалификации осуществляется, таким образом, субъектом относительно объекта квалификации, и в операционном ключе имеет собственный план содержания и план выражения.

План содержания сомнения как квалификативного смысла универсален в своей основе для национальных языковых картин мира. Частные отличия базируются на коннотативных факторах, обусловленных разного рода социальными, историческими и культурологическими условиями. Межкультурная универсальность сомнения как ментальной операции субъекта противопоставлена яркой специфичности языковых и внеязыковых средств выражения сомнения в национальных языках. Для современного русского языка характерна стройная ядерно-периферийная организация языковых средств выражения сомнения, куда включаются: знаменательные части речи с соответствующим значением (*сомневаться, сомнение, сомнительный, сомнительно* и под.); функционально-синтаксический способ (например, вопросительный тип конструкции); различные просодические средства; модально-сомнительные частицы (*вряд ли, едва ли*).

Сомнение включается в группу смыслов, которые условно называются актуальными квалификативными и, несомненно, являются прагматическими. Данные смыслы реализуются в предложении-высказывании на базе логических смыслов возможности и вероятности и соотносятся с лексическим и категориальным значением слов, которые в русском языке предназначены для выражения сомнения. Сомнение по сути квалификативный смысл, так как выражает коммуникативно оформленный результат персуазивной

¹ Статья опубликована при поддержке гранта Белгородского государственного университета (номер проекта ВКГ 111-05)

квалификации события субъектом. Если логические смыслы «возможность» и «вероятность» основываются на объективных условиях возможного осуществления ситуации, то собственно квалификативные смыслы вводятся говорящим непосредственно для решения поставленной коммуникативной задачи. Это смыслы уточняющего характера, которые соотносятся с речевой ситуацией и определяют соотношение высказываемого и действительности в координатах «здесь» и «сейчас» в приложении на точку зрения говорящего. Актуальные смыслы «предположение», «сомнение» и подобные сконцентрированы на уточнении пропозиции предложения. Таким образом, собственно квалификативные смыслы, как сугубо «личностные» смыслы, связаны с действительностью в большинстве случаев опосредованно — через логические смыслы «возможность» и «вероятность».

Сомнение основывается на предположении. Предположение, в свою очередь, исходит из возможности. Предполагать можно то, что является возможным или невозможным, что потенциально осуществимо либо неосуществимо. Таким образом, связь предположения и возможности налицо. Но предположение в отличие от возможности всегда субъективно. Оно преломляется исключительно через «я» индивида, в то время как возможность зависит не только и не столько от субъективного фактора, сколько от условий, которые существуют вне данного фактора в объективной реальности. Предположение — база для реализации сомнения. Второе без первого невозможно, в то время как первое без второго эксплицируется довольно часто: — *Ну, прощайте, други... Засиделись мы у вас — и вам, чай, надоели* (И. Тургенев); — *Хе-хе... Мечтай, Илька! Чего не бывает на свете! Авось все, что я говорю, правда!* (А. Чехов). В высказываниях, где выражено сомнение, всегда имеется доля предположительности, однако она не превалирует, так как интенция говорящего заключается не столько в том, чтобы предположить об описываемом, сколько в том, чтобы выразить неуверенность в достоверности или недостоверности факта, в истинности чего-либо, актуализировать неясность, спорность проблемы, колебание, возникающее в ходе квалификации события. В результате высказывания, выражающие сомнение, активно смещаются к смысловому полюсу отрицания: чем большая доля авторского сомнения фиксируется в высказывании, тем более последнее в семантическом аспекте приближенно к обозначенному полюсу. В то же время с отрицательными данные высказывания не смыкаются. Возможность осуществления факта хотя и подвергнута говорящим сомнению, однако не отрицается полностью. На это у автора либо нет достаточных оснований, либо, напротив, имеются особые причины, препятствующие нейтральной утвердительной или отрицательной констатации. Отрицания не происходит даже в том случае, когда в высказывании выражена глубокая степень сомнения, как правило, базирующаяся на знании говорящим объективных обстоятельств, на основе которых и возникает его субъективное мнение: — *Ты помнишь меня, малышка? — спросил он. — Хотя вряд ли: тебе было всего три года, когда я был у вас в последний раз* (А. Волков); *Как уже случилось раньше, он едва ли придет* («Комсомольская правда»).

Проблема осведомленности актуализирует аспект обоснованности сомнения. Сомнение более обосновано, чем предположение. Однако этого оказывается недостаточно для констатации говорящим факта достоверности или недостоверности события. Субъективное мнение оказывается здесь объективно оправданным комплексом причин, подтолкнувших говорящего избрать именно такую форму выражения мысли. Обоснованность сомнения обычно подтверждается контекстуально. В этом случае в состав высказывания могут вводиться дополнительные языковые показатели такой обоснованности: *Вряд ли отец много даст: сам не дурак пожить* (В. Шишков); *Я был абсолютно спокоен: днем, да еще в городе вряд ли нам могло что-нибудь угрожать* (Б. Зотов). Обоснованность сомнения, несомненно, является фактором, влияющим на смещение высказывания к смысловому полюсу отрицания.

Слабо обоснованное сомнение не базируется на владении субъектом объективными

данными. Такое сомнение более субъективно, чем обоснованное, нередко носит категоричный характер. Необоснованное сомнение не означает, что такое же ментальное действие будет произведено при прочих равных условиях другим субъектом. Сомнение, не мотивированное объективными условиями, зачастую оказывается связанным, например, с неуверенностью как чертой характера человека, социальным статусом индивида, условиями воспитания человека и другими социокультурными факторами.

Мотивация степени осведомленности субъекта, таким образом, может служить базой для градации оттенков сомнения, диапазон которых достаточно обширен — от логически обоснованного сомнения до сомнения необоснованного, случайного. В то же время даже при поверхностном анализе проблемы выясняется, что логически обоснованное, «подкрепленное» сомнение, никогда не может быть приравнено к отрицательной констатации факта. Дистанцирование от ответственности за фактичность высказываемого дает говорящему право «синтаксически дипломатично» квалифицировать результат ситуации.

Выделение смысла «сомнение» ориентирует на учет не только лингвистических, но и суперлингвистических факторов. В этом аспекте, например, модально-сомнительные частицы *едва ли*, *вряд ли* характеризуются как формальные средства, отражающие лишь начальный стимул для актуализации квалификативного смысла, далее конкретизируемого подключением средств других уровней, в первую очередь контекстуального и интонационного. Как следствие этого, возникает множество переходных ступеней и довольно большое количество высказываний, в семантике которых трудно однозначно дифференцировать наличие неосложненного смысла «сомнение», фиксируемого непосредственно служебным элементом. Кваликативные смыслы часто выступают в смешанном виде, нередко наблюдается плавное наложение одного смысла на другой, совмещение их. Одним из дифференциальных критериев, думается, может служить параметр обоснованности собственного мнения, на который ориентируется говорящий при построении модально-кваликативного высказывания. При этом должен быть учтен фактор, что структура самого смысла сложна. Редким исключением являются случаи, когда персуазивный смысл, в том числе и сомнение, выступает в своем неосложненном варианте. Осложнения, образуемые коннотативными, текстовыми наслоениями, разного рода оценочными и авторизационными факторами, прагматически обусловленными и оправданными, — все это подводит к тому, что сфера общего квалификативного смысла высказывания в тексте должна исследоваться системно и поэтапно, с коммуникативно-прагматических позиций.

Актуализированные в статье проблемы позволяют утверждать, что универсальность сомнения как квалификативного смысла модально-персуазивной сферы базируется на универсальности сомнения — ментальной операции, логически обоснованной, связанной с факторами субъекта и адресата, имеющей прямое отношение к языковой и концептуальной картинам мира. Данная проблема интересна по своей сути и требует специального изучения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Адмони В. Г. Основы теории грамматики. — М.-Л., 1964; Апресян Ю. Д. Избранные труды. — Т. 2. — Интегральное описание языка и системная лексикография. — М., 1995; Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997; Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. — М., 1975; Никитевич В. М. Грамматические категории в русском языке. — М., 1963; Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. — Л., 1990; Философская энциклопедия. — Т. 4. — М., 1967; Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. — М., 1992.
2. Нагорный И. А. Предикативные функции модально-персуазивных частей. — Барнаул, 2000.
3. Шмелева Т. В. Семантический синтаксис. — Красноярск, 1988.

СИСТЕМА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ РУССКОГО БЕЗЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общеизвестно, что безличные предложения — одна из наиболее употребительных и самая пестрая по структуре и семантике разновидность русских предложений. В лингвистической литературе постоянно подчеркивается тенденция роста и все более широкого распространения безличных конструкций в современном русском языке. Камнем преткновения в русистике остается пресловутая «пестрота» безличных предложений: что объединяет столь разнообразные структуры — форма или содержание, в каких отношениях находятся различные структурно-семантические варианты, какие предложения следует относить (или не относить) к безличным?

Необходимо отметить, что, упоминая о данных единицах русского синтаксиса, в последнее время исследователи все чаще говорят о «так называемых безличных предложениях», тем самым подчеркивая уязвимость и неприемлемость термина, их обозначающего (правда, с таким же успехом можно предъявить претензии и термину «предложение» — кто кому и что предлагает?). Кто-то считает, что безличных предложений вообще не существует в природе: ничего в них особенного нет, они представляют собой лишь разновидность (или трансформацию) двусоставного предложения. Тем не менее, всякий, кто изучает русский язык, легко представляет то, что скрывается за неидеальным, однако устоявшимся и всем понятным термином «безличные предложения». Стоит ли отказываться от традиционного наименования, которое к тому же эквивалентно дефинициям, употребляемым в других языках (ср. англ. *impersonal*, франц. *impersonnelles*)?

Бесспорным нам представляется существование особой семантико-грамматической категории, составляющей специфику русского языка и проявляющей свой категориальный статус как на семантическом, так и на грамматическом уровне, для названия которой вполне приемлем термин «безличность». Данная категория — как феномен русского синтаксиса — постоянно находится в центре внимания этнолингвистических исследований, ее широкое употребление напрямую связывают с особенностями русского национального характера, русского менталитета и иными экстралингвистическими факторами, поскольку в других языках не обнаруживается прямых эквивалентов русских безличных предложений [1]. Однако подобные изыскания вряд ли можно считать достаточно обоснованными, поскольку они не находят подтверждения в собственно лингвистических исследованиях языковой системы как в синхронии, так и в диахронии [2].

Для выражения категории безличности в современном русском языке используются специализированные морфологические средства языка, а именно: безличные формы глаголов (*вечереет, смеркалось*), глагольного слова *нет* (*не было, не будет*), а также связочные (включая нулевую связку) безличные формы прилагательных (*морозно, было весело*), существительных (*горе мне будет, пора ехать*), причастий (*закрывается, как было сказано*), наречий (*станет невтерпеж, надо ждать*), местоимений (*каково мне было, нечего сказать*).

Чтобы стать средством выражения безличности, языковые единицы, принимая данную форму, должны приобрести и специфическую семантику: стихийное независимое от деятеля действие или стихийное независимое от носителя состояние. Безличная семантика предполагает особые синтаксические отношения: отсутствие синтаксической направленности предиката на подлежащее (*Морозит*), косвенное выражение субъекта (*Мне холодно*), облигаторный локатив при характеристике состояния окружающей среды (*В лесу холодно*), объектная направленность при выражении действия стихийной силы на предмет (*Вынесло лодку*), облигаторный пропозициональный инфинитив при модально-оценочных отношениях (*Можно сказать. Легко исправить*) и пр.

«Безличное предложение» – элемент синтаксической системы, имеющий свою внутреннюю системную организацию, – утверждает В. М. Павлов. – Инвариантные признаки «безличного предложения» определяют его «внешний обвод», границы, отчасти размытые, но все же границы, выделяющие систему «безличное предложение» из ее грамматической среды. Варианты, образующие внутреннее разнообразие этой системы, представляющие собой ее относительно разнокачественные компоненты, не нарушая целостности системы, взаимно дополняя друг друга в реализации системой ее особой общей функции, вместе с тем обслуживают ее многоплановые связи с соседствующими элементами среды» [3].

Существуют различные структурные и семантические классификации русских безличных предложений, представляющих их системность: по форме предиката (Е. М. Галкина-Федорук); по наличию и способу представления субъектного компонента (И. П. Распопов); по форме выражения семантического субъекта (М. Гиро-Вебер); по семантическим сферам (Ю. С. Степанов); по характеру денотата (М. Лейнонен); по способу представления носителя предикативного признака (О. А. Сулейманова) и др. [4]. В самом общем виде систему безличных предложений можно представить так: по структуре – глагольные и именные, по семантике – бессубъектные и субъектные, однако более точная классификация должна учитывать как структурные, так и семантические особенности безличных моделей.

Анализ языкового материала позволил нам выделить следующие структурно-семантические варианты русского безличного предложения:

- 1) бессубъектные: *Смеркается. Морозно.*
- 2) объектно-субъектные: *Развезло дорогу. Меня подбросило.*
- 3) инструментально-субъектные: *Веет прохладой. Ветром сорвало крышу.*
- 4) неопределенно-субъектные: *Под столом зашуршало. Приказано идти.*
- 5) локативно-субъектные: *В лесу тихо. В трубе гудит. Здесь накурено.*
- 6) лично-субъектные: *Мне нездоровится. Ему плохо. Ей горе.*
- 7) безлично-результативные: *Славно спето. Сколько выстрадано.*
- 8) безлично-генитивные: *Нет ветра. Не оказалось книги. Ни звука.*
- 9) безлично-модальные: *Нам надо ехать. Ему хочется спать.*
- 10) безлично-оценочные: *Мне трудно говорить. Ей приятно слушать.*

Как видим, ядерные – бессубъектные – варианты противопоставляются всем остальным, в которых субъект действия или состояния так или иначе представлен (способом его представления различаются варианты 2-6). Один тип вариантов (3) представлен только глагольными по структуре предложениями, другой тип (7) – только именными (причастными) предложениями, в то время как остальные варианты могут быть выражены и глагольными, и именными конструкциями. Облигаторным компонентом двух вариантов (9, 10) является зависимый инфинитив, примыкающий к форме безличности, его использование также возможно в варианте (4).

Особенность данной системы заключается в том, что ее ядро составляют предложения (варианты 1-3), в которых безличность представлена в наиболее чистом, идеальном виде, однако подобные структуры не отличаются разнообразием и являются наименее употребительными и частотными в речи по сравнению с другими вариантами. Вместе с тем на периферии системы находятся самые частотные и разнообразные по структуре и семантике конструкции (8-10), причем самый далекий от центра вариант – безлично-оценочные предложения – находится в зоне переходности между односоставными и двусоставными конструкциями, в нем наименее ощутима безличная семантика.

Дадим краткую характеристику структурно-семантическим вариантам безличных предложений современного русского языка.

1. Бессубъектные безличные предложения.

Данные предложения выражают семантику состояния или изменения состояний природы, связанные со сменой дня и ночи, температуры; атмосферно-метеорологические явления; ситуации изменения световых, температурных и других признаков среды жизнедеятельности человека [5].

В качестве предиката выступает ограниченное число собственно безличных глаголов, которые характеризуются абсолютной бессубъектностью (*рассветит, смеркаться, дождит, морозит*), личных глаголов в безличном употреблении (*моросит, штормит, темнеет, капает*), а также адъективных форм, не сочетающихся с дательным субъекта (*слякотно, ветрено, сыро, тихо*).

Данные предикаты не требуют конструктивно необходимых второстепенных членов предложения, поскольку своим лексическим значением они ясно определяют предмет суждения, а возможные при них обстоятельства места, времени, степени действия и качества следует признать факультативными [6].

2. Объектно-субъектные безличные предложения.

Семантика данных предложений связана с самопроизвольными процессами в физической среде, направленными на объект, предикат при этом выражен переходными глагольными формами (*потряхивать, разорвать, засосать, качать*); или со зрительным и слуховым восприятием внешней среды, выраженным адъективными предикатами, способными управлять формами винительного падежа (*видно, слышно*), а также соотносимыми с ними формами инфинитива в безличном значении (*видать, слышать*).

Облигаторным компонентом структуры данного типа предложений выступает объект в винительном падеже, заключающий в себе элемент субъектного значения: ср. *Машину качает. — Машина качается; Слышно песню. — Песня слышна.*

3. Инструментально-субъектные безличные предложения.

Данные предложения передают следующие внеязыковые ситуации: воздействие стихийных и физических природных сил прямо или опосредованно на объект, вызывающее его перемещение, изменение, разрушение, порчу: *Улицу занесло снегом; Корабль разбило бурей*; состояния и изменения состояний конкретно-физической среды, связанные с проявлением, распространением и восприятием запахов, изменений температуры, влажности и т. п.: *Пахло сеном; Веет прохладой* [7]. Реализация безличного значения глагольного предиката в таких предложениях детерминирована присутствием компонента в творительном падеже, совмещающего объектно-орудийное и субъектное значения: ср. *Побило градом посеvy. — Град побил посеvy; Пахнет цветами. — Цветы пахнут*; обязательным компонентом у первого типа структур также является прямой объект в винительном падеже.

4. Неопределенно-субъектные безличные предложения.

По семантике данные предложения прямо соотносимы с неопределенно-личными односоставными структурами, в качестве предиката в них выступают глагольные и причастные безличные формы. Конструкции такого рода не являются типичными безличными предложениями, поскольку их предикат обозначает активное действие неопределенного деятеля [8]: *Зашуришало под кроватью; Шумело за дверью; Сказано тебе; Ему поручено выступить.*

5. Локативно-субъектные безличные предложения.

Большое количество безличных конструкций (как глагольных, так и именных), выражающих семантику окружающей среды, требуют наличия облигаторного структурного компонента — локатива, совмещающего обстоятельственное и субъектное значения: ср.: *В лесу тихо. — Лес тих; В трубе гудит. — Труба гудит.* К данному структурно-семантическому типу вариантов безличного предложения следует отнести и структуры, обозначающие ощущения человека, связанные с какой-либо определенной частью его тела: *В горле першит; В желудке пусто* [9].

6. Лично-субъектные безличные предложения.

Многочисленные модели безличных предложений представляют психофизическое состояние субъекта-лица, который выражен формами косвенных падежей (дательного, винительного, творительного): *Мне нездоровится, работается, везет, плохо, каково, мука; Меня знобит, осенило, дергало; С ней дурно, так.* Данный субъект характеризуется «деагентовностью» и «дезактивностью», что маркируется грамматически [10], иными словами, здесь находит применение субъект — не агенс, не активный деятель, который поэтому не может быть обозначен формой именительного падежа. Субъект в лично-субъектных безличных предложениях — это пассивный отстраненный субъект, испытывающий определенное состояние, формируемое некими стихийными силами как вне самого субъекта, так и внутри его.

7. Безлично-результативные предложения.

Предикат данных предложений представлен исключительно краткой формой страдательного причастия, обуславливающей семантику конструкции, которую можно определить как результативное состояние или состояние как результат действия [11]: *В комнате прибрано; В купе накурено; Славно спето; У меня записано; С этим покончено.*

8. Безлично-гениитивные предложения.

Основная семантика данного типа предложений — отрицание бытия (наличия) предметов, явлений, признаков, однако конструкции, состоящие из отрицательного компонента и управляемого им объектно-субъектного компонента в гениитиве, не просто констатируют отсутствие того или иного предмета или явления, а характеризуют состояние, обусловленное данным отсутствием.

В качестве предиката выступают: отрицательное глагольное слово *нет*, включенное в парадигму глагола *быть* с отрицанием, безличные формы других глаголов с отрицанием (*не стать, не оказаться, не оставаться*); именные безличные формы с отрицанием: причастные (*не сделано, не получено*), адъективные (*не слышно, довольно*), субстантивные (*нехватка, ни звука*), местоименные (*никого, никакого*) [12].

9. Безлично-модальные предложения.

Такие предложения совмещают семантику безличности с семантикой внутрисинтаксической модальности, выражающей различные отношения между отстраненным субъектом и действием (возможность, необходимость, целесообразность, желательность). Для эксплицитного представления модальных значений в безлично-модальных предложениях используются специальные модальные слова, которые одновременно выступают формой безличности: глагольные (*следует, хочется*) и именные: адъективные (*невозможно, необходимо*), причастные (*суждено, принято*), субстантивные (*грех, пора*), местоименные (*некого, нечего*), наречные (*нельзя, немогуту*).

Предикативность в безлично-модальном предложении выражается аналитически (безлично-модальный элемент + инфинитив), обязательным компонентом расширенной структурной схемы является субъектный компонент: *Мне нужно ехать. Ему пора отправляться. Ей хочется спать* [13].

10. Безлично-оценочные предложения.

Спорным в лингвистике остается вопрос о синтаксическом статусе предложений типа: *Весело кататься. — Кататься весело.* Многие ученые безоговорочно относят их к двусоставным конструкциям вне зависимости от порядка следования компонентов в них, поскольку здесь четко прослеживаются предикативные отношения между инфинитивным подлежащим и адъективным сказуемым. Однако существуют исследования, придерживающиеся традиционного понимания данных конструкций, способных представлять основу как двусоставного, так и односоставного — безличного — предложения, в зависимости от порядка слов и актуального членения предложения.

На наш взгляд, есть смысл говорить об особом варианте безличных структур — без-

лично-оценочных предложениях, в которых важную роль играет облигаторный «дательный субъекта», а оценочный компонент характеризует отношение данного субъекта к действию, выраженному инфинитивом, здесь дается не оценка действия вообще, а оценка действия (его восприятие) конкретным субъектом: *Мне трудно согласиться с вами. Ему хорошо жить здесь. Ей легко казаться счастливой.* Однако согласимся, что разработка критериев выделения безлично-оценочных предложений, их отграничения от двусоставных структур требует специального исследования.

Мы не включаем в состав безличных предложений структуры с независимым инфинитивом (*Тебе ехать. Нам за тобой не угнаться*), а также количественные предложения (*Много народу. Народу понаехало. Тьма-тьмущая народу*). Переходный тип — безлично-инфинитивные предложения (*Мне нечего делать*), — мы рассматриваем как разновидность безлично-модальных предложений.

На наш взгляд, особое положение в системе структурно-семантических вариантов русских безличных предложений занимают структуры с облигаторным компонентом в творительном падеже — «творительным темы», широко употребляемые в разговорной речи (*С продуктами плохо. С работой туго. С экскурсией не выходит. С паспортом неразбериха*) [14], во всяком случае, они не вписываются ни в один из выше описанных типов вариантов.

Предложенная нами в данной статье структурно-семантическая классификация безличных предложений современного русского языка пока существует на уровне рабочей гипотезы, и поэтому в ней возможны уточнения и поправки, которые, несомненно, появятся в ходе нашего дальнейшего исследования семантико-грамматической категории безличности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М., 1999 — С. 794; 808; Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997. — С. 76.

2. См.: Копров В.Ю. Сопоставительная типология предложения. — Воронеж, 2000. — С. 70; Тарланов З. К. Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилософии. — Петрозаводск, 1999. — С. 12.

3. Павлов В.М. Противоречия семантической структуры безличных предложений в русском языке. — СПб., 1998. — С.181.

4. Петров А.В. Современный русский язык. Безлично-модальные предложения. — Архангельск, 2002. — С.10-11.

5. Захарова М.В. Семантика безличных предложений: Дисс. ... канд. филол. наук. — М., 2004. — С. 29.

6. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. — С. 186.

7. Захарова М.В. Указ. соч. — С. 35, 48.

8. Бабайцева В.В. Указ. соч. — С. 235.

9. Гиро-Вебер М. К вопросу о классификации простого предложения в современном русском языке // Вопросы языкознания. — М., 1979. — № 6. — С.72.

10. Кокорина С.И. К вопросу о семантическом субъекте // Вопросы русского языкознания. Вып.2. — М., 1979. — С. 81.

11. Замятина И.В. Безличное употребление причастных форм в простом предложении: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1998. — С. 14.

12. См. подробнее: Петров А.В. Безлично-генитивные предложения // Русский язык в школе. — 2005. — № 6. — С.78-81, 106.

13. См. подробнее: Петров А.В. Безлично-модальные предложения // Русский язык в школе. — 2004. — № 6. — С. 85-88.

14. Гиро-Вебер М. Эволюция так называемых безличных конструкций в русском языке двадцатого века // Русский язык: пересекая границы. — Дубна, 2001. — С. 69-70.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СОГЛАСИЕ И НЕСОГЛАСИЕ В КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Лексические единицы *согласие* и *несогласие* логически и психологически отражают ситуации согласия и несогласия, выражают внутренний мир человека, его представление об окружающем мире, являются ядерными единицами, связанными с ментальным миром человека.

Позиция согласия-несогласия — это осознание фрагмента действительности, это результат предметно-чувственной деятельности человека. Отношение согласия-несогласия является результатом деятельности коммуниканта, которая сигнализирует о проявлении разных аспектов, способствующих раскрытию характерных показателей согласия-несогласия. Фиксируется сам факт ситуации, которая отражает широкий спектр модификаций активности действий в плане существования понятия согласия-несогласия. Актуализация аспекта согласия-несогласия зависит от коммуникативной целенаправленности фрагментов реальной картины мира.

Согласие и несогласие локализируются в коммуникативном акте. Лексические единицы *согласие* и *несогласие*, функционирующие в тексте, сочетаются со словами, которые определяют характер сути явления согласия-несогласия, его значимость в речевом акте и в деятельности человека. Функционирование ядерных средств — единиц *согласие* и *несогласие* — является предметом нашего исследования.

Позиция согласия-несогласия — это оформление мыслительного процесса, который находится под контролем человека. В коммуникативном акте, охватывающем разные типы речевых ситуаций, проблема согласия-несогласия связана с установлением определенных принципов взаимоотношений, с совершенствованием жизнеповеденческих норм. В коммуникативном русле отношения согласия и несогласия направлены на достижение взаимопонимания участников, на совместный поиск решений возникших проблем.

Лексемы *согласие* и *несогласие* отражают фрагменты действительности, эксплицируют разнообразное восприятие мира, актуализирующее выражение реакции. В масштабах реальной действительности согласие характеризуется позитивной направленностью, доминирующей в человеческой деятельности. Понятие *согласие* воссоздает картины деятельности человека. Ср.: *площадь Согласия; издательство «Согласие»; страховое агентство «Согласие»; День Согласия и примирения; праздник Согласия и единения; Неделя согласия* и т. п.

Несогласие, как и согласие, имеет положительный признак в определенных ситуациях, когда выражение данной позиции обусловлено соблюдением речеповеденческих норм и моральных принципов (Ср.: *День несогласия; Неделя несогласия* и т. д.).

Лексемы *согласие* и *несогласие* сочетаются с именами существительными *состояние, радость, чувство, надежда на...* и др., которые маркируют характер фрагментов согласия и несогласия. Ср.: *состояние согласия/несогласия; жизнь в согласии/несогласии; чувство согласия/несогласия* и т. п.

Согласие и несогласие отождествляются с определенным оценочным признаком, характерной функцией. В таких структурах используется местоимение *это*: *согласие/несогласие — это удача/неудача (дня); дело главное/вспомогательное; результат переговоров (сторон); точки соприкосновения/несоприкосновения* и т. д.

В структурах, в которых имена существительные *согласие* и *несогласие* обозначают предмет приравнивания, функционирует сравнительный союз *как*: *Х ... как демонстрация; основа; форма; предмет* и т. п. *согласия/несогласия*.

Согласие и несогласие репрезентируют результат деятельности человека, его систему ценностей и соответственно субъектов речи, которые выражают указанные позиции

и которые соответственно номинированы определенными оценками. Ср.: *фигуры; представители; сторонники; технологи; противники* и т. п. *согласия/несогласия. Сегодня в обществе фигуры согласия отсутствуют; Сегодня фигурой согласия мог бы быть А.Д. Сахаров; Явлинский является фигурой несогласия* (Из телеинтервью).

Согласие и несогласие в речевой деятельности представляются осознанными категориями. Умение искусно вести диалог обуславливается знаниями участника, который должен понимать специфику коммуникативного процесса, связанного с отношениями согласия и несогласия. Словосочетания *обучение согласию/несогласию (кого...); воспитание согласия/несогласия (у кого...)* свидетельствуют о характере намерений человека, направленных на формирование умений, которые облегчат понимание значимости роли согласия/несогласия в реальном пространстве и нацелят коммуниканта на осмысленное употребление данных категорий. Ср.: *В школе надо предусмотреть обучение согласию и несогласию детей* (Из интервью психолога).

Имена существительные *поиск, достижение, установление* и под. *согласия/несогласия; призыв, стремление* и под. *к согласию/несогласию* определяют целенаправленность субъекта речи в связи с выбором той или иной реакции, способствующей решению коммуникативной задачи. Намерения субъекта речи отражают осознанное представление картины реальности и соответственное отношение к ее фрагментам: *Диалог — это поиск согласия; Поиск несогласия* (Газетные заголовки).

Человек имеет свой круг представлений относительно предмета речи, что и характеризует его интеллектуальный потенциал, определяющий составляющие понятия *согласия/несогласия* (ср.: *мир согласия/несогласия*) и выбор способа действия коммуниканта в окружающем мире (ср.: *путь согласия/несогласия*).

Согласие и несогласие выражают отношение к предметному миру и способствуют достижению определенных результатов, которых человек намеренно добивается.

Слова *присутствие/отсутствие* согласия-несогласия позволяют рассматривать категорию согласия-несогласия через призму деятельности человека, обобщая разнообразие жизненных явлений. Наличие собственных свободных позиций согласия и несогласия у человека — это качественный способ формулирования отношений, которые создают или разрушают совершенные условия, приводящие субъектов речи к истине постижения процесса взаимопонимания: *Присутствие согласия у всех сторон — это нахождение компромисса со всеми людьми, с которыми я общаюсь* («Аргументы и факты»).

В некоторых ситуациях отсутствие согласия-несогласия формирует проблемные отношения, принципиальные расхождения в решении спорных вопросов, разрушая многослойность диалога и взаимопонимание: *Отсутствие согласия среди нас привлекло внимание начальства* (В. Шаламов); *Отсутствие несогласия в коллективе (в хорошем смысле) порождает нездоровые отношения* (Из интервью психолога).

В сфере коммуникации в зависимости от характера ситуации и соотношения событий согласие/несогласие требует подтверждения или опровержения, если действия связаны с личными и общественными мероприятиями и приобретают официально-деловой статус: *Каждое подтверждение согласия на участие в конкурсе на получение статуса официального наблюдателя при розыгрыше Призов, поступившее вместе с документами участников, регистрируется в списке кандидатов* (Объявление).

Опровержение согласия/несогласия, неподтверждение заявленных отношений в коммуникативном акте можно охарактеризовать как ошибочные, ложные представления субъекта речи о соответствующем предмете обсуждения, как корректирование собственной точки зрения в процессе речевого взаимодействия, пока речевая акция не достигла конечного действия. Ср.: *опровержение согласия/несогласия; Опровержение несогласия удовлетворило претензии собеседника* («Аргументы и факты»).

В практике речевого общения позиция согласия/несогласия может существовать в

рамках конкретных договоренностей, которые выполняются или не выполняются коммуникантами. Правила, способствующие соблюдению или несоблюдению согласия/несогласия, являются как вполне обоснованными, так и некорректными, компрометирующими, явно отражающими отклонения от морально-этических норм жизнеповедения. Обусловленность характера ситуации согласия/несогласия передается лексемой *условие* (*условия*). Ср.: *Условия согласия (несогласия) соблюдаются*.

Управление процессом коммуникации способствует воздействию на формирование определенной позиции относительно какой-либо предметной информации и имеет и положительные качества, способствующие достижению намеченных целей, и отрицательные особенности, обеспечивающие реализацию принципов, которые нарушают корректность речевого поведения. Ср.: *Вызов согласия у администрации города с народными решениями; Вызов несогласия у жителей города на один день* («Красное знамя»). Воздействие субъекта речи на коммуникантов, осуществляемое под влиянием социальных факторов, заключается в целенаправленной информированности, связанной с конкретным предметом речи и соответственным вызовом интереса к нему, а также с желанием продемонстрировать речевую акцию и реализовать заданную коммуникативную стратегию.

В определенной ситуации субъект речи высказывает посредством слов речевого этикета *спасибо, благодарность* положительную оценочную реакцию по отношению к выраженной позиции согласия/несогласия в связи с участием/неучастием в конкретном действии. Функционирование позиции согласия/несогласия в данной ситуации оказывает позитивное влияние на результат действия, на взаимоотношения коммуникантов. Ср.: *Спасибо за несогласие участвовать в интриге против меня* («Комсомольская правда»); *Мы получили благодарность за согласие участвовать в олимпиаде по русскому языку* (Из разговорной речи). В структурах такого рода имена существительные *согласие* и *несогласие* употребляются в форме винительного падежа с предлогом *за* и сочетаются с инфинитивом, обозначающим специфику действия и определяющим его предмет.

Позиция согласия/несогласия может подтверждаться аргументами (ср.: *аргументы согласия/несогласия*), которые основываются на личностных представлениях коммуниканта о реалиях и формируются под влиянием его психоэмотивного состояния. В результате следует иметь в виду, что суть аргументов (как, впрочем, и сама позиция согласия/несогласия) может иметь и истинный характер, и ложный. Так, притяжательное местоимение *свой* подтверждает субъективность названных аргументов: *Она приводит свои аргументы несогласия с решением прокуратуры* («Аргументы и факты»).

В контексте указывается на положительную оценку (ср.: используется интенсификатор *достаточно*, свидетельствующий о ненарушении нормы в данной квалификации, и оценочное имя прилагательное *четкий*) предпринятых действий, которые обуславливают закономерность определения конкретной позиции, приближенной в большей степени к объективности: *Комиссия пришла к достаточно четким решениям и привела аргументы своего согласия по поводу зачисления абитуриента* («Комсомольская правда»).

Имена существительные *согласие* и *несогласие* употребляются в форме родительного падежа и сочетаются с предлогами *с — без*, которые конкретизируют функционирование лексем в контексте. Сочетания *с-без согласия* и *несогласия* указывают на то, что в реальной действительности при осуществлении каких-либо действий, при обсуждении предмета речи признается/не признается, учитывается/не учитывается позиция согласия/несогласия конкретного участника данной ситуации. Осуществление действия производится с учетом позиции согласия/несогласия коммуниканта: *Афиша была не напечатана с вашего несогласия* (К. Паустовский).

В другой ситуации действие отражает факт пренебрежения одной стороны мнением не менее заинтересованного лица и имеет значение негативного характера: *Живем в коммуналке. Соседка без моего согласия завела собаку* («Комсомольская правда»).

В структуру *с-без согласия/несогласия* включаются притяжательные местоимения *ваш, наш, мой, твой* и под., указывающие на личностную принадлежность позиции.

В данных сочетаниях может конкретизироваться лицо, позиция согласия которого является значимой составляющей в совершающемся речевом акте, поскольку взаимодействие коммуникантов должно строиться на основе принципов поведения человека в обществе.

Некорректно не заручиться согласием участника ситуации и осуществить без его ведома какие-либо намерения, что может нарушить нормативную схему взаимоотношений и инициировать негативные действия. В ситуациях разной сложности игнорирование мнения коммуниканта развивает конфликтные отношения, поэтому стремление к обоюдному согласию создает атмосферу взаимопонимания: *С согласия осветителя я усадил мою знакомую в зрительном зале на приступочке, около прожектора* (Ю. Никулин); *Без согласия Сони я не решусь продать имение* (А. Чехов).

Сочетание *без согласия* в контексте свидетельствует о том, что позиция согласия коммуниканта по поводу реализации какого-либо действия не учитывается или пренебрегается лицами, которые инициируют данный акт: *Без согласия населения поспешно переименовали почти все города, села и поселения* (К. Паустовский). Таким образом, диалог, в котором бы участвовали на равных правах желающие в обсуждении проблемы, не предусматривался, хотя механизм такого поведения является нарушением общественных норм форм взаимодействия.

Осуществление специфических действий обуславливается официальными рамками законодательства, требующего учитывать позицию согласия конкретного лица по отношению к обозначенному предмету обсуждения: *Театр не имеет права ставить современную пьесу без согласия автора* («Аргументы и факты»).

Предлог *в случае* (чего) сочетается с именами существительными в родительном падеже *согласие* и *несогласие* и выражает значение допустимости. В результате в речевом акте позиция согласия/несогласия фигурирует как предполагаемый, допустимый вариант отношения к данному предмету речи. Решение принять ту или иную позицию в связи с высказанными предложениями способствует продолжению взаимодействия коммуникантов: *Предлагаю работу. В случае согласия или несогласия сообщите немедленно* (Из объявления).

В конситуации согласие и несогласие являются причиной осуществления действия, которое, как правило, связано с положительным результатом. Высказывания, отражающие такие ситуации, имеют в своей структуре предлог *благодаря*, сочетающийся с именами существительными *согласие* и *несогласие* в дательном падеже: *Благодаря согласию родителей свадьба наша состоялась весной* (К. Паустовский); *Благодаря несогласию ректора отчислить меня за один проступок я остался учиться в вузе* («Красное знамя»).

Лексические единицы *в согласии с/в несогласии с* функционируют в качестве предлогов и сочетаются с именами существительными в творительном падеже: *Действовать в согласии с рекомендациями профсоюза* («Красное знамя»); *Действовать в несогласии с законами природы* (В. Песков).

Предлоги *с, благодаря, в случае* и некоторые другие, сочетающиеся с именами существительными *согласие* и *несогласие*, а также предложные формы *в согласии с* и *в несогласии с* распространяются частицами *только, даже, же*, которые актуализируют реакции согласия и несогласия.

В речевых актах позиция согласия/несогласия характеризуется ограничительной функцией, на которую указывает частица *только* в данном тексте: *Только с несогласия людей начинаются конфликты* (М. Пришвин).

Позиция согласия имеет официальный статус и используется в правовых документах как показатель объективно принятого решения, которому необходимо следовать с

целью предупреждения отклонения от заданных действий: *Пять и больше лекарств врач имеет право выписать только с согласия клинико-экспертной комиссии* («Комсомольская правда»).

Успех действия может быть обеспечен при соблюдении отношения согласия между субъектами, фигурирующими в конкретной ситуации: *Вчера мужики по вопросу о войне и диктатуре вынесли постановление: «Начинать войну только в согласии с Москвою и с высшей властью, а Елецкому уезду одному против немцев не выступать»* (М. Пришвин).

Частицы *же, даже* в рассматриваемых структурах усиленно подчеркивают сущность реакций согласия и несогласия, указывают на их значимую или незначимую роль в определенном речевом акте. Ср.: *С несогласия же с ним у меня начались неприятности* (В. Шаламов); *Даже с согласия Думы правительство нельзя отправить в отставку* («Аргументы и факты»).

Модально-вводные компоненты со значением высокой степени достоверности *конечно, разумеется* и под. подтверждают, «насколько ответственно говорящий относится» к позиции согласия/несогласия определенного субъекта в данной ситуации [1]: *Разумеется, с согласия Совета Федерации президент может подписать указ о введении чрезвычайного положения* («Аргументы и факты»). Вводные компоненты призваны отражать стремление говорящего «быть правильно понятым» [2].

В контексте лексические единицы *запрещено, не разрешается, нельзя* и под. являются индикаторами запретительных стратегий, свидетельствуют о невозможности совершения каких-либо действий без учета позиций согласия и несогласия субъекта речи, а также указывают на категоричность требования соблюдать принципы согласия и несогласия. Ср.: *Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства «Высшая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия издательства запрещено* («Комсомольская правда»); *Без санкции прокурора сотрудникам милиции не разрешается входить в жилое помещение граждан без их согласия* («Комсомольская правда»); *Без несогласия с ворами нельзя человеку жить спокойно* (М. Пришвин).

Следовательно, описание функционирования лексем *согласие* и *несогласие* в коммуникативно-прагматическом аспекте свидетельствует об активном употреблении указанных единиц в речевом общении, об их организующем факторе при выстраивании моделей взаимоотношения, об их лексической сочетаемости со словами, определяющими назначение позиций согласия и несогласия в коммуникативной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. — Ч. II. Синтаксис. — М., 1968. — С. 190.
2. Лекант П. А. Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 126.

ОЦЕНОЧНО-ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ В СТРУКТУРАХ С СЕМАНТИКОЙ СОГЛАСИЯ И НЕСОГЛАСИЯ

Оценка включается в конструкции с семантикой согласия и несогласия как структурный и семантический компонент и характеризует способ выражения реакции говорящего в определенных речевых обстоятельствах. Оценочное согласие и несогласие — это познание действительного мира, которое должно способствовать взаимопониманию людей при восприятии реальных, имеющих истинный или ложный характер и отражающихся в различных речевых актах.

В речевых актах с отношениями согласия и несогласия активно используются разные типы оценочных компонентов, особенности функционирования которых имеют актуальное значение.

1. Наречия со значением нормативной оценки *милостиво, снисходительно, благосклонно, любезно, учтиво, вежливо* и т. п., сочетаясь с глагольными формами сказуемых *согласился / не согласился* и др., реализуют сему вежливости. Речевое поведение в большинстве коммуникативных ситуаций регулируется адресатом, поскольку именно его намерения или совпадают, или не совпадают с интересами адресанта, или совпадению взглядов препятствуют какие-либо условия, обстоятельства. Соблюдение принципа вежливости приводит к корректному речевому поведению и соответственно свидетельствует о демонстрации высокой степени почтения в отношениях между коммуникантами. Адресант в своем высказывании использует лексические средства со значением разрешения, просьбы, и соответственно реакция согласия и несогласия сопровождается позитивной оценочной характеристикой: — *Вы разрешите, молодой человек, сыграть с вами в партию?* — *Я милостиво согласился* (В. Шаламов); — *Я просил назначить встречу с мэром на утро. Пресс-секретарь любезно не согласился* («Красное знамя»).

Оценочные лексемы *грешно, неэтично, неприлично, плохо, нехорошо, безнравственно* и т. п. сочетаются с инфинитивами *согласиться / соглашаться — не согласиться / не соглашаться* и выражают отрицательную характеристику, относящуюся к реакции согласия и несогласия, а также указывают на отклонение от этических принципов в условиях интеракции. В конструкциях согласие и несогласие приобретают рекомендательный характер.

Оценочные лексемы негативно маркируют позицию согласия-несогласия в отношении тех поступков человека, которые приводят к неуспешным речевым актам, неудачным результатам действий. Указанные лексемы реализуют в конструкциях сему 'наставление', 'назидание': *Грешно соглашаться с несправедливыми поступками, совершенными взрослыми людьми* («Красное знамя»); *Неприлично не соглашаться с повторным приглашением в гости, которое мы получили заранее* («Литературная газета»).

2. Оценочные компоненты *охотно / добровольно / непременно / легко / с легкостью / без труда* и др. — *неохотно / нехотя / с трудом / насилу* и др. сочетаются с глагольными формами *согласился / не согласился* и т. д. и формируют ряд сопоставлений, разделенных знаками «плюс» и «минус». Компоненты, имеющие положительное оценочное значение, выражают сему 'желание', 'намерение' и характеризуются отрицательным оценочным отношением, выражая сему 'отсутствие желания, намерения'. Оценочное согласие и несогласие является ответом на тот речевой акт, который затрагивает или не затрагивает интересы адресата.

В речевом акте намерения (о чем свидетельствуют используемые глагольные формы *пригласили, хочу поговорить, решаюсь попросить, предложил поговорить*) адресанта принимаются с желанием, удовлетворением: — *Мы пригласили Дементьеву в Ленинград, открыть Всемирный конгресс экслибриса. Она охотно согласилась* (С. Есин); *Узнав, что я хочу погово-*

речь с ним просто «за жизнь», Александр Карелин охотно согласился на короткое эксклюзивное интервью («Комсомольская правда»).

В предложении интенсификатор *очень* подчеркивает степень усиления проявления желания в выражении согласия в ответ на просьбу: *С большим смущением я решаюсь попросить его написать мне стихи. Он соглашается очень охотно* (З. Масленикова).

Согласие и несогласие со стороны адресата выражается под влиянием отношения нежелания, отсутствия удовлетворения: *Когда британец прибыл к его штабной машине, Заварзин предложил поговорить прямо в ней. Джексон нехотя согласился* («Комсомольская правда»); *Мы просили его остаться жить у нас, хотя бы на лето. Он неохотно не согласился* («Комсомольская правда»).

В речевом акте согласие и несогласие с дополнительным значением ‘желание’ или ‘нежелание’ мотивируется. В конструкции с придаточным обстоятельственным, включающим союз *потому что*, содержится указание на причину, которая побудила говорящего к выражению соответствующей реакции.

В речевой ситуации желание адресата не согласиться с предложением адресанта обосновано нежеланием нарушать правила честности, искренности во взаимоотношениях с другими участниками общения: *Нам было предложено заявить прессе, что «На-На» работает бесплатно на концерте. Хотя оплата предлагалась недешевая. Мы без труда не согласились, потому что не хотели обманывать 70-80 тысяч зрителей, собравшихся на площади* («Комсомольская правда»).

Анализ действий коммуниканта, нацеленных на достижение эффективного результата, позволяет субъекту речи прогнозировать реакцию согласия в отношении предмета обсуждения. На таком положительном фоне взаимодействия констатируется, что для оформления позиции согласия не существует никаких препятствий и что для выражения подобного отношения имеются достаточные основания (ср.: *легко согласится*): *В администрации были уверены, что Россия легко согласится на войну в Ираке, потому что она поддерживает политику борьбы с терроризмом в мире* («Литературная газета»).

В сложноподчиненном предложении используется расчлененный союз *потому что*, в препозиции которого находится частица *только*. Средства, находящиеся в главной части, выделяют и ограничивают содержание придаточной единицы, которое явилось причиной согласия, сопровождаемого проявлением высшей степени нежелания (ср.: *насилу согласился*): *Случилось так, что я был утвержден на главную роль в фильме «Мальчик и девочка». Тарковский насилу согласился на мое «раздвоение» и только потому, что снимал ту картину его друг-однокурсник* (М. Тарковская).

Намеренное согласие / несогласие осуществляется коммуникантом под влиянием новых, необычных обстоятельств и изменения отношения к ним. Нацеленность на выражение согласия / несогласия по собственному желанию (ср.: *добровольно*) наблюдается в тех речевых актах, когда коммуникант свободен в выборе своих действий и сам несет ответственность за принятое решение: *Люди добровольно соглашались или не соглашались на авантюру* (В. Шаламов).

В определенной ситуации говорящий испытывает потребность репрезентировать собственные обязательства в связи с выражением согласия / несогласия по отношению к предмету речи, который вызывает усиленный интерес (ср.: указание на необходимость проявления желания оформляется интенсификатором *непременно*): *Есть такой тип людей, с которыми или непременно соглашаешься или непременно не соглашаешься* (В. Шаламов).

Следовательно, вполне закономерно, что в речевых актах отражаемая действительность соответствует определенным оценочным отношениям, которые актуализируют позиции согласия и несогласия.

3. Ценностное представление позиций согласия и несогласия категоризируется в двучленных оппозициях с семами ‘целесообразно’ и ‘нецелесообразно’. В конструкциях

оценочные модусы *разумно, благоразумно, логично, полезно, важно* и т. п. выражают сему 'целесообразно' и характеризуются положительной оценочностью. Сема 'нецелесообразно' связана с содержанием оценочных компонентов *глупо, неблагоразумно, напрасно* и др., которые имеют отрицательный характер оценки в речевом акте.

Некоторые из компонентов сочетаются с интенсификаторами *очень, крайне, совершенно*, актуализирующими высокую степень признака и «максиму качества» речевого общения [1]. Модусные лексические единицы сочетаются с инфинитивами *согласиться / не согласиться*, которые могут распространяться объектными указателями (*с кем-либо, с чем-либо*): *Крайне важно согласиться* [а также: *не согласиться*] *со своей совестью* (К. Паустовский); *Очень полезно не соглашаться* [а также: *соглашаться*] *со своими фантазиями* (М. Пришвин).

В сложноподчиненных предложениях с союзными средствами *что, потому что, если* и др. главная часть имеет структуру безличного предложения и характеризуется семантической составляющей назидательности, отражающей своеобразно сформулированную модель поведения, которую следует реализовать в определенных речевых актах: *Разумно не соглашаться с тем, что вызывает недоумение* (Ю. Никулин); *Глупо соглашаться, если тебя не понимают* (В. Шаламов).

В зависимости от коммуникативного назначения высказывания оценочные компоненты *разумно, благоразумно и неблагоразумно, напрасно, важно* сочетаются с глагольными формами *согласился / не согласился* и др. Говорящий оценивает позиции согласия и несогласия положительно (ср.: *Он благоразумно согласился / не согласился*) и отрицательно (ср.: *Он напрасно согласился / не согласился*). Оценка является следствием анализа речевого акта, отражающего характер достижения результата взаимодействия. Выраженная позиция согласия/несогласия оценивается знаком «плюс», следовательно, коммуникант продемонстрировал успешный коммуникативный ход, который приведет к осуществлению намеченной цели. Однако выражение позиции согласия/несогласия оценивается как неуместное, неосновательное в связи с тем, что коммуникант понимает ситуацию неадекватно, не прогнозирует, исходя из условий успешности.

Лексема *важно* актуализирует отношения нарочитой подчеркнутости и вызова при выражении согласия/несогласия, а также элемент отрицательной оценки. Ср.: *Он важно согласился / не согласился с нашим предложением*. Коммуникант обладает информацией о развитии коммуникативного акта и соответственно находится в позиции «над» ситуацией. В результате проявление небрежности по отношению к собеседнику свидетельствует о нарушении корректности во взаимодействии и условий стимуляции, побуждающих к продолжению речевой деятельности.

В конструкциях оценочные компоненты указывают на положительное и отрицательное значение, квалифицирующее позицию согласия/несогласия в свете реализации успешности / неуспешности речевого акта.

4. Наречия в сравнительной степени *лучше, скорее, легче* (часто совместно с интенсификатором *всего*) сочетаются с глагольными формами *согласиться/не согласиться* и выражают сему 'предпочтение'. Структуры включают в свой состав союз *чем*, присоединяющий сравнительный член предложения.

В зависимости от конкретной ситуации, заключающей в себе противоречия речевого поведения, говорящий принимает решение и рекомендует сформулировать ту реакцию, которая является предпочтительной, а значит, целесообразной для совершенствования взаимоотношений в разных обстоятельствах и самих обстоятельств в меру возможности. «Суждения о предпочитаемости предназначены для того, чтобы указать выход из жизненных затруднений и сомнений» [2].

Компоненты *лучше всего* сочетаются с глагольными формами *соглашусь/согласиться — не соглашусь/не согласиться* и сигнализируют о предпочтении позиции согласия или не-

согласия, чем впоследствии противостоять непредсказуемому речеповедению со стороны собеседника. Таким образом, успешность речевого акта обуславливается сознательным выбором реакции согласия или несогласия: *Я понимал: что бы ни говорил Михаил Николаевич, лучше всего с ним соглашаться* (Ю. Никулин); *Лучше не согласиться с предложением, чем потом кусать локти* (С. Довлатов).

В конструкциях компонент *лучше* выражает положительную оценку, наличие которой способствует оправданию выбранной позиции, ибо в противном случае ситуация могла бы представиться в худшем варианте. Компаратив *лучше* является «знаком выбора» и «рекомендации» [3]: *Лучше согласиться или не согласиться, чем вечно конфликтовать* (С. Довлатов).

Побуждение к высказыванию согласия/несогласия как предпочтительному варианту речеповедения оформляется предложением *Лучше соглашайся / не соглашайся*, которое содержит в себе и значение совета. Частица *уж*, включаемая в данную структуру, вносит семантику уступки. Однако в речевом акте реакция может приобретать оттенок категорической угрозы, который особенно проявляется посредством интонации.

В предложении *Лучше соглашаться/не соглашаться, чем не соглашаться/соглашаться* заключена определенная сентенция. В коммуникативном акте выбор согласия/несогласия обусловлен конкретной ситуацией. В речевом акте ситуации согласия и несогласия оказываются принципиально несовместимыми. Данные своеобразные формулы предпочтения согласия и несогласия связаны с необычными обстоятельствами, оказывающими влияние на действия коммуниканта, для которого выбор согласия и несогласия является в какой-то степени оправданием. Конструкция состоит из двух инфинитивов — *согласиться (соглашаться)* и *не согласиться (не соглашаться)*, — второй из которых присоединяется союзом *чем* и содержит отрицательную оценку, подчеркиваемую контрастом.

В предложениях с компаративом *скорее* (+ интенсификатор *все*) (ср.: *Я скорее (все-го) соглашусь/не соглашусь (...чем)*; *Он скорее (все-го) согласится / не согласится (... чем)* и т. п.) выражается предпочтение реакции согласия/несогласия, реализация которой прогнозируется коммуникантом как вполне вероятностная, и актуализируется лицо.

В конструкции с союзом *чем* компаратив *скорее*, находящийся в первой части, указывает на исключительную ситуацию согласия, которая сопоставляется с вполне вероятным действием: *Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой* (И. Тургенев); *Я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирилла Петровича* (А. Пушкин). «Компаратив *скорее* часто является маркером ирреального положения дел, привлекаемого в целях контрастирования» [4].

В односоставных безличных предложениях компаратив *легче* входит в предикативное ядро (+ инфинитив *согласиться / не согласиться*) и имеет значение 'предпочтение'. В конструкции союз *чем* присоединяет инфинитив, в котором заключен отрицательный характер действия (ср.: *Легче согласиться/не согласиться, чем спорить / ругаться / обманывать* и т. п.), а в первой части компаратив *легче* указывает на позитивную оценку в связи с выбором позиции согласия/несогласия. Решение говорящего выразить именно согласие/несогласие способствует снижению обострения ситуации, прекращению процесса конфликтности и обеспечивает наибольшую вероятность достижения взаимопонимания.

В безличных предложениях инфинитивы *согласиться/соглашаться — не согласиться/не соглашаться* употребляются с формой *хуже всего*, которая имеет отрицательную оценку и сему 'не отвечает требованиям нормы'.

Предмет речи, с которым предпочитают соглашаться или не соглашаться, находится в зоне отрицательной характеристики, так как его речеповедение не отвечает требованиям коммуникативного кодекса. В результате предпочтенная позиция оценивается негативно, потому что нарушаются общепринятые принципы поведения. Ср.: *Хуже всего соглашаться / не соглашаться с начальством*. Данные структуры могут подразумевать раз-

ные трактовки пропозиции и соответствовать такому речевому действию, как предостережение.

Конструкция *Хуже всего соглашаться/не соглашаться с выгодным предложением* свидетельствует о том, что в силу разных обстоятельств коммуникант приходит к такому выводу-предостережению, несмотря на то что предмет речи находится в зоне положительной характеристики.

В итоге реальная оценка позиции согласия-несогласия свидетельствует об ответственности коммуниканта за принятое решение.

5. Оценочные компоненты *твердо, уверенно, решительно, категорически* и др., выражающие высокую степень убежденности, и *нетвердо, неуверенно, нерешительно, некатегорично* и др., репрезентирующие слабую степень убежденности, конкретизируют характер проявления позиций согласия и несогласия и актуализируют психологическое состояние коммуниканта, который воспринимает информацию неравнодушно.

Согласие и несогласие, оформляемые с определенной степенью убежденности, уверенности, возникают в тех случаях, когда коммуникант имеет полную/неполную информацию о данном предмете речи и стремится объективно давать оценку.

Понимание истинности фрагмента действительности способствует выражению объективной оценки (хотя и не исключает субъективной интерпретации): *Правительство проводит реформы и допускает грубые ошибки. Е. Примаков твердо согласился с этим* («Литературная газета»).

Интенсификаторы *категорически, решительно* сочетаются со словами *согласен/не согласен, согласился/не согласился* и т. п. и выражают чрезмерную степень убежденности, уверенности в истинности суждения, обозначая категоричность оценки. «Категоричность оценки — это категория прагматическая ... излишняя категоричность подразумевает уверенность в истинности своего концептуального мира и своих мнений» [5].

Безапелляционность выражения согласия-несогласия свидетельствует об объективности суждения адресанта, о правильности его утверждения. Поддержка мнения адресанта претендует на то, чтобы направить речевой акт на исполнение необходимого решения: *Психологически неуравновешанные люди (а если сказать прямо — психбольные) должны быть под контролем медработников. — Категорически согласен с вашим утверждением* («Литературная газета»).

Категоричность несогласия обуславливается выбором неудачной речевой тактики со стороны адресанта, который не учитывает мнение адресата, что создает препятствия в общении: *Я категорически не согласен с решениями, принятыми без меня* («Комсомольская правда»).

Поскольку знания о предмете речи у коммуникантов неодинаковые и, по всей вероятности, адресат информирован в большей степени, поэтому его ответ столь категоричен в такой конфликтной ситуации: *Шахтеры заявили, что правительство должно им 2,5 трлн. рублей, с чем Чубайс решительно не согласился* («Комсомольская правда»).

В рамках реальных ситуаций и социальных контекстов коммуникант не всегда владеет информацией в полной степени, не имеет абсолютного представления о соответствующих речевых актах, и «правильное понимание высказывания не исключает его неверной интерпретации» [6].

В результате в реальном общении часто адресат маркирует свою реакцию наиболее типичной языковой формой *категорически не согласен/не согласился* и т. п., считая ее более предпочтительной, и стремится скорректировать представление о предмете речи, точнее его охарактеризовать, изменить к нему отношение или применить иные критерии.

Реакция категорического несогласия закономерно связана с разными типами утверждения, в частности, с таким, которое: 1) не может трактоваться столь однозначно в силу глобального содержания понятия предмета речи: *Участник заключительной публи-*

кации пишет, что «поэзия умирает». С этим утверждением мы категорически не согласны («Литературная газета»); 2) не обосновано спецификой знаний, какими компетентно владеет адресат: *В Институте питания категорически не согласны, что биокефир — без лечебных свойств* («Комсомольская правда»); 3) содержит резко отрицательную характеристику предмета речи, о деятельности которого адресант не может знать настолько глубоко, чтобы воздействовать на его репутацию посредством безосновательных обвинений (ср.: используются оценочные лексемы *некомпетентность, неэффективность*, имеющие негативное значение): *С обвинениями в некомпетентности и неэффективности своей деятельности руководители Сбербанка категорически не согласны* («Аргументы и факты»); 4) выражает уверенность (ср.: *уверен*) в правильности последовательных коммуникативных ходов и действий вопреки усиленному воздействию (ср.: *как ни уговаривал*) со стороны адресанта: *Он со мной категорически не согласился, он был уверен, что сделал, как надо, не хотел ничего переснимать, как я его ни уговаривал* (М. Тарковская); 5) отражает некорректность коммуникативного хода: — *Как лично вы относитесь к человеку, который ценой преступления защищал честь милицейского мундира. — Категорически не согласен с вашей постановкой вопроса* («Комсомольская правда»); 6) указывает на необоснованность требований (ср.: *требовали*): *По моим произведениям было снято двадцать пять серий. Потом книги кончились, а от меня требовали новых серий. Я категорически с этим не согласен* («Литературная газета»); 7) имеет семантическую компоненту сомнения в отношении целесообразности действий, не достигающих положительного результата в созданных условиях. Позиция категорического несогласия обосновывается пониманием глобальности перспективы взаимодействия: — *Так стоит ли России перечислять свои взносы, если ее просто не хотят слышать? — Категорически не согласен. Россия доказала, что мировое общественное мнение на нашей стороне, что на планете растет понимание того, что силовое решение проблемы — это путь в никуда* («Комсомольская правда») и т. д.

Так, согласие и несогласие маркируются показателями, которые определяют характер процесса реагирования на ту или иную информацию.

6. Сема 'проявление воли' репрезентируется лексемами *упорно, настойчиво, упрямо* и под., которые конкретизируют степень интенсивности выражения согласия/несогласия. Адресат проявляет упорство в отстаивании собственной позиции, сознательно добивается осуществления намерений, утверждения и признания его понимания реалий, демонстрируя уверенность в правоте вопреки противоречивым взаимодействиям участников речевого акта. Позиция согласия/несогласия, которая приобретает в контексте и позитивную, и негативную оценку, благоприятствует/не благоприятствует развитию коммуникативных событий.

Позиции согласия и несогласия, характеризующиеся проявлением воли, формируются в речевом акте, в котором содержится указание на оценку действия предмета речи, и мотивируются интуицией, знанием коммуниканта, а также отношением доверия к собеседнику.

В противительных конструкциях предикат с аксиологическим знаком находится в препозиции, а вторая часть присоединяется союзами *а, но, однако* и свидетельствует о той или иной реакции. Ср.: *Говорящий ошибался/не ошибался ... однако Собеседник с ним упорно соглашался/не соглашался ...* и т. п.

В сложноподчиненном предложении с придаточным уступительным, в котором заключается препятствующее условие для выражения той или иной реакции (ср.: *был не прав/прав* и т. п.), позиция согласия/несогласия под влиянием воли собеседника не изменяется с целью психологической поддержки говорящего или в связи с поставленными коммуникативными задачами: *Собеседник упорно соглашался/не соглашался ... хотя Говорящий был не прав/прав ...* и т. д.

Проявление воли при выражении несогласия в ответ на приглашение (ср.: *пригла-*

шали) субъекта речи обуславливается негативной оценкой (ср.: *литературно-конъюнктурный цинизм*) его деятельности: *В. Распутин приглашали сниматься для телевидения. Он упорно не соглашался, обвиняя ТВ в литературно-конъюнктурном цинизме* («Литературная газета»).

Характер проявления воли в выражении согласия/несогласия определяется характером поведения коммуниканта, принимающего конкретное решение.

7. В речевом акте согласие и несогласие оформляются коммуникантом без недовольства, уступчиво, вежливо-смирненно. Проявление оценочных значений связано с компонентами *безропотно, покорно, послушно, смиренно* и др., которые сочетаются с глагольными формами *согласился/не согласился* и т. п. и в зависимости от речевой ситуации имеют позитивную и негативную оценку. Готовность согласиться или не согласиться с предлагаемыми условиями речевого взаимодействия мотивируется нежеланием коммуниканта включаться в конфликтные отношения: *Его не первый раз посылали в командировку, и он покорно соглашался* (С. Довлатов).

8. Антонимические оценочные компоненты *активно* и *пассивно* характеризуют степень проявления энергичности, свойственной коммуниканту при выражении отношений согласия и несогласия в связи с приемлемостью /неприемлемостью действий адресанта. В организации согласия/несогласия участвуют эмоциональные компоненты 'интерес' и 'безразличие': *Андрейченко играла одно, но после, глядя на то, что получилось у режиссера, активно с этим не согласилась* («Комсомольская правда»). «Субъектом эмоционального состояния является личность (человек, — и только человек!)» [7].

9. Лексемы *демонстративно, подчеркнуто, нарочито* совместно с глагольными формами *согласился/не согласился* и др. выражают экспрессивную оценку со знаком «плюс» и «минус» и имеют значение 'протест', которое определяет состояние коммуниканта. Подобные реакции являются ответом на необоснованные действия (ср.: используется лексема *необоснованный* со значением отрицательной оценки): *Члены российской делегации подчеркнуто не согласились с выдвигаемыми условиями ПАСЕ, которые имели необоснованный характер* («Коммерсантъ»); или свидетельствуют о поддержке адресанта на фоне отрицательного (ср.: 'неодобрительно') отношения к его некорректным речевым действиям. Однако в этой ситуации реакция протестного согласия приобретает негативную оценку, поскольку наблюдается отклонение от критерия истинности по отношению к действительности: *В телестудии неодобрительно отнеслись к высказыванию Жириновского по поводу «мытья сапог в Тихом океане». Телеведущая демонстративно согласилась с ним* («Коммерсантъ»).

10. Позиции согласия и несогласия конкретизируются оценочной лексемой *демократически*, которая выражает сему 'реализация свободного права выбора действия'. Общая позиция согласия и несогласия формируется на основе общности интересов внутри социального пространства коммуникантов, субъективные действия которых характеризуются свободой выбора решения, принимаемого в связи с обсуждаемым предметом речи: *На заседании горсовета все демократически не согласились с выдвигаемой кандидатурой на должность мэра* («Красное знамя»).

Следовательно, исследование функционирования наиболее активных оценочных лексем в конструкциях с семантикой согласия/несогласия, является продуктивным аспектом в рассмотрении категории согласия/несогласия. Понимание роли отношения согласия/несогласия в условиях реального коммуникативного процесса обуславливается установлением полноценного акта общения. Оценочные компоненты полнее характеризуют значимость выражения позиции согласия/несогласия, так как в речевой практике актуализируются как истинные, так и ложные ситуации согласия/несогласия. Оценочные компоненты, характеризующие отношение согласия/несогласия, определяются конкретными условиями речевого общения, концептосферой коммуниканта или сами обеспечи-

вают класс оценки. «Оценка относится к интенциональному аспекту языка, где преломление картины мира в сознании говорящего осложняется целым рядом факторов» [8].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике (Лингвистическая прагматика). – М., 1985. – Вып. XVI. – С. 223.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М., 1999. – С. 246.
3. Там же. – С. 255.
4. Там же. – С. 253.
5. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. – М., 2002. – С. 108.
6. Арутюнова Н. Д. Указ. соч. – С. 185.
7. Лекант П. А. Рациональное и эмоциональное в русском предложении: семантика эмоционального состояния // Русский язык: номинация, предикация, образность. – М., 2003. – С. 4.
8. Вольф Е. М. Указ. соч. – С. 9.

ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОналиЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

При лингвистическом анализе художественного произведения языковые средства его «должны рассматриваться, по мнению А. И. Горшкова, не как «язык», то есть не как механическое сочленение в тексте лингвистических форм и приемов (= языковой материал), а как «стиль», то есть «языковая реальность», само функционирование языка, исходя из которого выявляются конкретные случаи употребления, использования элементов общенародной языковой системы» [1]. Обычно после рассмотрения изобразительно-выразительных лексических средств художественного стиля обращают внимание на иноязычную лексику как специальный художественный прием. Привлекает внимание исследователей и нелитературная лексика: самобытность диалектизмов, эмоциональность и образность просторечных слов, экспрессия жаргонизмов. Профессионализмам, также относящимся к некодифицированной, нелитературной лексике, уделяется незаслуженно мало внимания.

Профессионализмы занимают большое место как в языковой системе, так и в речевой деятельности человека, который половину своей жизни проводит в профессиональном общении. Художественная литература, отображая реальную жизнь человека, не может обойти вниманием его профессиональную деятельность. Не случайно в 60-70 годы прошлого века появился новый жанр художественной литературы – производственный роман. Авторы таких произведений пропагандируют трудовую деятельность человека разных профессиональных сфер, передовые методы производства, воспевают творческую личность человека труда. В подобной литературе довольно широко используются профессионализмы.

Профессионализмы – это слова, употребляемые в устной речи при неофициальном общении в условиях профессионально-производственной ситуации и обозначающие объекты этой ситуации. Поэтому профессиональные наименования встречаются в текстах, рассчитанных на широкую аудиторию (например, в СМИ), не так часто, как разговорно-просторечная лексика. Однако художественная речь не может обойтись без профессионализмов, отражающих особые реалии. В них писатели находят возможность стилизации художественного повествования, создания реалистичности обстановки, речевой характеристики героя, придания эмоциональной оценки явлению. Частота и особенности употребления профессиональных наименований зависят от характера изложения материала, адресации текста и его целей. Задачей данного исследования стало выявление функций, которые выполняют профессионально ориентированные наименования в художественных текстах. Для анализа были специально отобраны произведения, различные по жанру, написанные разными авторами и в разное время: Б. Володин «Боги и горшки» (повести – 30-е годы), Ф. Гладков «Цемент» (роман – 1925г.); Б. Горбатов «Непокоренные», «Донбасс» (повести, роман – 50-е годы), Ю. Карелин «На что жалуетесь, доктор?» (повесть – 1979г.), В. Кочетов «Журбины» (роман – 1952г.), Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (1946г.), Н. Федотов «Близко к сердцу» (рассказы и повести 60-е годы), М. Шагинян «Гидроцентральный» (роман 1930-1931гг.), В. Шукшин «Живет такой парень» (киноповесть – 60-е годы).

Одной из главных предпосылок использования профессионализмов в речи является их информационная насыщенность, поэтому профессиональные наименования в художественном тексте часто выполняют номинативную функцию: называют различные производственные процессы, орудия и средства труда, сырье, продукцию и т. п. Они дают названия конкретным предметам, явлениям, действиям, которые необходимо затронуть при описании производственной действительности автором художественного произведения.

Номинативные профессионализмы в художественном тексте обычно используются двумя способами: без пояснения и с раскрытием их содержания. Без пояснений употребляются профессионализмы, получившие широкое распространение и вошедшие в фонд общеупотребительной лексики, например: *Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заматались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы и как пришедшие в себе экипажи «юнкерсов» начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух* (Б. Полевой). Для военного и послевоенного поколений профессионализмы *транспортники, штурмовики, юнкерсы* не нуждаются в пояснении. Замена кодифицированного названия существительным с количественным содержанием встечается довольно часто и не только в авиационной сфере. Поэтому профессионализм *четверка* не вызывает затруднений при восприятии текста, как и *старт*. Такими же понятным в силу широкого распространения являются профессионализмы в следующих примерах: *Они часто не регистрировали рабочих и, перейдя на сдельщину, не представляли договоров и условий в соответствующие учреждения; Десятники и техники стали манкировать...* Даже если профессиональное наименование не имеет широкого распространения, его значение может быть понятно либо из контекста, в котором употреблено слово, либо из образа, содержащегося в семантике слова. *На одном из участков запальщик... стал глушить рыбу в канале динамитом. — А наравне со старой сушильной уже действует новая, полученная из Германии ...* (М. Шагинян); *...с невеселой усмешкой вгонял костыль в шпалу одним метким ударом* (Н. Федотов). Профессионализмы, выполняющие функцию непосредственного изображения действительности, называющие реалии, процессы, свойства, характерные для какой-либо специальности, становятся основополагающим элементом художественного текста.

Но не все профессионализмы, выступающие в номинативном значении, могут иметь положительный коммуникативный результат без специальных пояснений содержания именуемых ими понятий. В художественных текстах нет особого различия в формах использования и способах раскрытия значения таких профессионализмов. Функционирование профессионализмов с пояснением, описанием значения, с одной стороны, усиливает номинативную функцию, а с другой — имеет стилистический эффект, так как подчеркнуто выражает принадлежность слова к иной сфере реального функционирования, профессионально-производственной. В способах описания содержания заметно выделяется дефиниция. Этот тип отличается объективностью содержания и стандартной, часто фиксированной композицией (указание на ближайшие родовое и видовое отличия), например: *Существуют два главных рода шерстяных тканей: аппаратные (или шерстяные) и камвольные (или гарусные). Это различие заключается в совершенно разных принципах производства* (М. Шагинян); *...с помощью гибких реек — правил, которые в нужных точках закрепляются гвоздями — крысами ...; ...он разглядывал стальной кран, по вершине которого полз вспомогательный краник — петушок ...* (В. Кочетов); *... вот этот верхний столб потолка — «верхняк», или «матка», эти боковые — «стойки», а был бы ещё нижний столб, он был бы «лежак», или «порог», и тогда дверной оклад был бы полный* (Б. Горбатов). В последнем примере профессионализмы *верхняк* и *лежак* поясняются через профессиональные же наименования, но имеющие более широкое распространение и поэтому понятные большинству читателей. — *Скорый-то у нас проходной... И насчёт товарных настоящего понятия не имеешь, — опять прозрачно намекает на её оплошность старик. — Товарные, а особенно наливные, идут теперь всё больше насквозь — называется «зелёной улицей»!* (Н. Федотов).

Однако в художественных текстах не всегда применяется фиксированная композиция и тогда пояснение дается через подробное описание с включением ситуативных деталей: *Летчик Алексей Мересьев попал в двойные «клещи». Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного,*

обступили четыре немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром... А получилось это все так. Звено истребителей под командованием лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать «ИЛы», отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. **Штурмовики**, эти «летающие танки», как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, подкрались прямо к летному полю, на котором рядами стояли большие транспортные «юнкерсы». Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами «ломовиков», поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами (Б. Полевой);

Аппаратная ткань выделяется из аппаратной пряжи, которая образуется путем расчески всей массы шерсти, без единого отброса. В аппаратную пряжу идет и длинное волокно, и пушистые волосы, и **обчески**, и просто пух, застревающий как кусочки ваты, между шерстяными волосками. Понятно, что такая пряжа должна быть пухлой, мягкой и неровной, хотя бы и невидимо для глаза. Я говорю «невидимо», потому что новейшие аппараты (машины, чешущие шерсть) выпускают такие идеальные волны шерсти, что вы ни за что не разглядите в них невооруженным глазом каких-либо придатков пуха или неровностей (М. Шагинян).

Профессиональная лексика, как принадлежность разговорной речи, отражает многие характерные черты ее, в том числе стремление к краткости, экономии речевых средств, речевых усилий. Это проявляется в большом количестве семантических конденсатов среди профессионально ориентированных номинаций типа: *воздушка*, *долбежник*, *летучка*, *незавершенка*, *нулевка* и т. п. Данное свойство профессионализмов также используется авторами художественных произведений и экономии речевых средств, и как характерологическое средство.

Если обратиться к приведенному выше отрывку из «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, то увидим, что профессиональное слово *ИЛы* заменяют целое словосочетание «самолеты марки ИЛ», не загромождая как сам текст, так внимание и память читателя. Как средство экономии профессионализмы используются достаточно часто: *ремонтники* вместо «работники ремонтно-восстановительной службы» в отрывке из рассказа «На разъезде» Федотова: *Лишь в отдалении, возле отцепленного ночью «больного» вагона, суетливо хлопочут вызванные ремонтники...* и *грузовик* вместо грузовой автомобиль в его же рассказе «Окончательное мнение»: *Ждут своей очереди полуразобранная сеялка, неокованная телега, желтеет ... откидной щит кузова грузовика.* У М. Шагинян: *Вырвав из его рук трамбовку, стал Фокин торжественно уминать приятную влажность бетона...* Или: *Тут же мирно болтается на перевязи кожаный футляр с сигнальными флажками... Затем... аккуратно вложил в чехол свернутый сигнал и... ушел в будку* (Н. Федотов). Здесь лаконичное «сигнал» заменяет терминологическое сочетание «сигнальный флажок», употребленное ранее в тексте. Таким образом, слово *сигнал* остается понятным для читателя, а автор умело избегает тавтологии.

Функция моделирующая — передача подлинной устной неофициальной профессиональной речи — обеспечивает в художественной литературе реалистический метод. Авторы часто используют прием стилизации, то есть изображение профессиональной речи путем отбора некоторых характерных ее свойств и введение их в речь героев. Поэтому профессионально ориентированные слова чаще встречаются в диалогах, создавая яркие речевые характеристики героев. 1. — *И верно, Илья Матвеевич, путаешь, — поддержал Алексей Тарасов, знаменитый на заводе специалист по центровке корабельных валов, — корпус без машины не корабль, а простые корыта. — А вот на простом корыте мореходы и плавали!* — *Илья Матвеевич снял чашку с блюда...* (В. Кочетов). 2. — *Почему не побежали? Побежали. Поздравили. С внуком поздравили. А в общем-то крутой был разговорчик. По графику, когда мы должны спустить «коробку» на воду? Не забыли? Ну вот, получен приказ: чтобы она была*

у *достроечной*... (В. Кочетов). 3. — *Вот перейдем с клепки на сварку*... (В. Кочетов). 4. — *Нет, Коля, сделай снимок еще раз, ниже на бедре. Посмотрим, если глубокие бедренные хорошие, сделаем все из живота* (Ю. Карелин). 5. — *Да, переменял, — подтверждает Пармен. — Вот как сделал ты мне предложение, как к жернову ступицу воротом крепить, чтоб колесо при ошиновке по камню не трепало, тут я и переменял* (Н. Федотов). 6. — *Дульщика из тебя, конечно, не будем делать, жалко из такого парня дульщика-то делать... Но только и кузнец кузнецу рознь!* (Н. Федотов).

Используются профессионализмы и в житейских рассуждениях героев: *А мы, пожилые люди, которые корабельную премудрость начали познавать с клепальщиков и слесарей, видим в вас не только дипломированную абстракцию...*; и в репликах, характеризующих других героев произведения: *Технолог-корпусник! Разве такие, круглоглазые, с черными бантиками в косах, должны работать на стапеле!* (В. Кочетов).

В первых двух примерах диалог ведется не в производственной, а в бытовой ситуации, чем подчеркивается значимость трудовой деятельности, которая естественным образом пронизывает всю жизнь рабочего человека: его мысли постоянно возвращаются к производству, к общему делу. Профессионализмы тем самым способствуют реализации целевой установки автора: представить читателю пример для подражания.

Введение профессионализма в текст в качестве моделирующей функции используется не только в речевой характеристике героев, но и в авторской речи. Так, профессионализм *состав* — цепь вагонов, соединенных между собой — синонимично общепотребительному слову «поезд», однако железнодорожник использует именно *состав*, тем самым выделяя свою отнесенность к социально-профессиональной группе. Это использует автор для стилизации описываемой им ситуации: *...она ... останавливается как вкопанная: на отчетливо поблескивающих рельсах нет ни одного состава* (Н. Федотов). Профессиональная лексика помогает более точно отобразить происходящее, а также создает особенный «колорит» эпизодов.

Непринужденность неофициального профессионального общения позволяет проявиться эмоционально-экспрессивным качествам речи в небрежности, легкости, яркости наименований: *вертушок, деэска, истребиловка, маслопузик, начуча, яшка*. Большинство профессионализмов имеют эмоционально-экспрессивно-оценочную окраску значения, и, употребленные в тексте, они оказывают воздействие на чувства читателя, делают речь героев яркой и живой: *И вот, представь, — корабль попадает в шторм баллов на десять-двенадцать. Тут его и на изгиб, и на излом, и на скручивание берет...* (В. Кочетов). Использованный автором оборот *берет на...*, употребленный в переносном значении, несет в семантике достаточно сильную импульсивность, которая рождается из ассоциативных образов, часто используемых в разговорной речи: *брать за горло, брать за живое, брать в бою, брать приступом, брать в оборот, свое берет* и т. п. Они синонимичны словам *хватать, захватывать, схватить*, которые означают быстрое и интенсивное действие. Слово «захватывать» приводится как синоним в определении значения слова «брать» во многих толковых словарях. Сочетание глагола *брать* с отглагольными существительными *изгиб, излом, скручивание*, содержащими в значении семы напряженного действия, придает еще большую интенсивность динамике явления. Таким образом автор создает живое и действенное повествование.

Не менее часто профессиональные наименования с коннотациями используются в описаниях, в авторской речи. *Вдали слышались удары пневматической бабы копра...* (В. Кочетов). Профессионализм *баба* распространен в разных отраслях производства и везде несет семантическую концентрацию силы, размера и грубоватой неотесанности, неуклюжести. *Флюс их не пропускает...* (В. Кочетов) — яркий образ, содержащийся в данном профессиональном наименовании, подчеркивает качество явления: неестественная выпуклость, затрудняющая манипуляции с предметом, на котором оставлен этот брак.

Лепили из нее ребра океанских теплоходов... (В. Кочетов) — профессионализм *ребра* дает возможность визуально представить остов строящегося корабля без обшивки, а также вносит одушевленность в железный объект, подчеркивая важность его для участников производственного процесса, героев произведения, автора и читателя. Интересно, что профессионально ориентированное слово *ребра* есть не только в речи кораблестроителей, но и строителей, и производителей бетона: *Норд-осты изгрызли льдистые стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов...* (Ф. Гладков). Видимо, строитель ассоциирует себя с ваятелем, который творит нечто важное, вкладывает душу, одухотворяет предмет и одушевляет его.

С хрустом жевал сталь мощный пресс-гильотина.... Здесь, думается, использовано авторское новообразование на основе профессионализма для создания экспрессии — мощь и неотвратимость описываемого процесса.

Использование профессионализмов в авторской речи не случайно. В отличие от терминов, делающих язык строгим, научным, профессионализмы придают речи неофициальный разговорный характер. Кроме того, термины несут обобщенно-абстрактный характер значения, а профессионализмы конкретны. В отличие от научного, художественный текст личностно ориентирован, поэтому конкретные профессионализмы с их образной экспрессивностью способствуют формированию важных черт художественного стиля — выразительности, образности, яркости и доступности, являющихся основой воздействия на читателя. Например, *коробка* в значении «необработанный корпус корабля» указывает на «пустоту», незавершенность; *сварной корабль*, *холодная обработка* содержит указание на способ изготовления и характеристику процесса. Это помогает создать «иллюзию присутствия» у читателя.

Кроме образности и экспрессии, профессионализмы содержат семы эмоций. Часто эмоциональное содержание, связанное с тем, что понятие опосредуется через восприятие его человеком на субъективном эмоционально-чувственном уровне, придает дополнительные яркие значения профессионально ориентированному слову. Созданию эмоциональной окраски профессионализма способствуют словообразовательные средства языка, в частности суффиксы. — *А вот, Саня, — сказал он, — для того и срок нам сокращают, чтобы после этого заложить цельносварную океанскую коробочку...* (В. Кочетов). Уменьшительно-ласкательный суффикс *-очк-* в слове *коробочка*, которое сочетается с прилагательным *океанский* (большой, огромный), указывает на особое отношение к лайнеру — нежное, как к любимому детищу. В профессионализме *петушок* суффикс субъективной окраски создает ласкательное эмоциональное отношение к предмету, подчеркивая его маленький размер: *...по верху которой полз вспомогательный краник — петушок...*

На тракте в сторонке стоит «козлик». Под «козликом» — шофер, а рядом — молодой еще, в полувоенном костюме, председатель колхоза Прохоров Иван Егорович. Надежды, что «козлик» побежит, нет. Прохоров «голоснул» одной машине, она пролетела мимо. Другая притормозила (В. Шукшин). Перед нами два профессионализма, один из которых обозначает автомобиль (ГАЗ-52), другой — действие. Причем в тексте преобладает первый, называющий объект, вокруг которого и разворачивается действие. Много характеристик одновременно дает это точное профессиональное наименование отечественного «вездехода». Однако явно выделяется при помощи суффикса *-ик-* эмоция благодарной нежности к грубоватой железной автомашине. Профессионализмы выполняют здесь художественную, эстетическую функцию.

В профессиональной речи можно встретить нестандартные образования, например: *деревяга* — деревянные части корабля. Данное слово образовано по аналогии со словами *бродяга*, *дворняга* суффиксальным способом. Суффиксы *-аг-*, *-яг-* характерны для образования слов, называющих одушевленные предметы, что подчеркивает эмоциональное значение, содержащееся в слове: одобрительно-ироническая окраска в отношении «жи-

вого» предмета. Такой творческий подход к словообразованию в сфере профессиональной лексики делает художественный текст богаче, интереснее, ярче и живее.

Не только словообразовательные средства создают эмоционально-экспрессивный фон профессиональной речи, но и семантическое переосмысление слова, употребленного в производственной ситуации: *Не случись этой обшивки, выполнили бы. Зарежет она нас, кто только ее придумал* (В. Кочетов). Слово *зарежет*, обозначающее «убить режущим оружием», достаточно экспрессивно в первичном значении. В необычном сочетании *обшивка зарежет*, подразумевающим, что «работа с обшивкой мешает выполнить намеченный план в срок» сочетается яркая экспрессия и эмоциональная сема сожаления, досады.

Профессионализмы различны по своему эмоциональному содержанию. Наряду с *коробочкой* употребляется небрежно-фамильярное *коробка*: *По графику когда мы должны коробку спустить?* Неодобрительное, даже презрительное отношение видится в профессионализме *корыто*: *А вот на простом корыте первые мореходы и плавали...* (В. Кочетов). Многие профессионально ориентированные наименования содержат в себе эмоциональные шутливые или презрительно-фамильярные семы. Одним из объяснений такого положения может служить психологическая защита человека. Шутка делает несерьезным отношение к чему-либо, презрение проявляется, когда человек хочет показать свое превосходство. Низводя до шутки или презрения свое отношение к грохочущей, давящей размерами, стремительностью действия, требовательной окружающей производственной обстановки, человек притупляет таким образом ощущение своей немогущности перед громадными машинами, убеждает себя в том, что он способен справиться с ними и подчинить их собственной воле. Используя подобные профессиональные названия, автор показывает, что герой произведения «на ты» с производством, хорошо разбирается в нем.

Профессионализм как продукт практики делает речь конкретной и легкоусваиваемой рядовыми представителями той или иной отрасли производства. Он становится предпочтителен термину, дающему научное обобщенное, часто с использованием иноязычных корней, название предметам. Профессиональные названия позволяют быстро и доступно ознакомить с производством, а эмоциональность профессионализмов делает этот процесс еще и интересным. Именно это и нужно порой автору, цель которого привлечь внимание массового читателя к определенной профессиональной области.

Итак, анализ функционирования профессионально ориентированной лексики в художественных текстах показал, что профессионализмы реализуют основные функции языка:

- функцию сообщения, или информационную;
- коммуникативную функцию, которая проявляется не только в диалогах героев произведения, но в понятности, доступности всего текста, содержащего профессиональное наименование, читателю;
- функцию экономии речевых средств и речевых усилий;
- эмотивную функцию языка, которая способствует развитию интереса к профессиональной лексике, формируя в свою очередь следующую функцию;
- когнитивную функцию.

Исследование показывает, что профессиональной лексике отведено важное место в речевой практике человека, профессионализмы органически вплетены в общеязыковую ткань — занимая свое особенное место в системе, они существуют по основным законам, взаимодействуя с другими структурами языка и в художественных текстах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н.Кожинной. — М., 2003. — С. 197.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 'ПРОСТРАНСТВА'

Среди диалектических категорий мировосприятия человека, таких как материя, движение, время, качество, количество, противоречие, причинность, необходимость и случайность, содержание и форма, возможность и действительность, сущность и явление, — пространство занимает особое положение. С одной стороны, оно осознается как «форма сосуществования материальных объектов и процессов» [1], которая характеризует структурность и протяженность материальных систем; с другой, как множество объектов, между которыми установлены отношения, сходные по своей структуре с обычными пространственными отношениями типа окрестности, расстояния, то есть так называемое математическое или евклидово пространство.

Данная категория, равно как и все перечисленные, относится к фундаментальным категориям, отражающим существенные всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания. Образование этих категорий — это результат обобщения исторического развития познания и общественной практики.

Философское определение понятия пространства как всеобщей формы существования материи: «пространство и время имеют объективный характер, неотделимы от материи, неразрывно связаны с ее движением и друг с другом, обладают количественной и качественной бесконечностью» [2], — а также определение универсальных свойств пространства, таких как протяженность, единство прерывности и непрерывности, уже включает в себе представление о сложности и многозначности данного понятия. И кроме того, наряду с внешним, вещественным восприятием пространства, оно может быть представлено и как «духовное, устанавливаемое внутренним зрением» [3]. О художественном пространстве говорит и Ю. М. Лотман, по мнению которого пространство не представляется простой «разъятостью», а представляет собой структурированную систему [4].

Безусловно, правомерно говорить об объективном, геометрическом пространстве и субъективном, умозрительном, и, конечно, правомерно и необходимо говорить о языковой категории пространства, так как категория пространства как одна из категорий познания мира находит свое отражение в языке, поскольку именно язык в первую очередь проецирует картину мира, именно он способен отразить представление человека о мире.

Языковое представление пространства как одного из глобальных понятий бытия связано, прежде всего, с представлением о месте в самом широком понимании: это и место направления — точка начала или точка предела; это и место нахождения лица, предмета, явления, это и место действия или любого другого проявления реального либо духовного мира.

Представление носителями языка различных понятий, в том числе и понятия пространства, зафиксировано в толковых словарях русского языка. Так, например, словарь под редакцией Д. Н. Ушакова дает следующее определение пространства: «1. Состояние материи, характеризующееся наличием протяженности и объема 2. Промежуток между чем-н.: место, способное вместить что-н.; 3. Поверхность, земельная площадь» [5]; в словаре С. И. Ожегова пространство представлено, как «1. Объективная реальность, форма существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом; 2. Промежуток между чем-н.: место, где что-н. вмещается; 3. Поверхность, земельная площадь» [6], а словарь под редакцией А. П. Евгеньевой определяет: «Пространство — 1. Неограниченная протяженность (во всех измерениях, направлениях) // филос. Одна из основных всеобщих объективных форм существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом. 2. Место, способное вместить что-л. 3. Большой участок земной поверхности.

4. устар. Промежуток времени» [7].

Обобщая данные толковых словарей и принимая во внимание, что «в лексическом значении слова конденсируются его потенции в области семантических функций и языкового поведения, расширяющиеся за счет свойств разных типов контекстов» [8], определяем семему «Место, способное вместить что-л.» основной в семантической структуре слова «пространство». Основными компонентами семемы места будут семы «нахождения в пространстве»: *В районе посадки находятся самолеты и вертолеты* (В. Губарев); *Во втором зале расположились гости Ивана Ильича* (И. Бунин); *Невдалеке был водопад* (Б. Пастернак); «направления в пространстве»: *И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину* (А. Гайдар); *Вхожу я в темные храмы, Совершаю бедный обряд* (А. Блок); *Было далеко за полночь, когда я вышел из дома* (Н. Телешов); «положения в пространстве»: *...ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины* (А. Куприн); *Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы, стояла лошадь* (К. Паустовский); *В долинах стад не видно боле, Лишь серны скачут на холмах* (М. Лермонтов); «расстояние»: *...вплоть до недавнего времени он ездил верхом до самого села за продуктами* (В. Михайлов); *Вдали, в долине, играют Грига* (И. Северянин); *Самым трудным оказался последний участок пути — от районного центра Алексеевки до Урунхайки* (В. Михайлов).

Репрезентация данных сем происходит определенными языковыми средствами. Так, «нахождение в пространстве» представляют **глаголы** *находиться, стоять, лежать, жить, висеть, ехать, оказаться, попасть* и т. п.: *В четырех верстах от меня находилось богатое поместье* (А. Пушкин); *Я у него любил гостить, разумеется, единственно из-за того, что в той же деревне на каникулах жила Саша* (И. Бунин); *Серенький туман висел над землею, скрывая небо* (М. Горький); *У дороги стояла береза* (И. Бунин); *Они оказались на небольшой площадке, прикрепленной к концу полуарки* (И. Ефремов); **наречия** - *везде, всюду, повсюду, нигде, где-нибудь, где-либо, где-то, здесь, тут, там, сбоку, слева, справа, напротив, перед, впереди, спереди, сзади, позади, вокруг, около, кругом* и т. д.: *Кругом еще снег, сыро, пустынно, студёный ветер отдувает полы шинели, одинокой тоской насвистывает в ушах* (А. Толстой); *Тут днем ехать, конечно, сробеешь* (К. Паустовский); *Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях* (К. Паустовский); *Еще полгода тому назад здесь была пустыня — колючая трава да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник* (А. Толстой) и **предлоги**, оформляющие предложно-падежные формы с пространственным значением: *за, над, под, близко, вблизи, поблизости, возле, около, у, рядом, недалеко, далеко от, вдали, вдали от, в, на, из, сверху, наверху, внутри, вне* и т. п.: *Скачет сорока возле дома — гостей пророчит* (С. Гейченко); *В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу* (К. Паустовский); *На болоте, на твердом острове штаб, все подходы к нему охраняются секретами* (А. Толстой); *За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее теплой воде* (В. Гаршин).

«Направление в пространстве» репрезентируют **наречия** *куда, куда-нибудь, куда-либо, куда-то, сюда, туда, никуда, откуда, отсюда, оттуда, отовсюду, ниоткуда, налево, влево, направо, вправо, вперед, назад, навстречу, против, вслед, вверх, кверху, наверх, вниз, сверху, наружу, внутрь, изнутри* и т. п.: *Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее* (В. Гаршин); *И никому в голову не придет, что вы, Мишель, явились сюда всего с одним батальоном* (Б. Акунин); *Отсюда было видно все ровное белое поле* (А. Толстой); *За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспощадный, отрывистый лай собак над ямой в елках* (И. Бунин); **предлоги** *к, от, на, с, из-под, в, за, из, под, из-за, по, вдоль, до* и т. п. во взаимодействии с пространственной предложно-падежной формой: *Затем экс-гусар выходил за дверь, оставляя больную на постели одну-одинешеньку* (Н. Лесков); *К вечеру добрались до Маркаколя* (В. Михайлов); *Поужинав, Иван Петрович зашел в гостиную* (Е. Карпов); *С реки медленно поднимался прозрачный пар в прихотливых узорах*

(Н. Телешов).

Направление в пространстве, прежде всего, связано с движением, поэтому представление данной семы поддерживается глаголами: *направляться, идти, вести, приводить, уходить* и т. п.: *Два человека **отделились** от группы и **ушли** в горы в надежде подстрелить козла или архара* (А. Чехов); *Когда же после обеда жизнь в усадьбе замирала, все **разбредались по** излюбленным углам и засыпали* (И. Бунин); *Тем временем коляска **выехала** за пределы лагеря и остановилась в тенистой роще* (Б. Акунин); *Теперь, поднявшись с тумбы, я **пошел** назад тем же путем, каким пришел* (И. Бунин).

Сему «положение в пространстве» репрезентируют глаголы *стоять, лежать, сидеть, висеть, торчать, положить, поставить, опуститься, упасть* и т. п.: *В сенах **резвилось** полдюжины серых пушистых котят* (В. Михайлов); *Они **стояли** в проходе, выжидая, когда все рассядутся* (А. Битов); *В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, **повалился** на стул* (М. Булгаков).

Сема «расстояние» представлена в наречиях *далеко, издали, издалека, вдаль, вдали, высоко, выше, возле, около, недалеко* и т. п.: *Обычно ездили **ближе...**, а тут, считай, через весь город путешествие* (Б. Акунин); *Вдруг **поблизости** поднялся громкий треск* (И. Тургенев); *Жадрино должно было быть **недалеко*** (А. Пушкин); *Далеко **впереди** еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого* (А. Чехов); в предложно-падежных формах, где «работают» предлоги *у, за, рядом, с, под, из-под, при, мимо*: *...так у меня **вдоль** поперечной **стены** перегородка...* (Ф. Достоевский); *Зол мороз **вблизи** **железа**, Дует в душу, входит в грудь — Не дотронься как-нибудь* (А. Твардовский); ***Рядом с нею**, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенной крышей* (И. Тургенев).

Реализации данных сем способствует соотношение таких понятий, как пространство и объект, при этом пространство получает свои особые характеристики. Так, пространство может быть заполненным какими-либо объектами, что позволяет говорить о занятости или освобождении пространства (*заставить или освободить комнату*); о том, что оно может быть заполненным или свободным, пустым или тесным: *Бобров бесцельно бродил между **опустевших** заводских зданий* (А. Куприн); *...мы почти месяц прожили на совершенно **пустынном** берегу, за десятки километров от людского жилья* (В. Михайлов); *Мы прошли в **тесную** избушку* (В. Михайлов).

В качестве разновидности семы «нахождение в пространстве», видимо, можно рассматривать сему «помещать в себя что-то, включать в себя что-то» [9]: *Мы стоим в **длинной колонне автомашин** на берегу Бухтармы в ожидании паром в один из теплых дней* (Б. Кузьменко). В этом случае можно говорить о замкнутом пространстве: *Тускло горели две свечи в **кабинете*** (И. Бунин); *Деньги в **тайнике в одном доме*** (Л. Бородин), когда оно воспринимается как пространство, имеющее определенные границы (*в пределах, в черте города* и т. п.), и незамкнутом пространстве: *Слева **вдоль берега** темно зеленела полоса, отражающая лес* (В. Михайлов); *Вдали **желтел** противоположный берег...* (В. Михайлов), когда оно представлено в качестве неограниченного, свободного (*безграничный, бесконечный, непрерывный* и т. п.). Восприятие ограниченного пространства связано с понятием начала и конца (*степь начинается отсюда и заканчивается за горизонтом*): *На **другом конце площади** виднелась старая часовня* (Ф. Достоевский); края (*край оврага*), при этом оно может иметь вход и выход: *Перепуганные мальчишки осторожно **вошли в поселок*** (А. Чехов).

Представление пространства как ограниченного при репрезентации семы «помещения», включения встречается гораздо чаще, что логично, поскольку говорящий лучше ориентируется в замкнутом пространстве, оценивает его размеры по соотношению с объектами, в него помещенными.

Ограниченное пространство может предстать и как часть неограниченного, то есть как его отрезок: *точка, пункт, место, сторона, участок, площадка, площадь, улица, проспект, мостовая, набережная, тротуар, перекресток, переход, переулок, тупик, угол*

и т. п.: *Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах* (М. Булгаков); *Представляете: в деревне, на завалинке сидит старушка, худая, древняя, лицо подернуто могильной землей, одни глаза живые* (А. Толстой).

Объект может занимать в пространстве какое-то определенное положение, которое может быть вертикальным, горизонтальным, поперечным, продольным, располагаться прямо, ровно или вверх: *Только высоко-высоко в небе голубели ясные просветы* (С. Воронин); *... над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки* (И. Бунин).

И нахождение в пространстве, и положение объекта в пространстве может быть сохранено или изменено, что проявляется в глаголах *оставаться, садиться, вставать, опускаться, подниматься, поворачиваться* или наречии *обратно* [10]: *Мы всю ночь оставались на Монмартре* (А. Толстой); *Солнце сожгло толпу и погнало ее обратно в Ершалаим* (М. Булгаков).

Данные примеры показывают, что пространство так или иначе получает дополнительные характеристики, воспринимается как нечто, имеющее свои размеры – ширину, высоту, длину, глубину: *На сотни километров вокруг ни одной заводской трубы* (В. Михайлов); *Однажды три магрибских купца отправились вглубь Большой Пустыни...* (Б. Акунин); *Полосы тумана стлались над высокою травой на небольшой расчищенной поляне* (А. К. Толстой).

Помещение, расположение объекта в пространстве предполагает наличие еще одной семы – «пространственные координаты», что позволяет объекту ориентироваться в пространстве: *Варя посмотрела налево (там были башибузуки), направо (там тоже маячили конные в папах), оглянулась назад – и сквозь негустые заросли увидела нечто примечательное* (Б. Акунин).

Общий анализ семантических компонентов лексемы ‘пространство’ показал сложную иерархию ее семантической структуры и выявил разнообразие средств ее представления в языке.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Советский энциклопедический словарь. – 1981. – С. 1083.
2. Там же.
3. Гачев Г. Д. О русском и болгарском образах пространства и движения (национальные представления о пространстве и движении – грани национального образа мира) // Поэтика и стилистика русской литературы. – Л., 1971. – С. 309.
4. Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Ю. М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988.
5. Толковый словарь русского языка. Составление и редакция Д. Н. Ушакова. Электронная версия.
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под. ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1989. – С. 507.
7. Словарь русского языка: В 4-х тт. / Науч. ред. А. П. Евгеньева. – М., 1984. – С. 528.
8. Маркелова Т. В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. – М., 1993. – С. 7.
9. Селиверстова О. Н. Труды по семантике. – М., 2004. – С. 567.
10. Лексическая основа русского языка: Комплексный учебный словарь / Под ред. В. В. Морковкина. – М., 1984. – 1168 с.

ЭПИТЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКСПРЕССИОНИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. АНДРЕЕВА

Творческий метод Л. Андреева до сих пор вызывает споры в научной среде. Наиболее аргументированными, на наш взгляд, выглядят утверждения о его синтетическом характере и о присутствии в творческой манере писателя элементов экспрессионизма. Именно принцип «всеохватывающей субъективной интерпретации реальности, возобладавшей над миром первичных чувственных ощущений» [1] как характерная черта экспрессионизма присущ, как нам видится, языку многих произведений Л. Андреева. Подчеркнутая эмоциональность и тяготение к отвлеченным образам создается писателем с помощью самых разных средств художественной выразительности. В реализации художественных приемов экспрессионистского характера одну из значимых ролей играет эпитет. В языке произведений Л. Андреева это средство художественной выразительности представлено достаточно широко. Большую часть составляют простые эпитеты, часто образующие цепочку к одному определяемому слову: *Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они* («Красный смех»). Но органично выглядит и ряд сложных эпитетов, используемых автором: *Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно-веселых движений* («Он. (Рассказ неизвестного)»). Сложный эпитет, пожалуй, нельзя определить стилиобразующей чертой творческой манеры Л. Андреева, но в реализации авторской интенции во множестве случаев это средство художественной выразительности играет важную роль.

Эпитет и определяемое им слово в художественном тексте Л. Андреева часто наполняются метафорическим содержанием и становятся «ключевым» словом в произведении. В этом плане наиболее показательным является рассказ Л. Андреева «Красный смех». Особый смысл приобретают здесь цветовые характеристики элементов портрета или пейзажа. Они воплощают «основные начала и основные инстинкты». Эпитет, вынесенный в заглавие, реализует несколько функций, среди которых центральной становится стремление навязать читателю авторское видение мира. Избыточности и гиперболизации подвергаются как описания пейзажа, так и героев. Определение *красный*, упоминающееся вначале в качестве логического, подвергается метафоризации и уже в новом своем виде становится лейтмотивом текста:

В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех — красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и он скоро разольется по всей земле, этот красный смех! («Красный смех»).

Почти на протяжении всего произведения сложные эпитеты с элементом *красный* не встречаются. Автор использует простые эпитеты *красный, красноватый, багровый, кровавый* и др., которые, тем не менее, встречаются в избытке. Но в финальной части, где эмоциональный фон накаляется, автор вводит оттенки «ключевого» понятия, реализующиеся в сложных структурах. Эти сложные эпитеты не только придают описываемой картине дополнительную экспрессивность, но и включают элемент оценочности: *Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ров-*

ное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. <...> И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежавших рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом («Красный смех»).

Контрасты материального и духовного, на которых фокусируется внимание многих экспрессионистов, проявляются и на языковом уровне в структуре сложных эпитетов. Этот факт можно продемонстрировать на примере эклектического сочетания компонентов ряда художественных определений, используемых Л. Андреевым: *Она рычала на нас, как плененный зверь, разум которого помутился, и гневно мигала огненными страшными глазами, озарявшими черные, бездонные пропасти, мрачную, гордо-спокойную стену и жалкую кучку дрожащих людей («Стена»).* Рассматриваемые языковые единицы часто подвергаются метафоризации, наделяя конкретное определяемое существительное отвлеченным значением: *Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно — кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом («Рассказ о семи повешенных»).*

Подвергаются эпитеты в текстах Л. Андреева и метонимизации, что встречается среди сложных эпитетов нечасто, но этот прием также успешно выполняет авторскую задачу — придает образу выразительность и выделяет его из контекста, например: *По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке...* («Петька на даче»).

Сложный эпитет может использоваться и для придания гротескового характера образу. Например, в произведении «Иуда Искарriot» Л. Андреев по нарастающей дает характеристику Иоанну, но именно финальная часть фразы, включающая сложный эпитет и вносит в контекст (где и все повествование строится на антитезе) некий диссонанс, выражая элемент скрытой иронии: *Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица, — оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести.* Самые главные черты объекта, что так часто встречается в произведениях экспрессионистов, предельно заостряются, и именно эта перенасыщенность приводит к искажению, деформации.

Олицетворение предметов и деталей обстановки, как известно, еще одна черта экспрессионизма, во многих случаях создается в художественной ткани андреевского текста благодаря эпитетам: *близорукая критика («Мысль»), гордо-спокойная стена («Стена»)* и др. В языке произведений Л. Андреева находит себе место и антропоморфизм, ярким примером чего может служить центральный образ уже упоминавшегося нами рассказа «Красный смех».

Нельзя обойти вниманием и такую особенность творческой манеры писателя, как неоднократное использование одного образа в рамках произведения. Л. Андреев не практикует повторяющиеся сложные эпитеты, но употребление одного сложившегося образа в рамках произведения свойственно манере этого художника: *И когда увидел ее, все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами, подумал: выдала! («Тьма»); Девушка не ответила и отвернулась. Но поймала на своих голых и прозрачно-розовых плечах его взгляд и накинула на них серый вязаный платок. («Тьма»); Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо («Жизнь Василия Фивейского»); Но они молчали — и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие, растерянные блики («Жизнь Василия Фивейского»).*

Использование повторяющегося сложного эпитета может выполнять и сюжетно-композиционную функцию. Так, например, в произведении «Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы» в начале и конце, придавая композиции кольцевую завершенность, звучит следующая структура: *«Вот в кольца свернусь я, тускло блесну чешуею, сама обовью себя с нежностью и в нежно-холодных объятиях умножу стальное тело».* Встречающийся эпитет

нежно-холодный к определяемому слову *объятия* в самом рассказе распадается и создает образы *нежный поцелуй, нежное существо*, а контекстуальная антонимичность двух элементов сложного эпитета раскрывается в предложении: ... *холодные клыки кровавых ртов разрывали мое нежное тело*... В образе нежно-холодных объятий звучит разгадка мира главной героини. Рефреном повторяются слова «*Я люблю тебя*» (они раскрывают нежность мира центрального персонажа), но финалом становится приговор – «*Умри*» (тема холодности и враждебности окружающей действительности и месть ей).

Сложный эпитет в произведениях Л. Андреева не только выполняет традиционную художественную функцию, но и реализует в самых разных проявлениях в языковой стихии экспрессионистские тенденции, свойственные творческой манере писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Руднев В. П. Словарь культуры XX в. – М., 1997. – 384 с.
2. Андреев Л. Н. Иуда Искариот. – М., 1999.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

“Человек живет в пространстве смыслов. И язык, и культура есть результат действия законов смыслообразования” [1]. Этапы истории народа, разные общественно значимые явления подвергаются осмыслению, входят в мир мысли народа, становятся составной частью его концептосферы, а затем, получая языковое выражение, включаются в семантическое пространство языка. Последние десятилетия, насыщенные радикальными социально-экономическими и политическими преобразованиями и событиями, характеризуются изменением, обновлением когнитивных представлений общества и его отдельных членов. Кроме того, “бурные социально-политические процессы последнего десятилетия XX века коррелируют с активизацией социальной парадигмы языка” [2]. Языковая система чутко реагирует на изменения в социальной и концептуальной сферах.

Механизмы познания новой – перестроечной и постперестроечной – действительности репрезентируют знакомые стимулы, известные области и обеспечивают поиск и быстрый доступ к хранимой в долговременной памяти информации, связанной с этими стимулами и областями знания. Преобразованная социальная действительность активизирует такие когнитивные процессы, как воспоминание и узнавание, хотя уже на другом, новом уровне познания. На рубеже веков в русской когнитивной картине мира востребованными, среди прочих, оказались два типа концептов социально-экономической и политической сфер:

- национально маркированные концепты, то есть те смыслы, которые и прежде (начиная с послеоктябрьского периода XX в.) принадлежали и в настоящее время принадлежат русской национальной концептосфере;

- концепты, которые прежде не принадлежали русской национальной концептосфере (они – принадлежность “зарубежной” когнитивной картины мира) или принадлежали русской концептосфере дореволюционного периода (до 1917 г.).

Востребованность данных концептов национальным сознанием стимулирует актуализацию значительного пласта лексики русского языка, представленного двумя группами:

- собственно актуализированная лексика – лексические единицы, которые в течение XX в. использовались носителями языка для объективации различных смыслов, соотносимых с советской действительностью (например: *реформа, преобразование, стабильность, независимость, демократия, порядок, инициатива, собственность, валюта, духовность, гуманность* и т. д.). Их возросшая частотность в современном дискурсе объясняется большей востребованностью обществом стоящих за ними концептов;

- номинативно переориентированная лексика – лексические единицы, которые также в течение XX века использовались носителями языка, однако для именования не “собственных” (национальных), а “чужих” концептов: для объективации реалий и понятий зарубежной действительности и / или дореволюционной России (например: *дума, департамент, губернатор, муниципалитет, бизнес, предпринимательство, президент, мэр* и т.п.).

Подобные слова, попав в общественно значимый контекст, стали высокочастотными в речевой практике и вошли в активный лексикон. Исследование лексико-семантических процессов, протекающих в корпусе актуализированной лексики, позволяет выявить динамику концептуального видения мира, преобразование русской концептосферы, обогащение содержания и наполнение новым содержанием известных концептов, трансформацию их прагматической (оценочной) зоны. Рассмотрим отдельные явления.

Востребованность национальным сознанием тех или иных концептов детерминиру-

ет актуализацию не только отдельных лексических единиц, но целого словообразовательного гнезда многих слов.

На рубеже веков одним из ключевых для демократизирующегося социума стал концепт “РЕФОРМА”. Конец XX – начало XXI века – это эпоха реформ, с ними связывается дальнейшее благосостояние неосоциалистической России: “Стране нужна научно обоснованная программа реформ во всех сферах материальной и духовной жизни, реформ глубоких, последовательных, рассчитанных на успех и в далеком будущем, и сегодня” (Правда. 1990. 17 марта).

Базовый слой концепта “РЕФОРМА” включает следующие когнитивные признаки, зафиксированные толковыми словарями как семантические составляющие значения: “изменение”, “преобразование”, “переустройство”, “новизна”. Базовый слой окружен многочисленными сегментами, равноправными по уровню абстракции и выявляемыми синтагматикой имени концепта – лексемой *реформа*: *экономическая реформа, рыночная реформа, аграрная реформа, социальная реформа, военная реформа, жилищная реформа, административная реформа, банковская реформа, денежная реформа; реформа политической системы, реформа образования, реформа цен, реформа пенсионного фонда* и т. п.

Интенсивное проведение реформ во всех областях общественной жизни России стимулировало актуализацию всего словообразовательного гнезда лексемы *реформа*: *реформатор, реформаторский, реформировать, реформирование*. В языке СМИ, например, стали частотны такие употребления, как *реформаторы России, реформаторский потенциал, реформаторская деятельность, реформировать систему государственного и хозяйственного управления, реформировать образование, реформирование правоохранительных органов, реформирование законодательной власти* и т. п.

Следовательно, лексемы *реформа, реформатор, реформаторский, реформировать, реформирование* представляют собой разнокатегориальные вербализации концепта “РЕФОРМА”. Языковое выражение этого концепта, существующего на глубинном уровне сознания человека и связанного с идеей ‘переустройства жизни’, осуществляется несколькими единицами системы русского языка, относящимися к различным частям речи и по-разному конкретизирующими концепт применительно к выполняемой данной лексемой коммуникативной функции. Разные лексемы номинируют разные когнитивные признаки концепта. Лексемы *реформа, реформировать* и *реформирование* вербализуют основные, базовые когнитивные признаки, фиксирующие семами действия, движения, развития, изменения. Лексема *реформатор* персонифицирует концепт, номинируя лицо, являющееся инициатором реформы и руководителем ее осуществления. Прилагательное *реформаторский* объективирует идею признака, характеристики. Данные системно-языковые факторы дают возможность реализовать разнообразные функциональные смыслы концепта.

Отражая то, что находится в зоне социального внимания и «высветляется» в коллективном и индивидуальном сознании, концептуальное содержание становится предметом оценочных суждений. В “интерпретационном поле” (термин З. Д. Поповой и И. А. Стернина [3]) концепта интеллектуальная, логическая оценка взаимодействует с эмоциональной; на общечеловеческий (универсальный) компонент нередко наслаиваются другие оценочные компоненты: национально-культурный, обусловленный жизнью человека в определенной культурной среде; социальный, определяемый принадлежностью человека к какому-либо социальному слою; индивидуально-личностный, формируемый под влиянием индивидуального опыта, восприятия окружающей действительности. Кроме того, понятийное содержание концепта может по-разному оцениваться одним и тем же индивидом, группой, обществом на разных этапах его освоения.

Так, интерпретационное поле концепта “РЕФОРМА” содержит положительно маркированный универсальный компонент, так как образующие его концептуальные при-

знаки “преобразование”, “новаторство”, “новизна”, “прогресс” трактуются положительно и несут позитивный смысл в отличие от оппозитивных им признаков “застой”, “консерватизм”, “пассивность”, “инерция”, которые оцениваются негативно. Отрицательная оценка становится ингерентным коннотативным содержанием соответствующих ЛСВ лексических единиц (см. *застой, консерватизм, пассивность* и т. д.). *Зачем в стране затевается реформа? Странный вроде бы вопрос. Реформа с незапамятных времен (например, реформы Солона) и до нынешних пор (например, ельцинско-гайдаровские реформы) воспринимается как неотъемлемый инструмент прогресса ... Кто станет отрицать историчность петровских реформ или великую реформу Александра II ... Реформы – это попытка объединить расколотый или социально распыленный народ ... Объединить общими интересами, общими устремлениями, общими для всех справедливыми законами, общей экономической инфраструктурой, новым веером возможностей, развернутых перед каждым. В общем, спаять враждующие группы или разбегающихся людей в единую нацию* (Новое время. 2005. № 27).

Начало перестройки, реформирование всех социально значимых сфер вызвали в обществе взлет оптимизма и надежд на лучшее будущее. Следовательно, слово *реформа* и его производные обладали положительной оценочностью. Например: *Страна может вернуть себе статус великой державы, ускоренно проводя экономическую реформу* (Московские новости. 1993. 3 января); *Своей основной задачей ассоциация считает помощь реформаторам в нашей стране в области политики, культуры, экономики* (Московский комсомолец. 1990. 20 марта); *В России должен произойти реформаторский всплеск, причем очень мощный. И не в отдаленном будущем, а при жизни моего поколения, которое было разбито, разгромлено, уничтожено. Я говорю об огромном реформаторском потенциале России* (Советская культура. 1990. 9 июня).

Однако экономический кризис, либерализация цен, деноминация, приватизация жилья и предприятий в 90-е годы XX века привели к драматическим результатам: большинство населения оказалось за чертой бедности, произошел промышленный спад, возникла инфляция, продолжающаяся по сей день. Резко изменилось и психологическое состояние общества: люди стали бояться реформ, преобразований, то есть любых перемен, которые часто не улучшают, а ухудшают их жизнь. В периферийном слое концепта “РЕФОРМА” появились отрицательные социально обусловленные оценочные компоненты.

В современных речевых актах существительное *реформа* и его производные нередко окружены лексемами, обладающими негативным смыслом. Например: «*Реформенный бардак*» (название статьи). — *От этой [административной] реформы – один бардак, – пожаловались “КП” в Федеральной службе статистики, которая до сих пор расхлебывает последствия административных перетрясок, – ... кругом разброд и шатание. ...у нас управление делами соединили с финансами. А в управление труда затолкали науку, образование и культуру. Черт ногу сломит. Люди в нервном состоянии. Многие просто стонут* (Комсомольская правда. 2005. 5 июля).

Таким образом, интерпретационное поле концепта “РЕФОРМА” содержит диаметрально противоположные универсальные и социальные оценочные компоненты, причем последние отражают разное восприятие обществом содержательного ядра концепта в процессе его национального осмысления.

Актуализация известного концепта может сопровождаться обогащением его содержательной структуры за счет появления новых концептуальных признаков, отражающих социально значимые явления и объективирующихся лексико-семантическими новациями. Возникновение новых производных (новых лексических оболочек концепта) отражает развитие словообразовательной парадигмы ключевого слова. Например, до недавнего времени концепт “КРИМИНАЛ” был репрезентирован в языке только двумя однозначными лексемами: существительным *криминал* (“уголовное дело, преступление”) и производным прилагательным *криминальный* (“относящийся к преступлению, уголовный”).

Однако внеязыковая ситуация в России способствовала возникновению у каждого из слов нового значения и значительному увеличению их словообразовательного гнезда за счет появления производных.

Прежде всего в результате метонимического переноса сформировался метонимический ЛСВ у существительного *криминал* – “уголовная среда, преступники”. Например: *Требуется охрана совершенно разным людям, но процентов 80 из них не криминал, а обыкновенные коммерсанты, простые кооператоры, у которых тоже вполне могут быть причины не светиться и не связываться с официальными структурами* (Юность. 1992. № 1).

Новое значение у прилагательного тоже возникло в результате метонимизации: *криминальный* – “предназначенный для борьбы с уголовной преступностью”. Например: *Криминальная служба включает в себя подразделения, занимающиеся раскрытием и оперативной работой по раскрытию преступлений* (Смена. 1999. 16 июля).

Кроме того, появились новые слова: *криминализовать* (“подвергать / подвергнуть влиянию преступного мира, уголовных элементов”), *криминализироваться*, *криминализация*, *криминалитет* (“люди, нарушающие законность; уголовные преступники”), *криминогенный* (“порождающий криминальную ситуацию, способствующий усилению преступности”), *криминогенность*. Все эти лексические и семантические неологизмы зафиксированы в «Толковом словаре русского языка конца XX в.» [4]. Частотны в речи словосочетания *криминализация всей страны, влияние криминалитета на власть, криминогенная обстановка, криминогенность экономики* и т. п.

Таким образом, актуализация концепта “криминал” способствовала не только активизации номинирующих концепт лексем, но и появлению значительного количества новых разнокатегориальных слов и семем, по-разному вербализирующих содержание концепта. Это, во-первых, на языковом уровне доказывает востребованность концепта общественным сознанием, а во-вторых, свидетельствует об обогащении его содержательной структуры за счет появления новых концептуальных признаков.

Новое осмысление актуализированного концепта в условиях преобразованной социальной действительности может привести к трансформации семантической структуры его вербального коррелята. Расхождение между семантической структурой слова, отраженной в словарях, и смысловым наполнением концепта наблюдается у мыслительной единицы “катастрофа”. В БАС [5] существительное *катастрофа* толкуется как “неожиданное крупное бедствие, событие с трагическими последствиями // крупное потрясение, влекущее за собой резкий перелом в общественной или личной жизни”. Слово фиксируется в словаре как моносемичное. Однако в его структуре четко выделен оттенок значения, то есть выявляются как бы два “созначения”, которые выявляют взаимосвязанные, но самостоятельные слои концепта, каждый из которых имеет собственный набор концептуальных признаков: “события с трагическими последствиями” и “крупное потрясение, приводящее к резкому перелому”. Семантическая и функциональная самостоятельность данных “созначений”, различие в сочетаемости, отнесенность к разным лексико-семантическим парадигмам позволяют рассматривать их как два самостоятельных значения.

Первое значение вербализует первичный базовый когнитивный слой и характеризует конкретное трагическое событие (*автомобильная катастрофа, железнодорожная катастрофа, авиационная катастрофа* и т. п.). Второе значение репрезентирует вторичный когнитивный слой и носит более абстрактный и вместе с тем глобальный характер, так как определяет крупные потрясения с трагическими последствиями в пределах страны или в масштабах планеты (*экологическая катастрофа, экономическая катастрофа, социальная катастрофа* и т. п.).

В современной речевой практике востребованы оба значения: *Вчера при посадке в международном аэропорту “Манас”, что в 20 км от Бишкека, потерпел аварию Ил-62 рос-*

сийской авиакомпании “Третьяково” ... *Есть несколько версий катастрофы* (Комсомольская правда. 2002. 24 октября); *Несколько лет назад, в начале перестройки, почти никто представить не мог, что у нас возможен затяжной экономический кризис, более того, что не исключена и катастрофа* (Московские новости. 1990. 5 декабря).

Самостоятельность («расщепление», «раздвоение») двух базовых когнитивных слоев концепта разной степени абстракции привела к изменению семантической структуры соответствующего слова, к преобразованию оттенка значения в самостоятельное значение — образовался ЛСВ. Вследствие этого слово стало полисемичным. Каждая семема соотносится с определенным концептуальным слоем. Рассмотренный семантический процесс “раздвоения” значения, образования двух самостоятельных семем, различающихся по семному составу, можно назвать бифуркацией (от лат. *bifurcus* “раздвоенный”).

Имеющийся в национальной когнитивной картине мира концепт в период радикальных общественных преобразований может наполняться новым содержанием, отвечающим духу времени. В таком случае изменяется набор его концептуальных признаков, хотя прототипическое ядро мыслительной структуры остается прежним. В этом смысле интерес представляет концепт “ОБНОВЛЕНИЕ”, который в доперестроечный период в большей степени относился к сфере бытовой, нежели социальной. Основными лексическими средствами вербализации концепта являются слова *обновлять(ся)*, *обновить(ся)*, *обновление*. В речевой практике эти лексемы употреблялись в контекстах такого рода: *Старый дом покрасили и обновили. Часть мебели пора обновить. Платье после переделки обновилось, стало модным*; а также при описании природы: *лес обновился, весеннее обновление природы* и т. п.

В переломный период жизни народа, когда изменились социально-экономические, политические, идеологические устои общества, этот концепт наполнился новым содержанием, приобрел значение ключевой ментальной единицы. Ср.: *Какие же качества может приобрести общество ... в результате обновления? Чем такое общество будет отличаться от наиболее прогрессивных форм современного капитализма? Эти вопросы задаются многими, поскольку ответ на них определяет содержание перестройки* (Комсомольская правда. 1991. 15 апреля).

Основными элементами, образующими базовый слой концепта “ОБНОВЛЕНИЕ”, становятся признаки “качественное преобразование”, “модернизация”, “радикальные изменения”, которые национальное сознание связывает с началом эпохи перестройки, нацеленной на развитие демократии, приветствующей свободу мысли и слова, поиск средств обновления идеологии, экономики, политики.

Новое содержание концепта детерминирует переосмысление значения лексемы *обновление*. В толковых словарях старшего поколения самостоятельная дефиниция у существительного отсутствует; его словарная статья отсылает к семантике производящего глагола. См. БАС: *обновление* — действие и состояние по 1-му и 2-му значениям глагола *обновлять(ся)*. *Обновлять(ся)* — 1. “Придавать вид нового путем починок, поправок; восстанавливать, подновлять” // (перен.) “Возрождать, оживлять”. 2. “Пополнять внесением нового, заменять устаревшее новым”.

В “Словаре перестройки” [6] находим уже самостоятельное значение лексемы *обновление* — “качественное преобразование, радикальная реорганизация, воссоздание чего-либо на принципиально иных, чем прежде, началах, на основе современных идей и передовых взглядов; модернизация”. Как видим, в данном толковании слова появляются новые семы, содержатся семантические приращения, отвечающие духу времени. Актуализация рассматриваемого существительного сопровождается его частичной терминологизацией, так как в перестроечное время слово стало употребляться в СМИ, в публицистических текстах как средство обозначения явлений общественно-политической и социально-экономической сфер.

Итак, исследование актуализированных зон национальной концептосферы, коррелирующих с активизацией определенных лексико-семантических процессов, дает возможность получить лингвоментальный срез эпохи в переломный период, определить изменение когнитивных представлений, а также отметить “болевые точки” современных языковых процессов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вендина Т. И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания. — 2002. — № 4. — С. 44.
2. Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. — Екатеринбург, 2002. — С. 4.
3. Попова З. Д., Стернин И. А. Интерпретационное поле национального концепта и методы его изучения // Культура общения и ее формирование. Вып.8. — Воронеж, 2001. — С. 27-30.
4. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Складчиковой. — СПб, 1998. — 700 с.
5. БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17 тт. — М.; Л., 1950-1965.
6. Максимов В. И. и др. Словарь перестройки: (1985-1992). — СПб, 1992. — 253 с.

ЕЩЕ РАЗ О КЛАССИФИКАЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

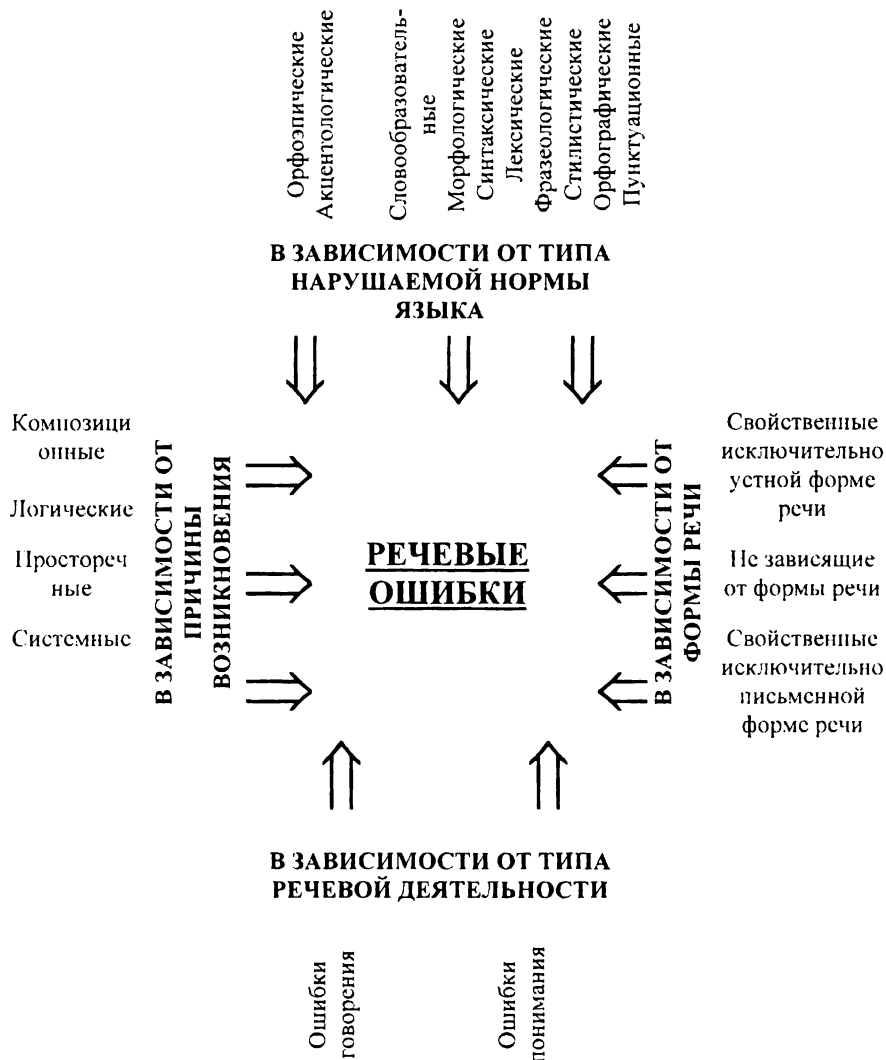
Проблема классификации речевых ошибок в продолжение многих лет служит предметом оживленных дискуссий ученых разных направлений. Систематизации отрицательного языкового материала посвящены работы Г.А. Анисимова, В.И. Капинос, М.Н. Кожинной, О.В. Кукушкиной, М.Р. Львова, Ю.В. Фоменко, С.Н. Цейтлин и др. В зарубежных исследованиях в середине XX столетия из общего круга вопросов был даже выделен отдельный аспект, получивший название «лингвистика ошибок» (У. Нот). Значение всестороннего анализа и системного описания этого неизбежного, но также и закономерного явления в речи любого носителя языка трудно переоценить, поскольку речевые ошибки являются не только предметом лингвистического исследования, но и средством научного познания, в том числе и в смежных областях: в психолингвистике, психологии, лингводидактике, в теории коммуникации, антропоцентрическом языкознании. Сигналом «разошедшегося шва в речевом механизме» называл речевые ошибки А.А. Леонтьев, в силу чего они могут выполнять функцию обратной связи в психолингвистических исследованиях.

Однако вопрос о конструктивной классификации речевых нарушений по-прежнему остается открытым: процесс углубления в сущность любого объекта познания может быть бесконечным. Более того, до сих пор сохраняется некоторая терминологическая неопределенность в именовании различного рода отклонений от литературной нормы: «речевая аномалия» (Аругюнова Н.Д., Шмелев А.Д.), «коммуникативная помеха» (Ладыженская Т.А.), «речевая неудача» (Граудина Л.К., Кукушкина О.В.), «коммуникативный провал» (Шмелева Е.Т.) и т. д. Мы понимаем под речевой ошибкой немотивированное отклонение и неосознаваемое в момент речи нарушение языковых норм, действующих в определенном речевом коллективе в конкретный исторический период, поэтому наряду с закрепившимся термином «речевые ошибки» для обозначения тех или иных недостатков текста мы употребляем как синонимичное именование «речевые нарушения».

Основанием для классификации речевых нарушений в современной научной литературе выдвигается целый ряд критериев.

Например, Е.Д. Божович, рассматривая проблему с психологической точки зрения, подразделяет речевые ошибки на три группы [1]. К первой группе исследователь относит ошибки, связанные с письменной речью и зависящие преимущественно от качества обучения (орфографические и пунктуационные); вторая группа связана с речевым опытом носителя языка и со знанием, полученным в процессе обучения (грамматические и семантико-синтаксические); третью группу составляют речевые нарушения, зависящие преимущественно от речевого опыта человека, от степени развитости его языкового чувства (лексические, смысловые, стилистические). Подход Е.Д. Божович к классификации речевых нарушений опирается на выдвинутую ею теорию формирования языковой компетенции индивида, включающую три основных компонента: 1) речевой опыт самого человека, приобретенный практическим путем, самостоятельно; 2) знания о языке, усваиваемые в процессе специального обучения и 3) чувство языка (языковая интуиция).

Наиболее общие подходы (принципы) к классификации речевых ошибок можно представить следующим образом:



Некоторые исследователи подразделяют ошибки на речевые и «неречевые» [3], [4]. Однако такой подход противоречит установленной еще Фердинандом де Соссюром антиномии «язык – речь», из которой следует, что ошибки не могут быть «неречевыми», поскольку являются продуктом речевой деятельности человека и проявляются только в речи.

Нам представляется целесообразным деление речевых нарушений, соотнесенное с уровнями культуры речи, то есть на ошибки, проявляющиеся в нарушении правильности речи и коммуникативной ее целесообразности, в нарушении требований контекста. Представим свое видение модели организации отрицательного языкового материала в виде схемы (с. 160).

На наш взгляд, ошибки, именуемые некоторыми учеными как «неречевые», представляют собой неудачное изложение замысла говорящим или пишущим, тот или иной сбой в «развертывании» мысли, то есть они суть репрезентация мысли (речевого замысла). К такого рода нарушениям относятся: нарушение логики изложения в рамках отдельного предложения или целого текста; искажение фактов реальной действительности, а также композиционные ошибки, отражающие неумение строить высказывание и проявляющиеся в нарушении порядка предложений в ССЦ и микротем в тексте, в неумении пользоваться средствами связи (причем не только союзами и союзными словами), в отступлении от намеченного плана и некоторые другие. Под *репрезентацией* мы понимаем *изображение, моделирование действительности языковыми средствами, представление*



ментальной картины мира во внешней речи посредством языкового кода. Иными словами, репрезентация мысли — это *реализация замысла во внешней речи*. Поскольку процесс создания текста как продукта речемыслительной деятельности является отражением работы сознания носителя языка, которая требует от говорящего (пишущего) гораздо более сложных мыслительных операций (как, например, актуализация определенных знаний в предметной области, целостное осмысление объекта, соблюдение законов мышления), нежели усвоение законов языка и простейших правил употребления (использования) тех или иных языковых единиц, то мы можем говорить о когнитивном компоненте процесса репрезентации замысла (внутреннего образа) речи.

Показательным для выявления когнитивной природы нарушений, а следовательно, и для правильной их квалификации и классификации являются речевые неудачи, восходящие к области бессознательного, то есть находящиеся за пределами той части механизма порождения речи, которая контролируется сознанием, как, например, неосознанная контаминация, являющаяся причиной многих правописных и «устноречевых» ошибок. Одна из разновидностей подобного рода «оговорок» была подмечена С. Я. Маршаком: *Нельзя ли у трамвала вокзай остановить*; или, знакомые всем, ошибки “по невнимательности”, “по рассеянности”, возникающие в момент ослабления контроля сознания за процессом порождения конкретного высказывания (устного или письменного), а также так называемая “отрицательная индукция” (активизация одного и того же только что употребленного слова).

Подтверждение тому, что речевые нарушения, выделенные нами в третью группу, суть проявление сбоев в работе сознания говорящего (пишущего) мы находим в иссле-

довании О. В. Кукушкиной, подчеркивающей, что «за неудачным речевым воплощением часто стоит неудачная мысль» [2].

«Окном в сознание» называет О. В. Кукушкина речевые ошибки, поскольку они отражают асимметрию в достижениях индивида на когнитивном и речевом уровнях и являются «инструментом анализа не только языкового, но и когнитивного сознания индивида» [там же].

Таким образом, совершенно очевидной является когнитивная природа большого числа речевых нарушений, которые мы выделили в отдельную группу (рубрикатор) так называемых когнитивно-репрезентативных ошибок. Такое именование вполне соотносимо с традиционным трихотомичным делением «язык — языковая норма — речь», где каждый компонент находится в тесной взаимосвязи друг с другом: речь является материальным воплощением языка, а языковая норма управляет речевой практикой индивида. Но в указанной трихотомичной совокупности категорий не нашел отражения такой важный элемент, как сознание, мышление, о котором мы говорили выше и который нельзя не учитывать при изучении процесса «мыслеречедеятельности» (А. М. Шахнарович) и анализе его продуктов. Взаимосвязь же и взаимообусловленность языка и мышления, мышления и речи сегодня уже не требует доказательств, в связи с чем мы считаем необходимым расширить рамки триединства и предлагаем при рассмотрении ряда вопросов (в том числе и при разработке классификации речевых нарушений) опираться на тетрахотомию «язык — языковая норма — мышление — речь».

Достаточно спорным может показаться вопрос, к какому разряду отнести нарушения орфоэпических (просодических, акцентологических и произносительных) норм и почему отдельно рассматриваются фонетические нормы, так как ряд исследователей придерживается мнения, что эти понятия синонимичны. Как видно из предложенной нами схемы-модели, все речевые нарушения (за исключением ошибок в изложении мысли, репрезентации замысла) мы подразделяем на ошибки в **образовании** языковых единиц (нарушения структурные) и в их **употреблении** (нарушения функциональные). Орфоэпические ошибки — нарушения функционального характера, поскольку проявляются в функционировании звуков и обнаруживаются в языковых единицах более высокого уровня языковой системы: ударение — в слове, предложении (смысловое, логическое ударение); звук — в звукосочетаниях ([чн] — [шн], [тэ] — [т'э]) и словах (бу[γ]алтер, о[г]ород, дру[к]); интонация, сила, полетность голоса — в предложениях и тексте. В этой связи напомним также об эвфонических возможностях фонетических единиц: благозвучие речи, придание ей бо́льшей выразительности при употреблении звуковых повторов, а также, наоборот, — способности единиц фонетического уровня снижать впечатление при восприятии речи в силу ее неблагозвучия. В связи с этим мы сочли целесообразным разграничение орфоэпических нарушений (то есть ошибок в функционировании фонетических единиц) и фонетических ошибок, заключающихся в неверной артикуляции звуков (их «образовании»), таких как, например, картавость (аномалии в произношении дрожащих звуков [р], [л]), шепелявость (неправильное произношение шипящих и свистящих звуков) и др. Но их анализ и исправление — это уже область логопедии.

В этом же рубрикаторе (функциональных речевых нарушений) наряду с орфоэпическими ошибками мы выделили также и правописные (орфографические и пунктуационные), поскольку суть и тех, и других речевых нарушений заключается в том, что они являются следствием неправильного употребления в речи акустических и графических средств соответственно и выявить их можно не в рамках произношения (написания) конкретного изолированного звука (буквы), а лишь анализируя употребление той или иной фонемы или графемы в слове или предложении, то есть в линейном расположении, в сочетании с другими языковыми единицами в рамках текста.

Что касается стилистических нарушений — их мы понимаем очень узко и относим к

такого рода неправильностям все, что разрушает единство стиля высказывания: употребление разностилевых слов и выражений в рамках одного высказывания, использование грамматических форм и синтаксических конструкций, присущих одному функциональному стилю, в речевом произведении иного функционального стиля, неудачное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств (*Ребята весело провели воскресный денек!* — пишет третьеклассник, подытоживая свой рассказ о зимнем отдыхе; *Из окна моей комнаты видно окружающую среду*; *Даша только к вечеру допетрила, что брат потерялся*; *Когда мы приехали к тете, мы покушали и отправились в зоопарк*).

Следует также учитывать, что стилистические нарушения могут проявляться как в области лексики, так и в области грамматики (в частности, морфемики: *Во время разлива водица затопила деревья* — употребление подчеркнутого слова с данной суффиксальной морфемой уместно лишь в народно-поэтической речи, но отнюдь не в разговорной или нейтральной, в рамках которой и было услышано это высказывание), а также на фонетическом уровне языковой системы (в области орфоэпии), например, фонетические профессионализмы (муз. — *полифонія*, лит. — *полифóния*; мед. — *флюорографі́я*, лит. — *флюорогра́фия*) или фонетическое просторечье (нечеткость произношения слабоударных или малоинформативных слов в потоке речи).

За пределами предложенной классификации речевых нарушений оказались так называемые эстетические ошибки, выделяемые некоторыми учеными в самостоятельный класс [4]. Это связано с тем, что еще не решена проблема эстетической нормы, к тому же остается неясной природа подобного рода нарушений в речи говорящего (пишущего) и отрицательной реакции слушателя (читателя). Решение указанного вопроса, на наш взгляд, сопряжено как с более глубоким изучением эстетической функции языка, так и с целенаправленными исследованиями в области психических образований и процессов в коре головного мозга человека.

Предлагаемая нами классификация речевых нарушений не является ни абсолютной, ни окончательной, так как мы понимаем, что едва ли удастся создать всеобъемлющую и в своей основе завершенную классификацию в силу многогранности процесса речетворчества. Являясь лишь одной из возможных моделей организации отрицательного языкового материала, одной из возможных интерпретаций языковой действительности, данная классификация допускает дальнейшую детализацию и уточнение формулировок.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Божович Е. Д. Учителю о языковой компетенции школьника. Психолого-педагогические аспекты языкового образования. — М., 2002. — 288 с.
2. Кукушкина О. В. Речевые неудачи как продукт речемыслительной деятельности: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук — М., 1998. — С. 3.
3. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников. — М., 2003. — С. 201.
4. Черемисин П. Г. К вопросу о классификации речевых ошибок в сочинениях учащихся средней школы // Русский язык в школе. — 1973. — № 2. — С. 39.

О СУБЪЕКТЕ ДЕЕПРИЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Правило односубъектности деепричастия и подчиняющего его сказуемого определяет возможность включения деепричастия в предложение. Субъект имеет различное формальное выражение и семантическое наполнение в разных типах предложений. Указанные характеристики субъекта деепричастия и анализируются в данной статье.

Форма субъекта деепричастия непосредственно связана с двусоставностью — односоставностью предложения. В двусоставных предложениях субъект деепричастия обычно совпадает с подлежащим, обязательно представлен: в предложении имеется его синтаксическая позиция, замещённая словесно или свободная. Совпадение с подлежащим определяет его грамматическую форму — форму именительного падежа, а значит, этот субъект прямой. Вот примеры: *Корабль-госпиталь пересекал Эгейское море, имея на борту 1134 человека* (Газ.); *В углу тикают часы, отстукивая моё время, а я тороплюсь, пробегая глазами по строкам писем* (М. Белкина); *Девчонка что-то выговаривала, вытягивая руки к самому его лицу* (В. Токарева) (субъекты-подлежащие - *корабль, часы, я, девчонка*). Незамещённая синтаксическая позиция подлежащего-субъекта в неполном предложении может быть занята именем или местоимением в именительном падеже: *И пошёл дальше, вдоль противотанковых рвов, успокаивая ладонью каштановое смятение на голове* (А. Алексин); *Потом махнула рукой, приглашая всех на мостик* (Л. Улицкая).

В семантическом отношении субъект в двусоставных предложениях конкретный. Конкретный здесь понимается не как отнесённый к соответствующему лексико-грамматическому разряду существительных, противопоставленный *отвлечённому*, а как реально названный, «чётко обозначенный, вполне определённый» [1], поэтому как конкретные квалифицируем все субъекты, выраженные существительными и местоимениями.

Специфика субъекта в односоставных предложениях с главным членом сказуемым определяется их грамматическими особенностями. Трактовка этих предложений неодинакова. Одни исследователи усматривают в их структуре нулевое подлежащее, признавая только расчленённый способ выражения предикативности. Так, М.В. Панов, утверждая, что спрягаемый глагол в предложении «всегда сопровождается подлежащим, которое выражено существительным или нулём» [2: 229], приходит к выводу, что в основе неопределённо-личных, обобщённо-личных и безличных предложений лежит предикативное сочетание «нулевое подлежащее + спрягаемый глагол». Предикативное сочетание он усматривает и в инфинитивных предложениях — «инфинитив + отсутствие спрягаемого глагола» [2: 223]. Признают наличие нулевого подлежащего в односоставных предложениях Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв [3]. Однако это неоспорно. Наличие нулевого подлежащего как главного независимого члена предложения приводит к необходимости признать зависимость от него глагола-сказуемого, в то время как он занимает независимую позицию, не обнаруживая подчинения какому-либо члену предложения. Что же касается окончаний спрягаемых глаголов, то в односоставных предложениях они приобретают другие грамматические значения, отличные от соответствующих значений глаголов в двусоставных предложениях.

Иная трактовка односоставных предложений основана на признании независимости глагольных форм в их составе. П. А. Лекант подчёркивает: «В глагольных односоставных предложениях различные глагольные формы употреблены как независимые» [4: 17]. Наличие предложений различного типа, построенных по однокомпонентным схемам, с одним главным членом, признано в РГ-80 [5]. Предикативность таких предложений рассматривается как имеющая нерасчленённый характер. Субъект в односоставных предложениях отличается от субъекта в двусоставных предложениях. Он далеко не однороден в формальном отношении. Здесь явно противопоставляются два его типа — в односостав-

ных личных предложениях, с одной стороны, и в односоставных безличных, инфинитивных — с другой.

Обратимся к односоставным личным предложениям. Как было отмечено, в двусоставных предложениях подлежащее и сказуемое представлены порознь, но подлежащее одновременно имеет своеобразную «поддержку» во флексии спрягаемого глагола: флексии *-у, -ем, -им* свидетельствуют о первом лице, *-ешь, -ишь* и флексии глаголов в повелительном наклонении — о втором лице, *-ут, -ат* — о третьем лице. Однако при наличествующем подлежащем, в двусоставных предложениях, это не столь актуально. В односоставных же предложениях рассматриваемого типа флексии актуализируются и становятся своего рода аналогами подлежащего. По мнению А. С. Попова, в односоставных предложениях можно усмотреть устранение подлежащего с замещением его флексией спрягаемого глагола [6: 107]. Флексии глаголов при этом обогащаются другими значениями: *-у, -ешь, -ишь* и окончания форм повелительного наклонения в односоставных предложениях становятся ещё и заместителями определённого лица, флексии *-ут, -ат* — аналогом неопределённого лица, как и флексии прошедшего времени и сослагательного наклонения *-и*. Помимо того, флексии глаголов в форме второго и третьего лица, а также прошедшего времени множественного числа способны приобретать в некоторых условиях употребления значение обобщённого лица. Эти репрезентанты подлежащего представляют собой и репрезентанты субъекта, сопутствующее действие которых обозначают деепричастия. Связь деепричастия с субъектом в односоставных предложениях признавал А. А. Шахматов. Анализируя предложение *сняв голову, по волосам не плачут*, он писал: «*сняв* относится к тому же неопределённому лицу, которое является субъектом действия *плачут*», а в предложении *умывшись, приходите к нам* «деепричастие относится к определённому лицу множ. числа» [7]. Вот некоторые примеры. Определённо-личные предложения: *Но не хочу читать речь, не узнав, нет ли совпадений* (В. Виноградов); *Поселись на высоком холме, Полыхая по небу восторгами...* (Н. Заболоцкий). Неопределённо-личные предложения: *На сход собираются, как правило, не помышляя об отказе* (Д. Лихачёв); *Их крепко держали, ухвативши сзади за руки...* (Б. Пастернак); *Думали бы большие, читая книги* (Газ.). Обобщённо-личные предложения: *Занимаясь классической музыкой, оказываешься вне времени* (Газ.); *Едят хинкали руками, взяв за узелок* (Л. Ляховская). Следовательно, формальная специфика субъекта в односоставных личных предложениях заключается в характере его представления: это не собственно субъект, а его аналог. Тем не менее он совпадает с аналогом подлежащего, что позволяет отнести его к прямым. Что же касается семантики субъекта, то она в рассматриваемых предложениях непосредственно зависит от разновидности односоставного предложения: в определённо-личных предложениях субъект определённый, в неопределённо-личных — неопределённый, в обобщённо-личных — обобщённый. Такая семантика не может быть признана конкретной, семантика субъекта неконкретная.

Иной характер субъекта в безличных и инфинитивных предложениях. Это субъект также общий для деепричастия и сказуемого вне зависимости от способа выражения последнего, ср. замечание в АГ: «В безличных предложениях деепричастие, относящееся к главному члену предложения, обозначает действие того же лица, которое испытывает состояние, обозначаемое главным членом безличного предложения» [8]. Субъект может быть реальным или предполагаемым, он выражается существительным или местоимением-существительным и имеет форму косвенных падежей, прежде всего, дательного падежа. Вот примеры субъекта деепричастий в безличных предложениях: *Нормировщику нельзя входить в такие компании, не утрачивая своей самостоятельности* (Л. Разгон); *Мне стыдно руки жать льстецам, Лжецам, вора и подлецам, Прощаясь, улыбаться им* (А. Тарковский) (субъекты *нормировщику, мне*). Аналогичен субъект в инфинитивных предложениях: *Тут бы нам, используя накопленный опыт, приступить к монтажу оборудования на следующей, новой гидростанции* (Газ.); *И, хлеба земного Отведав, прийти В свечении слова*

К началу пути... (А. Тарковский) (субъекты *нам* и предполагаемый — в последнем предложении). Способ выражения субъекта косвенным падежом определяет отнесение его не к прямым, а к косвенным. Будучи выраженным существительным или местоимением, субъект в анализируемых предложениях имеет конкретную семантику.

Таким образом, деепричастие в предложении, подчиняясь сказуемому, имеет общий с ним субъект. Субъекты деепричастий неоднотипны. Они различаются по характеру выраженности: выраженный, или собственно субъект (в двусоставных, безличных и инфинитивных предложениях), — представитель субъекта (в односоставных личных предложениях) — предполагаемый (в двусоставных, безличных и инфинитивных предложениях). Представитель субъекта и субъект предполагаемый — это разные явления. Субъекты деепричастий различаются формой выражения: прямые (в двусоставных и односоставных личных предложениях) и косвенные (в односоставных безличных и инфинитивных предложениях). По характеру семантики субъекты деепричастий бывают конкретными и неконкретными. Среди неконкретных различаются определённые, неопределённые и обобщённые субъекты. Прямой зависимости между формой и семантикой субъекта не прослеживается.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Словарь русского языка / Под редакцией А. П. Евгеньевой: В 4-х т. — М., 1981-1984. — Т. 2. — С. 89.
2. Панов М. В. Русский язык // Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. — М., 2004.
3. Булыгина Т. В., Шмелёв А. Д. Синтаксические нули и их референциальные свойства // Типология и грамматика. — М., 1990.
4. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. — М., 1974.
5. РГ-80 - Русская грамматика: В 2-х т.т. — М., 1980. — Т. II. — С. 348-356.
6. Попов А. С. Подлежащее и сказуемое в структуре простого предложения современного русского литературного языка. — Пермь, 1974.
7. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. — Л., 1941. — С. 471-472.
8. АГ — Грамматика русского языка: В 2-х т. т. — М., 1954. — Т. II. — Ч. 1. — С. 657.

МОДАЛЬНО-ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Безличные предложения репрезентируют ситуацию, в которой человек не может быть производителем действия, деятелем; скорее каузатором процессуального состояния в этой разновидности односоставных предложений являются стихийные силы и силы высшего порядка, управляющие мирозданием [1].

По мнению А. М. Пешковского [2], в безличном предложении — «первой попытке критически разобраться в окружающем» — говорящему важны произвольные, стихийные явления или действия, причина и прямой производитель которых часто ему непонятны, неизвестны, а потому и не определены.

Темпоральная семантика безличных предложений напрямую зависит от характера предикативного признака, который определяет морфологическое выражение главного члена.

Динамический предикативный признак выражается спрягаемыми глагольными формами: *Уж настолько **смерклося**, что в некоторых окнах засветились огни* (Л. Толстой); *В полднях **пригревало*** (М. Пришвин); *Уже до полудня воды в колодцах **не хватило*** (А. Твардовский); *При воспоминании о похмелье Михаила **передернуло*** (В. Распутин). Глаголы обозначают состояние как процесс, который не может иметь производителя действия, поскольку репрезентируют стихийные явления природы и психофизическое состояние живых существ.

Возвратные безличные глаголы, мотивированные личными, имеют другую семантику: они обозначают действие, но такое, в семантике которого присутствует сема состояния. Именно постфикс *-ся* привносит в глагол значение возвратности — пассивной перспективы действия [3]: *Сладко **дремлется** в кровати* (А. Блок); *Старушке **зевнулось*** (А. Фет); *Вы не верите слезам... Но я плачу не для вас: мне просто **плачется*** (И. Гончаров); *Что-то **хочется крикнуть** в эту черную пасть, робким сердцем **приникнуть**, чутким ухом **припасть*** (М. Волошин).

Статический предикативный признак выражается словами категории состояния (предикативами) и причастными формами: *За столом, как в бане, **тесно*** (А. Твардовский); *Три дня спустя по прибытии моем в строг, мне **велено было** выходить на работу* (Ф. Достоевский).

Слова категории состояния не имеют семы процессуальности, а специализированные связки, с которыми предикативы вступают в синтагматическую связь, способны выражать лишь грамматическое — модально-временное значение: *На солнцепеке **было** совсем тепло и пахло землей* (А. Толстой); *Спали воды. **Стало** сухо* (А. Твардовский); *В этот час мне **довольно** и взгляда* (Н. Рубцов); *За окном **было** ни темно, ни светло* (А. Пушкин).

Краткое страдательное причастие, являющееся основным компонентом главного члена безличного предложения, выражает статический признак и обозначает действие в пассивной перспективе: ***Накурено было** так, что еле светили лампы в дыму, полумраке, сырости и холоде* (И. Бунин); ***И вот теперь велено** мне вернуться* (А. Пушкин); ***В мезонине было уже натоплено, прибрано*** (К. Паустовский).

Временная неопределенность выражается в вопросительных конструкциях: *Что ж не спится в самом деле?* (А. Твардовский) и в конструкциях с нулевой или материально выраженной формой специализированной связки с частицей *бы* или формой сослагательного наклонения вспомогательного компонента в составе главного члена. Эти формы выражают возможность совершения действия в неопределенном временном плане: ***Пора бы** нам **одуматься, пойти** домой, **задуматься*** (А. Твардовский); ***Хорошо бы**, на стог улыбаясь, мордой месяца сено **жевать**...* (С. Есенин); ***Я подданным рожден, и умереть** мне подданным во мраке **б** **надлежало*** (А. Пушкин); ***Сперва понять** вам **надо бы**, что значит слово самое: по-*

мещик, дворянин (Н. Некрасов). Императивная семантика побуждения к действию в этом типе односоставных предложений невозможна.

В предложениях с динамическим предикативным признаком, выраженным глаголами, конструкции свободно переходят из одного временного плана в другой: *Временами прояснялось* (Б. Пастернак); *Запахло летнею водою, землей, как год назад* (А. Твардовский). Причем глаголы несовершенного вида реализуют имперфективное значение настоящего, прошедшего или будущего синтаксического времени (ср.: *проясняется, будет проясняться*), а глаголы совершенного вида — перфективное значение прошедшего и будущего синтаксического времени (ср.: *запахнет*).

Имперфективное процессуальное значение настоящего синтаксического времени наблюдается при совпадении действия с моментом речи: *Контур леса выступает резче. Вечереет* (Ю. Друнина).

Имперфективное качественно-описательное значение настоящего синтаксического времени используется при характеристике психического или физического состояния какого-либо лица: *Как молотком, стучит в висках упреком, и все тошнит, и голова кружится* (А. Пушкин).

Настоящее синтаксическое время имеет имперфективное узואльно-характеризующее значение в том случае, когда

- действие охватывает более обширный отрезок времени, нежели момент речи: *От окопов пахнет пашней, летом мирным и простым* (А. Твардовский); *Теплый вечер. Дымчатые дали, ржавые осколки по траве. Веет древней гордою печалью от развалин скорбных деревень* (Ю. Друнина). Сюда же относим предложения с главным членом *бывает*: *Было необычайно тихо, так бывает только после снегопада* (Ю. Бондарев);

- представлена широкая, относительно неопределенная локализация действия во времени: *С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться* (А. Фет);

- действие может быть совершено не только в момент речи: *Скажи-ка, что глаза ей портить не годится* (А. Грибоедов).

Имперфективное экзистенциальное значение настоящего времени может быть выражено в предложениях со значением бытия, существования глагольным словом *нет* и родительным падежом существительного — конструктивной частью, обуславливающей безличность отрицательного предложения: *Нет сил никаких у вечерних стрижат сдержат голубую прохладу* (Б. Пастернак); *И нет конца лесам сосновым* (И. Бунин); *Нет уж дней тех светлых боле* (И. Крылов); *Нет на устах моих грешной молитвы* (М. Лермонтов). Оттенок имперфективного экзистенциального значения свойствен и прошедшему синтаксическому времени: *Уже около двух лет о нем [Истомине] не было ни слуху ни духу* (Б. Пастернак); *В тот день на антиохийском небе не было ни единого облачка* (А. Ладинский).

Имперфективное прошедшее синтаксическое время наблюдается в структуре безличного предложения, если действие имело место в прошлом, и глагольные формы, входящие в состав главного члена, воспроизводят его: *Оттуда уже тянуло теплом нагретого камня, водорослями, цветущим миндалем* (К. Паустовский); *За столом сильно пахло анисовой водкой* (А. Пушкин). Оттенок узואльности привносится темпоральными синтаксемами: *Целый день его знобило* (А. Пушкин); *У меня уже давно сосало под ложечкой* (К. Паустовский).

Перфективное прошедшее синтаксическое время в безличном предложении репрезентирует наличный в настоящем результат совершившегося в прошлом действия: *В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом* (Ю. Бондарев); *От неожиданного удара в глазах у меня потемнело* (А. Пушкин).

Будущее синтаксическое время в строе безличного предложения имеет имперфективное и перфективное значение. Имперфективное будущее реализовано в имперфективной экзистенциальной разновидности, если глагол *быть* употребляется в форме бу-

дущего времени: *Ударит первою остудой трава в тяжелом серебре. И писем в августе не будет, не будет писем в октябре* (М. Дудин).

Перфективное будущее синтаксическое время выражается глаголом в форме будущего времени совершенного вида: *Когда мне в городе захочется на волю, я сажусь в трамвай — и через двадцать минут опять в поле* (М. Пришвин).

Как показали наши наблюдения, модально-временная парадигма безличных предложений представлена оппозицией временной определенности и временной неопределенности. Из сказанного ясно, что темпоральная семантика рассмотренного типа односоставных глагольных предложений предопределяется интонацией и способом представления главного члена.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мони́на Т. С. Модели односоставных предложений: структура и семантика. — М., 1993. — С. 37.
2. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — М., 1935. — С. 307.
3. Мони́на Т. С. Указ соч. — С. 39.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ *БЫТИЯ* В ФИЛОСОФСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ В. РОЗАНОВА

Понятие *бытие* как лингвистическая категория и концепт *бытие* как философская категория, пересекаясь в художественном тексте, формируют сложную семантическую структуру эстетически значимой лексической единицы *бытие*, которая, будучи абстрактной, в русском литературном языке отличается несоответствием формы содержанию. Общеизвестным является тот факт, что лексема *бытие* формально не совершенна, а по объему составляющих ее семантических структур едва ли не самая «богатая» лексема, потому что словом *бытие* обозначается все, что существует во Вселенной, более того, *бытие* включает в себя и саму Вселенную.

Отдельно взятая реалья *Вселенная* еще не является самим *бытием*, но частичка этой реалии, если она универсальна и типична по своей сути, будет составлять объем *бытия* как категории и философской, и лингвистической.

Используя лексему *бытие* в своей речи (устной или письменной), человек не расчленяет ее на составляющие сегменты, он оперирует целостным набором семантических признаков, хотя имеет в виду лишь сегмент понятийного поля *бытия*.

Бытие, быть, бытующий и т. д. — это общая характеристика существующего мира. Что бы ни происходило в мире, он был, есть и будет существовать независимо от воли, желаний, сознания людей.

Изучение структуры понятия *бытие* предполагает, прежде всего, не констатацию разных видов действительного *бытия*, в основе которого лежит выявление особенностей перехода от жизни к смерти, выраженных лингвистически, а раскрытие разных аспектов содержания этого понятия. Таких аспектов два: **предметный** и **динамический**. В предметном аспекте *бытия* отражается наличная данность качественной определенности всего, что существует. Динамический аспект *бытия* репрезентирует всякое *бытие*: не только *бытие* данной сущности, но и ее развитие, трансформацию, утрату и т. д.

Понятие *небытие* в истории философии и в языке рассматривается как абстракция, обозначающая отсутствие *бытия* вообще. Безусловно, можно представить отсутствие какого-либо частного *бытия*, но никто из нас не может представить полное отсутствие *бытия* вообще. В этом случае необходимо представить то, что не является реальностью вообще. А может ли наша мысль выйти за пределы реальности как таковой? Если бы ей это удалось, она лишилась бы своего предметного содержания и тем самым прекратила бы своё существование.

Отсутствие *бытия* не есть некая абсолютная пустота, а есть процесс отрицания *бытия*, который представляет собой не что другое, как переход в иное существование. Рациональное понимание *небытия* возможно только лишь в качестве отрицания, которое является необходимым моментом *бытия*. Посредством понятий *бытие* и *небытие* отражается отрицание процесса перехода в иное существование на уровне динамического аспекта *бытия*.

Вопрос о соотношении *бытия* и *небытия* возникает в процессе осмысления природы конечного и переходящего существования вещей реального мира. Уже античные философы стали задумываться над тем, есть ли что-либо за границей всего бесконечного многообразия непосредственного *бытия* и что происходит с вещами после того, как они исчезают, то есть прекращают своё существование, или *бытие*. С понятием *небытия* в античной философии связывалось понятие сущности *бытия*, связь единого и всеобщего. Раскрытие сущности *небытия* есть путь к познанию *бытия*.

Мировоззренческая проблема *бытия* стала предметом постоянных, серьезных размышлений писателя-философа Василия Розанова, поскольку ее осмысление позволяло

ответить на вопросы о смысле жизни, о смерти, о бесконечности *бытия*, о взаимосвязи событий и действий.

Розанов всем своим существом переживает, пытается понять, что такое *бытие*, бесконечно ли оно, есть ли его продолжение за последней чертой, он обдумывает не только эти животрепещущие темы, но и саму жизнь. Розанов пишет: «*Благовари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай*» [1].

Средоточием художественного изображения писателя-философа стал противоречивый внутренний мир личности, поэтому в языке его произведений в художественной форме отражены оппозиции *бытие* и *небытие*, *жизнь* и *смерть*, *конец* и *бесконечность*. При этом ядерными единицами концепта *бытия* в художественно-публицистических произведениях Розанова являются ключевые единицы «смерть», «жизнь», «бесконечность». В контексте его философских размышлений они не исключают, а взаимодополняют, пересекают друг друга, и это пересечение формирует типично розановский концепт *бытие*, который репрезентируется в тексте семантическими структурными группами лексем.

Лексические единицы с общей семой «**конец**» выражают противоречивость природы и пестроту философских размышлений Розанова о жизни и смерти. Так, с одной стороны, для него *смерть* — это окончание жизненного пути, не имеющее какого-либо продолжения, *бытие* в его понимании не спираль, не циклический круг, а прямая, имеющая начало (рождение) и конец (смерть): *Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла* (3); *Смерть — конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии»* (4); *Я кончен. Зачем же я жил* (5). С другой стороны, Розанов сомневается в том, что *смерть* — это конец всего, он хочет верить в то, что человек переходит после смерти в иное существование, что *смерть* освобождает и может излечить, что *смерть* — это вечный покой: *Но если тишина относится к «концу всего», как сон к смерти, то неужели смерть окончательное излечение? Что мы знаем о смерти? О, если бы что-нибудь знали!* (332).

Лексемы с общей семой «**конец**» переплетаются с синонимами, которые особенно насыщены эмоциональными переживаниями: *страх — ужас — боязнь*. С помощью них автор передает свой страх перед смертью, перед неизвестностью: *Итак, мы с мамой умрем, и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена настанет только для нас. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но целого, всего — ужасно* (5); *Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь* (5). Эти лексемы характеризуют и саму жизнь: *Не полон ли мир ужасов, которых мы еще совершенно не знаем? Не потому ли нет полного ведения, что его не вынес бы ум и особенно не вынесло бы сердце человека? Бедные мы птички... от кустика до кустика и от дня до дня* (100).

Определяющими при описании концепта бытие являются лексемы с общей семой «**ничего**» (*ничего, ничто, ноль, пустота*): *Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть* (4); *Да, вот в чем дело: для всего мира я тоже — «он умрет», и тоже — «ничего»* (247); *Смерть есть то, после чего ничто не интересно* (58); *Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — ноль». Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд — дают ноль. Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду — дают ноль* (4); *Осень — и ничего нет. Как страшно это «нет». Как страшна осень* (32). Они взаимодействуют в одном контексте с лексемами *страх, ужас* и эмоционально дополняют друг друга: *Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем? Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама — Бог? на Божьем месте? Ужасные вопросы* (4). *Пустота характеризует не только смерть, как отсутствие бытия, но и саму жизнь: Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...* (154).

В понимании В. Розанова *бытие* — это путь, который проходит человек от рождения до смерти, поэтому мотив пути присутствует в его размышлениях и репрезентируется лексическими единицами с общим значением движения: *Когда человек спит, то он, ко-*

нечно, «не совершает греха». Но какой же от этого толк? Этот «**путь бытия**» утомителен для русских (119); *Иду. Иду. Иду. Иду...* И где кончится мой **путь** — не знаю (9); *От всего ушел и никуда не пришел* (340). Смерть рассматривается писателем-философом и как продолжение пути, то есть переход в иную форму бытия: «Человек как будто не умирал»: и это до того страшно и чудовищно для того, кто ведь действительно умер и ему только то одно и важно, что его более нет и он **перешел в какую-то новую действительность...** (120).

Противоречивость внутреннего мира Розанова проявляется в языке в оппозиции смерти и бессмертия. У слов с семантикой бессмертия, особенно наречий **бессмертно, вечно, живо**, в контекстах появляются образные коннотации: *Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается» с тех пор, как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно* (10). Рассуждая о бессмертии, писатель использует в одном контексте лексемы с положительной окрашенностью: *Смерть не страшна тому, кто верит в бессмертие* (340); *Может быть, даже и нет идеи бессмертия души, но есть чувство бессмертия души, и протекает оно из любви...* Это как «вода течет», «огонь жжет» и «хлеб сытит»: так «душа не умирает» в смерти тела, а лишь раздвигается с телом и отделяется от тела (72).

Концепт **бытие** у Розанова передается различными формами глагола **быть** (формы настоящего, прошедшего и будущего времени), которые образно передают всю жизнь человека: *Верьте, что что **Тьсть** — то **Тьсть**, что **Будет** — **будет**, что **Было** — **было*** (186); смерть человека и память о нем выражены оппозицией, которую составляют слово «нет» и форма настоящего времени глагола **есть**, а между ними находится полная неизвестность: *Умер Суворин: но кругом его — дела его, дух его, «все» его... А нет его. «Нет» — и как будто «есть».* Это между «нет» и «есть» колебание — какое-то **страшное**. *Что-то страшное тут* (120). Формой настоящего времени **есть** Розанов объединяет вечные категории, на которых держится бытие, мир, вселенная: *К числу этих вечных «есть», на которых мир держится, принадлежит и вечность «я», моего «горя», «моей «радости»* (73).

Лексемами с общей семьей «**молчание**» в розановских произведениях передается конец бытия, в то время как само бытие обозначается словами с общим значением «**шум**»: *Вселенная есть **шестование**. И когда замолкнут шаги — мир кончится* (332); *Одни молоды, и им нужно веселье, другие стары, и им нужен покой, девушкам — замужество, замужним — «вторая молодость»...* И все **толкаются, и вечный шум** (25). Противопоставление жизни и смерти, движения и покоя дополняются у Розанова оппозицией «**неустойчивого**» и «**устойчивого равновесия**», которые включают в свою семантику понятия *тревога, опасность* («неустойчивое равновесие») и передают движение жизни и понятие *вечного счастья* («устойчивое равновесие»), что обозначает саму смерть: *Жизнь происходит от «неустойчивых равновесий». Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни. Но неустойчивое равновесие — тревога, «неудобно мне», опасность. Мир вечно тревожен, и тем живет* (25); *Какая же чепуха эти «Солнечный город» и «Утопия»; суть коих вечное счастье. То есть окончательное «устойчивое равновесие». Это не «будущее», а смерть* (25).

Одной из центральных лексем, репрезентирующих концепт **бытие**, является лексема **Бог**: **бытие**, включающее все существование в целом, является частью ядерной зоны концепта *Бог*. Бог является той точкой, в которой соединяются начало и конец, именно эту точку Розанов считает корнем бытия: *В конце всех вещей — Бог. И в начале вещей Бог. Он все. Корень всего* (332). Появление, развитие, существование всего, что составляет общее бытие, принадлежит Богу: *Взгляните на растение. Ну там «клеточка в клеточке», «протоплазма» и все такое. Понятно, рационально и физиологично. «Вполне научно». Но в растении, «как растет оно», есть еще художество. В грибе одно, в березе другое: но и в грибе художество, и в березе художество. Разве «ель на косогоре» не художественное произведение? Разве она не картина ранее, чем ее можно было взять на картину? Откуда вот это-то?!*

Боже, откуда? Боже, - от Тебя (68).

Интересны изобразительно-выразительные языковые средства, которыми автор изображает *бытие земное*, земную жизнь. В основном Розанов использует образные, символические выражения: *жизнь — чулок*: *Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни» и — не помышлять об остальном* (6); *жизнь — мука, всыпанная в сосуд*: *Эта «мука, всыпанная в сосуд», — есть вся наша жизнь. «Весь наш быт. Вот этим бытом еще не овладели вполне «дрожжи», евангельская «закваска», то есть Слово Божие, целые Божии притчи, образы, сравнения* (21); *жизнь — трущоба*: *Да...вся наша история немножечко трущоба, и вся наша жизнь немножечко трущоба* (27); *жизнь — организм*: *Что жизнь, таким образом (наша биография), есть организм, а вовсе не «отдельные поступки»* (70).

Для В. Розанова жизнь — это путь, который начинается с рождения и оканчивается смертью: *Родила червяшка червяшку. Червяшка поползла. Потом умерла. Вот наша жизнь* (318); путь представляется не в качестве прямой линии, а задается определенная траектория, в которой есть самая высокая точка развития: *«Жизнь» в горку и с горки». И естественно — в ней есть кульминационный пункт* (174). Смерть — это одновременно и конец и переход в иное существование, неизвестное автору: *Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя — уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом ничего не знаем. И, произнося в разговорах «смерть», мы как бы танцуем в бланманже для ужина или спрашиваем «сколько часов в миске супа»* (28); *Что мы знаем о смерти? О, если бы что-нибудь знали!* (332). Смерть — это равновесие, молчание, ничто, пустота. В художественном пространстве писателя воплотилась оппозиция *бытия* конечного (линейного, где есть начало и конец) и *бытия* бесконечного (циклического, в котором нет конца).

Таким образом, в языке произведений В. Розанова переход *бытия* в *небытие* и наоборот изображается семантической трансформацией понятий, отражающей процесс изменения вещей. Чистой формой этого перехода является время, то есть смена прошлого (того, чего уже нет) настоящим (тем, что есть), а настоящего будущим (тем, чего ещё нет). В этом плане всякое единичное существование развёртывается в виде перехода от *небытия*, которого уже нет, к *небытию*, которого ещё нет, так что актуально данное конкретное *бытие* включает в себе *небытие* в двух его аспектах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Василий Розанов. Опадавшие листья. — М., 2004. — С. 381. Далее в круглых скобках указывается страница по этому изданию.

СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК МЕХАНИЗМЫ ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ*

В широком смысле слова языковую категоризацию можно понимать как процесс образования укрупненных структур, которые отражают обобщенные знания человека о мире, обусловленные как ментально-мыслительными и социокультурными особенностями носителей языка, так и способами номинации объектов и хранением знаний в данном языке. Суть процессов категоризации «заключается в объективации результатов когниции» [1], тесно связанных с механизмом кодирования знаний, являющемся своеобразной «матрицей семантизации окружающего мира» [2].

Продуктом языковой категоризации оказываются, в частности, семантические единицы языка различной сложности (семы, семемы (ЛСВ), лексемы (совокупности семем одного слова), различные лексико-семантические группировки в парадигматическом пространстве языка (например, лексико-семантические и тематические группы, словообразовательные гнезда и части речи). Результатом процессов репрезентации и категоризации являются языковые картины мира, отражающие системы ценностей, действующие культурные коды. Культурная маркированность процесса языковой категоризации отражается в том, как он интерпретирован в языке [3], то есть в том, как продукты категоризации внедрены в систему языка, какое место они заняли в ячейках этой системы.

Лексико-семантические процессы языковой категоризации должны рассматриваться комплексно, с учетом концептуального, семантико-структурного аспектов анализа на фоне системных связей и отношений семантических единиц, хотя, безусловно, «концепт находится над системой, поскольку служит ее базисом, или своего рода «внутренней формой», удерживающей все три измерения (парадигматику, синтагматику и эпидигматику) и тем самым формирующей в процессе лингвокреативного мышления концепт в его четвертом измерении» [4].

Наши наблюдения над структурой, семантикой и функционированием в реальной речевой ситуации отсубстантивных имен прилагательных [5] русского языка позволяют сформулировать некоторые закономерности, касающиеся формирования и организации их смысловых структур.

Механизм формирования значения имен прилагательных определяется одновременным воздействием всех системных связей слова в лексико-семантическом пространстве языка, прагматической и пропозиционной обусловленностью семемопорождения, а также способом языковой категоризации концептуального содержания объективируемой действительности. Выражению единого коммуникативно обусловленного задания семантической языковой единицы подчинены наполнение семной структуры и взаимодействие языковых внутрисистемных отношений семем.

При образовании нового значения слова мотивационные потоки идут одновременно из разных источников, потому безусловно нельзя «рассматривать мотивацию как неизменно линейную семантическую детерминацию одной лексической единицы другой лексической единицей в пределах, очерченных каким-либо одним и только одним правилом...» [6]. Слово рождается только в семантическом мотивационном поле лексической системы в целом. Мотивационные потоки идут от слова как единицы лексико-семантического уровня и от слова как единицы словообразовательного уровня (в последнем случае важно, какое место мотивирующее слово занимает в системе связей внутри словообразовательного гнезда), потому в мотивацию даже одной семемы производного имени

* Данная работа выполнена автором при поддержке внутривузовского гранта Белгородского государственного университета.

прилагательного оказываются втянутыми как семы производящего слова, так и семы мотивирующего значения этого же прилагательного, потому «разумно говорить о том, что лексическая единица определена в пространстве мотиваций» [7].

Например, семема *анонимный-1* – «неизвестный по имени, не подписавший своего имени» мотивируется основной семемой имени существительного *аноним-1* – «автор сочинения, письма, скрывший свое имя» (*Анонимный автор*). Мотиваторами же семемы *анонимный-2* – «не имеющий указания на автора, без имени автора» стали одновременно две семемы: *аноним-2* – «сочинение, письмо без обозначения имени автора» и *анонимный-1* (*Анонимное письмо*). В смысловой структуре семемы *анонимный-2* объединяются семы как существительного *аноним-2* «отсутствие имени автора», так и семы прилагательного *анонимный-1*, в значении которого названа причина не указанного имени (*В нем вечно кипела завистливая, истерическая злоба, заставлявшая его писать на своих товарищей нелепые анонимные доносы* (А. Куприн).

Прилагательное *резервный* формирует значение семемы-2 – «находящийся в резерве» под влиянием трех семем-мотиваторов: *резерв-3* – «часть войск, оставленная в распоряжении командира с целью введения в бой в случае необходимости», *резерв-4* – «состав военнообязанных ..., призываемых в армию в случае необходимости» и *резервный-1* – «находящийся в запасе, употребляемый, применяемый в случае необходимости» (*Резервный запас продуктов*).

Таким образом относительные имена прилагательные из разных мотивационных источников «собирают» семы в свою смысловую структуру и потому имеют довольно сложный репертуар своих реальных и потенциальных сем, который приспосабливается к выполнению коммуникативного задания в каждом новом сочетании с именами существительными.

Семный состав, внутрисловные и межсловные связи семемы, какими бы разноплановыми и разнородными они ни казались на уровне поверхностных структур, наблюдаемых эмпирически, оказываются внутренне упорядоченными и подчиненными языковому выражению определенного концепта, объективированного не только и не столько в одной семеме, сколько в ЛСГ семем в целом, объективизирующей и вербализующей ту или иную концептуализированную область знания.

Значение семемы организовано действием интегральных сил, в первую очередь, и дифференциальных – во вторую. Способность той или иной звуковой оболочки мотивирующих единиц выражать, оттенять, объяснять коммуникативно заданный смысл оказывается решающим условием «втягивания» ее в отношения мотивации в процессе создания новых семем в языке и новых их употреблений в речи.

Пропозиционное предназначение семантической единицы оказывает определенное влияние на качество семемы еще до ее возникновения и во многом определяет выбор мотивировочной базы, форманта и, следовательно, морфемного строения слова. Формирование звуковой оболочки слова обусловлено комплектом факторов, среди которых важны и такие, как противоречие между заданным содержанием, идущим от концептуальной семантики ЛСГ, и необходимостью для каждой семемы иметь индивидуальный облик и индивидуальный образ, чтобы отличаться по значению от всех других семем в составе ЛСГ. Например, в составе ЛСГ прилагательных, обозначающих зеленый цвет, наряду со словом *зеленый* оказываются необходимыми образования отсубстантивных прилагательных для более точного, образно-картинного представления денотативного содержания этого цвета в его разных оттенках: *салатовый, изумрудный* и т. п.

Если действие продуктивных моделей внутрисловной и межсловной деривации, а также смысловое пропозиционное задание и концептуальная специфика ЛСГ обеспечивают интегральностные смыслы семем, то действие индивидуальной «внутренней формы», репертуар мотивировок и комбинация структурно-морфемных элементов слова

способствует созданию дифференциальных семантических свойств семемы.

Кроме того семантика семемы своей жизнеспособностью обязана действию как синхронных, так и диахронных мотивировочных связей. Оба вида мотивировок связаны не только единым результатом своей деятельности, но и общностью выполняемых в языке функций:

они соединяют слово и его семемы с лексической системой языка в целом, обеспечивая преемственность в ее семантическом развитии; реализуют и отражают прагматическую ориентированность в языковой семантике, отыскивая наиболее удачные модели представления содержания языкового знака для его осознания и семантизации носителями языка;

им принадлежит основная роль в обеспечении языковой преемственности в развитии лексической семантики, способствующей усвоению новых значений носителями языка без особых усилий, поскольку каждая последующая семема является «внутренней формой» предыдущей (исходной) семемы, — так создается непрерывный и последовательный ряд мотивировок.

Мотивационные отношения внутри лексемы являются признаком, организующим ее структуру и обеспечивающим ее внутреннее единство как в синхронном, так и в диахронном аспектах. В синхронном плане — это наличие общих архисем и денотативных сем — обязательного инвариантного смысла у семем одной лексемы, отражающего общие признаки и свойства объективного мира. Благодаря существованию такого общего смысла совокупность семем одной лексемы становится упорядоченным и взаимоучтенным множеством.

В диахронном плане внутрилексемные мотивационные отношения обеспечивают наличие ментально-мыслительного инвариантного содержания, своего рода ядерной концептуальной семантики, общей для лексико-семантических группировок лексики. Такая инвариантная семантика определяет системообусловленное место каждой из семем в лексико-семантической парадигматике языка, от которого во многом зависит назначение и функциональное поведение семем одного и того же слова при его употреблении в речи.

При образовании самых разных производных отсубстантивных имен прилагательных, независимо от того, образовались они от нарицательных имен существительных или от собственных имен, имеют место такие особенности:

все производные имена прилагательные подвергаются воздействию «силы отторжения» новообразованной семантики слова от той семантической «наследственности», которая играла решающую роль в момент семемообразования. Во всех случаях наблюдается лексикализация деривационного значения, причем даже и в тех случаях, когда при межсловной деривации в качестве производящего слова выступает собственное имя существительное. Например, в словосочетаниях типа *жостовские подносы, оренбургские платки, тульские пряники, палехские шкатулки* и т. п. лексикализация деривационного значения происходит благодаря укрупнению сем сигнификативного характера, преобразующему тип лексического значения слова-прилагательного, благодаря которому компоненты словосочетания объединяются в целостную номинативную единицу терминологического характера, обладающую тем не менее и оценочной значимостью.

Развитие отношений мотивации, а также формирование компонентного состава производных семем, характеризуется динамичностью, поскольку функционирующие в речи семемы находятся в постоянной семной перегруппировке и взаимодействии. Во многом эти процессы обусловлены социально-прагматическими факторами речевой ситуации, вызывающими бесконечное разнообразие сочетаемостей и обновление контекстных смыслов у слов. Семемы производных имен прилагательных свой статус и семантические параметры формируют с ориентацией на коммуникативное задание, выполняемое

в тесной связи с опорным существительным в словосочетании, от которого собственно и зависят контекстные «приращения» смыслов. Комбинаторность семантики производных имен прилагательных вызвана общей для всех слов причиной: требованием высокой мобилизованности для выполнения «социального заказа» на производство номинативных единиц.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Токарев Г. В. Концепт как объект лингвокультурологии. – Волгоград, 2003. – С. 24.
2. Алефиренко Н. Ф. Этноязыковое кодирование смысла и культуры // Филология и культура: Сб. материалов III-й Междунар. науч. конф. – Ч. 2, – Тамбов, 2001. – С. 82.
3. Токарев Г. В. Концепт как объект лингвокультурологии. – Волгоград, 2003. – С. 65.
4. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. – М., 2005. – С. 149.
5. Котлярова Е. Н., Крюкова С. В., Шипицына Г. М. Относительные прилагательные русского языка в семантико-деривационном аспекте. – Белгород, 2003.
6. Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. – М., 1979. – С.154.
7. Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. – М., 1979. – С.154.

О ТЕРМИНАХ 'ВАЛЕНТНОСТЬ' И 'СОЧЕТАЕМОСТЬ' В ЛИНГВИСТИКЕ

Известно, что *термин* как «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [1], «обладает строго дефинитивным (определятельным) значением в своей отрасли знания, логизированностью семантики, конвенциональностью (сознательной договоренностью) в употреблении и является членом данной терминологической системы, входя в ее гиперо-гипонимическую организацию» [2]. Однако, несмотря на ярко выраженное стремление к определенной точности, довольно часто границы термина оказываются размытыми, а дефиниции не всегда отличаются стройностью и продуманностью, что в ряде случаев может быть обусловлено, например, «динамикой человеческого мышления» [3] или «отсутствием взаимнооднозначного соответствия между планом выражения и планом содержания» [4]. Вместе с тем, существование малоубедительных, неотшлифованных и даже разноплановых дефиниций некоторых терминов может напрямую зависеть от научных концепций и идей, методологических направлений и позиций, а также от состояния теоретической изученности и прагматического, утилитарно-практического осмысления проблемы. Этот тезис, вероятно, может быть проиллюстрирован на материале различных терминологических областей, в том числе и на примере лингвистической терминологии. Так, по справедливому замечанию Б.Н. Головина, проблема взаимосвязи лингвистических терминов и лингвистических идей является одной из серьезнейших в языкознании и, «несмотря на обилие опубликованных работ и многообразие высказанных мнений», «настоятельно требует осмысления» [5].

Ввиду того, что лингвистическая терминология до сих пор остается семиотически небезупречной и недостаточно рационально организованной системой, в языкознании постоянно существует задача упорядочения терминов, которая, согласно мнению О. С. Ахмановой, сводится 1) к изучению реального лингвистического словоупотребления, 2) к отбору терминологии и описанию ее в словарях лингвистических терминов, 3) к сопоставлению национальных терминологических систем в многоязычных терминологических словарях, 4) при наличии дублетов и «синонимов» — к стремлению их разграничения, что позволяет терминологически отразить различные стороны объекта (ср. дифференциацию понятий «подлежащее» и «субъект») [см.: 4]. В этой связи возникает и вполне закономерный вопрос о различении ряда общеупотребительных лингвистических терминов, не последнее место среди которых занимает пара 'сочетаемость' — 'валентность'.

Анализ лексикографических источников показывает, что в большинстве словарей современного русского языка *сочетаемость* и *валентность* в качестве лингвистических терминов до настоящего времени не зафиксированы. Более того, существительное *сочетаемость* не включено, например, в «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и в ряд других словарей и встречается только в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» в самом общем значении: «сочетаемость — способность, возможность сочетания чего-либо с чем-либо» [6а]. В отличие от существительного *сочетаемость* термин 'валентность' отмечен практически во всех словарях русского языка, причем всегда с пометой спец. или хим., ср., напр.: валентность (от лат. *valens*, *utis* — имеющий силу) — «хим. Способность химического элемента связывать определенное число атомов водорода. а) Число, показывающее, сколько атомов водорода замещает данный элемент в химических соединениях. б) Число, показывающее, сколько атомов водорода может связать данная группа» [6б].

Вместе с тем, в отечественной специальной лингвистической литературе термины 'сочетаемость' и 'валентность' встречаются довольно часто, однако вполне очевидно, что

имеющее латинский корень существительное 'валентность' значительно уступает 'сочетаемости' по степени хронологической освоенности лингвистическим метаязыком. Этот факт, вероятно, во многом обусловлен тем, что, по замечанию В.В.Виноградова, «самостоятельная русская грамматическая наука начинается с разработки учения о слове, о частях речи, о «сочинении» частей речи, то есть о способах образования словосочетаний» [7].

Начиная с «Российской грамматики» М.В.Ломоносова, в отечественной лингвистике первоначально закрепился термин «сочинение частей слова» («Наставление шестое» «Российской грамматики»), что сводится у Ломоносова к правилам сочетания слов в предложении по принципу согласования и управления. О *словосочинении* размышляет и А.Х.Востоков: «Словосочинение есть часть грамматики, показывающая правила, по коим совокуплять должно слова в речи» [8]. Однако уже Н.И.Греч в «Практической русской грамматике» вводит в обиход термин *сочетание слов*, под которым понимает «правила, по коим в русском языке совокупляются отдельные слова для составления целого предложения или которой-либо части оногo», и разделяет их на три основных раздела: *сочетание слов*, *сочетание предложений* и *порядок слов* [9]. И это наблюдается вплоть до середины 40-х годов XX века, несмотря на активную разработку идеи сочетаемости как одного из основных факторов структуры и функционирования языка, в частности после работ Ф. де Соссюра, Н.С.Трубецкого, Ш.Балли, В.В.Виноградова и др. [10]. Однако вопрос о *сочетаемости* как особом лингвистическом термине в отечественной лингвистике не возникал, пока не появилось конкурирующее существительное 'валентность'.

Большинство лингвистов признает тот факт, что понятие валентности было введено в лингвистический оборот в конце 40-х годов XX века (1948 г.) С.Д.Кацнельсоном [11], который понимал под валентностью общую сочетательную способность *слов*: «Полновесное вещественное слово в каждом языке не есть слово вообще, а слово с конкретными синтаксическими потенциями, позволяющими употребить его лишь строго определенным образом, предуказанным уровнем развития грамматических отношений в языке. Это свойство слова определенным образом реализовываться в предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами можно было бы назвать его синтаксической валентностью» [12].

Известно также, что в западноевропейское языкознание термин 'валентность' был введен Л.Теньером, который относил это понятие только к глаголу и считал, что структура предложения определяется характером глагола: «Глагол можно представить себе в виде своеобразного атома с крючками, который может притягивать к себе большее или меньшее число актантов в зависимости от большего или меньшего количества крючков, которыми он обладает, чтобы удерживать эти актанты при себе. Число таких крючков, имеющих у глагола, и, следовательно, число актантов, которыми он способен управлять, и составляет сущность того, что мы будем называть валентностью глагола» [13]. В связи с этим Л.Теньер различал авалентные, одновалентные, двухвалентные и трехвалентные глаголы, а также описывал средства изменения глагольной валентности. Такая трактовка валентности восходит, по замечанию В.Г.Гака, к логике предикатов и связана с вербоцентрической теорией предложения [14]. (Кстати, именно такая интерпретация существительного 'валентность' наиболее приближена к более знакомому современному носителю языка понятию 'химической валентности' как меры способности атома химического элемента образовывать химические связи с другими атомами. Ср. в этом отношении: "Штамп "элитный вид спорта" 1 января 2001 года резко поменял лингвистическую валентность с одного ("теннис") на три ("дзюдо", "горные лыжи", "водные лыжи") [Новая газета. — 2001. — № 23]). По мнению Н.И.Филичевой, теория валентности Л.Теньера быстро получила признание и нашла последователей за пределами Франции [15], и, более того, как заметила М.Д.Степанова (1967 г.), идея валентности стала относиться к числу наиболее популярных в современной

лингвистике [16]. М.Д.Степанова указывает также, что идеи Теньера были активно восприняты, например, немецкими грамматистами, которые распространили понятие валентности и на именные части речи [17].

Таким образом, начиная примерно с конца 40-х годов XX века в отечественной и зарубежной лингвистике интерес к проблеме сочетаемости и валентности языковых единиц — и в первую очередь слов — значительно возрос. Более того, некоторые языковеды склонны считать, что примерно в это время учение о сочетаемости выделилось в самостоятельную отрасль языкознания, чему способствовал прикладной характер научных сведений о сочетаниях языковых единиц различных структурных и семантических типов, большое значение их для лексикографии и дидактики, для информационного поиска и конструирования вспомогательных языков науки [18]. В этой связи вполне очевиден тот факт, что отечественная и зарубежная литература по вопросам сочетаемости и валентности языковых единиц многообразна и многоаспектна. Так, например, в лингвистических исследованиях XIX–XX веков проблемы сочетаемости *слов* и их валентности, как известно, описаны в нескольких аспектах: 1) в плане грамматики, точнее, в сфере синтагматики (как образование сцеплений слов), 2) в области лексики и семасиологии, 3) с точки зрения фразеологии, 4) с позиций стилистики в широком смысле слова [19]. О сочетаемости имеются ценные мысли и замечания в трудах А.А.Потебни, А.М.Пешковского, Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, Д.Н.Шмелева. Многоаспектное изучение теории сочетаемости и валентности нашло отражение в многочисленных работах отечественных (В.Г.Адмони, Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, И.М.Богуславский, М.В.Всеволодова, В.Г.Гак, Б.Н.Головин, Ю.С.Долгов, В.В.Морковкин, Н.З.Котелова, Е.С.Кубрякова, И.А.Мельчук, М.Д.Степанова, Е.В.Рахилина, В.Н.Телия, В.И.Фурашов и мн. др.) и зарубежных лингвистов (В.Бондцио, К.Зоммерфельд, W.Busse, G.Helbig, H.Kamp, J.J.Katz, G.L.Murphy, B.Partee, D.Pitt, G.Redeker, E.Sweetser, J.R.Taylor, Z.Vendler и др.).

Вместе с тем, в специальной литературе до сих пор нет единообразия в употреблении терминов ‘валентность’ и ‘сочетаемость’. Так, иногда лингвисты употребляют эти термины как абсолютные синонимы (ср., напр., у П.В.Чеснокова: «Сочетаемость, или валентность, синтаксических единиц есть их способность вступать в синтаксические связи с определенными другими синтаксическими единицами» [20]). Другие лингвисты применительно к явлениям разного порядка употребляют только один термин: используют либо ‘сочетаемость’ (см., напр., [18]), либо ‘валентность’ (см., напр., [21]), очевидно, не принимая во внимание проблему разграничения этих двух лингвистических понятий. Есть и такое мнение, согласно которому термин ‘валентность’ употребляется в зарубежной лингвистической литературе, а ‘сочетаемость’ используется в исследованиях отечественных языковедов. В качестве аргументов в этой связи приводят примеры существования в лингвистике русскоязычных словарей *сочетаемости* (а не валентности!) слов [22] и зарубежных словарей *валентности* глаголов и других частей речи (ср., напр., немецк. “Wörterbuch zur *Valenz* und Distribution deutscher Verben (1969)), что, однако, не может быть подтверждено двуязычными словарями по лингвистике и семиотике, где термины ‘валентность’ и ‘сочетаемость’ строго разведены (ср., напр., русск. валентность и англ. valency, русск. сочетаемость и англ. combinability, compatibility, co(-) occurrence-range [23]).

К сожалению, известные лингвистические словари не всегда точно отграничивают интересующие нас термины. Так, например, в «Словаре лингвистических терминов» О.С.Ахмановой понятие ‘валентность’ отсутствует, а под сочетаемостью (англ. combinability, cooccurrence-range) понимается «способность элементов соединяться друг с другом в речи» [24]. В более новых лингвистических словарях зафиксированы уже оба термина и представлена попытка разграничения *валентности* и *сочетаемости*. В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой сочетаемость как «способность языковых элементов соединяться друг с другом в речи» понимается бо-

лее широко по сравнению с валентностью, которая относится (очевидно, вслед за С.Д. Кацнельсоном) только к сфере *слова*, ср.: «валентность (от лат. *valencia* — сила) слова. Способность слова вступать в словосочетания с другими словами» [25]. Похожее толкование находим и в «Кратком словаре лингвистических терминов» [26], ср.: валентность — способность слова вступать в синтаксические связи (смысловые и формальные) с другими словами, в то время как сочетаемость — это «способность языковой единицы вступать в комбинацию с однородными единицами». Вместе с тем, о валентности здесь сказано, что это также и «формальная *сочетаемость* (справа и слева) единиц языка», а в статье о сочетаемости замечено, что «в синтаксическом и лексическом плане вместо термина «сочетаемость» часто употребляется термин «валентность». Думается, что наиболее точно и с привлечением истории изучения этот вопрос представлен в статьях В.Г.Гака 'валентность' и 'сочетаемость' в «Лингвистическом энциклопедическом словаре». В.Г.Гак дает следующую дефиницию термина 'валентность': «способность *слова* вступать в синтаксические связи с другими элементами»; при этом он замечает, что «в советском языкознании развивается более широкое понимание валентности как общей сочетательной способности слов (Кацнельсон) и единиц иных уровней» [см.: 14]. Сочетаемость же, по В.Г.Гаку, «свойство *языковых единиц* сочетаться при образовании единиц более высокого уровня; одно из фундаментальных свойств языковых единиц, отражающее синтагматические отношения между ними» [см.: 10]. Далее в обеих статьях приводятся некоторые выделенные в лингвистической литературе типы и виды сочетаемости и валентности, рассмотрение которых здесь не представляется возможным.

Необходимо заметить, что в ряде работ отечественных и зарубежных языковедов были предприняты и другие попытки разграничения сочетаемости и валентности. Так, например, М.В.Всеволодова считает, что «понятие сочетаемости шире понятия валентности, поскольку включает в себя и грамматическое присоединение» [27]. Далеко не традиционно мнение Ю.В.Фоменко, напрямую связывающего понятие валентности с термином *словосочетание*: «Валентность так относится к словосочетанию, как язык к речи, сущность к явлению, общее к частному, абстрактное к конкретному, возможность к действительности. Словосочетание — это речевая реализация категориальной и индивидуальной (грамматической и лексической) валентности слов. В синтаксических описаниях вместо раздела «Словосочетание» должен быть раздел «Валентность частей речи». В конце своей статьи «Проблема словосочетания с позиций учения о единицах языка» Ю.В.Фоменко заключает: «Валентность есть свойство слов, проявляющееся именно и только в предложении» [28].

Одной из достаточно признанных среди отечественных синтаксистов попыток разграничения 'валентности' и 'сочетаемости' является точка зрения Б.Н.Головина, согласно которой существительные 'валентность' и 'сочетаемость' не являются абсолютными синонимами, так как термин 'валентность' «может обозначать потенциальные синтагматические свойства, возможности частей речи и их морфологических категорий», а термин 'сочетаемость' «может обозначать реализацию этих свойств и возможностей в потоке речи». На примере морфологической синтагматики Б.Н.Головин делает следующий вывод: «Зная морфологическую валентность, можно предсказывать морфологическую сочетаемость, можно отличать правильное и неправильное на морфологическом уровне речевых структур. Наблюдая морфологическую сочетаемость, можно получить информацию о закономерностях морфологической валентности», «как, впрочем, и синтагматики на других уровнях языка» [29]. Тогда, согласно мнению Б.Н.Головина, получается, что более широким и всеобъемлющим понятием является термин 'валентность', в то время как сочетаемость — это лишь реализация потенциальных синтагматических свойств и возможностей частей речи в потоке речи. Эта позиция, как кажется, в некоторой степени противоречит более традиционному подходу, в соответствии с которым понятие сочетае-

мости оказывается более универсальным, чем термин 'валентность'.

Таким образом, к сожалению, мы пока вынуждены констатировать тот факт, что ответ на вопрос, касающийся терминов 'сочетаемость' и 'валентность', до сих пор остается открытым. Как замечает В.Н.Телия, «проблема сочетаемости возбуждает... целый ряд вечно спорных вопросов...» [30], среди которых мы находим место и понятию *сочетаемости* с его отграничением от *валентности*. Предпринятые в отечественных и зарубежных исследованиях попытки создания дефиниций 'сочетаемость' и 'валентность' дают основания для дальнейших размышлений. Однако предварительно можно предположить, что, термин 'валентность', исходя из его первичного (специального, химического) значения, может означать *способность* единиц одного порядка вступать в сочетания друг с другом и, как кажется, может быть применим прежде всего по отношению к *слову* как основной единице языка. Кроме того, следует различать валентность *языковую*, которая представляет собой *потенциальную* способность языковой единицы сочетаться с другими, и валентность *речевую*, которая не всегда может соответствовать этим потенциальным способностям сочетающихся языковых единиц и даже — более того — нарушать традиционные закономерности соединения (ср., напр., оксюмороны). Вместе с тем, под *сочетаемостью* следует понимать конкретную реализацию данной способности слова, которая обнаруживает себя в дискурсивном употреблении и может быть выявлена и изучена на основе анализа конкретного языкового материала.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Васильева Н.В. Термин // ЛЭС. — М., 1990. — С. 508.
2. Современный русский язык / Под ред П.А. Леканта. — М., 2001. — С. 51.
3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. — М., 1979. — С. 277.
4. Ахманова О.С. Терминология лингвистическая // ЛЭС. — М., 1990. — С. 509.
5. Головин Б.Н. Лингвистические термины и лингвистические идеи // Вопросы языкознания. — 1975. — № 3. — С. 20.
6. Словарь современного русского литературного языка. — М.-Л., 1951 (т.2). — С. 33 [66]; 1963 (т.14) — С. 438 [6а].
7. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. — М., 1978. — С. 8.
8. Востоков А.Х. Русская грамматика. — СПб, 1839. — С. 219.
9. Греч Н.И. Практическая русская грамматика. — СПб, 1827. — С. 250.
10. Гак В.Г. Сочетаемость // ЛЭС. — М., 1990. — С. 483.
11. Кацнельсон С.Д. О грамматической категории // Вестник ЛГУ. — 1948. — № 2.
12. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. — Л., 1986. — С. 126.
13. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. — М., 1988. — С. 250.
14. Гак В.Г. Валентность // ЛЭС. — М., 1990. — С. 79-80.
15. Филичева Н.И. Понятие синтаксической валентности в работах зарубежных лингвистов // Вопросы языкознания. — 1967. — № 2. — С. 120.
16. Степанова М.Д. О внешней и внутренней валентности слова // Иностранные языки в школе. — 1967. — № 3. — С. 13.
17. См., напр., Ružička R. Three aspects of valency // Linguistische Arbeits Berichte 23. Sonderheft №1. — Leipzig, 1978. — S. 20-23; Степанова М.Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. — М., 1978 и др. работы.
18. Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке. — М., 1973. — С. 3.
19. Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. — М., 1966. — С. 173.
20. Чесноков П.В. Зависимость сочетаемости синтаксических единиц от семантических форм мышления // Сочетаемость синтаксических единиц. — Ростов н/Д., 1984. — С. 3.
21. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса. — Пермь, 2001. — С. 19-20.
22. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П.Н.Денисова,

В.В.Морковкина. — М., 2002 и др. изд.; Красных В.И. Словарь сочетаемости. Глаголы, предикативы и прилагательные в русском языке. — М., 2001 и др.

23. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике / Под ред. А.Н.Баранова и Д.О.Добровольского. — М., 2001. — С. 403, 502.

24. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1966. — С. 445.

25. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М., 1976. — С. 44, 450.

26. Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь лингвистических терминов. — М., 1995. — С. 26, 119.

27. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. — М., 2000. — С. 361.

28. Фоменко Ю.В. Проблема словосочетания с позиций учения о единицах языка // Русский синтаксис. — Воронеж, 1976. — С. 16.

29. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Указ. соч. — С. 210.

30. Телия В.Н. Семантический аспект сочетаемости слов и фразеологическая сочетаемость // Принципы и методы семантических исследований. — М., 1976. — С. 247.

О РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ТОЖДЕСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Понятие «тождества» неоднократно отмечалось в работах по лингвистике. Оно употребляется или в связи со структурными особенностями конструкций, или в связи с семантикой. В большинстве случаев тождественными, то есть равными, одинаковыми, языковые единицы бывают по одному дифференциальному признаку: категориальной принадлежности, грамматическому или лексическому значению, составу структурных компонентов, выполняемой функции. Впервые на значение тождества указал В.В.Виноградов в труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове». Это значение было отмечено у частицы *же* в ряду других: «К указательным частицам, по-видимому, примыкает постпозитивная отождествительная частица *же* в таких сочетаниях, как *тот же, туда же, там же, тогда же* и т. п. Она соединяется с местоименными словами по методу агглютинации» [1]. Термин «предложения тождества» ввел А.А. Шахматов для характеристики двусоставных несогласованных предложений типа *Нестор — отец русской истории* [2]. В таких конструкциях тождество содержательной стороны (отождествление двух представлений) сочетается с формой тождества, допускающей обратимость компонентов, например *Мещера — остаток лесного океана* (К. Паустовский); *Путь в лесах — это километры тишины, безветрия* (К. Паустовский). При совпадении в одной единице функционального, структурного и семантического тождества можно говорить о реализации языковой категории тождества. Категориальное значение тождества получило толкование в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой: «Функциональная общность, принадлежность к одному и тому же инварианту, объединенность этой принадлежностью разных конкретных воспроизведений инварианта» [3]. Термин «Категория тождества» находим у П.А. Леканта в статье «К вопросу о категории тождества в русском языке» [4]. Все эти термины, хотя и недостаточно распространенные, называют и объясняют существующие на всех языковых уровнях явления. Конструкции тождества активно используются в речи, но являются недостаточно описанными.

Основанием для выделения именно категории является сочетание в одной языковой единице семантики тождества с формальными показателями тождества: специальными словами (морфологический уровень) и особой бинарной структурой (синтаксический уровень). Семантика тождества предполагает полное сходство, подобие предметов, явлений друг другу или самим себе, а также соответствие чего-либо чему-либо [5].

Формальными морфологическими показателями тождества (П.А. Лекант называет их «знаками тождества» [6]) являются сочетания указательных местоименных слов *тот, туда, тогда* с частицей *же*, частицы *тоже, также*, частица-связка *это*, сочетание *одно и то же*, а также некоторые союзы: *как не, если не, если не... то*.

Анализ конструкций, в которых реализуется категория тождества, с нашей точки зрения, должен вестись по нескольким направлениям: во-первых, соответствие семантики категориальной; во-вторых, наличие структурного тождества; в-третьих, использование в специфическом значении формальных показателей. Перечисленные особенности можно отметить у синтаксических единиц всех уровней: простого, осложненного, сложного предложения, текста. Рассмотрим основные из них:

1. Простые предложения с номинацией предметов, признаков или обстоятельств, тождественных друг другу, например: *Они перешли из маленького зальца в столь же маленькую и уютную гостиную* (Н. Лесков).

Показателем тождества является частица *же*. Она относится к одному слову, но вносит дополнительную семантику во все предложение. Частица *же* употребляется после местоимений и местоименных наречий и передает значение точного соответствия. Местоимение обычно указывает на уже названный объект или субъект. Частица подчер-

кивает одинаковость, неизменность, постоянство чего-либо. Это же значение указания на точное соответствие частица *же* имеет в том случае, когда она употребляется при повторяющемся прилагательном или существительном, а также при использовании личного местоимения для указания на названное имя. Частица указывает на один и тот же субъект или одно качество двух разных существительных. Например:

Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь (Ф. Достоевский).

Наименование тождественных признаков или обстоятельств может быть оформлено однородными членами предложения: *Стол, который столько же мог называться письменным, сколько игорным, обеденным или даже швальным...* (Н. Лесков); *Еще мальчишкой он работал в бондарных мастерских и на небольших бондарных же заводиках* (И. Кремлев).

Частица *же* со значением тождества может использоваться в составе фразеологизированных сочетаний *в то же время; тотчас же; сейчас же; одно и то же* и др.

В его натуре сохранилось много простоты, искренности, задушевности, бесхитростности и в то же время живой русской сметки, которую он сам называл мошеннической философией (Н. Лесков); *Она хотела тотчас же ехать назад* (Н. Лесков); — *На, и иди, — сказал Арапов, подавая «черту» записку, после чего тот сейчас же исчез за дверью* (Н. Лесков).

В качестве фразеологического выражения *одно и то же* не может иметь грамматической парадигмы, соответственно употребляется в функции подлежащего или сказуемого. Н.Д.Арутюнова относит сочетание *одно и то же* к фразеологизированным предикатам [7] по аналогии с другими фразеологизмами, составляющими простое глагольное сказуемое. Действительно, такая форма предиката довольно часто встречается в устной речи, СМИ и художественной литературе. Особенностью использования такого предиката является его соотнесенность с двумя (реже более) однородными подлежащими, соединенными союзами *и, или*. Таким образом, выражается авторская оценка как результат сопоставления двух объектов и признание их одинаковости, тождественности. На этом основании П.А. Лекант называет *одно и то же* «предикатом тождества» [8].

Ничего, потому что требовать от вас чего-либо или не требовать — это одно и то же. (А. Куприн); *Яд и лекарство — одно и то же, все зависит от дозы* (В. Вересаев).

В качестве распространенной модели можно считать предложения с подлежащим *это*, относящимся по смыслу к предыдущему или последующему контексту, и составным именным сказуемым с нулевой формой связи, типа:

— *Это одно и то же!* — воскликнула молодая женщина (В. Вересаев); — *Это, милая моя, одно и то же, — с лаской в голосе пояснил Кеша* (К. Столяров).

В качестве подлежащего сочетание *одно и то же* приобретает черты местоименности. Местоименная семантика характеризуется высокой степенью абстрактности и содержанием указания на упомянутые говорящим ранее или в дальнейшем объекты. Прямые объекты, названные в контексте, являются одинаковыми с точки зрения автора высказывания. Констатация их тождественности является одновременно ремой по отношению к контексту и темой в самом простом предложении.

«Дорогая», «милая», «навек», а в душе всегда одно и то же, если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь (С. Есенин); *И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же: будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож* (С. Есенин).

В ряде случаев сочетание *одно и то же* выступает в различных вариантах грамматической парадигмы, что выводит сочетание из ряда фразеологических. Однако такое сочетание синтаксически неразложимо и по употреблению равно имени существительному. Предложения с фразеологизированным дополнением *одно и то же* имеют значение субъективного отношения говорящего к происходящему. Чаще не названные автором по причине малозначительности объекты отождествляются по каким-либо параметрам.

Говорящий представляет результат такого сопоставления в качестве вывода.

Одно и то же продать три раза (Газ.); *Математика и информатика не про одно и то же, хоть и частенько пересекаются* (Газ.); *Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну, а я, как оперный индийский гость, долблю все одно и то же: «Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных»* (И. Ильф, Е. Петров).

В качестве свободного сочетание *одно и то же* используется в тех предложениях, в которых оно закреплено в определенных сочетаниях с именем существительным. Тогда можно говорить о клишированности модели. В таких случаях сочетание *одно и то же* выступает в функции определения. Наиболее распространенными сочетаниями являются *одно и то же время*:

Но вдруг в одно и то же время он почувствовал себя виноватым и пожалел ее (Л. Толстой);

одно и то же лицо:

«Анастасия Романова и женщина под именем Натальи Белиходзе — одно и то же лицо», — утверждает профессор Владлен Сироткин (Газ.);

а также сочетания *одно и то же* с существительными, называющими тождественные или идентичные предметы, место, чувства, состояния, результаты действия или процесса, количества и т.п.

Одни и те же виды, несмотря на всё своё великоление, приглаждаются, как женина красота (Н. Лесков).

2. Близи к частице *же* по значению и происхождению частицы *тоже, также*. Они устанавливают отношения тождества между предметами мысли или элементами речи, синтаксически разъединенными. Это могут быть части отождествительно-соединительного сложноподчиненного предложения или части текста. Частицы подчеркивают тождество действия или состояния: *Ему тоже нужно помочь*; впечатления, производимого двумя объектами или субъектами действия: *Лицо ее было бледно; слегка раскрытые губы тоже побледнели* (И. Тургенев); двух объектов или субъектов: *Ваш отец давно знает меня, вы тоже знаете, что я люблю вас* (Н. Лесков).

В отождествительно-соединительных предложениях сообщается о существовании сходных или тождественных явлений. Части таких предложений имеют один и тот же модально-временной план, близки семантически и по лексическому составу. Носителями общности в них являются сказуемые, а различия вносятся соотносительными субстантивными элементами. Например: *Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча* (М. Горький); *Все зашевелились с облегчением, у меня тоже отлегло от сердца* (Прим. Н.Ю. Шведовой).

При полном лексическом совпадении главных членов этот компонент может содержаться только в одной части: *Вам тяжело жить в этом доме, мне тоже* (М. Горький).

Такие конструкции характерны для разговорной речи. Позиция частей строго фиксирована. Частицы *тоже, также* всегда находятся перед словом, которое является носителем общности содержания. В предложениях с частицами *тоже, также* может быть употреблен союз *и*, придающий конструкции большую тесноту связи частей, например: *Трещит сверчок, и в печке тоже что-то потрескивает* (Прим. Н.Ю. Шведовой); *Все громко засмеялись, и я тоже не мог удержаться от улыбки*.

3. Псевдосложные предложения с выделительными оборотами, где структурное и семантическое выражение тождества выполняет функцию актуализации компонента высказывания. Это предложения типа: *Что же другое можно любить на земле, если не свою родину* (И. Тургенев); *Только одно и есть для меня в жизни утешение, что ты* (А. Островский).

Формально двухкомпонентная структура и наличие специфических союзных средств дают основание многим ученым относить данные конструкции к сложным предложениям. Однако это монопредикативные структуры. Семантика тождества выража-

ется в них специфическим образом. Отождествляются желательный и единственно возможный деятель, объект, признак. Таким образом передается значение единственности, исключительности, через которое выражается отношение уважения к объекту речи или привлекается внимание к говорящему, единственно способному произвести определенное действие или проявить чувства или способности.

Ты сирота и дочь твоя сирота; кто же вас призрит, если не благодетель и отец родной, ну, и кланяйся тому в ноги (А. Островский); А кто сочинит, если не я же (А. Островский); Кому же знать, коли не нам (В. Даль).

Отождествляются в данных предложениях указательное слово (обычно местоимения *кто, что*) и наименование конкретного объекта или субъекта. Тождество здесь настолько полное, что происходит совмещение номинаций.

Слово *это* также может входить в несвободные предложения фразеологизированного типа, которые строятся по следующим моделям:

Одно (единственное)... — это...

А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю — это именно в неодолимую силу времени (В. Вересаев); Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, — это покинуть Москву (М. Булгаков).

Если кто (что)... так это...

А если кто для меня не понятен, так это моя бабушка графиня Анна Федоровна (А. Пушкин); Вот уж, если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич (А. Толстой).

Если Inf ... это ...

Ежели да мне с тебя денег не брать, это довольно смешно (А. Островский); А вот кабы иметь действительно тысячу рублей и кабак — это бы дело серьезное (М. Горький).

Эти конструкции синонимичны простым предложениям тождества и легко в них трансформируются без изменения смысла. Сравним: *Мне с тебя денег не брать — это довольно смешно.*

Если N1 V, так это N2

Если есть на свете несчастная девушка, так это я (А. Островский); Если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был я сам (Ф. Достоевский).

Это особая модель предложений, где совмещается структура простого двусоставного глагольного и биинфинитивного предложения. Глагол выполняет чисто служебную функцию, с помощью связки *это* отождествляются наименование субъекта и представление о нем. Инверсия подлежащего и сказуемого обусловлена необходимостью выделения ремы высказывания.

4. Сложноподчиненные местоименно-соотностельные предложения, где придаточная часть семантически тождественна местоименному контактному слову главной части, сложное синтаксическое целое или сочетание самостоятельных предложений, в которых находятся отождествляемые компоненты. Показателем тождества является местоимение *это*. *Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье! (Н. Лесков); — Вы все-таки едете в Слесарск? — недоверчиво спросил он. — А вы? — спросил дядя тем же тоном. (Н. Лесков).*

Субстантивируясь, слово *это* выполняет в предложении синтаксическую роль подлежащего или дополнения, приобретает грамматические признаки существительного. Однако по содержанию обозначаемых понятий Л.В. Щерба относил слово *это* к особой группе «местоименных существительных», так как «содержание это крайне бедно и состоит из одного очень неопределенного признака». [9]. Конкретное значение слово *это* получает из контекста, одновременно связывая компоненты предложения, сложного синтаксического целого, текста.

Доверять людям и не обманывать их надежд — в этом он видел смысл своей жизни (А.

Чехов); *Наконец впереди мелькнуло серое пятно; это была входная дверь на какой-то дворик* (Н. Лесков); *А работы было много — работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было* (В. Вересаев).

Как показывают приведенные примеры, местоимение-существительное теряет свою абстрактность, всеобщность, наполняется конкретным содержанием слова или словосочетания, которое заменяет. Анафорическое местоимение становится, по утверждению П.А. Леканта, «знаком представления — отождествления любого смысла» [10]. По аналогии с предложениями тождества, где происходит сопоставление равнозначных, с точки зрения говорящего, понятий, в предложениях с субстантивированным *это* отождествляются лицо, факт, событие, ситуация, действие и его восприятие и осмысление, предмет и представление о нем.

Во всех рассмотренных примерах местоимение выполняет идентифицирующую, или отождествительную, функцию, выражая разные оттенки тождества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М., 1947. — С. 668.
2. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 3-е изд. — М., 2001. — С. 150.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1966. — С. 476.
4. Лекант П.А. Очерки по грамматике русского языка. — М., 2002. — С. 61.
5. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Институт русского языка; Под ред. А.П.Евгеньевой. — М., 1981-1984. — Т. 4. — С. 373.
6. Лекант П.А. Указ. соч. — С. 63.
7. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. — М., 1998. — С. 288.
8. Лекант П.А. Указ. соч. — С. 64.
9. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке //Языковая система и речевая деятельность. — М., 1974. — С. 77-100.
10. Лекант П.А. Указ. соч. — С. 64.

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. М. ЯЗЫКОВА «ПЛОВЕЦ»

Стихотворение Н. М. Языкова «Пловец» (1829 г.) хрестоматийное, к нему давно сложилось вполне определенное, устойчивое отношение. Традиционно акцент делался на социальном звучании стихотворения, на словах «Будет буря — мы поспорим и помужествуем с ней!». Не принималось во внимание духовное начало в стихотворении, а ведь без этого начала трудно представить классическое художественное произведение.

Есть у В. И. Кулешова хорошая статья о «Пловце» — «На гребне и спаде волн». Она была написана еще в 1975 году как предисловие к избранной лирике поэта, а в 1982 году вошла в книгу В. И. Кулешова «Этюды о русских писателях». Ученый высказал верное суждение о том, что в стихотворении Языкова выражена романтическая мысль об идеале — мире гармонической жизни. Каков этот идеал, В. И. Кулешов не определяет, но утверждает, что каждое поколение вкладывало свой смысл в языковские строки, следовательно, привносило в трактовку стихотворения свое представление об идеале. Сам В. И. Кулешов видел связь строк «Пловца» с горьковским призывом «Пусть сильнее грянет буря!». Так же и В. Д. Сквозников в учебнике «История русской литературы XIX века. 1800—1830-е годы» говорит о том, что «Пловец», положенный на музыку композитором и дирижером К. П. Вильбоа, «стал не только любимым салонным романсом “Моряки”, но и в некотором смысле революционным гимном» [1]. Действительно, звучание «Пловца» настолько сильное, что не одно поколение читателей и слушателей видело, прежде всего, революционный смысл произведения. Но, думается, это стихотворение более глубокое: можно говорить и о духовном его аспекте. Понять духовный смысл стихотворения помогает альманах «Денница», где впервые в 1830 году был опубликован «Пловец».

Альманах М. А. Максимовича «Денница» имел ярко выраженную философскую направленность. Это проявилось и в критике, и в поэзии, и в прозе альманаха. Философскую ориентацию издания обстоятельно исследовала В. Н. Касаткина в статье «“Денница”: ее издатель и сотрудники» [2]. Она указала, что философская идея пронизывала весь альманах. Эта идея прошла прежде всего через статью И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года», автор которой заявил: «Нам *необходима* философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия <...>» [3]. Очень философична и поэтическая часть альманаха. В. Н. Касаткина выявила мощный поток философской поэзии в альманахе: о глобальных катаклизмах — космических, природных, социальных — писал здесь Ф. И. Тютчев; высокая Божественная идея присутствовала во всех стихотворениях Ф. Н. Глинки, опубликованных в «Деннице»; как философ выступил в альманахе Н. Станкевич; Е. А. Боратынский в отрывке из поэмы «Цыганка» развил философскую тему распада жизненного веселья. С. П. Шевырев показал слияние земного и Божественного; философские мотивы прозвучали в произведениях А. Шидловского и Н. С. Тепловой; А. Ф. Вельтман, П. А. Вяземский прикоснулись к противоречивым отношениям человеческих душ. Философична и проза альманаха. Это философский диалог Д. В. Веневитинова «Анаксагор. Беседа Платона», где выражена главная идея Любомудров — идея единства философии и поэзии — и развит романтический взгляд на человека

как на «малый мир», отражающий вселенную. Это «Два Ангела смерти» И. И. Камашева, где в форме поэтических аллегорий представлены философские раздумья о космосе, человеке, конце бытия и его вестниках. Это «волшебная сказка» И. В. Киреевского «Опал», где развита идея романтического двоемирия — мира суровой действительности и прекрасной, обманчивой мечты. Это аполог Ф. Н. Глинки «Очищенное золото», где представлен трудный путь к красоте. Это лирическое эссе в прозе З. А. Волконской «Портрет» — размышление об истинном начале в человеке. Да и в самом названии альманаха видится глубокий философский смысл. Оно отразило светлую и темную стороны жизни, объединило их символически, воссоздало сложность человеческого бытия, борьбу света и тьмы, добра и зла. На этом фоне отчетливо проявляется глубинный смысл языковского «Пловца».

Готовя к изданию «Денницу» на 1830 год, М. А. Максимович обратился за поддержкой к Языкову. 9 сентября 1829 года он писал поэту, что прозаические статьи альманаха уже собраны, что поэтическую часть откроет «Борис Годунов» — две первые сцены, предоставленные Пушкиным, и просил у Языкова достойного продолжения поэтической части. Таким продолжением и стал «Пловец», помещенный в «Деннице» после «Бориса Годунова». Однако не сразу и не легко «Пловец» был получен Максимовичем. 13 ноября 1829 года издатель снова обратился к Языкову и уже прямо, без обиняков просил «Пловца» для «Денницы». Максимович считал «Пловца» «прелестной вещью» и вместе с Елагиными убеждал А. П. Петерсона, друга Языкова, не отдавать стихотворение П. Н. Арапову — издателю альманаха «Радуга». Максимович вновь ставит «Пловца» рядом с «Борисом Годуновым» и пишет Языкову: «“Пловцу” вашему лучше сидеть в одной лодке с “Борисом” и прочая, чем погрузиться в хляби араповские» [4].

Максимович был не только настойчивым, но и осторожным издателем, человеком созерцательным и не очень решительным. Вряд ли бы он поместил в своем альманахе произведение бунтарское, революционное. Известно, что Максимович заменил в другом языковском стихотворении, опубликованном в «Деннице» на 1831 год, в «Подражании Псалму XIV», слово «свобода» на слово «природа». На это сетовал Языков в письме брату 21 апреля 1831 года: «Что же ты не похвалишь мой псалом, напечатанный в «Деннице»? (В нем по трусости Максимовича поставлено слово «природа» вместо «свобода», и вышла бессмыслица)» (с. 202). Совершенно очевидно: Максимович не воспринимал «Пловца» как бунтарское произведение. Но он сразу оценил высокий поэтический уровень стихотворения, соизмеримый с художественными достоинствами «Бориса Годунова». Как философ, он не мог не увидеть и философской мысли этого стихотворения, которая была под стать философии истории, развитой в пушкинской трагедии.

А как соотносился «Пловец» с другими публикациями Языкова в «Деннице»? Всего здесь было опубликовано шесть стихотворений поэта: помимо «Пловца», это «Прощальная песнь», «Подражание Псалму XIV», «Анне Ивановне», «Рассвет», «А. Н. В—фу». Лишь одно из них — «Анне Ивановне», посвященное костромской поэтессе А. И. Готовцевой, — беззаботное произведение, воспевающее любовь, радость, женскую красоту. Но это не самое сильное стихотворение Языкова в «Деннице». Оно наполнено романтическими штампами: «разговор живой и страстный», «голос ангельски прекрасный», «румяные уста». Перед нами традиционное альбомное стихотворение. В нем нет искренности, нет живого чувства.

«Прощальная песнь» выражает куда более сложные переживания. Рядом с прославлением дружбы, вина, жизненных радостей, пиров, «свободы удалой», очень характерным для Языкова, звучит философская нота: поэт осознает скоротечность жизни, встает тема смерти — она представлена уже в названии произведения. Все стихотворение воспринимается как дерзкий вызов смерти. Так и в «Пловце».

В стихотворении «Рассвет» опять традиционная для Языкова тема пира, разгула, «песни круговой». Но над буйным, суетным миром торжествует вечная, величественная

красота: утро, рассвет, начало нового дня и новой жизни. Это и есть та идеальная страна, куда устремляется душа. Только здесь человек обретает счастье, оmyвает свои взгляды, освежает горячие уста и грудь.

«Подражание Псалму XIV», пожалуй, одно из самых высоких и торжественных стихотворений Языкова. Это рассуждение о том, кто достоин Царствия Небесного, своеобразная программа нравственного самосовершенствования человека. Как идеальный представлен человек, «чьи мысли неподкупны, // Чьи целомудренны мечты»; он бескорыстный, любящий, всепрощающий, идущий к Богу с чистым и живым сердцем. Стихотворение это религиозное, в нем нет социальной составляющей, ведь детьми и слугами Бога являются и воин, и монарх, и поэт. Стихотворение «А. Н. В—фу» обращено к Алексею Николаевичу Вульффу — другу Языкова со студенческих лет. В прошлом остались шум студенческой жизни, суетное московское житье без «вдохновенных наслаждений», бездейственное и немилое. Наступает истинная жизнь в «отеческих местах»:

Прими же привет, страна родная,
Моя прекрасная, святая,
Глубокий, полный мой привет! [5]

Только здесь поэт находит счастье, не подчинен суете и городскому шуму. Забыты прежние увлечения и слабости, наступает мирная жизнь, наполненная поэтическим трудом и тишиной.

Итак, фактически все стихотворения Языкова в «Деннице» философски ориентированы, часто встает в них проблема идеала. Не является исключением и «Пловец». Это раздумье о смысле жизни: человек, с риском преодолевая преграды, стремится по жизненному морю в блаженную, райскую землю — идеальную страну.

Из шести строф «Пловца» самой значительной и важной представляется пятая, предпоследняя строфа. Она не о борьбе со стихией, с жизненной бурей, она воссоздает языковский идеал — край, куда стремится душа, ради которого преодолеваются трудности и беды:

Там, за далью непогоды
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина. [6]

Блаженная страна, наполненная светом и тишиной, — вот что ждет человека с живой душой после жизненных бурь. Между сегодняшним беспокойным миром и миром идеальным, будущим встают временные и пространственные преграды, которые человеку трудно преодолеть. Отсюда — некоторый трагизм ситуации. Перед нами соотношение временного и вечного. Главным в изображении вечности оказывается мотив света и тишины. Средством достижения блаженной страны Языков считает движение вперед, и в этом он абсолютно прав: святые отцы учат, что дух не должен останавливаться в своем движении к Богу.

Идеал неотделим в поэзии Языкова от активной жизненной позиции. В связи с этим интересно вспомнить и другие стихотворения поэта о пловце.

Второе стихотворение «Пловец» было опубликовано в № 33 «Литературной газеты» А. А. Дельвига и вошло в сборники стихотворений Языкова под названием «Водопад». В нем та же самая ситуация, та же роскошь описаний, такие же смелые художественные образы. Но герой этого произведения отказывается от сопротивления жизненным бурям и гибнет, так и не достигнув желанного берега, блаженной страны. Здесь нет изображения идеального края; как только человек убирает весло, смиряется со стихией, он оказывается на краю страшной пропасти:

Мирно гибели послушный,
Прибрал он свое весло,

Он потупил равнодушно
Безмятежное чело,
Сжал крестом усталы длани...
И мелькает малый челн
На краю ужасной грани
Над громадой скал и волн!

И тогда над человеком торжествует дикая, равнодушная, вечная стихия. Ее описанием начинается и заканчивается стихотворение, в это поэтическое кольцо заключено основное содержание:

Море блеска, гул, удары,
И земля потрясена!
То стеклянная стена
О скалы раздроблена;
То бегут чрез крутояры
Многоводной Ниагары
Ширина и глубина. [7]

В третьем «Пловце» Языкова, написанном в 1831 году, передано то же настроение, что и в первом стихотворении: мужественно борется с тяжелыми волнами легкий парус:

Воют волны, скачут волны!
Под тяжелым плеском волн
Прям стоит наш парус полный,
Быстро мчится легкий челн,
И расталкивает волны,
И скользит по склонам волн!

И в этом стихотворении перед пловцом открывается идеальный мир:

Но глядите: перед нами,
Вдоль по темным облакам,
Разноцветными зарями
Отливаясь там и там,
Золотыми полосами
День и небо светят нам. (с. 64)

Главное для Языкова, чтобы в жизненном движении человека к идеалу не исчезла нравственная основа, не погибла, выдержала душа. Об этом он писал еще в стихотворении «Молитва» (1825 г.):

Молю святое Провиденье:
Оставь мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
Но сердце мне окамени.
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам. (с. 32)

Идеал Языкова прослеживается и в письмах поэта, адресованных самым близким и дорогим людям, прежде всего брату. Выросший на Волге, Языков любил водную, бурную стихию, которая символизировала для него свободу. Но как земной рай он воспринимал жизнь тихую, деревенскую, где-нибудь в заволжской глуши. Такую жизнь он считал благородной и прекрасной. Языков всем сердцем поддержал и благословил намерение брата «переселиться на берега пустынных волн, в широкошумные дубравы». 28 января 1831 года он пишет брату: «Глушь, и именно такая, в какую ты устремляешься, есть и, вероятно, вечно будет лучшим, чистейшим (хотя и несбыточным) желанием всего существа

моего» (с. 200). 25 февраля 1831 года он в письме к брату повторяет эту мысль; пишет, что мечтает «переселиться в деревню — видя в этом последнем слове глушь заволжскую, жизнь тихую, трудолюбивую и, следовательно, благородную и прекрасную» (с. 201).

И. В. Киреевский в статье «О стихотворениях г. Языкова» провозгласил основным чувством в жизни и в поэзии Языкова «стремление к душевному простору» (с. 233). Это стремление не следует понимать узко, лишь в политическом плане. Оно рождало в поэзии Языкова свободомыслие. Но свобода была принципом натуры поэта, образом его жизни. Эту свободу, душевный простор поэт обретал и в борьбе с жизненными бурями, и в сельском уединении, и особенно в посещении монастырей.

Еще летом 1828 года, в студенческое время, Языков посетил монастырь в Печорах и с восторгом рассказывал об этой поездке в письме брату. По возвращении из Дерпта в Москву Языков близко сошелся с М. П. Погодиным, сотрудничал в его «Московском вестнике» и посещал вместе с новым другом монастыри. Н. П. Барсуков сообщает, что Языков и Погодин «странствовали по монастырям и в Симонове заслушивались пением «Со святыми упокой...» (с. 193). В мае 1830 года Языков, Погодин, А. П. Елагина, ее дочь М. В. Киреевская, А. П. Петерсон совершили путешествие в Троице-Сергиеву лавру. Они шли туда двое суток пешком как паломники, осмотрели ризницу, библиотеку, архив. А в августе 1830 года в течение недели Языков путешествовал с Погодиным в Новый Иерусалим, а потом признавался, что посещение таких мест очень важно для всякого русского человека. В это же время поэт беседовал с поэтом А. Н. Муравьевым, только что посетившим подлинный Иерусалим. Эти сокровенные православные устремления помогают приблизиться к пониманию идеала Языкова и проясняют духовный смысл его произведений.

Традиционно исследователи проводили резкую грань между творчеством молодого и зрелого Языкова. Они утверждали, что лучшее в творчестве поэта связано с его «свободомыслящей лирой» и относится к первому периоду творчества, а в последние годы жизни поэт резко изменил свою общественно-политическую ориентацию и талант его слабеет. Думается, что нельзя категорично противопоставлять молодого и зрелого Языкова, не видеть логики его развития. У молодого поэта находим то, что потом станет центральной темой его поэзии. Высокая религиозная идея формируется уже в творчестве молодого Языкова. Свидетельство этому — стихотворение «Пловец».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сквозников В. Д. Поэты «пушкинской плеяды» // История русской литературы XIX века. 1800—1830-е годы: В 2-х ч. — М., 2001. Ч. 2. — С. 92.

2. Касаткина В. Н. «Денница»: ее издатель и сотрудники // Денница. Альманах на 1830, 1831, 1834 годы, изданный М. Максимовичем. — М., 1997. — С. 331—359.

3. Денница, альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем. — М., 1830. — С. XLVII.

4. Языков Н. М. Свободомыслящая лира / Стихотворения; поэмы; жизнь Н. Языкова по документам, воспоминаниям. — М., 1988. — С. 192. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.

5. Денница, альманах на 1834 год, изданный М. Максимовичем. — М., 1834. — С. 88.

6. Денница, альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем. — М., 1830. — С. 66.

7. Литературная газета, издаваемая бароном Дельвигом. — СПб., 1830. Т. I. № 33.

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ ПУБЛИЦИСТИКИ ГАЙТО ГАЗДАНОВА ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

С началом второй мировой войны Гайто Газданов и его жена Фаина Дмитриевна Ламзаки, ещё до войны подписавшие декларацию «верности Франции», снова пережили голодные тяжёлые годы, так знакомые им с юности. Уже в 1942 году они вступили в ряды Сопротивления — партизанскую бригаду во Франции, организованную советскими военнопленными. Эта деятельность отразилась в документальном повествовании «На французской земле» (опубликованном в 1946 г. на французском и в 1995 на русском языке), посвящённом советским партизанам, действующим на территории оккупированной Франции.

История партизанского движения всегда привлекала русских писателей, достаточно вспомнить «Войну и мир» Л. Н. Толстого. После окончания Великой Отечественной войны обращение к подвигам подполья было одной из центральных тем советской литературы: о партизанских действиях во время Великой Отечественной войны рассказывается в книгах С. Ковпака «От Путивля до Карпат» (1949), Д. Медведева «Это было под Ровно» (1948, перед. и доп. изд. «Сильные духом» 1951), А. Федорова «Подпольный обком действует» (1949) и «Последняя зима» (1965), П. Вершигоры «Люди с чистой совестью» (1945), А. Сабурова «За линией фронта» (1955) и др. Перечисленные произведения носят мемуарно-очерковой характер, ведь их авторы — непосредственные участники военных событий, к тому же многие из них — прославленные руководители партизанских отрядов, которые стремились, прежде всего, рассказать, что пережили сами, чему были свидетелями. Их книги, опубликованные сразу же после войны, по горячим следам, не претендовали да и не могли претендовать на глубокий психологизм: во-первых, авторов объединяла откровенно пафосная сторона событий: они писали о мужестве и храбрости, негибкости и убеждённости советского человека в партизанском движении, а во-вторых, понятно, что эти произведения, мягко говоря, не были написаны рукою мастера-художника.

Особняком в этом ряду стоит роман «Молодая гвардия» А. Фадеева (1945), во второй редакции которого (1951) автор пытался углубить психологические портреты героев, но всё же роман стал культовым явлением в советской литературе опять же благодаря именно пафосной линии — описанию героического подвига молодых людей.

Партизанское движение в Белоруссии, тогда советской республике, ныне стране, ярко описал Алесь Адамович в дилогии «Партизаны», где главным было как раз преодоление литературно-приукрашенного, сглаженного облика партизанской действительности. В 80-е годы увидел свет удивительный роман С. Алексиевич «У войны не женское лицо», где в рассказах безымянных авторов-мемуаристок — женщин-партизанок, женщин-подпольщиц — приводятся не только действия и факты, но и передана сама атмосфера тех лет, психологическое состояние женщин, прошедших через войну, причём с большой художественной силой показано не только, *что* пережили и перечувствовали героини, но и что они *пережили и перечувствовали*.

Но, оказывается, партизанские отряды были не только в СССР. Документальное повествование Гайто Газданова «На французской земле» можно отнести к вышеперечисленным произведениям, но с существенными оговорками. Прежде всего, следует иметь в виду, что это повествование написано рукою крупного мастера, за спиной которого уже был один из лучших романов первой половины XX века о гражданской войне («Вечер у Клэр», 1927). Не менее важно и то, что автор не был руководителем партизанского отряда и, ведя рассказ от первого лица, что было свойственно его творческой манере [1], упоминает о своей роли в нём достаточно скромно, включив в повествование образ «одного моего приятеля» [2]. И, наконец, не следует забывать, что партизанский отряд имени

Максима Горького, о котором рассказывает писатель, действовал на территории оккупированной Франции, а это ставило перед публицистикой задачи более сложные, чем выраженные в вышеупомянутых произведениях: на территории Франции пришли во взаимодействие *русские* люди, четверть века назад волею рока разъединённые трагически, насильственно, поэтому в повествовании освещена не только борьба против фашизма, но и взаимоотношения *русской эмиграции и русских военнопленных*.

Сам Г. Газданов во время войны редактировал и издавал информационный бюллетень, его жена была связной, они спасли много людей от смерти. Всё, что видел и пережил Газданов, отразилось в его единственной документальной повести, которая была написана сначала по-французски и по самым свежим следам событий (произведение помечено 19 мая 1945).

В книге одного из самых авторитетных исследователей творчества Гайто Газданова, американского слависта Ласло Диенеша, отмечено, что, встречаясь с советскими людьми в оккупированной Франции, писатель много размышлял о новом для него русском — *советском* — характере [3]. Посвящение же книги Газданова памяти погибших накладывало на автора особые обязательства относительно правдивости и достоверности произведения.

Уникальность судеб людей в повествовании, похожем на «авантюрный роман, с той только трагической разницей, что каждый шаг этих многих героев <...> был действительно сопряжён с риском мгновенной и насильственной смерти» [4], поражает. Вот перед нами образ мужественного человека, который одет «в полуарестантскую куртку, худой как скелет», «движется только ночью, днём он лежит неподвижно на мёрзлой земле, где-нибудь в канаве или под кустом и ест сырой картофель или морковь, счищая с них землю». И этому человеку предстоит «сложная и трудная работа: собирать бежавших советских пленных, вооружать их и организовывать отряды для партизанской войны на территории Франции» (677-678). Изображая все это, автор нисколько не сгущал краски, ничего не придумывал, авторский комментарий лаконичен и убедителен. «В этой книге нет ничего вымышленного. <...> Ответственность за всё написанное я принимаю на себя» (677).

Трудно заподозрить Газданова в сочувствии к советским лозунгам и пропаганде, к указаниям, исходившим от советских руководителей. Но он отмечал, что воззвания русских партизан на территории Франции, по существу, были такими призывами и указаниями к действиям. При этом подчеркивал, что «если бы у пленных не было этого неукротимого желания *борьбы и свободы* (курсив мой. — В. Б.), которое заставляло их с упрямым героизмом выносить все лишения, выживать там, где другие бы умерли, побеждать там, где другие были бы побеждены, — то, конечно, никакие ЦК и никакие воззвания ничего не смогли бы сделать» (679). «Высокий человеческий материал», о котором пишет Газданов, — это сама сущность русского человека, отбросившего в «минуту жизни трудную» разногласия с властью и собравшего все внутренние ресурсы для победы над врагом.

Писатель не склонен был упрощать реальные трудности, с которыми была связана партизанская борьба. Он указывал на два основных фактора всякой подпольной деятельности — «неизвестность и будущее, а не прошлое время» (679). Подпольщики были изначально «спутниками смерти».

Его герои разных национальностей: русские, французы, итальянцы, венгры, немцы — одинаковы в одном — в безоговорочном неприятии фашизма. Не умаляя ничьего достоинства, автор тонко замечает, что тяжелее всех было советским людям на чужой земле — их в толпе выдавало «особенное, *неевропейское* (курсив мой. — В. Б.) выражение лица или глаз», они были более беззащитны в чужой культуре, хотя тут же и очень прозорливо и даже с восхищением подмечает одну тонкость: «нечто особенное, характерное <...> для многих советских людей: быстрая приспособляемость к внешним условиям жизни, к внешним отличиям, нечто вроде своеобразной социальной мимикрии» (681).

Психологически Газданов ориентирован на выявление универсальной, архетипической генетической памяти, где в документальном повествовании становится возможным опереться на библейское выражение. Оно, «вскрывая» глубинные слои человеческого поведения, определяет как духовный путь героев, так и внешний социально детерминированный слой его внутреннего мира, охватываемый характером: «И вот опять, из страшной глубины библейских времён, до нас доходят слова, беспощадная правильность которых проверена веками и тысячелетиями, — кто сеет ветер, тот пожинает бурю» (683). Пристальное внимание к конкретике обыденной жизни становится почвой для глобальных обобщений. Тенденция к онтологизации психологии героя наиболее ярко выразилась у писателя в его последующих художественных произведениях, которые Л. Диенеш назвал «расширенными притчами».

Обращаясь к теме смерти, так всегда его волновавшей, Газданов исследует в повествовании «На французской земле» характеры людей, ежечасно рискующих жизнью, живших «всё время на той зыбкой и неверной границе, которая отделяла жизнь от смерти» (708). Он описывает французенка «полукрестьянского типа», чья «жизнь заключалась в том, что они ею часто рисковали» (681–682); чуть ли не авантюрно-приключенческую судьбу Антона Васильевича (плен, побег из плена вместе с двумя товарищами; имея на троих один нож, устроили засаду немецкому мотоциклисту и, обзаведшись револьвером с патронами и несколькими гранатами, атаковали штабной автомобиль блиндированной дивизии), в которой главенствовал «закон снежного кома». Писатель рассказывает о жизни безымянного тринадцатилетнего мальчика из России, который на территории Франции, в относительной безопасности, «целыми днями плакал от бессильного бешенства и просил только одного — чтобы ему дали револьвер», потому что он хотел только убивать.

Газданов приходит к выводу, что «в риске своей жизнью есть вообще особенная, иногда неудержимая соблазнительность, почти всегда бессознательная. <...> Это может быть какое-то таинственное проявление древнего инстинкта борьбы, одного из могущественных биологических факторов человеческого существования» (682). Позже, в финале романа «Пилигримы» (1953), в уста героя Роже Газданов вложит следующие слова: «...когда ты готов отдать свою жизнь, то это решаешь ты, а не кто-то другой. Значит, ты продолжаешь существовать после того, как ты дошел до конца своей жизни <...> вероятно, смерти нет. Есть страшный переход из одного состояния в другое...» [5].

Смерть может потерять свое значение единственного инструмента для познания вечного. Более того, страх смерти преодолеваем. Смерть — логическая точка в конце жизни: жизнь лейтенанта Василия Порики была наполнена «такой невероятной силой сопротивления и борьбы», которая сможет опровергнуть все «законные взгляды на пределы человеческих возможностей, физических, моральных» (687). Уникальна судьба этого русского парня: его жизнь оборвалась 22 июня 1944 года потому, что «смерти уже некуда было отступать перед ним» (691).

Газданов, конечно же, был осведомлён об ужасах немецкого плена — голод, сон на снегу, содержание в глиняной яме, побои, сквозь которые прошёл, например, Антон Васильевич, поэтому подчеркивает, что «ничьё воображение неспособно воспринять апокалипсическую чудовищность этих испытаний». В людях, выстоявших в подобных условиях, как следствие появилось чувство, которое было «сильнее страха смерти — в них жило неукротимое желание мести» (685).

Автор повествования отмечает, что советские люди никогда не гордились «своими военными подвигами», потому что они «так неискоренимо и яростно ненавидели немцев, что уничтожение немецких солдат и офицеров представлялось им единственной целью в жизни» (716). Каждый советский знал, что «мы найдём их (фашистов. — В. Б.) на дне морском. На другом конце света, под землёй, у чёрта, у дьявола. Всюду найдём. Им от нас не уйти», — и Газданов признает их право на месть. Укрепляло его в этой правоте наблюдение

о редкостном единстве действий русских людей: «Никто, особенно вначале, не давал им никаких инструкций, никто не говорил, не объяснял, как они должны были поступать. Но они все действовали одинаково, так, точно это была огромная и сплочённая организация людей, планы которых были разработаны до последних подробностей» (685).

Писатель ощущает, как на него «обрушилась огромная тяжесть всех этих тысяч и тысяч непоправимых человеческих трагедий, жертвой которых стала *моя* (курсив мой. — В. Б.) родина»; он буквально воочию увидел, «с такой ясностью, как никогда до тех пор, эти сожжённые города и деревни, эти десятки тысяч русских трупов, этих голодных псов, питающихся мёртвыми телами». Психологическое состояние автора было настроено на безусловную веру в победу над фашизмом.

При этом Газданов признавал, что было бы ошибочно думать, будто все русские военнопленные действовали героически и патриотически. Среди них были и антигерои. «Среди множества пленных, конечно, не могло не быть провокаторов, шпионов, негодяев и просто слабых людей, не выдержавших страшных испытаний войной», или тех, кто «обнаруживал чрезвычайную гибкость приспособления и которые не были до конца непримиримыми к немцам» (693). Но говорит он о них отстраненно, поскольку понимает: каждый выбирает свою дорогу в жизни; автор никого не судит, он часто не даёт никакой своей эмоциональной оценки описываемым событиям или людям — всё это оставлено на суд читателя, более эмоционального и готового в горячности сразу вынести приговор. Автор много мудрее!

Касается Газданов и очень тонкой и болезненной проблемы — сложностей в отношениях между русскими эмигрантами и советскими партизанами на территории Франции. Для советских они — «другие люди, с иным прошлым, с иной психологией» (693), о русских эмигрантах у большинства советских было «представление столь же смутное, сколь отрицательное. И всё-таки что-то тянуло к ним. «Русские же, чёрт возьми, люди» (694).

Да, не все русские эмигранты были такими, как Алексей Петрович, хозяин продуктовой лавки, «человек исключительный», «с полудетскими глазами на лице сорокалетнего мужчины», который «о возможности отрицательных целей и о возможности с ними встретиться знал только теоретически» (694). Историками отмечено, что только ничтожная доля русских эмигрантов сотрудничала с фашистами против Советского Союза. За что боролось подавляющее большинство русских эмигрантов, пришедших в Сопротивление, выразил Алексей Петрович: «...в данный момент речь идёт о защите нашей родины от немцев. Какая она — коммунистическая или некоммунистическая, — на обсуждение этого вопроса мы времени сейчас терять не можем. <...> В меру моих сил я помогаю делу защиты родины и, что бы ни случилось, буду это продолжать. И что, в конце концов, значит моя личная судьба, по сравнению с той огромной опасностью, которой подвергаются двести миллионов населения моей страны?» (969). Это же мнение, несомненно, и у самого писателя.

Газданов не возвышает и не принижает человеческую личность во время сложных испытаний смертью: он объективно относится к поведению людей в критическую минуту. Были, как уже говорилось, «сознательные негодяи», кто откровенно выдавал партизан фашистам, как это сделала соседка Василия Порики. Были и такие, которые отворачивались, делая вид, что не замечают знакомого человека, идущего под конвоем фашистов. Но все же большинство было таких, как переводчица в парижском гестапо, испытывавшая к арестованным «непередаваемо человеческое чувство» и действительно оказывавшая посильную помощь.

В мученической смерти советских партизан Газданов сумел увидеть «беглый отблеск той неудержимой и неумирающей силы, которая создала его родину и остановила, как стена, в течение долгой её истории, все волны иностранных нашествий» (691).

Сущность человека — понятие сложное, психологи часто утверждают, что мы чаще

встречаемся со своими представлениями о том или ином человеке, нежели с самим человеком, спрятанным от всего мира за частокोल внешних примет, среди которых могут быть манеры, поведение, речь. А определить понятие *героизм человека* ещё сложнее. Думается, поэтому Газданов, склонный сомневаться в том, существует ли в действительности одна целостная, единая сущность человека, или же человек являет собой некую сумму тех представлений, что имеют о нем другие, тех масок, под которыми он являет себя в разных ситуациях и жизненных обстоятельствах, как мастер публицистики показывает *истинное* лицо героя с помощью категории поступка, по определению М. Бахтина – «участно-действенным переживанием конкретной единственности мира» [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: «Вечер у Клэр», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды», «Ночные дороги» и др.

2. См.: Л. Сыроватко, Ст. Никоненко, Л. Диенеш. Комментарии: На французской земле // Газданов Г. И. Собр. соч. в 3-х т. Т. 3. – М., 1999. – С. 839.

3. Диенеш Ласло. Русская литература в изгнании: Жизнь и творчество Гайто Газданова / Пер. с англ. Т. Салбиев. – Владикавказ, 1995.

4. Газданов Г. На французской земле // Газданов Г.И. Собр. соч. в 3-х т. Т. 3. – М., 1999. – С. 667. Далее при цитировании произведения в круглых скобках будут указаны страницы по данному изданию.

5. Газданов Г. Пилигримы // Газданов Г.И. Собр. соч. в 3-х т. Т. 2. – М., 1999. – С. 404.

6. Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. 1984-1985. – М., 1986. – С. 112.

В ПОИСКАХ СИНТЕЗА: ПОЭТИКА И ГЕНЕЗИС ИСТОРИОСОФСКОГО РОМАНА Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО

Мережковский-романист не имеет в отечественном культурном сознании репутации «образцового» художника. Ни одно из его произведений не является признанной классикой жанра: ни пользовавшийся огромной популярностью у читателей XX века роман о Леонардо да Винчи; ни повествование о Петре и Алексее, побудившее к творческому спору целую плеяду писателей — от А. Белого до А. Толстого; ни романы об Александре I и декабристах, открывающие новые грани духовной ситуации первой четверти XIX века.

Писатель, стремившийся к диалогу с современниками, надеявшийся на понимание потомков, не был «услышан» ни теми, ни другими: «В России меня не любили и бранили; за границей меня любили и хвалили; но и здесь и там одинаково не понимали *моего*» (выделено автором. — Т.Д.) [1], — сетовал он в предисловии к 24-х — томному собранию сочинений (1914). «Возвращение» наследия Д. С. Мережковского в отечественную культуру, произошедшее на исходе XX столетия, не изменило ситуации. Автор трилогий «Христос и Антихрист» (1896–1905), «Царство Зверя» (1908–1918), романов «Тутанкамон на Крите» (1925), «Мессия» (1928) [2] и др. сохранил статус «иностранца», говорящего на непонятном соотечественникам языке [3]. И дело не только в характере идей, определивших историософскую концепцию писателя, но и в специфике его художественного мышления.

Создатель исторического романа нового типа, Мережковский-романист не укладывается в рамки одного эстетического направления, не следует рецептам «готового» жанра. Стоящий у истоков религиозно-философских и художественных исканий XX века, воодушевленный идеей нового синтеза религии, философии, науки и искусства, он устремлен к созданию универсального романного повествования, в котором доминирует авторская философско-историческая концепция.

В эпоху «серебряного века» для нового типа художественно-исторического повествования, сочетающего возможности исторического и философского романов, не было найдено адекватного жанрового определения. В прижизненной критике романы Д. С. Мережковского квалифицировались как исторические, что отвечало практике именования произведений о далеком прошлом, сложившейся еще в первой половине XIX века. В то же время исследователями неизменно отмечалось нарушение писателем основных требований, предъявляемых к данной жанровой разновидности [4]. Основной упрек состоял в подчинении художественно постигаемой истории «внехудожественной» цели: «изложению» религиозно-философской концепции автора [5].

На исходе XX века, продемонстрировавшего многообразие форм взаимопроникновения философии и искусства, интеллектуализацию романного мышления как в отечественной, так и — шире — в европейской практике, произведения Д. С. Мережковского были восприняты как философские. Характерно, что при этом отвергалась возможность их рассмотрения как исторических романов [6].

Таким образом, и для современников и для потомков писателя неприемлемым оказался предложенный им жанровый синтез: сопряжение возможностей философского и исторического романов в едином художественном пространстве. «Коммуникативная неудача» Мережковского, укорененная в жанровой сфере, нуждается в историко-литературном и теоретическом изучении.

Понятие *историософский роман*, введенное в современное отечественное литературоведение Л. А. Колобаевой, может служить инструментом для проникновения в жанровые парадоксы художника-мыслителя, но требует терминологических уточнений. Для нас особый интерес представляют суждения исследователя о «синтетическом» характере

историософского романа. По мнению Л. А. Колобаевой, доминантой художественного мышления Мережковского-романиста является «стремление к всеобъемлющей целостности, к синтезу сознания» [7].

Историософский роман Д. С. Мережковского — результат переосмысления задач литературы в духе идей «жизнетворчества», реализация интегративных устремлений эпохи к взаимопроникновению философии и литературы, литературы и других видов искусства (живописи, театра, музыкальных жанров) на путях создания универсального повествования [8]. Для русских символистов, в том числе для автора трилогий *«Христос и Антихрист»* и *«Царство Зверя»* определяющей являлась «формула синтеза», предложенная В. Соловьевым, — принцип «Всеединства». Важно, что данный принцип мыслился В. Соловьевым как «гармонический синтез» религии, науки и философии и не допускал существования двух противоречащих друг другу истин — художественной и научной [9].

Возникший в условиях кризиса научного историзма, периферийности собственно исторических интересов, доминирования религиозно-философских и культурософских интенций в художественном творчестве, историософский роман не только не отличается чистотой и определенностью жанровых принципов, но, напротив, свидетельствует о стремлении к синтезу антиномичных начал в большой эпической форме. Переступая границы искусства, установленные в реалистическую эпоху, художник предельно расширяет познавательные возможности жанра за счет религиозно-философского и научно-исторического дискурсов. При этом писатель качественно обновляет каждый из компонентов. В произведениях Мережковского предлагается новое видение прошлого, обусловленное характером религиозно-философской концепции автора; меняются объем понятия «история», природа интереса к минувшему, связь времен (изображаемого и изображающего); представление о путях художественно-исторического познания и о способах его романного воплощения.

Парадоксальность данного типа повествования состоит в двойной кодировке реальности — исторической и философской, в сочетании конкретно-исторического и метаисторического способов художественного осмысления изображаемой действительности.

Источником жанровой энергии в историософском романе является *преодоление* «шопенгауэровской коллизии» между историей и философией. Проблеме принципиальных различий между этими сферами человеческого сознания посвящены размышления А. Шопенгауэра во втором томе его главного сочинения «Мир как воля и представление». По мнению ученого, история, имеющая своим предметом только единичное, индивидуальный факт <...> прямая противоположность философии, рассматривающей вещи с самой общей точки зрения и имеющей своим предметом только общее, тождественное в единичном <...> Если история учит нас, что во всякое время происходило нечто иное, то философия стремится помочь нам понять, что во все времена было, есть и будет совершенно одно и то же» [10]. Для историософского романа данная коллизия является жанрообразующей.

Историософский роман не может не быть полиисторическим. Историческая «горизонталь» и метафизическая «вертикаль» моделируют структуру художественного времени, включающего разные типы темпоральности. Преобладание метаисторического или конкретно-исторического начала в произведении определяется философско-исторической концепцией и эстетическими взглядами писателя. При этом в различных текстах одного и того же автора соотношение истории и философии, «реальных» и «модернизирующих» элементов может существенно отличаться.

В произведениях Д. С. Мережковского возникает острый конфликт между жанровыми составляющими историософского романа. Писатель, предлагающий свою религиозно-философскую концепцию смысла истории, не хочет жертвовать полнотой изображения реальности, подробно воссоздает образ прошлого через событийные, бытовые,

культурно-исторические детали.

Историософский роман как воплощение синтетических устремлений эпохи конца XIX — начала XX веков, как поле взаимодействия разных типов творчества (дискурсов мысли и искусства) — новаторская форма романного жанра. В то же время состоявшаяся в его идейно-эстетическом пространстве встреча писателя, историка и философа глубоко укоренена в национальной традиции.

Тесный союз литературы и искусства с философией, отсутствие четких границ между художественными и нехудожественными жанрами — одна из характерных черт отечественной культуры древнерусского и средневекового периодов. Для нас принципиально важно, что именно в эпоху «серебряного века» возникло понимание, что русская литература создавалась художниками-мыслителями, что синтетичность национальной культуры противится «специализации» — обособлению искусства от других сфер духовной жизни.

В статье «Без божества, без вдохновенья» (1921) А. Блок писал: «Россия — молодая страна, и культура ее — синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть «специалистом». Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте; тем более — прозаик о поэте и поэт о прозаике <...> Так же, как неотлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Все они образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры» [11]. И далее А. Блок еще раз подчеркивает мысль о том, что в России «<...> литература имеет свои традиции <...> она тесно связана с общественностью, с философией, с публицистикой <...>» [12]. Этот изначальный синкретизм в значительной мере обусловил последующее развитие как художественной, так и профессиональной историософии.

Вопросы генезиса историософского романа относятся к числу наименее исследованных в современном литературоведении. На наш взгляд, созданный Мережковским тип повествования восходит к таким различным источникам, как европейская романтическая и отечественная реалистическая традиции романного жанра.

Роман получает развитие в творчестве писателя в том его векторе, который был эстетически оторефлексирован немецкими романтиками. С точки зрения теоретиков романтизма, роман, «взятый в высшем смысле», «должен быть зеркалом общего хода человеческих дел и жизни, а потому не может быть частной картиной нравов, в которой мы никогда не выйдем за пределы узкого горизонта социальных отношений хотя бы крупнейшего города или за пределы одного народа с ограниченностью его быта, не говоря уже о бесконечном ряде худших ступеней с еще более низким уровнем отношений» [13].

Для романтической эстетики свойственно наделение романа статусом универсального повествования: представление о романе как жанре, которому присущ «дух всеобщего» [14]. «Воскрешая» романтический идеал романного жанра, Д. С. Мережковский создает масштабные повествования, в центре которых не судьба человека, а духовные искания человечества. В творчестве писателя роман становится, если воспользоваться словами Ф. Шеллинга, «зеркалом мира и <...> своего века и, таким образом, частной мифологией» [15].

Идеи, не получившие всей полноты реализации в художественной практике романтизма, воплощаются на новом витке художественного развития в неоромантическом по своей природе творчестве писателя-символиста. Заметим, что наследование идет не по прямой: «возвращение» к романтическому идеалу происходит через осмысление опыта ближайшей (реалистической) романной традиции.

Ориентируясь на субстанциальные начала романного мышления в его романтической интерпретации, писатель преодолевает характерные для ближайшей литературной традиции представления о романе как повествовании о «частном человеке», нарушает установленные границы между искусством и философско-религиозной мыслью, между

историческим и философским дискурсами. И более того, в духе символистских представлений о теургическом творчестве, он выходит за пределы литературы (выход в проповедь, зафиксированный А. Белым [16]). «В безмерном превышении сил» он стремится к пересозданию основ реалистического универсального повествования. В историософском романе Д. С. Мережковского не бытие с его богатством возможностей определяет широту и всеобщность, а мысль автора, его сознание, вбирающее мировую жизнь не только в ее прошлом, настоящем, но и в Божественном замысле.

Показательно, что историософский роман, при всей его новизне как типа исторического повествования, не является формой отказа от ближайшего опыта отечественной культуры, напротив, итогом осознанного наследования ее идей и форм, в особенности мотивов, образов, повествовательных приемов русского романа XIX века, увиденного в новой перспективе с позиции своего времени.

В сознании русских читателей, критиков, литературоведов XX века непревзойденными вершинами русской литературы XIX века являются роман-эпопея Л. Н. Толстого и полифонический роман Ф. М. Достоевского. Показательно, что художественные миры этих авторов на протяжении всего завершившегося столетия рассматривались как два «образца для подражания», два варианта развития русской литературы. Причем многими писателями, критиками, историками и теоретиками литературы «путь Достоевского» и «путь Толстого» оценивались как альтернативные.

Д. С. Мережковскому — создателю историософского романа — принадлежит, как нам представляется, первый опыт художественного «примирения» двух типов романного повествования, вбирающего историческую «горизонталь» и духовную «вертикаль», по-толстовски пластического и по-достоевски метафизического. В каждом произведении писатель ищет свои способы интеграции данных повествовательных принципов. На жанровом уровне происходит, на наш взгляд, процесс их специфического «скрещивания».

С точки зрения жанровой доминанты предтечей историософского романа XX века является «Война и мир» Л. Н. Толстого. Автору данного романа принадлежит первый в русской классической литературе опыт включения историософского дискурса в историческое повествование и столь созвучные художественно-философским исканиям первой трети XX века суждения о значении философско-исторической мысли в исторической науке. Продолжая в 1870-е гг. полемику с историками, начатую в эпилоге «Войны и мира», он включает в набросок, посвященный закону прогресса, спор некоего Николая Николаевича с «профессором истории из Москвы». Набросок завершается высказыванием Николая Николаевича об исторической науке: «Забавно то, что в истории только и интересна философская мысль истории. То есть закон, по которому она живет, который они нашли в истории. Что мне за дело, кого завоевал Аннибал или какие у Людовика XIV были любовницы. Мне интересен закон, то есть что из этого выходит <... > Главный интерес состоит в ее (истории. — Т. Д.) философском значении, то есть мне хочется знать, какие истины доказывает история, что же выходит из того, что были Пунические и такие-то войны, и такие-то законы» [17].

Как видим, уже Л. Н. Толстым была осознана потребность времени в философско-историческом постижении прошлого. Но прокладывая новые пути в историческом романе, автор «Войны и мира» после завершения произведения не был уверен в правомерности включения философско-исторических фрагментов в текст. Его колебания проявились в том, «что в новом издании (1873) он частью вынул их совсем, частью перенес в «приложение», признав тем самым их несвязанность с художественным материалом» [18]. Д. С. Мережковский-романист начинает там, где остановился его великий предшественник. При этом ракурс восприятия истории автором и тип героя, для которого религиозная жажда является источником «страстных, жгучих мыслей», несомненно, отсылают к опыту Ф. М. Достоевского. По мнению Мережковского, эти мысли «входят не только в

ум, но и в сердце, волю нашу, в действительную жизнь, как новые, может быть, роковые события, которые должны иметь последствия» [19].

Таким образом, и генетически и структурно историософский роман является «соединением несоединимого» — истории и философии, реалистического и романтического “проектов” романного жанра, новаторским повествованием и продолжением многовековой традиции русской культуры, ее “открытости” к синтезу таких форм познания, как искусство, умозрение, проповедь.

Подведем некоторые итоги.

В русской литературе конца XIX — начала XX вв. возникает своеобразное жанровое явление — историософский роман, который наряду с поэзией, с одной стороны, и философскими теоретическими сочинениями — с другой, стал формой выражения определенного взгляда на мир. Его специфика состоит в сосредоточенности автора-повествователя на вопросах смысла истории, пути России, ее будущего, постигаемых в векторе конечных судеб человечества. Это был ответ художественно-философской мысли, развивавшейся в русле эстетики и поэтики символизма, на утрату современным человеком и — шире — человечеством метафизического плана бытия. Реакцией на смысловое зияние, с трагической очевидностью обнаружившееся в мире без Бога, явился не отказ от “вечных истин”, не утверждение их относительности, а поиски новых связей с христианством, понятым как “вечно растущая истина” (Д. С. Мережковский).

Являясь тематической разновидностью романного жанра, историософский роман в силу своего «пограничного» характера представляет определенные трудности для литературоведческого исследования.

Во-первых, в историософском романе происходит нарушение «внешних» границ романного жанра — между литературой и философией, литературой и историей. Активное вторжение нехудожественных дискурсов (риторического и научного) в романную структуру приводит к ее «идеологизации» и «историзации». Квалификация данных процессов в русле жанрового мышления — одно из условий литературоведческого анализа.

Во-вторых, «гибридный» характер данной жанровой разновидности, обеспечивающий встречу в едином художественном пространстве исторического и философского дискурсов, приводит к острейшему конфликту. На наш взгляд, преодоление данной коллизии эстетическими средствами является основным источником жанровой энергии историософского романа.

В-третьих, специфика историософского дискурса определяет характер экзистенциальной проблематики, осваиваемой романом. Религиозно-философская парадигма, в которой ведутся поиски смысла истории, требует соответствующего осмысления. Возникает необходимость сочетания аксиологических и эстетических подходов в процессе анализа при доминировании последних.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мережковский Д.С. Полн. собр. соч.: В 24 тт. — М., 1914. — Т. XIV. — С. 166.

2. Даты даются по первым отдельным изданиям произведений.

3. В. Розанов в статье «Среди иноязычных (Д. С. Мережковский)» (1903) сравнивает положение писателя среди его современников с судьбой некоего англичанина, замерзшего на улицах Петербурга из-за незнания русского языка. См.: Розанов В. Среди иноязычных (Д. С. Мережковский) // Мережковский: pro et contra. — СПб., 2001.

4. Обзор прижизненной критики представлен в ряде современных исследований творчества Д. С. Мережковского. См.: Агеносов В. «При всей огромности дарования нигде не довоплощен» Д. Мережковский в критике и литературоведении // Русская литературная критика начала XX века: современный взгляд. — М., 1991; Дефье О. В. Д. Мережковский: преодоление декаданса (раздумья над романом о Леонардо да Винчи). — М., 1999; Сарычев Я. В. Религия Дмитрия Мережковского. — Липецк, 2001 и др.

5. См., напр.: Долинин А. Дмитрий Мережковский // Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. С. А. Венгерова. — М., 1914. — Т. 1. — С. 296, 295–296.
6. См.: Эткинд Е. Единство «серебряного века» // Эткинд Е. Там, внутри. О русской поэзии XX века. — СПб., 1995.
7. Колобаева Л.А. Мережковский-романист // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. — Т. 50. — 1991. — № 5. — С. 445.
8. Жанровые искания Мережковского — одна из форм выражения центробежных тенденций в искусстве “серебряного века”, в общеэстетическом плане отрефлексированных Н. А. Бердяевым в конце 1910-х годов: «Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы. Нарушаются грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще от того, что не есть уже искусство, что выше или ниже его. Никогда еще так остро не стояла проблема отношения искусства и жизни, творчества и бытия <...> Человек последнего творческого дня хочет сотворить еще никогда не бывшее и в творческом исступлении переступает все пределы и все границы” (Бердяев Н. Кризис искусства // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 тт. — М., 1994. — Т. 2. — С. 400).
9. Подробнее см.: Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. — М., 1992.
10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. — М., 1993. — Т. П. — С. 462.
11. Блок А. Собрание сочинений: В 6 тт. — М., 1971. — Т. 5. — С. 531.
12. Там же. — С. 533.
13. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. — С. 385.
14. «Каждый роман должен приютить в себе дух всеобщего», — писал Жан-Поль // Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 257.
15. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. — М., 1966. — С. 382.
16. «Мережковский — весь искра, весь — огонь: но направление, в котором он идет, за пределами литературы; литература все еще форма. А Мережковский хочет не искусства; он предъявляет к ней требования, которые она, как форма, не может выполнить. Литература должна быть действительно религиозна, а единственная форма действительности — проповедь» (Белый А. Символизм как миропонимание. — М., 1994. — С. 360).
17. Толстой Л. Н. Полн. Собр. Соч. (Юбилейное издание). — М., 1953. — Т. 17. — С. 139–140.
18. Эйхенбаум Б. Лев Толстой: Семидесятые годы. — Л., 1974. — С. 111.
19. Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. — М., 1995. — С. 112.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО А.К. ТОЛСТОГО (К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗИИ РЕАЛИЗМА ПОЭТА)

Идеал-реализм — это христианский реализм, реализм духа [1]. Идеал-реалисты отечественной словесности — это реалисты духа, реалисты жизни, *реалисты веры* [2]. Это те творческие люди (поэты, писатели, музыканты, художники), которые выстрадали критерий духовной истины, добыли его своим пламенным сердцем и разумом, своим творческим служением Истине.

Нет спора, тот “идеал-реализм”, который стремилась осуществить русская классическая литература, в совершенстве осуществлен и собран “в бесценную сокровищницу соборного церковного опыта... Здесь веками собирались несметные духовные богатства: сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, бесчисленные слезы самых чистых сердец... бездонно-глубокие прозрения в вечность, благоуханные молитвы, благоговение и любовь... силой которой человек и поднимается ввысь, к *Самому Богу*, чтобы увидеть то, чего не может увидеть глаз; что не слышно уху, что приготовил Бог лишь любящим Его [1 Кор., 2, 9], и проникает также в последние глубины здешней жизни, чтобы найти и увидеть *всю правду и весь ее смысл*, а не только их часть” [3].

Вышесказанное, однако, нисколько не умаляет *идеал-реалистических* исканий, прозрений классиков отечественной словесности, преодолевающих “ограниченный *рациональный* смысл слова и звука”, выражающих “то, что невыразимо в отвлеченно-логической форме мышления... что открывается поэту, музыканту и художнику не в рациональном, а в сверх-рациональном, духовном опыте, где действительность сама *открывает* себя и *присутствует* не частично, но в полноте, в которой природное или естественное встречается... со сверх-природным или сверх-естественным” [4]. В этом опыте «...открывает Себя и присутствует Бог» [5].

Вот эта устремленность А. К. Толстого к высшему свету знания (к знанию-откровению), к вечному благу, к Истине, пневматологическое, а не психологическое измерение его жизнедеятельности, взаимное проникновение в его творчестве идеализма и реализма, соединение правды с красотой и составляет суть его творческого метода, способствующего формированию в душах юных читателей чувства прекрасного, без которого, по слову Достоевского, их нельзя пускать в путь.

Нежелание иных понять явление *идеал-реализма* отечественной культуры (в частности, А. К. Толстого) есть, на самом деле, следствие органического неприятия его, отталкивание от него тех, кто не хочет обосновать жизнь, находящую отражение в его творчестве (со всеми ее составляющими: живая душа человеческая, родина, отечество, народ, дружба, семья, природа...), духовно, перед лицом Божиим, перед лицом Русского Православия; используя богоданные художественные дары жизни бездарно, безжертвенно: идеологически, политически, экономически, опираясь на некие абстрактные общечеловеческие ценности, на реализм плоти; не только не прилагая никаких усилий к попытке разрешения стоящих перед каждым человеком, перед всем человечеством проблем, но насаждая новые.

Между тем в России всегда были и есть таланты, исходящие «из *органического* миропонимания, именно из *конкретного идеал-реализма*», [6] имеющие дар вкладывать в свое творчество соль “потусторонности”, утверждающие “дух и свет Христов как реальность, как практику”, зовущие “за правду небесную среди неправды человеческой” [7], за то, что (как писал А. К. Толстой) не зависит “ни от века, ни от моды, ни от веяния...”.

Понятие *идеал-реализма* подхвачено было вслед за философом Н. О. Лосским замечательным мастером слова Владыкой Иоанном (Шаховским) в его статье о лирике А. К. Толстого. «Отвлеченный идеализм, — писал он, — более не годится. И русская мысль...

пришла ныне к конкретному “идеал-реализму”, вкореняясь в исповедание Бога Живого и Слова Его...» [8].

Владыка считал, что “при блеске первых зарниц русского духовного восстановления” должна произойти переоценка или дооценка лучших сынов России... должно совершиться понимание их высокого “предназначенья, их пути к божественным пределам” [9].

* * *

Будучи натурой цельной, всецело предавшейся своему Творцу, Толстой вызвал множество противоречивых суждений как среди недругов из чуждых станов, так и среди доброжелателей своего творчества. Но поэт твердо шел раз и навсегда избранной дорогой. Оттолкнувшись от духовных завоеваний лучших писателей первой половины века, не приняв на духу эстетической программы демократов-шестидесятников, он утвердил в русской литературе новый реализм, основание которому положили Жуковский, Пушкин, Лермонтов, а продолжил вслед за Толстым великий князь Константин Романов (К.Р.).

В. Соловьев (также относившийся к этому направлению) назвал тип художественного мышления Толстого «христианским платонизмом» [10], как и современный поэт и литературовед [11].

Самого же поэта владыка Иоанн назвал «человеком нового духа, ибо духа воскресного». Поэт в разных вариациях свидетельствовал, что религиозное чувство органически присуще человеческой природе, так что его «никакому Бюхнеру в мире не удастся *wegsophisteln*» [12]. Это не безосновательная, мечтательная идеализация будущего, не откладывание осуществления настоящей жизни в неопределенную даль, а активное осмысление будущей жизни, зависящей от нашего духовного выбора, нашей веры в высшую жизнь, наших надежд на «новое небо и новую землю», от внутренней энергии нашей воли и действенного соучастия каждого в осуществлении будущего. В соучастии этом «человеку принадлежит только работа по уготовлению почвы, произрастание же совершается самим Богом» [1 Кор., 3, 6-7].

В наши дни великих катастроф озаренное светом Истины дело поэта, выбравшего своею целью служение высшему и абсолютному благу, обретает особо насыщенный духовный смысл.

Чуткая душа поэта, томившаяся в среде безблагодатного просветительства, была свободна от иллюзий всечеловеческого счастья, от идеи построения земного царства добра и правды. Самоочевидная истина постигаема не эмпирическим знанием, а знанием сердца. Поэт был устремлен к духовному видению, к утверждению высшей правды, которую зрело его сердце вопреки низшей очевидности революционных энтузиастов, пытавшихся вытеснить из жизни духовные начала, переделать ее по своему образу и подобию, забыв об Отечестве Небесном, которое «не от мира сего» [Ин., 18, 36].

Каким образом обретал поэт в себе реальность высшего порядка? — напрягая внутреннее зрение и слух, чтобы уловить вечно носящиеся над землей «созвучья, слово»; через постоянное творческое усилие и самодисциплину погружаясь в глубины своего бытия; упрочивая в себе силы добра и правды через служение Истине; пересекая живым творческим потоком всемертвящее течение рассудочных идей своего времени и борясь со всеми эмпирическими силами, препятствующими его жизни во Христе и со Христом.

Связанный силами земной необходимости, механическими законами света (происхождением, родством, близостью ко двору, служебными обязанностями, подчинением требованиям придворного этикета и проч.), Толстой неуклонно стремился приобщиться к божественной жизни, ею одною заполнить свое существование и ею одною быть связанным. Стремясь соучаствовать в вечной жизни, он искал цельности, душевного упокоения, жизненной полноты, удовлетворения в службе, в любви, в семье, в творчестве.

* Изгнать с помощью софизмов (нем.).

Его взор всегда был устремлен на духовное бытие, на искание высшего благобытия, что и составляло конкретную реальность его жизни и творчества.

Поэт остро чувствовал «то, что есть», и тем паче любил искусство, «которое есть ступень к лучшему миру». Поэтому неустанные искания, усилия и привели-таки его к желанной высокой цели.

Верными помощниками в осуществлении ее (кроме уже оговоренного) были: «симфония его человеческого сознания, силы надежды и силы любви, иной, чем любовь плотская, классовая или националистическая» [13]; умение «прислушиваться к внутреннему прибору своей души» (по слову о. Павла Флоренского) и к внутренней душевной тишине; врожденная способность самоотвержения при сильно развитом личностном чувстве; постоянное стремление к совершенству, к тому, чтобы быть лучше; строгая взыскательность к себе, стремление «не говорить ничего лишнего, но и не пропускать ничего необходимого»; то, что писал он «запоем... вкладывая всю свою душу», и одновременно главную заслугу художника видел «не в том, чтобы создавать, а в том, чтобы... вычеркивать... до тех пор, пока не сделаешь что-нибудь *ebenburtig*^{*} тому, что по душе и совести считаешь хорошим»; хроническое желание освободиться от служебной должности, к коей не чувствовал призвания; тяготение к соединению в одно целое отдельных сюжетных отрезков своей жизни и своих творений; свойственное поэту чувство пластической красоты; его замечательный юмор («я шутливый поэт»), «снимавший» с окружающего покров скучной безблагодатной серьезности и т. д. [14].

Таким образом, как видим, самой жизнью своею он являл ее высший смысл. Поэтому его духовная глубина и творческие извлечения из нее оказались универсальными — всеобщими и всенужными. Другое дело, насколько это было осознано его современниками и следующими поколениями, насколько смогли они приобщиться этим глубинам.

Неустанным подчинением верховному закону любви, «стремленьем тайным к заоблачной отчизне» объясняется своеобразие поэтической системы Толстого и прежде всего — пневматологическое ее измерение.

Далее следует обратить внимание на такую устойчивую особенность толстовской поэтики, как постоянное обыгрывание понятий «линия» и «колорит». В этой художественной паре одно немыслимо без другого, подобно тому, как творческая центроостремительность предполагает и центр накопления духовных устремлений поэта («колорит без линии не может быть допущен: линия — главное дело во всех искусствах» [15]; умение двумя-тремя чертами обозначить главное; нравственный анализ исторических событий в драмах; постоянное обращение к фольклору; умышленная неточность народных, а также исторических песен; стилизация образов былинных героев в романтическом духе, дабы подчеркнуть лучшие черты и потенциальные возможности русского народа и увлечь тем своих современников; вытеснение в былинах и балладах эпического и привнесение лиро-драматического начала (драматизм сближал с настоящим, с преходящим, но бесценным временем, ибо через него обреталось вечное, непреходящее. А лиризм поднимал драматический быт настоящего до уровня бессмертного бытия).

Тонкое сопряжение всех этих и ранее упоминаемых поэтических особенностей и обеспечило рельефность, стереоскопичность толстовского мировидения, художественное его слововоплощение, взаимное проникновение идеализма и реализма, соединение правды с красотой.

Сердцевина же такого мировидения — «Крест — символ любви священной», по слову Пушкина. Приятие креста и мужественное несение его и способствовало действительно-жизненному преодолению бессмысленного (без Бога) бытия, достижению истинной жизни, определению искусства, которому посвятил жизнь, как «высшей красоты и высшей правды» [16].

^{*} соответственно (нем.)

Поэт считал, что полная и голая правда является предметом науки, но не искусства. Искусство же, не противореча правде, должно брать от каждого явления только его типические черты, отбрасывая все несущественное, случайное, возводить единичное в тип или идею, то есть идеализировать его и тем придавать ему красоту и значение. Реалистическая правдоподобность условна. Поэт должен проникнуться идеей, им представляемой, и постоянно держаться на ее высоте, имея в виду идеальную, а не реальную (наличную, обыденную) правду. Духовная жизнь реальнее обыденной, есть высшая реальность. Этот закон, замечает Толстой, впервые был найден Аристотелем, его придерживались все великие критики нашего времени (Лессинг, Гете...). Ему следует и он, считая, что в искусстве не должно быть русских начал, европейских начал, а есть начала абсолютные, общие, вечные.

Действительно, временно подавленные, но не упраздненные идеалистические чувства до последнего дыхания волнуют героев его стихов, баллад, притч, драм. В их душах борются Бог с дьяволом. И правдой этой борьбы, ее исходом всего более и обеспокоен автор. Именно этой правде подчиняет он все средства художественной изобразительности — дабы не раздробить эту всеобщую и извечную Правду на мелкие частные кривые правды.

Он знал: «Только на путях Божьего Закона и Благодати, на путях правды, чистоты и любви спасаются, истинно единятся и находят себя и свое благо люди. Если не начнет поведением людей двигать эта абсолютная ценность Божьего Закона, ничто не удержит человечество от гибели...» [17].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Избранное. — Петрозаводск. 1992. — С. 188.
2. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). История русской интеллигенции (Революция Толстого). — М., 2003. — С. 470.
3. Шпиллер Всеволод, протоиерей. СЛОВО КРЕСТНОЕ: Беседы, прочитанные во время пассивности в Николо-Кузнецком храме в Москве. — М., 1993. — С. 93.
4. Там же. — С. 92.
5. Там же. — С. 93.
6. Лосский Н. О. Избранное. — М., 1991. — С. 525.
7. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Избранное. — Указ. изд. — С. 182-183.
8. Там же. — С. 188.
9. Там же.
10. Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. — М., 1991. — С. 494.
11. Ильинский С. Лирический аспект творчества А. К. Толстого // Записки русской академической группы в США. — Нью-Йорк. 1976. Т. 10. — С. 9.
12. Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 тт. / Вступ. ст. и примеч. И. Ямпольского. Т. 4. — М., 1963.
13. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Избранное. — С. 26.
14. Толстой А. К. Указ. соч. — См: С. 60, 215, 288, 91, 426.
15. Там же. — См.: С. 268, 287.
16. Там же. — С. 510.
17. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Избранное. — С. 470.

ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБОБЩЕНИЙ В ПОВЕСТИ В. Г. РАСПУТИНА «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ»

Поэтике художественных обобщений в повести В. Г. Распутина подчинены психологические характеристики героев, система образов-символов, характер конфликта, пейзажные зарисовки, массовые сцены, специфика поэтического пространства и времени, аллюзии, ассоциативные связи. Остров Матера в повести предстает миром локализованным и одновременно самодостаточным и универсальным: «<...> Имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре — всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому ли и называлась громким именем Матера?» [1].

Пространство острова строится в соответствии с жанровыми законами идиллического повествования, в котором «жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки» [2]. Идиллии свойственна «органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту — к родной стране со всеми ее уголками, к родным горам, родному долу, родным полям, реке и лесу, к родному дому» [2, 158]. Жители Матеры, не мыслят себя без родной деревни, где все казалось прочным, вечным: «Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, <...> возле которой извечно кормились» [1, 2, 173]. Здесь такая летом «наступала кругом благодать, что ни во что не верилось — ни в переезд, ни в затопление» [1, 2, 176]. В отличие от античной идиллии, в описании Матёры с самого начала повествования обозначается христианский мотив благодати, который встречается затем в повести неоднократно. Признаками райской страны обладает эта благословенная земля.

Географическое пространство острова описывается высоким библейским стилем. Сакральным центром распутинской модели мира, его вертикалью, обеспечивающей его космичность, является мировое древо — Листвень. Мировое древо — мифопоэтический образ, его появление в художественном пространстве Распутина закономерно, поскольку в нем заметны следы фольклора, мифологии. «Мировое древо помещается в сакральном месте мира <...>. Оно является доминантой, определяющей формальную и содержательную организацию вселенского пространства» [3]. У Распутина прошлое, настоящее и будущее взаимоскреплены, как связаны между собой поколения в течение всех трёх веков островной истории. Мировое древо, «гарантирующее целостный взгляд на мир», подчеркивает целостную структуру бытия в повести.

Время в повести совмещает диахронный и синхронный аспекты. В диахронном аспекте предстает прошлое — идеальное время и пространство. Первый поселенец, выбравший Матеру на жительство, верно рассудил, «<...> что лучше этой земли ему не сыскать» [1, 2, 172], богатый купец завещал похоронить себя здесь: «до того она ему приглянулась» [1, 2, 195], что поставил он на острове церковь Христову. «И как нет, казалось, конца и краю бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов <...>» [1, 2, 172].

Присущее идиллическому повествованию единство места «ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же жизни» [2, 160]. Задумываясь о новом поселке, Дарья размышляет: «Тут все знакомо, обжито, проторено, тут даже смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто <...>, там — полная тьма что на этом, что на том свете» [1, 2, 209]. Повесть начинается рефреном: «И опять...», подчеркивающим повторяемость периодов: наступи-

ла весна, ледоход, прошли первые дожди, сев, затем — осень, уборочная и т. д. Цикличное время Матеры соответствует цикличности времени идиллии.

Однако хронотоп в повести организован сложнее. Павел, приезжая на Матеру из нового поселка, «всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается за ним время: будто не было никакого нового поселка <...>» [1, 2, 233]. Время остановленное — это время вечности, оно противоположно историческому времени. Главная героиня имеет свое пространственно-временное измерение. «Вещим словом», способностью «видеть на память» она «раздвигает» в прошлое время и пространство: «Но видела Дарья и то, что было за лесом, — поля с высокими осиновыми переборами, покатым сырой правый берег <...>» [1, 2, 201], а затем ее взгляд углубляется в прошлое: «Видела Дарья на память и дальше <...>. Этот луг и облюбовала издавна молодежь...» [1, 2, 201]. Дарье дано проникнуть в инобытие: «Она прикрыла глаза <...> и, покачиваясь <...>, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько объявилась: «Это я, тятка. Это я, мамка» [1, 2, 313]. Героиня ощущает себя жительницей прежнего мира, хорошо знакомого ей, населенного близкими людьми: «Я ваша, я ваша, мне к вам надо...<...>, я вашего веку» [1, 2, 313]. Конкретно-историческое время совмещается с вне-временным, откуда возвращение героини в современную реальность происходит не сразу и без радости: «Но Дарья не захотела воротиться в этот мир...» [1, 2, 313]. В повести последовательно, но неторопливо проводится оценка настоящего с точки зрения вечного.

М. М. Бахтин одним из признаков идиллии называет строгую «ограниченность ее только основными немногочисленными реальностями жизни. Любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье, возрасты — вот эти основные реальности идиллической жизни» [2, 159]. Жизнь и смерть, дом и кладбище, земля и река, работа и песни, природная красота, семья, дети — вот чем жили испокон веку обитатели Матёры. Всё здесь заключает глубокий смысл, заслужено ежедневным трудом, верностью человеческому предназначению. На последний, прощальный, сенокос собрались все, кто когда-то жил в деревне, как на праздник, и «работали с радостью, со страстью» [1, 2, 247]. Земля, которую много веков возделывали, с которой связаны благополучие семьи и сама жизнь, стала для матёринцев родной и их всех роднила между собой: «Нас с землей-то первым делом оне, труды, роднят» [1, 2, 269]. Как никогда чувствовали люди свое родство в последнее лето перед затоплением, тянулись друг к другу, выходили на улицу и собирались вместе.

В поле зрения художника уклад русской крестьянской жизни весь целиком, с его бытом, традициями, формами духовных проявлений, которые включают исконную, дохристианскую и православную обрядность. Распутин писал: «Быт — справа жизни, ее оформление, обрядность, размеренный переход из будничности в праздничность и более таинственный родовой переход: жизнь-невеста, жизнь-жена, жизнь-мать, жизнь-вечность» [4]. Смерть воспринималась не только как печальное событие, но и зиждительное одновременно. Только на пороге приобщения к вечности открывается человеку тайна его пребывания на земле: «Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засекает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания» [1, 2, 263].

В. Г. Распутин особенно интересуется всеобщая связь человека и природного мира. Писатель рассматривает взаимодействие людей и природы в сезонных работах. Еще раз «всплеснулась» «прежняя жизнь» в Матере, когда люди приехали на сенокос. Вновь на острове зазвучали звонкие голоса, заржали кони, «застучало-забренчало» покосное снаряжение. Люди жили от сева до уборки урожая, неспешно готовясь к каждой страде, рыбачили, выполняли домашнюю работу, не забывая о душе. Так размеренно протекала жизнь многие годы. В этой земледельчески-трудовой идиллии акцентирован автором почвеннический аспект: «Пышно, богато было на материнской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в

эту пору, поправлять, окрест гляючи, душу <...>, поднимать до страдованья подступающую день ото дня работу...» [1, 2, 218]. Почва здесь, прежде всего, духовная основа людей, их укорененность в национальной традиции. Герои чувствуют и сознают себя хозяевами земли. Дед Егор, защищая кладбище от разорения, произносит: «А я родился в Матере. И отец мой родился в Матере. Я тутака хозяин» [1, 2, 187].

Мир Распутина имеет прочные основы, мотив святости сопровождает его изображение. Как проявление Божественного начала подчеркивается «радостное нетерпение», разлитое в природе. После многодневного дождя «продравшееся сквозь тучи солнце» выкатилось на узкую полосу: «К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей, снизывая, волна за волной, щедрую, чистую краску. В него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в глубоких нырках от счастья, что им дано лететь.» [1, 2, 279]. Массовые сцены передают атмосферу идиллического праздника: «<...> работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело» [1, 2, 247]. Машина здесь ощущается как нечто инородное, противоестественное. И сама природа рисуется писателем в благостной гармонии с людьми: «Погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что ни есть *милостивая*» [1, 2, 248].

Вечерний пейзаж в один из последних дней Матеры передает настроение прощания, которое владеет и людьми, и природой: Матера «обмирала», заря «догорала», «еще больше вытягивалась...бездна неба». «Догасал день и догасала <...> жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание, <...>...и чувства человеческие в лад ему тоже сходились в ... ничего не выделяющее ответствение...» [1, 2, 249]. Модель мира в этом произведении Распутина предстает живым организмом с многоуровневой системой: земной, космической, природной. Писатель актуализировал гармоническое устройство бытия, вводя эпизоды сенокоса, чаепития, пейзажи. Хтоническую, «нутрянную» жизнь олицетворяет Хозяин, который «знал всех и знал всё» [1, 2, 210].

Мотивы отдаленности от большого мира, достатка, библейские реминисценции указывают на универсальность данной картины мира. Автор на разных уровнях художественного изображения выявляет трагическую перспективу этого гармоничного бытия. Для матёринцев грядущее затопление выступает как завершение идиллической истории, конец света. Идет прощание с островом, с землей, прощание активное, самозабвенное, с активным участием в жизни природы, в слитности с ней.

Авторская концепция человека отчасти раскрывается в споре Дарьи и Андрея. Отношения между людьми, даже внутри рода, тоже претерпели непоправимые изменения. Спор о человеке ведут «представители» «прежнего» (идиллического) и современного (технократического) мира. Их спор занимает центральное место: от 12-ой до 15-ой главы. В центр повествования выдвинута не только Дарья, но и ее внук Андрей. В. Г. Распутин мобилизует композиционный принцип: противостояние двух полярных героев, важных для воплощения авторской мысли.

Внук Дарьи Андрей представляет современную атеистическую цивилизацию, духовно оскудевшую. Он ищет новой, интересной жизни, стремится уехать из деревни. Для Андрея важно то, что служит прогрессу. Его связи с предками, с родом разорваны: в свой последний приезд на Матеру он не пошел проститься ни с островом, ни с кладбищем. Равнодушно расстается он и с домом. У Андрея свои убеждения, которые не допускают веры: «Человек – царь природы» [1, 2, 266]. «Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней» [1, 2, 252]. Он рвется на стройку, «на передний план». Его увлекают большие масштабы, ценностью кажется то, в чём его убедили современные идеологи: «Там думают обо всех сразу, <...> вы почему-то о себе только думаете...». Важность стройки Андрей объясняет не настоящими причинами, а большим вниманием к ней. «Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все, – поправляет себя Андрей, – так тре-

буется <...>» [1, 2, 257]. А для кого требуется? Все материнцы (кроме «обсевков») затопление воспринимают как горе. Андрей не замечает, что запутался в понятиях. Здесь сталкиваются советский коллективизм, при котором человек как индивидуальность теряет свою ценность, и соборная ответственность. Есть в Андрее и положительные качества: он деятелен, открыт миру. Но в нем отсутствует духовное созерцание мира, и, как следствие, есть непонимание высшего смысла бытия. Духовная ограниченность освобождает в человеке бездумно-деятельную энергию: он спешит уехать из деревни, чтобы «не опоздать» на стройку. Он, внук Дарьи, будет причастен к затоплению Матеры. Его характер укрупнен писателем, потому что герои втянуты «в мировоззренческую антитезу» [5].

Дарья – народный герой-философ. Ее система ценностей ориентирована на идеалы предков, на умерших. Для нее они существуют как бы в одном с ней временном измерении: кладбище для нее – «другая, более богатая деревня» [1, 2, 202], «пристанище старших» [1, 2, 202]. Тема смерти у В. Г. Распутина впитала в себя идеи Н. Ф. Федорова. Н. Ф. Федоров считал смерть торжеством «силы слепой, не нравственной, всеобщее воскрешение будет победою нравственной...» [6]. Для Дарьи ее предки живы духовно, она «воскрешает» их в своей памяти, в любви к ним и в осознании долга перед ними. Она зримо представляет себе умерших, имеющих право требовать: «Она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца. <...> А на острие этого многовекового клина <...> лицом к нему она одна. Она слышит голоса и понимает, о чем они <...> Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды на будущее <...>» [1, 2, 314]. Но самой ей сказать в ответ нечего, ведь на ней прервется единение с прошлым через землю: кладбище уйдет под воду, могила Дарьи окажется в другом месте. Жизнь – процесс непрерываемый, объединяющий этот и тот свет жаждой её укрепления. Дарья подумала: «Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит так» [1, 2, 315]. Дарье дано умение находить в предшествующем и существующем укладе жизни то положительное, на что можно опереться в будущем потомкам. Свое предназначение она видит в исполнении завета отца: «Живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были» [1, 2, 193]. В этих словах запечатлена народная мудрость: человек жив не только для себя, но и для того, чтоб за всех родных оставить след во времени.

Как и многие писатели, В. Г. Распутин в художественной форме осмыслил поглощение прежнего, целесообразно устроенного мира технократической цивилизацией. Уже названия многих произведений современников говорили о пафосе прощания: «Прощай, Гюльсары» Ч. Айтматова, «Последний поклон» В. Астафьева, сборник «Там, вдали» В. Шукшина, «Час шестой» В. Белова, – напоминали о несбывшихся надеждах («Плаха» Ч. Айтматова), «Так хочется жить» В. Астафьева, «Кануны» В. Белова, «Великоресцкая купель» В. Крупина). Разрушение идиллии фиксируется в синхронном аспекте.

В. Г. Распутин создает мир Матеры как космос вещного, «рукотворного» и «самотворного», где все взаимосвязано и взаимообусловлено, целесообразно, наполнено высоким смыслом, а потому гармонично. В доме издавна чтили хозяина, русскую печь и самовар. С их почитания начинались все дела. За столом же главное – самовар, чай в нем получался особенным: «Без самовара все равно не чай. Никакого скусу. Водопой, да и только» [1, 2, 180]. Идиллическому миру противопоставлен окружающий мир, который истолкован как «чужой», отрицательный – это поселок, в который переселяют материнцев. Все здесь нелепо и противоестественно: дома со всеми удобствами, но в два этажа, куда старикам и малым детям не подняться, на огородах и полях – глина и камни, в подпольях вода. Поселок возводился по плану «чужого дяди», не хозяином. Павел чувствует себя не хозяином, а скорее квартирантом: «Дом не твой и хозяином-барином себя в нем не поведешь» [1, 2, 236]. Жизнь здесь основывается не на крестьянском хозяйстве, а на потреблении (из магазина). «Только при этой *облегченности* и себя чувствуешь как-то не

во весь свой вес, без твердости и *надежности* ...» [1, 2, 236]. Не понравится такая жизнь в поселке — уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана. Люди в этом мире разобщены, не ощущают «кровную» связь с родиной, землей, природой.

Возможно ли сохранение идиллического мира в мире большом? Проблема, поставленная в повести, осложняется тем, что носителями идиллического мироощущения являются не все герои. Ощущение гармонии, всеобщей связи вещей, устремленность к вечным ценностям присуще старшему поколению — старухам Дарье, Настасье, Катерине, Симе, Тунгуске, деду Егору и Богодулу, к ним примыкает одна героиня из молодого поколения — Вера Носарева. Кое-кто из молодых, Клавка с Петрухой, «переменам были рады и не скрывали это, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди» [1, 2, 209]. Промежуточную позицию занимает Павел, сын Дарьи. И по возрасту он тоже между стариками и молодежью.

Писатель вводит в повесть полилог, в нем участвуют и старики и молодое поколение. Клавке Стригуновой не терпится уехать, начать «новую жизнь»: «Давно пора скovyрнуть вашу Матеру и по Ангаре отправить <...>. Мне поселок подходит» [1, 2, 265]. Обсევками называет таких земляков Дарья: «Вам что Матера, что холера... Тут не приросли и нигде не прирастете <...>» [2, 265]. Разрушение идиллического мира идет изнутри, и причастны к этому не только молодые.

Легко осваивается в новом поселке Соня, жена Павла. Афанасий Кошкин, сменивший вдруг при переезде фамилию на Коткин, как давно решенное произносит: «Привыкнем» [1, 2, 268]. Павел же, соглашаясь то с матерью, то с Афанасием, терялся, но чувствовал, что в словах Клавки и Андрея есть «сегодняшняя правда» и молодые понимают ее лучше: «На своих двоих, да еще в старой Матере, за сегодняшней жизнью не поспеть» [1, 2, 270]. Вера Носарева, одна из представительниц молодого поколения, как мечту, пытается свести воедино новую и прежнюю жизнь: «Этот поселок да в Матеру бы к нам...» [1, 2, 268]. Понимает и Павел перемены, но не может принять при этом платы за неё. Будет затоплена земля, ухоженная и удобренная веками. Оттого и болит у Павла сердце: «а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы?» [1, 2, 236]. Можно, конечно, жить как живется, но, по Распутину, человек «на том замешен: знать что почем и что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек» [1, 2, 236]. И в этом Павел близок матери. Как никто другой, он отдает себе отчет: «<...> матери здесь не привыкнуть» [1, 2, 238]. Это самая страшная цена за «новую» жизнь.

Дарья всеми силами пытается сохранить свой мир, соблюсти нравственные законы: просит сына накосить сена для коровы, перенести могилы ее родителей, чтобы не прервался род, спасает кладбище от разорения, сторожит избу, сердечно провожает ее и саму Матеру перед затоплением. Но все ее попытки оказываются тщетными: и кладбище разорили, и сенокос не состоялся, и могилы перенести не успели.... Дарья становится безмолвным свидетелем последних часов деревни, запоминая все подробности, провожая дом, кладбище, остров. Ощущение вечного времени дает ей право на «последние вопросы» и предвидения: «Господи, как легко расстается человек с близкими своими. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек?» [1, 2, 287]. И за собой знает такой грех героиня — не часто вспоминает мужа. Ее раздумья приводят к печальному выводу: если не помнит человек о корнях своих, то в чем заключается жизнь? Ее позиция — предстояния и ответственности перед Богом: «Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, — думала она. — С камня не спросится, <...> с человека же спросится. Или ты устал спрашивать? Отчего же твои вопросы не доходят до нас?» [1, 2, 288].

В. Г. Распутин видит невозможность сохранить идиллический мир в стремительном разбеге современности. Катастрофа ожидает течение привычного хода бытия. Единство времени и пространства будет нарушено: «Жутко было представить, что дальше дни пойдут уже без Матеры-деревни. <...> не поднимутся в небо человечесьи глаза <...>. Походят-

походят осенние дни <...> приглядываясь, что случилось <...> И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо» [1, 2, 272]. Так ситуация затопления острова приобретает вселенские масштабы: «Нонче свет пополам переломился» [1, 2, 194]. Конфликт в повести обладает такой особенностью, о которой писал А. Грехнев: «В произведениях классических конфликт, замыкающий на себе волю и помыслы героя, обращен как бы к двум сферам сразу: к среде, к социуму, к современности и одновременно к миру незыблемых ценностей, на которые всегда покушается и быт, и социум, и история» [5, 136]. Это конфликт быта и бытия, духовности и бездуховности, добра и зла, человека и общества.

Последняя глава содержит в себе аллюзии с Апокалипсисом. По мнению А. М. Буланова, диалектическая триада: «жизнь — смерть — жизнь» <...> своеобразно и органично вплетена в повествование» [7]. Характерной особенностью всех повестей В. Г. Распутина А. М. Буланов называет ситуацию смерти: «Все они так или иначе связаны со смертью» [7, 123]. Однако мотив смерти не является доминирующим, как нам кажется. Действительно, в самом начале повести мотив повторяемости времени соединяется с мотивом разрушения, края света: «Как всегда посеяли хлеба — да не на всех полях <...> Все на месте, да *все не так*: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах, и растворились ворота во дворы...» [1, 2, 171]. Критика видела в ситуации затопления Матеры переключку с Всемирным потопом [8]. В финале повести умершими осознают себя старухи, мальчик Коляня и Богодул — последние обитатели острова, укрывающиеся в бараке Богодула, как в Ноевом ковчеге. Умирает и сама одухотворенная природа острова, и его доисторический Хозяин. Однако мотивы земли, воды, чудо-острова позволяют иначе интерпретировать ситуацию затопления.

В диахроническом плане остров изображается как земля обетованная, святая земля. Подробно об этом писала И. Митрофанова [9]. Образ «земли обетованной» перекликается с мотивом чудо-острова, ярче всего запечатленного у восточных славян в заговорах: «На море на океане, на острове на Буяне...» А. Н. Афанасьев в статье об острове Буяне писал: «Чудесный остров матерей или родительниц, т. е. страна вечно юных зародышей», на нем хранятся «семена жизни», это «изначальная земля, рожденная из моря и соотносимая с центром вселенной» [10]. Во всех космогонических мифах вода образует первоначало всего живого, из которого происходит жизнь и в которое она вновь возвращается. В воде происходит крещение. В сказках живая вода возвращает к жизни людей и животных. Живая вода берет начало из глубины земли, из источника жизни и плодородия праматери. Восприятие земли как живого организма сохранилось в традиционных культурах до наших дней. Именно земля представлялась той универсальной праматерью, способной зачинать и рождать «из себя» самостоятельно: «Земля <...> пособница жизни, обращающейся сама на себя бесконечное число раз, чтобы творить эту жизнь из себя самой. Поэтому Земля — вечная мать» [11].

Таким образом, вода в повести символизирует и разрушение, и материнскую заботу. Как нам кажется, последнее значение актуализировано в повести В. Г. Распутина. Затопление Матеры — поглощение/спасение праматерью земель через свое око-реку земли обетованной, где мировая гармония нарушена человеком. Проводив последние избы, перебравшись в барак, Дарья мысленно прощается: «Все: *снялась, улетела* Матера» [1, 2, 331]. Здесь подчеркивается самостоятельность движения Матеры. Движение — признак жизни, а не смерти. Хронотоп встречи подчеркивает разновременное существование современного мира и мира Матеры. Не произошла встреча Павла, отправившегося вместе с Петрухой и председателем сельсовета за старухами, и матери, оставшейся на Матере. Катер не смог обнаружить Матеру. Остров принадлежит вечности. Катер пребывает в конкретно-исторической системе координат: «Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана» [1, 2, 352]. Как град Китеж, скрылась Матера от несправедливой силы до лучших времен. Участь Матеры разделили деревенские праведники — старухи,

ребенок и Богодул — деревенский юродивый. Легенда о граде Китеже повествует: «И сей град Большой Китеж невидим стал и оберегаем рукою Божею, — так под конец века нашего многомятежного и злу достойного покрыл Господь тот град планию своею» [12].

Мотив града Китежа, ассоциативно связанный с мотивом лучших времен, закономерно вызывает обращение к контексту творчества писателя. В рассказе «Байкал предомноу...» (2003) мотив чудо-острова является основным. Автор-повествователь создает образ любимого им Байкала как явление некоего чуда, благодати, спасения: «На то и чудо <...> чтобы от него, как от незакатного солнца, получать тепло и радость, ощущать приток окрыляющего духа <...>» [13, 7]. В водной толще Байкала «переливаясь огнями <...> сиял сказочный город. <...> Долго смотрел я <...> на легендарный град Китеж, он все не исчезал, пляска горящих знаков, снова и снова рисунчато повторяясь, точно добивалась, чтобы я их прочел» [13, 9]. Значимым является тот факт, что град Китеж возникает из вод Байкала, так как именно Байкал, по мнению автора, хранит в себе духовное начало. Об этом В. Г. Распутин не раз писал в статьях и публицистической книге «Сибирь, Сибирь». Таким образом, явление града Китежа может быть представлено как рождение новой органичной, духовно-чистой вселенной из вод Байкала. Само слово «Сибирь», вернее, понятие, которое оно обозначает, «<...> звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее» [1, 3, 9]. Распутин подчеркивает уникальность Сибири как благословенного края, пока еще не разоренного человеком окончательно и имеющего «заповедные районы». Именно здесь «человечество могло бы начать новую жизнь, благодаря россиянину, который мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на земле» [1, 3, 9]. Россия же может рассматриваться как центр такой обновленной вселенной. Думается, идиллический мир и его спасение является основной темой повести, структурообразующим стержнем её поэтики.

Концепция мира Распутина основывается на мотивах апокрифической литературы (град Китеж), библейских мифах: ветхозаветного потопа и апокалипсического, новозаветного уничтожения мира стихией огня. Система метасимволов: острова, реки, потопа, всемирного древа, дома — мотивная структура, как и сама сюжетная ситуация, лежащая в основе повести (поп), выступает в функции авторского обобщения, расширяет художественное звучание повести В. Г. Распутина.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Распутин В. Г. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 2. — М., 1994. — С. 200. Далее ссылки даны на это издание с указанием порядкового номера примечания, тома и страницы.

2. Бахтин М. М. Эпос и роман. — СПб., 2000. — С. 158. Далее ссылки даны на это издание с указанием порядкового номера примечания и страницы.

3. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 тт. — М., 1990. Т. 1. — С. 399.

4. Распутин В. Г. Восстань, душе моя // Москва. — 1994. — № 7. — С. 114.

5. Грехнев А. Словесный образ и литературное произведение. — Нижний Новгород, 1997. — С. 54. Далее ссылки даны на это издание с указанием порядкового номера примечания и страницы.

6. Федоров Н. Ф. Сочинения. — М., 1982. — С. 433. Далее ссылки даны на это издание с указанием порядкового номера примечания и страницы.

7. Буланов А. М. О судьбе одного мифопоэтического мотива в литературе // Русская литература и фольклорная традиция. — Волгоград, 1983. — С. 123. Далее ссылки даны на это издание с указанием порядкового номера примечания и страницы.

8. Тендитник Н. Ответственность таланта. — Иркутск, 1978: «Откровенно поучителен и символичен выбор ситуации: последние дни затопляемого острова, напоминающего Ноев ковчег<...>». — С. 107.

9. Митрофанова И. Мифо-фольклорные и древнерусские традиции в творчестве В. Г.

Распутина. Дисс... канд. филол. наук. — М., 1990.

10. Афанасьев А.Н. Языческие предания об острове Буяне // Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. — М., 1996. — С. 18-27, 362.

11. Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. — М., 1993. — С. 74.

12. Памятники литературы Древней Руси. XVIII век. — М., 1981. — С. 225.

13. Распутин В. Г. Байкал предо мною...// Роман-журнал XXI век. — М., 2003. — № 8. —

С. 7. Далее ссылки даны на это издание с указанием порядкового номера примечания и страницы.

А. БЕЛЫЙ И В. МАЯКОВСКИЙ: НОВАТОРСТВО В ПОЭЗИИ

Многие критики признают за В. Маяковским новаторство в области ритмической организации стиха, рифмы, языка, метрики, графической формы произведений, отражавших неординарность его поэтического «я», хотя в трудах некоторых (в частности, В. Брюсова) красной нитью проходит мысль, что у Маяковского «некоторые размеры лишь типографски отличены от самых заурядных ямбов и хореев» [1]. В. Маяковский, наряду с другими футуристами, принявшими правило «беспроволочного телеграфа» и «слов на свободе», участвовал в так называемом «разложении стиха» [2], пытался даже разложить слово на несколько стихов:

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че... [3]

(«Из улицы в улицу», 1913)

Однако разложение русского стиха началось задолго до Маяковского — в творчестве А. Блока и особенно А. Белого. Перерывы и перебои в стихе, подобные маяковским, встречаются до него в стихах Белого, которому принадлежит инициатива смелого экспериментирования с размерами. Белый любил чередовать их между собой, иногда в одном четверостишии:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел...[4]

(«Друзьям», 1907)

Современный исследователь Вяч. Вс. Иванов считает очевидным переключки в этом плане между А. Белым и Маяковским [5]. Сам В. Маяковский неоднократно высказывался о роли А. Белого в становлении формы его поэтического «я». В автобиографии «Я сам» он указывал на стремление подражать Белому в организации стиха: «Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. <...> Пробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось *так же про другое* — нельзя. <...> Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать» [6] («Я сам» [1922. 1928]). И действительно, первые поэтические опыты Маяковского — написанные в стиле стихотворного кубизма «Ночь» и «Утро» — более чем с поэтическими опытами В. Брюсова, соотносимы, пожалуй, только с одноименными стихотворениями А. Белого: тремя стихотворениями «Ночь» (1907) из сборника «Урна» и двумя стихотворениями «Утро» (1902 и 1907) из сборников «Золото в лазури» и «Пепел» соответственно.

Относительно формальной преемственности отметим, что поэтическое творчество Белого и Маяковского роднит и особый прием организации стиха, когда повествование строится как на кубических картинах (недаром Н. Оцуп сравнивал Маяковского с кубистом Пикассо [7]): совершенно разные, на первый взгляд, никак не связанные между собой факты на самом деле дополняют друг друга, дописывая картину. Прием этот Белый развивает и в прозе, например, в «Котике Летаеве» (1916), где ряд осколков-эпизодов постепенно составляет картину мира.

Этот же мозаичный прием организации повествования обнаруживаем в поэмах

Маяковского «Облако в штанах» (1914–15) и «Флейта-позвоночник» (1915). В этих произведениях разные пространственно-временные пласты сосуществуют в текстовом пространстве на равных: так, в поэме «Облако в штанах» действие происходит в комнате ожидания любимой, на улице, в масштабах земного шара и, наконец, у небесного отца, а связующей нитью становится мотив отчаяния, охватившего героя.

Мозаичность повествования являлась одним из характерных приемов футуристов. Вяч. Вс. Иванов в статье «О воздействии «эстетического эксперимента А. Белого» вполне справедливо причисляет к футуристам и символиста Белого: «Белый, по его собственным словам, всегда остававшийся символистом, <...> в лучших своих произведениях переходил стилистические границы символизма и шел в том направлении «эстетического эксперимента» (его термин), который ближе <...> именно футуризму» [8].

А знаменитая «лесенка» Маяковского? Подобная графическая разбивка стихов и даже отказ от прописной буквы в начале нового стиха свойственны и Белому. Для обоих поэтов обособление отдельного слова в самостоятельную строку было значимо с двух точек зрения. Во-первых, резкое изменение количества слов в строке, — следование короткого стиха после ряда длинных (например, в поэме Маяковского «Война и мир» (1915–16) создает ощущение ритмического перебоя, эмоционально сгущая стих. Каждая строка, состоящая из одного слова, концентрирует в себе экспрессию длинной строки (на это указывали С. Калачева [9] и В. Холшевников [10]). Во-вторых, короткая длина стихов влечет за собой учащение повтора межстиховых пауз, что создает прерывистость речевого потока, делает речь более взволнованной и усиливает воздействие на слушателя.

Быть может, этими совпадениями можно объяснить тот факт, что уколы в адрес символистов, сформулированные еще в «Пощечине общественному вкусу» (1912) и повторявшиеся в печатных и публичных выступлениях футуристов, не содержали упоминаний об А. Белом. В свою очередь, об уважительном отношении Белого к творчеству Маяковского свидетельствует то обстоятельство, что Белый счёл возможным сравнительное изучение поэтических приемов Гоголя и Маяковского. В книге Белого «Мастерство Гоголя» (М., 1934) есть глава «Гоголь и Маяковский», в которой поэт и исследователь литературы показывает родство системы гиперболических образов Гоголя и Маяковского и обнаруживает сходство некоторых принципов их словотворчества.

Лирических героев Белого и Маяковского роднит внутренний настрой поэзии, ее тональность. Сатирическое «я» Маяковского часто сравнивали с гоголевским, указывая на несостоятельность лирических страниц у того и другого и величие сатирических («Это какой-то новый Гоголь, которому не удастся ничего «положительного», — писал о Маяковском Г. Адамович [11]). Адамович же сравнивал с Гоголем и Белого, ставя ему в заслугу неистощимую словесную изобретательность и величественные «полеты <...> полубезумного воображения» [12]. И Маяковского, и Белого Адамович критиковал за преувеличенную карикатурность образов.

Белый и Маяковский обнаруживают пристрастие к большим величинам, грандиозным масштабам. Это проявляется на разных уровнях. И. Эренбург заметил, что у Маяковского «образы <...> как-то физически больше обычных» [13], и обратил внимание на его любовь к нередко весьма крупным цифрам: дескать, поэт «очень любит говорить о тысячах тысяч и миллионах миллионов», вследствие чего — иронически замечает Эренбург — «его пророчества о конце мира всегда напоминали бюллетени метеорологической станции» [14]. К «безумию чисел», «математике космоса» [15] тяготеет и Андрей Белый. Разница состоит в том, что если Маяковскому удастся «взорвать цифрами» [16] мир, то величественные картины, нарисованные воображением Белого, «полны величия и холода. <...> Так звенят великолепные водопады высоко, там, где уже трудно дышать» [17]. Оба поэта испытали на себе определенное влияние «мистики числа» В. Хлебникова.

В. Тренин и Н. Харджиев отмечали также наличие общих образов в произведениях Белого и Маяковского. Это, прежде всего, трагический образ «поэта площадного пророка-арлекина-сумасшедшего» [18], над которым смеется и издевается толпа. Существует точка зрения о близости «я» Маяковского к юродству, приближающему его к Творцу. Жертвенность, роднящая героев Блока и Маяковского, присуща и лирическому субъекту А. Белого. Так, в «Жертве вечерней» (1903) А. Белый говорит от имени героя-страдальца, юродивого, который жаждет очищения мира от скверны:

Стоял я дураком
в венце своем огнистом,
в хитоне золотом,
скрепленном аметистом —
один, один, как столб,
в пустынях удаленных, —
и ждал народных толп
коленопреклоненных [19].

Лирический герой Маяковского также стоически переносит страдания за лишенное счастья человечество, за всю «обезлюбленную» землю:

У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять, стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь
(«Про это», 1923) [20].

Образ, напоминающий сверхчеловека Заратустру из поэмы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», — это образ, в равной мере характерный для поэтов. Однако если герой Маяковского в своем богоборчестве не находит раскаяния, то Богочеловек Белого в конце концов прозревает в своих притязаниях дьявольские происки и становится подобным лирическому герою Вяч. Иванова, желающему воскресения Божьего («Вспыхни, Солнце! Бог, воскресни! / Ярче, жаворонка песни, / Лейтесь в золото небес!» [21]) и смиренно принимающему все испытания, которые посылает Отец:

Светило братское, во мне зажгло ты вновь
Неутомимую, напрасную любовь!
Детей творения, нас, в разлученной доле,
Покорность единит единой вечной Воле [22]
(«Покорность» («Порыв и грани»)).

В отрывке из «Жертвы вечерней» (1903) Белого обращает на себя внимание многообразие характер лирического субъекта (дурак — одинокий страдалец — ницшевский Сверхчеловек («ждал народных толп коленопреклоненных»). О многообразии образа своего лирического героя Белый писал и в предисловии к берлинскому сборнику своих «Стихотворений», вышедшему в 1923 году [23].

Критики в разные времена отмечали многосторонность проявлений и лирического героя Маяковского. Одиночество, неразделенная любовь, автобиографичность, личностная конкретность лирического героя, противопоставление «толпе» и — сосредоточенность на судьбе России, боль за судьбу миллионов и желание слиться с многомиллионным «мы»... На «разносторонность» поэта как на характерную черту Маяковского указывали и постоянный оппонент Маяковского П. Пильский, и Р. Якобсон: «В своем стремлении вечно позировать это актер-блудник... Несколько раз переменял он свои роли» [24]; «Я поэта не исчерпано <...> эмпирической реальностью. Маяковский проходит в одной из

своих «бесчисленных душ» [25] — о поэме «150.000.000» (1919–20). Советский литературовед В. Альфонсов тоже считал характерным для поэта многократно повторяемый «двойной» образ-формулу лирического героя [26]. Обратим внимание на несколько выразительных в этом отношении примеров:

1) «Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!» [27]
(«Скрипка и...», 1914);

2) Я — равный кандидат
и на *царя* вселенной
и на
кандалы [28].
(«Флейта-позвоночник», 1915);

3) Какими Голиафами я зачат, —
такой *большой*
и такой *ненужный*? [29]
(«Себе, любимому...», 1916).

Несмотря на различия во мнениях касательно двуплановости, многоплановости лирического «я» поэта или же его игрового начала, а также относительно личностно-качественных либо социальных корней подобного разнообразия, можно проследить устойчивую склонность литературоведов к определению социально-жертвенной сути «многоликости» поэта и ее важной роли в становлении личности самого Маяковского [30].

Сближает лирических героев Белого и Маяковского и их акцентированная автобиографичность. О творчестве в произведениях Белого «можно говорить лишь в той степени, в какой творчество есть в дневниках, записках, письмах, исповедях, — считал Адамович. — Это рассказ о *своей* жизни» [31]. Позже критики отмечали эту черту и относительно героя Маяковского. Д. Бурлюк писал в воспоминаниях: «Маяковский в своей поэзии ничего не выдумывал. Его стихи — лот его жизни. Судовой журнал. <...> Не переделывать, <...> не отбросить. Всё в его стихах списано с натуры» [32].

На общее для Белого и Маяковского автобиографическое начало указывал также Вяч. Вс. Иванов. Он заметил, что со стихами Маяковского о собственной смерти стихи А. Белого «сближаются прежде всего описанием от авторского лица: присущая поэтам нота субъективного восприятия не изменяет им и при подходе к этой теме («Отпевание», 1906)» [33].

Разумеется, несмотря на обилие точек соприкосновения, между лирическими героями поэтов существует множество различий. Прежде всего, эта разница выражается в отношении к религиозной теме, неоднократно затрагиваемой в творчестве обоих. Ранний Маяковский, как и Белый в цикле «Вечный зов» (1903), использует образ «Нового Христа», но образ этот у Маяковского вырастает в богоборческий. У Белого же, при всей иронии этого образа, он не перерастал в образ Богочеловека (Сверхчеловека). Напротив, религиозная тема у Белого носит серьезный пророческий характер. Разницу эту подмечал Вяч. Вс. Иванов, объясняя ее глубокими различиями между литературными течениями, к которым поэты принадлежали, — символизмом и футуризмом [34].

Существенным звеном сопоставительного анализа может быть избрана категория быта. Осмысление и творческое воссоздание элементов быта в произведениях и философских сочинениях А. Белого неоднозначно. Нередко он увлекается бытовыми картинами и ситуациями в стихах и пытается обосновать необходимость быта в своих теорети-

ческих работах, хотя и предвидит опасность превращения искусства в простую зарисовку, которая есть «удел этнографии» [35]. Однако, не считая отражение быта целью, Белый не против него как средства, с помощью которого можно создать «образчики творчества, отражающие величие нашей эпохи» [36].

В литературе начала XX века был провозглашен лозунг «Смерть быту!», который выражался в отрицании «бытовой» литературы и в признании необходимости отражения беспредельности в любой форме: будь то душевное движение человека или отсутствие категории «данного места». Маяковский поддержал лозунг, так как он был созвучен его неприязни к обывателю, а быт стал для него олицетворением обывательства. В поэме «Про это» (1923) Маяковский восклицает: «Исчезни, дом, / родимое место!» [37], обнаруживая желание устранить причину человеческой ограниченности, глухоты к общей боли и общей радости. Однако поэт ощущает грубую тенденциозность своего героя, и в его душе невольно растёт протест против собственного экстремизма: «Будь проклята, / опустошенная легкость!».

Подводя итог сказанному, отметим, что для обоих авторов был характерен гиперболизм, подчёркнутый автобиографизм, трагикомичный характер лирического «я» («поэт-сумасшедший пророк»). Маяковский явился продолжателем Белого в «разложении» русского классического стиха и экспериментаторства с ним. Несмотря на различия между Белым и Маяковским в решении одних и тех же тем и вопросов, оба поэта использовали сходные средства поэтической организации, в частности, мозаичный характер построения текстового пространства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 тт. / Под ред. П. Г. Антокольского. — М., 1975. — Т. 6. Статьи и рецензии 1893 — 1924. Из кн. «Далекое и близкое». Miscellanea (Замечания, мысли об искусстве, о литературе, о критиках, о самом себе). — С. 516.
2. Аничков Е. В. Новая русская поэзия. — Берлин, 1923. — С. 106.
3. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. / Подг. текста и примеч. В. А. Катаняна и др. — М., 1955 — 1961. — Т. I. — С. 38.
4. Белый А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. и сост. Т. Ю. Хмельницкой, подг. текста и примеч. Н. Б. Банк и Н. Г. Захарченко. — М.; Л., 1966. — С. 249.
5. Иванов Вяч. Вс. О воздействии «эстетического эксперимента» А. Белого (В. Хлебников, В. Маяковский, М. Цветаева, Б. Пастернак) // А. Белый. Проблемы творчества. Статьи, воспоминания, публикации. — М., 1988. — С. 345.
6. Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 тт. — Т. I. — С. 18–19.
7. Оцуп Н. Миф Владимира Маяковского // Литературные очерки. — Париж, 1961. — С. 171.
8. Иванов Вяч. Вс. О воздействии «эстетического эксперимента» А. Белого (В. Хлебников, В. Маяковский, М. Цветаева, Б. Пастернак). — С. 338.
9. Калачева С. В. Эволюция русского стиха. — М., 1986. — С. 213.
10. Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. — СПб., 1996. — С. 64.
11. Адамович Г. «Великие процессы истории» Анри Робера. — Маяковский // «Звено» 1923 — 1926 гг. Литературные беседы. — СПб., 1998. — Кн. 1. — С. 155.
12. Адамович Г. «Москва» А. Белого. — «Граф Калиостро» И. Лукаша // «Звено» 1923–1926 гг. Литературные беседы. — СПб., 1998. — Кн. 1. — С. 247.
13. Эренбург И. Владимир Маяковский // Портреты современных поэтов. — М., 1923. — С. 56.
14. Там же.
15. Эренбург И. Андрей Белый // Портреты современных поэтов. — С. 34.
16. Эренбург И. Владимир Маяковский // Там же. — С. 57.

-
17. Эренбург И. Андрей Белый // Там же. — С. 34.
 18. Тренин В., Харджиев Н. Поэтическая культура Маяковского. — М., 1964. — С. 57.
 19. Белый А. Собрание сочинений: Стихотворения и поэмы. — М., 1994. — С. 101.
 20. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. — Т. IV. — С. 172.
 21. Иванов Вяч. Утренняя звезда // Иванов Вяч. Кормчие Звезды. Кн. лирики. — СПб., 1903. — С. 19.
 22. Там же. — С. 16.
 23. Белый А. Предисловия в сборнике «Стихотворения» — 1923, Берлин / Белый А. Указ. соч.: Стихотворения и поэмы. — С. 481.
 24. Пильский П. Нахалкиканец из-за Ташкенту // Сегодня. — Рига. — 1927. — № 144. — С. 3.
 25. Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов // Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть В. Маяковского. — The Hague; Paris: Mouton, 1975. — С. 11.
 26. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни: В поэтическом мире Маяковского. — Л., 1984. — С. 59.
 27. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. — Т. I. — С. 69.
 28. Там же. — С. 204.
 29. Там же. — С. 127.
 30. Подробнее об этом см.: «Двойничество», многоликость или игра? // Култышева О. М. Феномен Маяковского: восприятие современников. — Екатеринбург, 2003. — С. 88–104.
 31. Адамович Г. «Москва» А. Белого. — «Граф Калиостро» И. Лукаша. — С. 249.
 32. Бурлюки Д. Д. и М. Н. Маяковский и его современники. Фрагменты из воспоминаний // Литературное обозрение. — 1993. — № 6. — С. 13.
 33. Иванов Вяч. Вс. О воздействии «эстетического эксперимента» А. Белого (В. Хлебников, В. Маяковский, М. Цветаева, Б. Пастернак). — С. 348.
 34. Там же. — С. 351.
 35. Эта тенденция найдет свое отражение во «Второй драматической симфонии» Белого, в которой, как и у Маяковского, быт осуждается.
 36. Адамович Г. В. Белый о быте в литературе. — А. Неверов // «Звено» 1923 — 1926 гг. Литературные беседы. — Кн. 2. — С. 11.
 37. Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 тт. — Т. IV. — С. 159.
-

«ЖИВОЙ РЕАЛИЗМ М. КАРПОВА...» (ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ)

Важнейшей особенностью историко-литературного процесса конца XX века стало возвращение многих ранее запрещенных литературных имен, произведений. Но осталось еще значительное количество авторов, вычеркнутых из истории русской литературы XX века (многие из них репрессированы, расстреляны в 1930-е годы), о которых не вспоминают специалисты, не знают читатели — их произведения не издаются и сегодня.

Речь идет прежде всего о литераторах «второго ряда», без творчества которых историко-литературный процесс прошедшего века не будет полным и целостным. Это относится к авторам крестьянской прозы 20-30-х годов — к «колхозно-пролетарской» литературе — так ее стали называть после событий года «великого перелома».

Общеизвестно определение, имеющее отношение к С. Есенину, Н. Клюеву, П. Орешину, С. Клычкову, П. Карпову, — «новокрестьянские» писатели и поэты, о них немало написано, внимание исследователей к их наследию не ослабевает. Этому не скажешь относительно творчества И. Батрака, И. Никитина, П. Замойского, К. Горбунова, А. Дорогойченко, И. Касаткина, М. Карпова и других «крестьянских» или «колхозно-пролетарских» литераторов.

Судьба многих из них драматична и даже трагична: литературная известность, арест, тяжелое следствие, расстрел или гибель в лагерях и забвение. Подобный путь прошел М. Карпов.

Михаил Яковлевич Карпов (1898 — 1937) — писатель, чьи произведения издавались с середины 20-х до середины 30-х годов. В этот же период выходят критические статьи о творчестве прозаика, рецензии и отзывы о его произведениях. С конца 30-х годов, после расстрела писателя, о нем не упоминают критики, произведения М. Карпова не издаются — вплоть до настоящего времени. Между тем изданная в те годы проза Карпова свидетельствует о несомненном таланте автора, его произведения должны занять определенное место в истории отечественной литературы XX века.

О жизни М. Я. Карпова известно немного. Из автобиографии писателя (14.03.1925 г.):

«Родился 16 ноября 1898 года в уральских трущобах. До 18 лет пахал. Мужик, одним словом. И мать с отцом крестьяне, конечно. Учился в церковно-приходской школе. С 10 до 13 лет прочитал И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, Н. Лескова, Шекспира, Шиллера и др. Чтение оставило глубокий след... В 16 лет открылась в соседнем селе земская библиотека, и я снова за классиков принялся. Это — время перехода от мистических туманностей к жизнерадостному реализму.

Вообще читал и читаю много — это основной «недостаток». Начал писать с 16 лет (сначала стихи, потом прозу), собственно — пописывать, а к серьезной работе только приступаю. Писать есть о чем — пережито много.

С 1917 г. по 1922 г. в армии, кочевал по Уралу, Поволжью, Сибири, во множестве боев побывал. Занимал разные должности — конюха, бойца, комвзвода, сотрудника газет, начальника учебной части политического Управления Сибири. С последней должности командирован в Комвуз им. Зиновьева, где пребываю уже три года.

Печататься начал с конца 1918 г. в красноармейских газетах, но с 1919 г. по 1922 г. из-за большой партийно-политической работы не издавался и почти не писал. В 1922 г. в Петрограде начал печатать рассказы (подал палец поддержки Всеv. Иванов, за что я ему очень благодарен). В 1923 г. вступил в литературно-художественную группу крестьянских и пролетарских писателей «Стройка».* Сейчас состою в Ленинградской Ассоциации

* «Стройка» — группа молодых писателей, образована в 1923 году по инициативе А. Крайского в Ленинграде (М. Карпов, П. Журба, И. Васильев, В. Саянов и др. — всего 15 литераторов). Вскоре вошла в ЛАПП — Ленинградскую Ассоциацию пролетарских писателей.

пролетарских писателей в качестве секретаря и прочего.

Кусочек личного: литературу люблю больше всего, не исключая и женщин... Впрочем, люблю и женщин, влюбчив до глупости, но здесь трагедия: никак не подберешь товарища — женщину, равную по интеллектуальному развитию. Главная беда: ни время, ни студенческие условия не способствуют работе над произведениями» [1, 3].

Позже, в 1927 году, автобиография была дополнена М. Карповым:

«В 1925 году вышла первая моя книжка рассказов — «Апрельские прели», в 1926 г. вторая маленькая книжка — «О зайце и людях», издана первая часть романа «Карбуш». В 1927 г. вышел роман «Пятая любовь». В настоящее время работаю над повестью «Стенькина поступь». С деревней связи не теряю — зимой переписка, летом живу в деревне» [2, 81].

До середины 30-х годов Карпов написал и многое другое (некоторые произведения не успел завершить): рассказы, повесть «Молодая кровь», романы «Передовик», «Непокорный», «Лишенцы».

Критики не обходили вниманием творчество молодого писателя. Последние опубликованные работы литературоведов о М. Карпове датированы 1930 — 1932 годами — это рецензии, «беглые» заметки, фрагменты в годовых обзорах современной литературы М. Левидова, А. Ревякина, Г. Горбачева, М. Шишкевича, Т. Николаевой. В основном, критики отмечали большой творческий потенциал молодого прозаика. В журнале «Земля советская» (1930 г.), в частности, читаем: «В 1929 году выдвинулся целый ряд ярких писателей в крестьянской литературе: М. Шолохов, М. Карпов, Ф. Панферов...» [3, 207].

Имя М. Карпова находим на страницах и других журналов конца 20-х — начала 30-х годов — «Резец», «Новый мир», «Комбайн», «Перелом»: «...живой реализм Карпова...», «...Карпов показывает деревню, какая она есть», «...яркие образы в прозе писателя, интересные темы...» и т. д.

Михаил Карпов не ограничивался только собственным художественным творчеством. Сохранившиеся в архиве его письма — немногочисленные — свидетельствуют о готовности помочь другим писателям, о равнодушном отношении к происходящему в литературной жизни Ленинграда, Москвы, провинции. «Искренне радуюсь твоей работе над новым романом... — писал Карпов молодому рязанскому прозаику В. Д. Ряховскому. — Вторую половину книги проследи внимательнее...» [4, 12].

Много сил Карпов отдавал журналу «Земля советская», изданию крестьянских литераторов, первый номер которого вышел в Москве в 1929 году. Более двух лет Карпов был ответственным редактором журнала. В начале редакторской работы в письме к В. Д. Ряховскому Карпов делился планами: «Надо создавать хороший журнал...». В другом письме к тому же адресату: «Будем организовывать крестьянскую литературу...» [4, 4].

Проблема «организации», путей развития крестьянской литературы обсуждалась на Первом Всероссийском съезде крестьянских писателей (июнь 1929 г.), в котором приняли участие более 200 литераторов, государственных деятелей. На съезде с приветственной короткой речью выступил М. Горький, основными докладчиками были В. Карпинский, А. Луначарский, П. Замойский.

Задачи съезда были определены в первый день его работы: «Выяснение идеологической линии и творческого лица крестьянских писателей, установка важнейших моментов практической деятельности» [5, 3]. Съезд наметил основную линию развития крестьянской литературы: «Изжитие мелкобуржуазной ограниченности и переход на пролетарские позиции» [5, 3]. А подлинно крестьянским, по мнению делегатов съезда, «может считаться тот писатель, который борется против кулацко-капиталистической идеологии и идет к пролетарской идеологии» [5, 3].

М. Карпов выступал на съезде неоднократно, проявив при этом искреннее беспокойство за состояние крестьянской литературы. В ответном слове А. Халатову (директор

государственного издательства. — Л.С.) писатель с сожалением отметил недостаточное внимание ГИЗа к творчеству талантливых писателей из крестьян. Не одобрил Карпов и издание некачественной литературы на крестьянскую тематику — «ситцевой серии»: «На 40 процентов, — отметил оратор, — это была халтура третьесортных писателей прошлого и псевдокрестьянских писателей. Наивность, пустое скалозубство и пошлость — вот что представляют собой эти произведения... Это не злой умысел авторов, не вредительство, просто писатели не знают деревни...» [5, 48].

Нередко не знали деревни и критики, писавшие о крестьянской литературе. Такой «критик, — отмечал М. Карпов, — не всегда понимает и чувствует художественное произведение крестьянского автора и критикует за то, что является основным в произведении». Карпов обозначил свое понимание задач крестьянского писателя: «Бичевать косность, ограниченность, грязь, невежество, отсталость, уродливость и в то же время выявлять ростки новой деревни, показывать рост новых людей...» [5, 92].

К этим проблемам обратился Карпов в книге «Пятая любовь». Роман написан в 1926 году, в 1927 году издан, несколько раз переиздавался (со значительными правками автора), в 1926 году переведен на немецкий язык, вышел в Германии, вызвал там интерес критиков — были опубликованы многочисленные рецензии, статьи. На родине автора последнее издание романа (как и других произведений М. Карпова) осуществлено в начале 1930-х годов.

По мнению современной автору критики, «Пятая любовь» — самое значительное произведение Карпова о социалистическом переустройстве деревни. В качестве достоинств текста отмечалась многоплановость сюжета и прежде всего наличие темы классовой борьбы представителя советской власти, красноармейца Сергея Медведева, вернувшегося в родную деревню, с кулаком и собственником Алексеем Савохиным; широкий фон сельской общественной жизни (сельсовет, кооперация, комсомол, селькорство); вовлечение в общественную жизнь деревни сельской интеллигенции («пятая любовь» учителя Романа Петровича Корякина).

В ряде статей рубежа 20-х - 30-х годов находим указание на «шероховатости» романа Карпова. Сегодня отмеченные критиками недостатки произведения воспринимаются как свидетельство литературной одаренности, честности автора, сумевшего в условиях жесточайшего подавления творческой свободы создать в романе действительно живой, многогранный образ советской деревни.

М. Шишкевич, в частности, ставит в вину Карпову «некоторую двойственность образа Сергея Медведева». Критик рассматривает этот образ с точки зрения соответствия устоявшейся к тому времени (1928 год) идеологической схемы положительного героя в художественной литературе: человек, не знающий сомнений, преданный идее революции и делу социалистического строительства, чуждый компромиссам в борьбе с классовыми врагами. Сергей Медведев не вписался в эту схему — это живой человек, показанный в развитии, внутренних конфликтах, сомнениях, способный на глубокие чувства. Не понравились М. Шишкевичу и женские образы в романе (Нина Михайловна, Алена, Ганя) — они «даны, главным образом, со стороны своих интимных переживаний». Любовные интриги, убежден критик, привели к «значительным идеологическим провалам М. Карпова». Более того, любовные истории («обилие эротики», по словам Шишкевича) заслоняют общественное: «Автор выбрал ложный путь соединения общественных моментов с личной жизнью героев... В результате получился типичный, знакомый по образцам прошлого, мещанский, сентиментальный роман» [6, 56].

И все же итог размышлений М. Шишкевича о романе утешителен: «В целом «Пятая любовь» интересно задуманная и общественно нужная, полезная книга, но местами плохо написанная...» [6, 56]. Как видим, в период творчества М. Карпова критерии полезности, классовой целесообразности были главными в определении качества художественного

произведения, его оценки.

Исходя из этих критериев анализировали тексты Карпова и другие литературные критики. А. Ревякин в статье «О стержневом образе крестьянской литературы», Г. Горбачев в работе «Пролетарская художественная проза и наша современность», а также В. Друзин, Т. Николаева, З. Штейман, В. Владиславлев отмечают достоинства прозы писателя: изображение зарождающегося «нового в крестьянской деревне», мастерство «в трактовке образов», «идеологическая ценность романа заключается в политико-теоретических дискуссиях», «зарисовки природы отличаются активно-трудовым и активно-созерцательным характером...» [7, 79] (о рассказах и романе «Карбуш»). Слабые места прозы Карпова, по мнению критиков: «Выпячивание любовного элемента за счет идейного содержания», он «не показал важнейшие этапы в развитии рабочего движения... Нет завода, где выковывается революция», «чрезмерное обнажение сексуальных переживаний», «Социально-политические, массовые сцены в деревне не раскрыты...», «Много эмоциональных, сильных мест в рассказах Карпова, но они возникают за счет переживаний отдельной личности, а не коллектива» и т. д. (из статей в журналах «Земля советская», «Жернов», «На литературном посту», «Октябрь», «Стройка» 1929 – 1932 гг.).

Значение советского писателя в историко-литературном процессе 1920-1930 годов во многом определялось популярностью у пролетарского читателя: нашло ли произведение «путь к читающей массе», смог ли автор «завербовать тысячи, сотни тысяч читателей», будут ли книги писателя «полезны широкой читательской массе»? Вопросы, которые в послереволюционный период были особенно актуальны для литературной критики.

Главным объектом забот критиков становится массовый читатель. Литература призвана была приобщить «рабочего читателя» к культуре [8] (при этом подчеркивалось – «новая, не буржуазная» литература!), но самое главное – литература должна способствовать формированию *пролетарского* сознания читателей. Для этого литературные критики ненавязчиво, но определенно указывали, рекомендовали, какие произведения читать, а какие потенциальному читателю будут «неинтересны», «не принесут пользы»: «Важно отметить, что советскому читателю Ходасевич в равной степени чужд своей надломленностью и интеллигентской психикой...» [9, 3]; о книге О. Мандельштама «Шум времени»: «Надо сказать, что книга Мандельштама не предназначена для широкого читателя, она ему не нужна...» [9, 17]; о Бабеле: «Массовому читателю он дает вещи не полезные, слабые» [9, 8]; о новеллах М. Карпова: «Рассказы М. Карпова, исполненные в стиле стихотворений в прозе – жанр обветшавший даже в глухой провинции» [9, 54]. И противоположные мнения: «Книга А. Соболя «На каторжном пути» с интересом прочтется молодым читателем» [9, 8]; «Повесть писателя Е. Вражнева «Стучит рабочая кровь» молодой читатель прочтет с огромной пользой для себя» [9, 31]; о нужных советскому читателю произведениях критики писали как о «культурно полезных», идеологически выдержанных книгах.

Давая ту или иную оценку произведению, критик не настаивал на обязательном его прочтении – у читателя могло сложиться мнение о книге и на основании прочтенной рецензии или статьи. Важно было внедрить в сознание массового читателя уверенность, что думать о произведении надо именно *так, не иначе*. Да и не всегда имелась возможность у рядового человека прочесть произведение – книги нередко не доходили до российской глубинки. Поэтому в критических работах значительное место занимал тенденциозный пересказ содержания произведения, этого, как правило, было достаточно для участия несостоявшегося читателя в обсуждении книги на заседании кружка, литобъединения и т. д.

Во второй половине 1920-х годов на многих крупных промышленных предприятиях разных городов были организованы литературные кружки рабочих – для обсуждения «современного литературного момента», для приобщения пролетариев к самостоятельному литературному творчеству (в частности, «Кружок рабочей критики», «Атака», «Основа», «Скороход» и др.). Как отмечает Е. Г. Елина, в Ленинграде за полтора года (1926–1927 гг.)

на предприятиях были организованы 34 вечера-диспута, в каждом из которых участвовало более 700 рабочих [10].

О серьезности отношения к деятельности этих групп непрофессиональных критиков свидетельствует открытие в различных журналах рубрики «Голос читателя», где помещались отчетные материалы о работе отдельных литературных объединений рабочих. В журнале «Земля советская», в частности, рубрика появилась во втором номере за 1932 год – уже без М. Карпова в качестве ответственного редактора.

Немаловажный факт творческой судьбы писателя: первый номер журнала за 1932 год редактировал Карпов, а во втором номере уже значится И. Касаткин как главный редактор журнала – без каких-либо комментариев относительно этого.

Анализ опубликованных в 1931 – 1932 годах материалов в «Земле советской» дает нам основание предположить, что, по мнению представителей власти (и литературной, и политической), Карпов – редактор журнала – не справился с поставленными задачами и был отстранен от дел. В третьем номере «Земли советской» за 1932 год (уже с новым редактором) опубликована Резолюция расширенного секретариата РОПКП (Российская организация пролетарско-колхозных писателей), в которой оценивается работа редакции журнала во время руководства М. Карпова (его фамилия не упоминается): «Журнал «Земля советская» проявил гнилой либерализм, поместив на своих страницах враждебные нам произведения (Тарасова – «Ортодоксы», Макарова – «Европа»)». До сих пор журналы «Земля советская» и «Комбайн» не повернулись лицом к созданию положительного героя эпохи, ударника социалистического строительства!» [11, 152].

В 1929 году в Ленинграде вышла объемная книга «Голос рабочего читателя», в которой собраны «протокольные постановления рабочих кружков о качестве литературных произведений» [12]. В предисловии отмечается, что данная книга является «пособием для ориентировки в художественной литературе и уяснения социальной значимости и художественного достоинства произведений» [2, 6]. На 206 страницах сборника речь идет как о хорошо сегодня известных писателях (М. Шолохове, Л. Леонове, А. Серафимовиче, А. Фадееве, В. Каверине, Б. Пильняке, Е. Замятине и др.), так и о вовсе неизвестных современному читателю авторах – М. Карпове, И. Батраке, А. Дорогойченко и др.

Видное место в сборнике занимает раздел, посвященный прозе М. Карпова и, прежде всего, роману «Пятая любовь». Оценки в целом одобрительные, порой эмоциональные, даже восторженные: «...книга прекрасная, правдивая...», «...это литературное явление, ...живая правда в романе...», «Карпов честный, одаренный писатель...» [2, 87-89].

Не понравилось пролетарскому читателю название произведения – «неудачное, непонятное», автора упрекнули в растянутости повествования, в «отсутствии показательно – положительного типа деревенского работника», в несовершенстве главного героя: «У Медведева ... слишком много темных сторон, что не совмещается с его высокой сознательностью...» [2, 89].

Сборник «Голос рабочего читателя» построен в форме диалога читателя с писателем. В конце каждой части, посвященной определенному автору, приводится ответ писателя читателям-критикам. М. Карпов в своем обращении к пролетарским критикам заметил: «Читательские отзывы в тысячу раз ценнее газетных и журнальных статей... Отзывами я в высшей степени удовлетворен, ...писатель совместно с читателем начинают создавать свою, советскую, пролетарскую, литературу» [2, 93].

К сожалению, усилия самого Михаила Яковлевича Карпова по формированию советской литературы закончились для него трагически – в 1937 году он был расстрелян как один из организаторов террористической группы, якобы созданной для физического устранения Сталина. Вместе с М. Карповым были расстреляны И. Васильев, П. Васильев, И. Макаров, позже – другие «участники заговора».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. РГАЛИ. Ф. 1852. Оп. 1. Ед. хр. 5. Далее ссылки даны с указанием порядкового номера примечания и страницы.
2. Голос рабочего читателя. — Л., 1929. Далее ссылки даны с указанием порядкового номера примечания и страницы.
3. Материалы Пленума ЦС ВОКП // Земля советская. — М.-Л., 1930. — №1.
4. РГАЛИ. Ф. 422. Оп.1. Ед. хр. 158.
5. Пути развития крестьянской литературы. Материалы Первого Всероссийского съезда крестьянских писателей. — М.-Л., 1930. Далее ссылки даны с указанием порядкового номера примечания и страницы.
6. Шишкевич М. Литературные портреты. М. Карпов // Земля советская. — 1929. — № 5.
7. Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи. — М.- Л., 1931.
8. Наставления начинающему читателю: «Читая ежедневно по 2 часа, а по праздникам по 4 часа, можно в течение трех лет постепенно усвоить большое множество наук, развить свою мысль, сделаться новым человеком и вполне слиться в работе с вождями коммунистической партии». — См.: Книжник И. В помощь начинающему читателю. — Л., 1924. — С. 11.
9. РГАЛИ. Ф. 2268. Оп. 1. Ед. хр. 15.
10. Елина Е. Г. Литературный критик и общественное сознание в советской России 1920-х годов. — Саратов, 1994.
11. Резолюция расширенного секретариата ЦС РОПКП (январь 1932) // Земля советская. — 1932. — № 3.
12. Материалы журнальных публикаций были изданы также в сборниках «Вечера рабочей критики» (М., 1927), «Писатель перед судом рабочего читателя». (Л., 1928).

ПРОБЛЕМА «ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕК» В КНИГЕ ОЧЕРКОВ Д. ЛОНДОНА «ЛЮДИ БЕЗДНЫ»

Книга очерков Д. Лондона «Люди бездны» (*The People of the Abyss*) была опубликована в 1903 г. в Нью-Йорке. В основу её легли личные впечатления писателя от знакомства с беднейшими кварталами столицы Великобритании, Ист-Эндом. В США книга была воспринята исключительно как документальное повествование, что свидетельствует об упрощенном понимании художественной природы произведения. «Люди бездны» не укладываются в строгие рамки определенной жанровой формы: это документальное повествование, обращенное к острейшим социальным проблемам, соединяющее в себе черты социологического очерка, памфлета, эссе и лирических зарисовок. Подобного рода жанр получит распространение в литературе XX в., в связи с чем, по справедливому мнению А. Зверева, Лондона можно считать первооткрывателем подобного жанра в литературе [1]. Всё увиденное писатель представил на суд читателя, пропустив через собственное сознание. Впечатления были столь глубокими, что в письме к А. Струнковой он признавался: «Я чувствую себя больным в этой преисподней, именуемой Ист-Эндом и населенной живыми людьми» [2].

В отечественном и американском литературоведении «Люди бездны» получили несколько одностороннюю оценку. Книга осмысливалась либо в связи с увлечением Лондона социалистическим учением, либо в связи с влиянием на него философии Г. Спенсера [3]. При этом вне поля их зрения осталось стремление писателя выявить общие закономерности развития буржуазной цивилизации и роли человека в этом процессе.

Всё изображенное в книге «Люди бездны»: социальные и политические институты, частные судьбы людей «дна» и обобщенные образы определенных социальных групп — становится не просто объектом осмысления автора, являющегося одновременно участником событий, но и предметом его рефлексии. События, факты, статистические данные и образные зарисовки наполнены предельным драматизмом, пропущены через сознание художника и направляют мысль читателя. В ряде случаев автор сознательно дистанцируется от изображаемого, что усиливает, на наш взгляд, аналитическое начало в книге.

Будучи поклонником творчества Р. Киплинга, впервые в «Людах бездны» Лондон употребляет выражение «человеческие джунгли» применительно к буржуазному городу [4]. Первое впечатление автора от улиц Ист-Энда — крайняя степень нищеты, что станет лейтмотивом в книге. Он устанавливает знак тождества между местом обитания и обитателями этих улиц и домов в трущобах. Людей писатель воспринимает как главный субъект и объект цивилизации. Отмечая влияние социал-дарвинистского учения на Лондона, Дж. Хедрик склонна увидеть в характеристиках людей, данных писателем, исключительно биологический подход, стремление представить только «животную протоплазму» [5]; а Дж. Ауэрбах полагает, что основным приемом изображения обитателей Ист-Энда в книге становится гротеск [6]. Действительно, на протяжении всего повествования можно увидеть как индивидуальные, так и коллективные портреты людей, в которых акцентируется внимание на их физической деградации, признаках вырождения: «...низкорослые, изможденные, с лицами алкоголиков» (с. 10), «люди вообще напоминали горилл» (с. 167); они сохранили в себе силу пещерного человека, которую могут обратить на любого. Первоначально Лондон воспринимает их только как безликую массу, толпу: «...старика и старухи рылись в мусоре <...>, ребятишки облепили, точно мухи, кучу фруктовых отбросов» (с. 11). Он испытывает страх перед этой непонятной ему толпой, аналогичный страху перед морской пучиной. Позже из этого чувства родится развернутая метафора: Ист-Энд — это «лондонская Бездна» (с. 29). Но как только герой переодевается в одежду бедняков и выходит на улицы трущоб, он сразу становится одним из обитателей «дна», чувствует,

что «освободился от страха перед толпой <...>, стал частью её» (с. 15). Именно внешние приметы цивилизации — внешний облик человека, его одежда, жилище — первоначально преобладают в авторском восприятии. Но постепенно, по мере вживания в новый образ, он начинает осмысливать глубинные причинно-следственные связи увиденного, выходит на новый, социальный, культурологический уровень понимания увиденного. Эти размышления подчас приобретают и горько-иронический смысл — и тогда автор позволяет себе усомниться в разумности того, как устроено общество, да и мир в целом: «Но вдумайтесь хорошенько, как всё мудро устроено в этом мире! <...> И вот когда мы её (мудрость. — Л. И.) найдём, у нас не останется сомнения, что это тонкая мудрость, — иначе пришлось бы констатировать, что всё устройство на земле просто-напросто никуда не годится» (с. 21).

Писателя интересует процесс формирования Ист-Энда, осмысливаемый как неизбежный результат развития буржуазной цивилизации: «бродячее племя» городских бедняков захватывает Восточный Лондон, вытесняя старожилов, превращая его в трущобы. Одним из таких «захватчиков» предстает в книге некто Джонни Апрайт, чьё имя становится нарицательным: «И вдруг <...> врывается Джонни Апрайт, а следом за ним несётся город-чудовище. Как по волшебству, вырастают доходные дома, садики застраиваются, дачи перегораживаются на коморки, и черная лондонская ночь окутывает всё своим грязным покровом» (с. 22). Так под пером писателя развитие цивилизации превращается в неуправляемый стихийный процесс, а человек становится слепым его орудием. Судьба Ист-Энда — утверждает автор — это судьба Лондона и всей Великобритании: «Ужасные условия, превращающие Лондон в ад, превращают в ад и всё Соединенное Королевство» (с. 175). То есть можно говорить о том, что судьба Ист-Энда, в понимании Дж. Лондона, ключ к постижению развития английского общества в целом и современной цивилизации, частью которой является Великобритания.

Всё, что автор видит вокруг себя, он сравнивает с аналогичными явлениями в США, устанавливая некоторые общие закономерности в развитии цивилизации. Говоря о нищенском облике улиц в Ист-Энде, писатель замечает: «В Америке такая улица считалась бы скверной, но в Восточном Лондоне она подобна оазису в пустыне» (с. 15). Окружающая человека в Ист-Энде теснота вызывает у него тоску по свободному пространству в США: «Тут я подумал о моём родном просторном Западе, под небом которого можно было бы разместить тысячу таких городов, как Лондон, и всем бы хватило воздуха; а вот здесь этот человек <...> ютится в одной комнате с двумя другими мужчинами <...>, зная по опыту, что лучшего ему не найти» (с. 24). Общественные учреждения в Англии ничем не лучше частных домов: писатель вспоминает, что, будучи посаженным в калифорнийскую тюрьму за бродяжничество, он получал там лучшую пищу, чем та, которую подают в английских кофейнях (с. 139). Объектом сопоставления становятся и явления культурологического характера. Не без иронии, переходящей в сарказм, писатель замечает, что даже ругаются в Америке более «красочно» и «оригинально»: «... я предпочту богохульство непристойности: в нём смелость, вызов, удайство, не то что у англичан — сплошная грязь!» (с. 422).

Люди, с которыми встречается Лондон во время своих странствий по Ист-Энду, вызывают у него сочувствие, поскольку они — жертвы бездушного механизма, гордо именуемого «цивилизация». Многие из этих обитателей трущоб вызывают ассоциации с героями романа «Морской Волк» (1904), написанного во многом вследствие впечатлений от пребывания писателя в Англии. Общее у них — бездумное отношение к жизни, полное отсутствие стремления к духовности; им не нужна семья, любовь, а слово «дом» вызывает у них «одни лишь неприятные ассоциации» (с. 27), поскольку их дома напоминают «крысиные норы, куда можно заползти, чтобы переночевать, — и ничего больше» (с. 136). Автор видит их трагедию в том, что они всего лишь продукт деформирующей личность влияния общества, так как «не злые и не жестокие от природы», «они камни, за нена-

добностью отброшенные строителями. Для них нет места в жизни — все силы общества гонят их вниз, на дно, где их ждёт гибель» (с. 28-29). Лондон иллюстрирует эту мысль картиной постепенных перемен, которые происходят в короткий промежуток времени с детьми. Веселые, радостные, с возрастом они меняются — «злой колдун похищает их, и они исчезают <...> Вы обнаружите лишь хилых недоростков с уродливыми лицами, с вялым, неразвитым умом» (с. 162).

Самое большое преступление общества, по мнению писателя, в том, что оно меняет представление людей о жизненных ценностях; приоритет для обитателей трущоб — материальные блага. Современная цивилизация утилитарна по своей сути, и в обществе «всякое нарушение прав собственности карается строже, нежели нарушение прав личности» (с. 110). Писатель делает вывод, что «бездна» враждебна человеческой личности; вопреки тому, что в центре любой цивилизации должна быть человеческая личность и целью любого общества должно быть благополучие человека, современная буржуазная цивилизация во главу угла ставит собственность, а основным законом развития утверждает закон конкуренции. В этом вопросе автор, безусловно, исходит из учения Спенсера, интерпретируя его с характерным для книги трагическим пафосом, за которым обнаруживается взгляд в будущее как продолжение безотрадного настоящего: «...силами современной промышленной цивилизации непрерывно и бессмысленно создаются новые сонмы “непригодных”» (с. 118).

Впервые в творчестве Дж. Лондона в «Людах бездны» отчетливо звучит тема противопоставления жизни города и жизни на лоне природы, впоследствии ставшая центральной во многих его произведениях. Писатель в духе идей Эмерсона и Торо заявляет, что «городская жизнь вообще враждебна природе человека...», поскольку она «неестественна и губительна» (с. 32). Город способен породить только «новую породу дикарей», местом «охоты» которых станут «улицы и дома, переулки и дворы. <...> Их джунгли — городские трущобы» (с. 167). Даже городской сад, единственный островок зелени в Ист-Энде, становится символом бездушия города — в нём «не растёт ни единого цветка, в этом саду <...> растёт только трава», а ограничивающая его скромные пределы «острозубая железная ограда» (с. 40) воспринимается как метафора города, закрывающего человеку путь к наслаждению жизнью, к свободе. Оказавшись за городом вместе со сборщиками хмеля, автор особенно явно, в визуальном восприятии, ощущает всё то, что потерял современный человек, разрушив свою генетическую связь с природой: «Красивые стройные деревья укоризненно глядят на чахлах уродов, чья хилость оскверняет нетронутую прелесть природы» (с. 100). С точки зрения Лондона, утрата связей с природой — важный фактор развития современной цивилизации со знаком минус. У людей есть шанс вернуть себе человеческий облик и здоровую жизнь, если они последуют «зову сердца», «зову генетической памяти» и обратятся к земле: «Как море манит моряка, так манит их плодородная земля, и в каждом хилом, нерасцветшем теле живёт душа далёких предков, которые не знали городов» (с. 105). В позднем творчестве писателя идея возврата к земле, к труду на лоне природы как действенному фактору возвращения цивилизации на путь поступательного развития, прогресса станет одной из главных (романы «Время-не-Ждет», «Лунная долина», «Маленькая хозяйка Большого Дома» и др.).

В «Людах бездны» Дж. Лондон выражает уверенность в том, что социальные условия жизни, предлагаемые всеми институтами современной буржуазной цивилизации, являются единственными причинами неизбежной в данных условиях деградации человека и, следовательно, — основным тормозом на пути прогресса этой цивилизации. Он искренне верит в то, что при иных условиях человек мог бы стать не «винтиком» в механизме общественного развития, а главной движущей силой: «А ведь это хороший человеческий материал! В нём заложены неисчислимые возможности. В нормальных условиях он мог бы просуществовать много столетий и дать миру великих людей, героев, творцов, кото-

рыс в свою очередь сделали бы жизнь на земле краше» (с. 33). Мучаясь вопросом, как изменить ситуацию, Лондон, несмотря на свою близость социалистическим взглядам, выражает в книге сомнение в возможность положительных революционных действий, но только лишь потому, что те, кого он видит вокруг себя, неспособны ни к каким решительным действиям: «Не таким как они делать революции!» (с. 49). Возникает своего рода замкнутый круг истории: изменить ситуацию этим людям не под силу, но при неизменном положении вещей не возникнут условия формирования нового типа людей: «Но когда они умрут и превратятся в прах <...>, другие глупцы будут говорить о кровавой революции, подбирая отбросы с заплёванных тротуаров...» (49). Страшнее, в понимании автора, если разговоры обернутся делом и обитатели гетто, доведенные до отчаяния, станут представлять собой страшную угрозу: «...толпами ринутся они на Западную сторону, чтобы отомстить за все беды, причиненные жителям Восточной стороны» (с. 137). Весь ужас стихийного проявления гнева деклассированных народных масс, «толпы», лишенной личностных признаков, Лондон живописно представит в романах «Железная пята» и «Алая чума».

Объектом горькой иронии писателя в «Людах бездны» становятся те общественные институты Великобритании, которые извращают заложенный в них изначально гуманный смысл. Так, Армия Спасения, которая должна заботиться о благе человека, на деле обеспокоена только собственным имиджем, искажая понятие «милосердие». Её служащий напоминает автору не «доброго самаритянина», а скорее «центуриона», который «наслаждается своей властью». Негативную реакцию у него вызывает и торжественное мероприятие коронации, которое он сравнивает с балаганом, возмущенный нелепостью помпезности и фальшивого блеска на фоне общей вызывающей нищеты. Оказавшись свидетелем этого действия, автор как никогда ощущает себя американцем: «Я никогда не видывал ничего, столь нелепо мишурного, если не считать американского цирка и балета «Алгамбра», но и ничего столь трагически безнадежного тоже» (с. 84). Королевские солдаты в церемонии напоминают ему «авангард на цирковом параде», это «иная раса», — иронично замечает автор: «...стальные люди, боги войны, поработители мира!» (с. 88). Желая подчеркнуть униженный характер этой церемонии, он сознательно ставит его в один ряд с низменными развлечениями, подчеркивая, что этот «праздник» — для «умытых», но не для тех, кто «с восточной стороны». Антитеза усилена яркими образами «солидных лондонцев», этой «элиты» общества, и двух оборванцев, спящих на скамейке, которым нет никакого дела до праздника. Вся жестокость происходящего по отношению к обитателям дна, его нелепость и абсурдность разоблачаются в том числе благодаря библейской аллюзии. Так, сцена коронования вызывает у автора ассоциации с эпизодом обращения старейшин к царю Самуилу. Для него библейские события наполнены не столько религиозным смыслом, сколько указывают на реальные исторические события. Страдания обитателей современных трущоб Ист-Энда напоминают ему страдания, описанные в книге Иова; многочисленные смерти детей в мирное время ассоциируются с избиением младенцев Иродом, причем происходящее в английских трущобах — преступление более жестокое и страшное: «Ирод посрамлен, ведь он истребил лишь половину младенцев!» (с. 150). В форме библейской притчи, что особенно подчеркивает трагический пафос рассуждений писателя, он проводит мысль о тесной связи времен на различных уровнях: духовном, биологическом, социальном: «С тех пор миновало двадцать семь столетий! Но столь же правдиво звучат эти слова и сегодня в самом центре христианской цивилизации, где царствует король Эдуард VII» (с. 95). Обращение к Библии под пером Лондона, не раз говорившего о том, что для него существует только один Бог — человек, не просто художественный приём, но и выражение искренней веры в то, что должны существовать неизменные нравственные истины, которые должны регулировать развитие цивилизации. Такие истины он находит в Библии, понимает их как вневременной закон, должный

противостоять разгулу потребительского отношения к жизни и вульгарного следования животным инстинктам. Отсюда в книге почти риторические обращения к Богу, который допускает беззаконие на Земле, горькие выпады в сторону лицемерия тех, кто прикрывает религией собственное бездушие: «И поистине чудовищна бессердечность людей, которые верят во Христа, признают Бога и регулярно посещают по воскресеньям церковь, а остальные дни недели кутят на деньги, запятнанные кровью детей...» (с. 166).

Исторические аналогии в книге связаны не только с Библией, но и с прошлым Англии. Так возникают образы могучих белокурых героев-рыцарей, которым было знакомо чувство чести, в отличие от тех, кто в XX в. свою силу использует неблагородно. Лондон подчеркивает, что процесс перемены в нравственной природе человека был частью процесса долгого развития цивилизации. В беднейшем квартале автор знакомится с моряком Магриджем и его женой, которую символически называет «Матерью моряков». Для него в них воплощен дух англичан и Англии. Они удивительным образом сумели сохранить в себе то главное, что Лондон видит в прошлом страны и что, в его понимании, может быть залогом поступательного развития общества. В прошлом Англии он прозревает и «дух странствий», присущий «сынам Альбиона», и участие в «бессмысленных войнах», и «упрямство, приведшее их к имперскому величию» — с одной стороны. Другая сторона прошлого — «непостижимое долготерпение этого народа, безропотно несущего тяжкое бремя труда <...>, покорно посылающего своих сынов в далёкие страны — воевать и колонизировать чужие земли» (с. 107). Современная Англия, что следует из рассуждений писателя, утратила дух, присущий прежним англосаксам, отправляя лучших своих детей в чужие страны с миссией покорения; теперь англосаксы строят новую, сильную цивилизацию за океаном, в США и Австралии, а «Мать моряков уже доигрывает свою роль на мировой арене» (с. 109). Лучшие «соки» впрыснуты «в кровь новых поколений в далёких заморских странах»; в гетто остаются «деклассированные элементы», которые «теряют человеческий облик» (с. 133). Так в «Людах бездны» впервые прозвучит мысль о необходимости учитывать расовые и наследственные аспекты в понимании проблемы развития цивилизации [7], которая получит дальнейшее развитие почти во всех произведениях писателя.

Не отрицая факта развития цивилизации как такового, Лондон всё же, вслед за авторитетными людьми современности, склонен к сомнению в том, что это развитие носит поступательный характер: развиваясь в технократическом направлении, цивилизация не представляет собой шага вперед в нравственном, духовном (эта мысль ляжет в основу целого ряда культурологических теорий XX в.). В доказательство он приводит ряд фактов и мнения известных ученых, в частности Фр. Гаррисона о том, что «современный общественный строй едва ли представляет собой шаг вперед по сравнению с рабовладельческим или крепостным строем...» (с. 134). И всё же писатель полагает возможным изменить ход событий; человек должен преодолеть в себе исторически сложившуюся власть инстинктов, сделать выбор в сторону нравственного, духовного развития, поскольку он «обладает способностью к мышлению», но этот выбор зачастую зависит не от него, а от обстоятельств — того, «что обещает ему жизнь — радость или горе» (с. 158).

В конце книги Дж. Лондон выносит обвинительные приговор современной цивилизации, которая не может дать ничего положительного человеку. «...Уж лучше вернуться в дикое первобытное состояние, лучше переселиться в пустыни и леса, жить в пещерах и кочевать с места на место, чем быть поколением машинного века и обитать на дне Бездны» (с. 169) — к такому нерадостному выводу приходит писатель (эту возможность он «предоставит» человечеству в романе «Алая чума» и заставит убедиться в том, что это невозможно расценивать как вариант развития цивилизации). Тревогу вызывает у него будущее цивилизации, выстоит ли она? Задавая сам себе вопросы о том, улучшила ли цивилизация условия жизни человека, развивает ли она производительные силы, несет

ли она с собой жизненные блага большинству людей, Лондон даёт на них отрицательный ответ и приходит к выводу, что такая цивилизация должна распасться. Признавая исключительно важное для мира в целом влияние Английской империи, включающей в себя все страны, где получил распространение английский язык, писатель оговаривает исключительное положение США, чья сила – в здоровой крови, полученной в результате иммиграции: «Империя крови сильнее, чем политическая империя, а англичане в Новом Свете и в антиподах по-прежнему сильны и жизнедеятельны. Но политическая империя, формально их всех объединяющая, идёт к гибели» (с. 186).

В последующем творчестве Дж. Лондона многое из того, что он публицистически заострённо, пафосно и философски осмысленно представил в книге очерков «Люди бездны», будет спроецировано на цивилизацию США, которую писатель с большей очевидностью будет рассматривать в контексте развития мировой цивилизации. «Люди бездны» стали книгой, в которой началось формирование системы взглядов Джека Лондона на процесс эволюции общества, определилась система координат в оценке современной цивилизации, в силу чего её можно считать ключом к пониманию подходов американского писателя к этой актуальной для рубежа XIX - XX вв. проблеме, ставшей магистральной в его художественном творчестве.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Зверев А. М. Поэзия первооткрытия // Лондон Д. Люди бездны. Рассказы. – М., 1987. – С. 9.
2. Балтроп Р. Джек Лондон: Человек, писатель, бунтарь. – М., 1981. – С. 99.
3. См.: Богословский В. Н. Джек Лондон. – М., 1964; Быков В. М. Джек Лондон. – Саратов, 1968; Денисова Т. Н. Джек Лондон. – Киев, 1978; Садагурский А. Джек Лондон. Время, идеи и творчество. – Кишинев, 1978; Foner F. Jack London: American Rebel. – N.Y., 1947; Baltrop R. Jack London: The Man, the Writer, the Rebel. – London, 1976; Beauchamp G. Jack London. – Starmont, 1984; Hedrick J. D. Solitary Comrade: Jack London and His Work. Chapel Hill, 1982 и др.
4. Здесь и далее цитаты из кн. «Люди бездны» даны с указанием страниц в тексте статьи по изданию: Лондон Д. Люди бездны // Лондон Д. Собр. соч. в 13 тт. – М., 1976. – Т. 5.
5. Hedrick J. D. Solitary Comrade: Jack London and His Work. Chapel Hill, 1982. P. 61.
6. Auerbuch J. Male call: Becoming Jack London. Durham, 1996. P. 115.
7. В США был известен 4-х томный труд Ж. А. де Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1855), легший позже в основу расовых теорий цивилизации.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ЭПИГРАФ В ПОЭТИКЕ СЯТОЧНОГО РАССКАЗА Н. С. ЛЕСКОВА «ОТБОРНОЕ ЗЕРНО»

Христианская настроенность и религиозный пафос определяют идейно-художественное своеобразие творческого мира, созданного Лесковым. К середине 1880-х годов в произведениях писателя нарастают социально-критические мотивы, но их усиление связано прежде всего с созидательным лесковским «стремлением в высшему идеалу» [1].

Рассказ «Отборное зерно» (1884) в цикле «Святочных рассказов» (1886) особенно выделяется нетрадиционной трактовкой святочной темы. В истории русской словесности Лесков явился новатором в развитии святочного рассказа [2]. Во многом благодаря оригинальному таланту Лескова традиционный жанр с его устоявшимися канонами получил импульс к дальнейшей эволюции: «Я думаю, — размышлял автор в рассказе «Жемчужное ожерелье» (1885), — <...> что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе свое время и нравы» [3].

Художественную выразительность «Отборного зерна» формирует удивительный сплав лирического, эпического и сатирического начал. При этом доминирующим является слово вечной истины, заповеди, завета — евангельская притча о пшенице и плевелах. Избранные в качестве эпиграфа слова Нового Завета становятся лейтмотивом рассказа, с самого начала повествования задают ему верный тон и в конечном итоге определяют его смысловую и нравственно-эстетическую сущность.

Многие лесковские сатирические образы созданы с опорой на поэтику маски, ма-рионетки, святочного ряжения, маскарада, неисчерпаемые возможности которой использовал в свое время Гоголь: «все обман, все мечта, все не то, чем кажется!» В рассказе Лескова отъявленный мошенник, «лгунище и патентованный негодяй» (7, 65) скрывается под личиной «именитого барина». «Правильный вид» мужика — благообразного старца Ивана Петрова — также обманчив. Именно мужик помогает двум плутам — барину и купцу — завершить аферу: потопить застрахованную по самой высокой цене баржу, на которой везут мусор под видом первосортной драгоценной пшеницы.

В основе сюжета — розыгрыш, обман, шутовское действо, призванное доказать, что «наш самобытный русский гений <...> — вовсе не вздор» (7, 58). То есть мир представлен в перевернутом виде: «Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите любого западника в конец бы разорила, — наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, — он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие» (7, 68). Такая же парадоксальная ситуация — в лесковском рассказе «кстати» «Уха без рыбы» (1886): настоящего благодетеля нет, но благодеяние совершается, «вот вы и сосчитайте, сколько тут получилось прекрасных результатов! <...> «Уха» как будто «сварена без рыбы», а все-таки уха есть» [4].

«Отборное зерно» — согласно лесковскому жанровому обозначению, новогодняя «краткая трилогия в просонке» — представляет всю «нашу социальность» в лицах. «Три маленькие историйки» обозначили основные социальные сословия русской жизни: «Барин», «Купец», «Мужик» — типы собирательные, даже личных имен не имеют. Правда, исключение в этом смысле — мужик. Однако имя его — Иван Петров — тоже обобщенно-собирательное, равнозначное все тому же: «мужик». Другой «помогательный» мужик выступает под «перевернутым» по отношению к первому именем — Петр Иванов. В сущности, между ними нет никакой разницы — последний организует крестьян своего местечка с красноречивым названием Пороссячий брод (вспоминается «Скотопригоньевск» — место

действия романа Достоевского «Братья Карамазовы») поддержать авантюру.

Эти безымянные собирательные «сословия» напоминают типы щедринской сатиры, и в тексте Лескова есть прямая отсылка к сказке Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В литературоведении давно отмечены творческие связи Лескова и Щедрина. Об «известном совпадении с Щедриным в выборе тем» [5] писал еще Б. М. Другов. На «щедринское начало» в рассказе «Отборное зерно» указывает Е. М. Пульхритудова [6].

В лесковском тексте сильны не только щедринские, но и гоголевские традиции. «С Гоголем и Салтыковым меня часто сравнивали, — писал Лесков, — но не знаю, достоин ли я этого?» (XI, 385). Многочисленные ссылки на Гоголя, использование его нарицательных типов для лаконичной характеристики персонажей, постоянное живое присутствие гоголевского начала в подтексте и на поверхности лесковского текста красноречиво свидетельствуют о родстве талантов. Сюжетными ситуациями, образами Гоголя Лесков пользуется как лаконичными формулами-дефинициями, мгновенно узнаваемыми читателем и потому способными заменять пространные описания.

Так, коллизию святочного рассказа «Отборное зерно», где речь идет об афере с продажей «мусорной пшеницы», можно соотнести с авантюрой Чичикова. В чем-то аналогична жизненному пути гоголевского мошенника сама история антигероя в рассказе Лескова: «это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу» (7, 60). Характер «пройдохи-барина» писатель определяет опять-таки при помощи гоголевского типа, становящегося емким обобщением: «отталкивала меня в нем настоящая ноздревщина, но только мне так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку» (7, 64).

Сделка «барина» с купцом очень напоминает торг главного персонажа «Мертвых душ» с Собакевичем, смешной и жуткий одновременно. Видно, что гоголевская поэма хорошо знакома «барину», и, возможно, у Чичикова выучился он смелости авантур, в которых усматривал «хорошее средство для поправления своих плохих денежных обстоятельств и еще более дурной репутации» (7, 65). «Барин» прямо апеллирует к опыту гоголевского мошенника: «Возьму не дороже, чем за мертвые души». — Купец не понял, в чем дело, и перекрестился» (7, 70).

Религиозно-нравственная традиция, православное благочестие — константная составляющая живой художественной ткани произведения, часто скрытая в подтексте, но иногда прорывающаяся на поверхность текста. В приведенном эпизоде христианское чувство не приемлет понятия «мертвые души», поскольку «у Бога все живы». Купца, не читавшего гоголевской поэмы, уstraшает не только непонятное ему жуткое словосочетание, но прежде всего наглый цинизм сделки. Естественна поэтому и реплика слушателя всей этой удивительной истории: «Вы какие-то страсти говорите» (7, 72). Так в поэтике рассказа причудливо переплетаются темные и светлые стороны бытия, мотивы игры, страха наказания за грех и евангельской «сверхнадежды» на искупление и спасение.

Свиду приличная, но совершенно неопределенная, обтекаемая внешность Чичикова: «Не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» [7], — скрывает бесовскую сущность оборотня, который может притвориться кем угодно, приспособиться к любой ситуации. Такие же «перевертыши» — сатирические типы Лескова. Приспосабливаясь к эпохе «банкового периода», дворянство деградирует морально, ничуть этим не смущаясь: «Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали» (7, 71).

Мотивы «ряжения», бесовства, двойничества всегда связаны с мраком, тьмой. Так, финал святочного рассказа Лескова «Путешествие с нигилистом» (1882) содержит намек

на подобное оборотничество. Дьякон, введший в заблуждение, заморочивший всех своих попутчиков, при прояснении курьезной ситуации внезапно и таинственно исчезает. Его удел — ночь, мрак, и он скрывается при первых лучах света, когда «в городе звонили к рождественской заутрене» (7, 175). Параллель без труда обнаруживается в «Ночи перед Рождеством» Гоголя: «черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутрене побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу» (1, 202). «Мир наизнанку» у Лескова чреват самыми неожиданными превращениями (дьякон — бес), хотя намек на подобную метаморфозу есть уже у Гоголя: достаточно вспомнить выразительный пластический рисунок однотипного поведения черта и дьяка в гостях у Солохи.

С художественным принципом игрового «ряженого» изображения коррелирует формула «мир — театр». Театральность как особое свойство повествования была также усвоена Лесковым. В «трилогии» «Отборное зерно» будто на сцене разворачивается шутовской спектакль, цель которого — довести до конца начатую авантюру: «Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «ишь ты! поди ж ты!» Словом, «случилось несчастье» невеста отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул, да молвил: «Бог дал, Бог и взял — буди Его святая воля» (7, 77).

Святочное «жанровое задание» предполагает показ человеческого единения, духовного сплочения. Лесков же предложил своеобразную «антиутопию»: в шутовском спектакле «всеобщность» «актеров» и «зрителей» достигается не на христианской, как в Рождестве, а на плутовской основе. В этой лукавой импровизации «всех искреннее и оживленнее был народ» (7, 77). Такую вдохновенную «игру» понять можно: крестьяне-погорельцы, которым «строиться надо и храм поправить», не надеясь на помощь властей, предпочитают вступить в сделку с мошенниками, видя конкретную для себя пользу. Конечно, пострадало обманутое страховое общество, но так ведь это «немецкая затея» (7, 78).

Нетрадиционно преломляются в «Отборном зерне» традиционные в святочном рассказе мотивы «чуда», «дара», «спасения», воплощенные в «счастливом финале»: «все село отстроилось, и вся беднота и голытьба попривыкла и понаелась, и Божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили хваляще и благодаряще Господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто в огорчении <...> Никто не пострадал! <...> Барин, купец, народ, то есть мужички — все только нажились» (7, 78).

Если герои-праведники Лескова исповедуют евангельскую идею деятельного добра в практике жизни, то для антигероев-оборотней христианство — только внешняя обрядность, личина, прикрытие антихристовой сущности. Так, перед мошеннической отправкой баржи отслужили «молебен с водосвятием». Купец — «из настоящих простых истинных русских людей <...> страшно богат и все на храм жертвует», свободно цитирует Писание, «но при случае не прочь и покутить» (7, 63) — почти двойник Ильи Федосеича из рассказа Лескова «Чертогон» («Рождественский вечер у ипохондрика») (1879). Нравственная пороча охватывает почти все слои русской жизни, так что даже «мужик» Иван Петров, с виду «христианин самого заправского московского письма», который по субботам «ходил в баню, а по воскресеньям молился усердно и вежливо <...>, приносил в храм дары и жертвы» (7, 74), сохраняя внешнее благообразие, на самом деле давно отказался от христианских заповедей. Приспосабливаясь к духу всеобщего эгоизма и продажности, он выстраивает себе соответствующую концепцию жизни, правда, ханжески прикрытую Писанием: «нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а все по обиде», «в Писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен» — всего не омоешь, а разве хоть по малости», «Господь грех потопом омыл, а он вновь настал» (7, 75).

Но если мужик и купец еще время от времени ссылаются на «Писание», то показательно, что барин вообще не хочет знать Библии, в чем не стесняется признаться. В христианском контексте повествования этот сатирический антигерой и есть тот самый «враг», который посеял *«плевелы посреди пшеницы»* — и в прямом, и в метафорическом смысле.

Таким образом, религиозно-нравственная суть рассказа «Отборное зерно» восходит к Евангелию, о чем недвусмысленно предвещают и само название, и особенно эпиграф: *«Спящим человеком прииде враг и вся плевелы посреди пшеницы»*. Мф. XI. 25» (7, 57). В ясной, простой вместе с тем глубокомысленной притче о пшенице и плевелах как бы представлена вся история добра и зла. «Прилежно рассматривая себя и других, — размышлял автор «Христианского чтения», — мы и в себе самих и вне себя — везде находим подле добра зло, подле любви ненависть, подле высокого парения духа к небу скотскую привязанность к земле <...> Эту истину подтверждает также и История Библии. Подле праведного Авеля живет Каин <...> подле избранных учеников Господа нашего — Иуда-предатель» [8]. Словами притчи о пшеничном зерне, метафора которой раскрывает идею самоотдания и самоотверженной любви во имя других, говорил о Себе Христос (Ин. 12, 24). В Евангелии от Луки Господь уподобляет образам горчичного зерна и закваски Царствие Божие (Лк. 13, 18 - 29), куда не смогут войти «все делатели неправды», ибо только в праведности путь к спасению.

Но тот, кто испортил «отборное зерно» сором, *«вся плевелы посреди пшеницы»*, в рассказе Лескова, несомненно, есть «лукавый враг» рода человеческого или — по крайней мере — человек, продавший ему свою бессмертную душу. Именно об этом поучает евангельская метафора: «Поле есть мир, доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — это сыны лукавого» (Мф. 13, 38).

Христианская и эпическая многогранность рассказа Лескова не исключает, а скорее предполагает лирическую устремленность автора, отдающего себе отчет в том, как перемешаны добро и зло, «пшеница и плевелы» и в жизни, и в душе человеческой. Лирическое вступление к «краткой трилогии в просонке» «Отборное зерно», представляющее собой авторские предновогодние раздумья, в переживании особой временной пограничности Рождества и Нового года, острого ощущения связи со временем — сиюминутным и вечным — созвучно приветственным словам Гоголя Новому, 1834, году: «Великая торжественная минута. Боже! Как слились и столпились около ней волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая неотразимая грань между воспоминанием и надеждой. Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже пересиливает его надежда... У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее» (X, 16).

В литературоведении неоднократно отмечалась условность рождественско-новогодней приуроченности лесковских святочных рассказов. Однако святочное начало в них не только не является поверхностным, но наоборот, создает своего рода «подводное течение», внутренний план повествования — лирический и обобщенно-символический. Так, лесковская лирическая увертюра к «трилогии» «Отборное зерно» отнюдь не формально-внешняя жанровая привязка. В рассказе, который (как и некоторые другие) в первоначальной публикации не был святочным, первый и единственный «новогодний» фрагмент текста не только задает необходимую тональность, но и несет важную идейно-нравственную нагрузку, представляет в миниатюре внутренний сюжет произведения: «Учителя благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, — признается автор, — но по окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою недоволен» (7, 57). Эта лирическая медитация, стремление разобраться в собственной душе, очиститься внутренне в преддверии Нового года естественно приводит автора к тревожным раздумьям о судьбах народа, России. Важно заметить, что мучимый предновогодним подведением итогов своей жизни, автор «трилогии

в просонке» *не спит*. Это означает, что к бодрствующему духом человеку уже не сможет подобраться тот *враг*, который являлся «*спящим человеком*» в евангельском эпитафье, определившем уникальное художественное решение рассказа Лескова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 тт. — М., 1956 - 1958. — Т. 10. — С. 440. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.

2. См. об этом подробнее мою монографию: Кретьева А. А. «Будьте совершенны»: Религиозно-нравственные искания в святочном творчестве Н. С. Лескова и его современников. — М.; Орёл, 1999.

3. Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 тт. — М., 1989. — Т. 7. — С. 4. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.

4. Лесков Н. С. Уха без рыбы // Новь. — 1886. — Т. VII. — № 7. — С. 358.

5. Другов Б. М. Н. С. Лесков. Очерк творчества. — М., 1961. — С. 161.

6. Пульхритудова Е. М. Творчество Н. С. Лескова и русская массовая беллетристика // В мире Лескова. — М., 1983. — С. 180.

7. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. — М., 1952. — Т. VI. — С. 7. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

8. Притча о пшенице и плевелах // Христианское чтение. — СПб., 1836. — Ч. 2. — С. 181–182.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ЦИКЛА ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ Р. В. ИВАНОВА-РАЗУМНИКА

Русская литература 1900-х — начала 1910-х годов давно стала предметом литературоведческих исследований, академических трудов как в целом, так и «по персоналиям». А почти сто лет тому назад она была объектом критики. Время показало, что далеко не все литературно-критические оценки, появившиеся по первому следу, оказались действительно точными догадками и подлинными прозрениями; далеко не всем им была суждена долгая жизнь. Тем более интересен в таком случае опыт Р. В. Иванова-Разумника (1878—1946), ведущего критика журнала «Заветы» (1912—1914) и на протяжении двух лет его фактического литературного редактора.

Журнал выходил в Петербурге, идеологическим истоком его было народничество, послужившее основой политических устремлений партии социалистов-революционеров. Инициатором периодического издания был В. М. Чернов (1873—1952), в недавнем прошлом — разработчик эсеровской программы, ключевая фигура в партии, член её ЦК. Политическое звучание «Заветов» исходило от него. Внушительного объёма и уровня художественно-беллетристический и библиографический отделы вёл изначально В. С. Миролюбов (1860—1939), чтивший народнические традиции, а с шестого тома к нему присоединился Иванов-Разумник, по убеждениям близкий своему предшественнику. Довольно скоро он взял бразды правления в свои руки, а с мая 1913 года уже один заведовал литературной частью журнала.

Существеннейшим нововведением и отличием «Заветов» «разумниковского» периода оказалась мощная литературно-критическая составляющая. Именно в этом журнале, в короткий срок его существования, благодаря Иванову-Разумнику складывалась «платформа» «нового реализма» [1]. Она и сейчас не только не устарела, но заслуживает самого пристального рассмотрения, поскольку предвосхитила нынешнее понимание глубинных процессов в литературном движении той поры.

Разумниковский взгляд на текущую литературу, разумниковский подход к её осмыслению, заявленные в «Заветах», концептуальны. Отправным моментом в отношении Иванова-Разумника к явлениям литературной современности была в каждом конкретном случае ясно выраженная или подразумеваемая проекция на русскую классическую литературу, на её «духовную сущность». Эта плодотворная тенденция наметилась в его критическом творчестве [2] накануне появления «Заветов».

Ещё в сентябре 1911 года в предисловии ко второму изданию первого тома своих сочинений критик писал: «Есть вечные ценности, над которыми не властно время. Человеческая личность — с одной стороны, благо народа — с другой стороны являлись с давних пор такими вечными ценностями для русской общественности, для русской литературы» [3]. Здесь же он декларативно подчёркивал «ту неразрывную связь, которая существует между “старым” и “новым” в русской литературе и общественности. Это старое — признание самоцелью человеческой личности, действующей в социальной среде; это новое — возрождение той же идеи на почве современной философской мысли и современного реального социализма» [4].

Возвращение к социально-философским, нравственно-психологическим заветам классики было не только главным содержательным, но и главным циклизующим элементом разумниковской концепции. «Великие искания» [5] русских писателей, обретение их героями духовных ценностей бытия — то, с чем не расстанется Иванов-Разумник, будучи «заветовским» критиком, что всегда живёт в его личностно-профессиональной памяти. Восприятие «текущей» литературы через призму классического наследия скрепляет более тридцати его разножанровых выступлений на страницах журнала, делает их целостным,

программным литературно-критическим монологом. Эпиграфом к нему могло бы быть собственное признание Иванова-Разумника: «Мне ценно только в каждой вещи найти её “нетленное”» [6].

«Нетленные» творения русских художников слова и одухотворённые подвижническим человеколюбием творческие миры, по убеждению Иванова-Разумника, являются носителями истинной культуры. Их неоспоримое — перед лицом обезличивающей «цивилизации» — превосходство утверждено в первом же «заветовском» слове критика [7]. Оно — пролог узнаваемо разумниковского, неотъемлемо разумниковского прочтения современной литературы на страницах журнала «Заветы».

Внешней приметой такого концептуального прочтения оказалась системность суждений критика. Первым звеном цепочки концептуальных формул явилась мысль о трагизме судьбы подлинного художника. «Трагедия жизни великого старика» [8], «глубокая трагедия» (131) патриарха русской литературы Л. Толстого, как прочувствовал критик, — в невозможности быть в ладу с самим собой. «Крест этот нёс он четверть века»: «продолжал писать, продолжал учить, затаив за внешней проповедью свои внутренние искания», которые «жгли его, как лава под пеплом» (132). Попыткой преодолеть такой трагический разлад был уход Л. Толстого из Ясной Поляны. Иванов-Разумник расценивал его как шаг к перерождению: «должен человек найти себя во что бы то ни стало» (133).

Л. Толстой приковывал внимание критика как личность и как писатель, прошедший со своими героями путь через страдание к рождению человека в человеке. Такие понятия, как «трагедия», «драма», «путь», «рождение человека», «вера» (в человека, в русский народ) и другие, производные от них, были взращены Ивановым-Разумником на толстовской почве и уходили корнями в толщу отечественной классики, к Пушкину. Они стали в его «заветовских» интерпретациях сквозными, опорными, стержневыми, психологическими и логически взаимосвязанными. Без них в «Заветах» не обходилась ни одна разумниковская литературно-критическая или общественно-публицистическая «экспертиза».

Принципиально важным явилось подчёркнутое разграничение, противопоставление критиком понятий «трагедия» и «драма», синонимичных с точки зрения общеупотребительной и соподчинённых с точки зрения теоретико-литературной. Ключевой смысл этой позиции развёрнут им в первом же журнальном анализе [9]. Рассматривая повесть А. Ремизова и рассказ М. Пришвина, Иванов-Разумник извлекал из них прежде всего существо характеров главных героев, «захолустного пьяницы-следователя» Боброва и «дикого новгородского мужика» Никона Староколенного. Оба писателя, с двух сторон подходившие «к самой глубине вопроса о *чёрной России*», по его мнению, каждый по-своему говорили и «о трагедии души человека, думавшего “спасти” Россию» (42).

«Содержание “Пятой язвы”, её значение, её смысл» Иванов-Разумник видел в раскрытии «крестного пути» героя, в «*трагедии гибели*» его (45). «Подчёркиваю, — продолжал критик, — что здесь перед нами совершается не бессмысленная “драма”, а подлинная “трагедия” души: гибель её, но и рост её при этом, — падение, но падение с полётом вверх, а не вниз» (46). Иванов-Разумник настойчиво повторял, что «душевная трагедия человека, проклинавшего когда-то народ и только теперь уразумевшего, что сам он, следовательно, вне почвы народной — ничто, воплощённое бессилие, бесплодная смоковница», привела к «росту души человеческой»: «перестрадав», следовательно Бобров «должен перейти <...> к высшей человеческой правде, к любви человеческой» (48). Завершая разговор о ремизовском герое, критик вновь подчёркивал: «Он умер победителем над самим собою; умер, дойдя до вершин человеческой трагедии; умер, став человеком и приняв страдания человеческие. И вот почему жизнь и смерть его — не бессмысленная драма, а осмысленная трагедия; вот почему из мрачной, казалось бы, повести художник заставляет нас вынести светлое чувство удовлетворения» (50).

В связи с этим Иванов-Разумник впервые в «Заветах» отчётливо сформулировал

своё понимание «дела критики» — вслед за «делом художника» «воплотить трагедию в драме» — «вскрыть зерно трагедии в драматической оболочке» (51). Ища это «зерно трагедии» в жизни пришвинского героя, критик пришёл к выводу, что автор показал «бессмысленную драму жизни и смерти» старика, решившегося на «спасение» России. Он гибнет в моховом болоте, заблудившись в лесу — «не героем, не победителем», и в этой гибели — «подлинный и глубокий символизм» (57). По мысли Иванова-Разумника, «погибает он не за вину, а за беду свою, и беда его в том, что, чистый в области духа, тёмнен он в области мысли» (57). Критик не мог оставаться равнодушным, безучастным к тому, что «гибнут от темноты сознания великие духовные силы лучших людей народа» (57).

На примере одной только этой статьи видно, что творческое кредо Иванова-Разумника заключалось в деятельном стремлении донести до читателя заряд художественно ёмких духовно-нравственных идей, которые имели к тому же сильный гражданственно направленный посыл: «*Понять* эти духовные силы, а не *отвергать* их, темноты их ради, — вот требование жизни, обращённое к каждому из нас» (57), «жива душа народная <...> надо лишь уметь её понять» (58). Отсюда и конечный вывод критика, звучавший призывно: «Бодрое и радостное чувство веры в жизнь и веры в русский народ является в результате этих двух произведений, таких, казалось бы, нерадостных» (58).

Такое убеждение, сложившееся в ходе имманентного анализа, Иванов-Разумник счёл своим долгом противопоставить распространённому мнению об этих произведениях как «чёрных, отрицающих жизнь» [10]. В первом же годовом обзоре русской литературы он специально остановился на преобладающей тенденции современной критики сетовать на её «скудость и бедность», плакаться «на оскудение живой воды творчества» (51). В противовес уверениям «плакальщиков», в качестве аргумента против их попыток «доказать всеобщий “уход от жизни” современной русской литературы» (66), Иванов-Разумник почти дословно воспроизвёл свои недавние аналитические итоги: «В статье о “Чёрной России”, по поводу двух якобы чёрных произведений минувшего года, мне хотелось — и, думается, удалось — показать, какое подлинно радостное чувство за человека выносишь из “Пятой язвы” А. Ремизова, этой, казалось бы, самой чёрной и убивающей жизнь картины: её герой — герой трагедии и победитель жизни. И из тёмной драмы “Никона Староколенного” выносишь *бодрое и радостное чувство веры в жизнь и веры в русский народ*» (67).

Приём повтора — один из самых действенных в критическом инструментарии Иванова-Разумника. Слово, словосочетание, фраза, буквально повторенные им, да к тому же выделенные графически, — как правило, средство динамического выражения позиции, полемического усиления мысли. Неустанно повторяя главное, критик таким образом торил путь к сознанию и душе читателя, передоверял ему личностный, но не искажённый субъективностью взгляд на подлинные открытия и «пустоты» текущего литературного процесса.

Иванов-Разумник различал «непереходимую пропасть живого и мёртвого в русской литературе» (60). «Духовно живое от мёртвого», полагал он, отличается «только способностью любви»: «чтобы претворить мёртвое слово в живое дело, надо уметь *любить* человека, любить людей» (59). Этой способности он не обнаруживал, к примеру, у Д. Мережковского, считал его «писателем с мёртвой душой, писателем-мертвецом» (59), «мёртвым романом», «пустым местом» называл «Роман-царевич» З. Гиппиус (65–66). «Там *живое*, где подлинное *художественное творчество*» (60), — опять-таки предельно чётко формулировал Иванов-Разумник, ссылаясь при этом на публикацию «Хаджи-Мурата», а затем — на целый ряд новореалистических произведений, среди которых — и рассмотренные в «Чёрной России»...

В разумниковском определении пафоса «якобы чёрных» произведений акцент поставлен на их живом и потому общественно выраженном звучании: «Пробуждение и проявление этого чувства (веры... — Н. Н.) — вот что ценно и “нужно” всем нам в подлинно

живой литературе минувшего года» (67). В противостоянии «живого» и «мёртвого» в литературе, как утверждал Иванов-Разумник, «в конце концов побеждает всегда одно: слово *жизни*, слово *веры в жизнь*» (67). Именно это, в его представлении, являлось незыблемой основой «вечно созидающегося храма» (67) литературы.

«Чёрная Россия» содержит последовательный разворот основных концептуальных формул, которыми оперировал Иванов-Разумник на страницах журнала «Заветы». Обратим внимание на обстоятельство, свидетельствующее о единстве его «заветовской» платформы: не только литературно-критически, но и публицистически он подтверждал то, что вера в жизнь, в русский народ, любовь к людям насущны как созидательный импульс и в сфере философского постижения исторического пути России. В связи с этим показательно отношение критика к реакции С. Булгакова на недавние выборы в четвёртую Государственную Думу. В статье с красноречивым заголовком «Моховое болото» [11], открывшей «заветовский» отдел Иванова-Разумника «Литература и общественность», речь шла о «староколенной психологии дней былых» известного философа, «прошедшего через всю европейскую культуру» (106). Он напечатал в «Русской мысли» статью «Из дневника», где высказался по поводу выборов и «по этому частному случаю русской жизни выразил свою общую веру (или неверие) в Россию» (106).

«Староколенные люди нашего времени», как оценивал критик, «узкую тропу мохового болота считают верной дорогой», «погибая в болотной трясине, они плачут о гибели России, которая не идёт их путями» (111). «Одно спасение» есть у них, считал Иванов-Разумник: верить «в первое начало национальной жизни — верить в *русский народ*, в душу его» (111). Критик делился своей верой «в великие силы русского народа, которые помогут ему одолеть все внутренние тёмные влияния и выведут его на великую дорогу истории» (111).

Как видим, полемически оценивая явления мировоззренческого порядка, Иванов-Разумник обращался к формулировкам из своего литературно-критического арсенала (путь, дорога истории, вера в русский народ) и обогащал его образными понятиями, почерпнутыми из художественного творчества (моховое болото, староколенные люди). В контексте «заветовских» размышлений критика они — наряду со всеми другими — обретали концептуально-терминологическую наполненность и значимость.

К ним прибегал Иванов-Разумник и в статье «Клопные шкурки» [12], пытаясь «объяснить самому себе тот “угол” современной русской литературы и общественности, который именуется “религиозно-философскими обществами”, столь много шумящими» (114). Автор категорически не согласен с той «общественной и религиозной проповедью, которая ведётся в этих кругах» (106). Он усматривал в ней влияние всё тех же «староколенных, твёрдо познавших истину и гниющих в моховом болоте» (109). «В моховом болоте истории», определял критик, лежит путь тех, кто возомнил себя «достигшими истины пророками» (110). Это касалось участников московских собраний, выпустивших в 1912 году книгу «О религии Льва Толстого». Они задумали «выпрямить неровности» его веры, раскрыть «заблуждения, соблазняющие людей, приносящие вред их душе» (110).

Для Иванова-Разумника предпринятые действия — доказательство «бесспорнейшего гниения душевного» (110), бесконечной удалённости «от всех людей жизни, всех людей живого дела» (112). Это проявлялось в том, чего ценитель «духовной сущности» русской литературы никак не мог оправдать: «Они Слово жизни подменили безжизненным словом; они ушли <...> от жизни в словесные схемы» (111–112). Закономерно, что в качестве противоядия мертвенности критик предлагал «действенную *любовь к человеку*», ибо «только в действенной любви претворение жизни» (113): «Человек, который хочет воистину жить, должен вмешаться в самую “гущу жизни”, жить всем и во всём, не замыкаясь на голых вершинах религиозных или эстетических схем, лежащих вне жизни, вне красок мира. И ещё одно должен выполнить человек, который хочет воистину жить: он

должен любить человека. <...> А любить бесплодно, отвлечённо, на голых вершинах — нельзя» (112–113).

В «претворении жизни», как доказывал в «Заветах» Иванов-Разумник, главенствуют гуманистическая любовь и вера. Он утверждал это неизменно, о ком бы и о чём бы ни писал. Обратившись, например, к роману В. Ропшина «То, чего не было», критик стремился постичь его смылосодержащие моменты в соотношении с магистральными идеями «Войны и мира» [13]. Он блестяще показал, что по части «внутренней философии» ропшинский роман «свободен от влияния Толстого» (147): ничего подобного «внутренней, жизненной философии, рождённой от душевной трагедии», «глубочайшей философии жизни, которая составляет внутренний смысл всего романа» Л. Толстого, «нет в романе В. Ропшина» (147).

Благодаря сгущённо обрисованному толстовскому фону, Иванов-Разумник, кажется, без труда высветил самые уязвимые места ропшинского произведения: «Лишь на последней странице романа автор пытался сказать словами то, что должен был бы сказать внутренним развитием всего романа: о вере в народную, рабочую Русь, о вере в народ, в дело его освобождения, в обновлённый, на любви построенный мир, о вере в вечную правду...» (147). «Но ведь это только декларация, — справедливо заметил критик, — дело художника было — показать эту вечную правду за той накипью и пеной, которую автор, по его же словам, показал в своём романе... Но пену он *показал*; а о вечной правде, тящейся в глубине, только *сказал*...» (147). Критерий, выработанный Ивановым-Разумником для взвешенного рассмотрения «текущей» литературы, способствовал объективному отношению к такому спорному и в художественном плане невыдающемуся её эпизоду, как роман В. Ропшина.

В одной из последних статей программного характера, увидевших свет в «Заветах» [14], Иванов-Разумник подытожил свои размышления о современном состоянии отечественной литературы. Очерчивая пути литературного развития на всём протяжении девятнадцатого столетия, преклоняясь перед «пушкинско-толстовским реализмом», «основанным на религии жизни, на религии человека» (102), критик заключил: «Я боюсь быть пророком (а еще более того — лжепророком), но мне кажется, что мы теперь понемногу идём к воскрешению реализма и к возрождению в новых формах былой религии жизни, религии Человека — той самой, на почве которой родились два величайших реалистических произведения XIX-го века, «Евгений Онегин» и «Война и мир», — той самой, на которой было построено всё народничество от Герцена до Михайловского» (107). Таким образом, плодотворная направленность «нового реализма» (107), по убеждению Иванова-Разумника, была бы невозможна без капитального вложения в него нравственно-эстетической и общественно-идеологической традиций. С большим достоинством поставлена им последняя точка в разговоре о главном: «Мы можем гордиться своим прошлым, можем быть спокойны за настоящее, можем твёрдо идти к вечным целям по вечному пути реализма» (110).

Прежде чем подвести черту, Иванов-Разумник ещё раз упомянул о Ремизове, Сергееве-Ценском, подразумевая рядом с ними «других <...> художников слова, бессознательно строящих на религии Человека, представителей *нового реализма*, <...> славящих “рождение человека” в человеке» (108). По Иванову-Разумнику, «глубокая вера в жизнь неразрывна с “трагическим” отношением к жизни, с “трагическим” пониманием её: в этом — всё содержание русской литературы, начиная от Пушкина и кончая Л. Толстым» [15]. Нравственно-философская доминанта неореалистических поисков, с точки зрения критика, генетически обусловлена. Опираясь на толстовские уроки, в небольшом отзыве на спектакль Александринского театра по пьесе Л. Андреева «Профессор Сторицын» он вывел чёткую формулу: «Трагедия — участь *каждого*. <...> Суть же трагедии всегда в том, что *рождается человек* — быть может, уже в минуту смерти своей...» [16]. В таком случае

трагедия профессора по справедливости возведена к сходным — к трагедии толстовского Ивана Ильича и к трагедии его создателя. Профессор Сторицын, как и его гениальный предшественник, «тоже ушёл из дома навсегда, и это тоже было последним актом в его трагедии» (156). Подобранный ранее ключ подошёл для проникновения в средоточие произведения, не получившего адекватного сценического истолкования.

«Заветовский» роман В. Ропшина был открыт именно этим ключом. Вступив в бурную полемику по «Тому, чего не было», Иванов-Разумник вынес, пожалуй, самые точные его оценки не только относительно «философии», но и характера главного героя. Критик предъявил ему бескомпромиссный счёт по известным уже пунктам: «Герой романа не подвинулся ни на шаг в духовных поисках. И в результате — герой есть, но *нет трагедии*, нет роста души человеческой, нет рождения её. Перед нами всё время только тяжёлая и неразрешимая *драма*, а драма тем и отличается от трагедии, что в трагедии человек духовно рождается, а в драме он случайно погибает» [17].

Эта мысль была логически развита. «Действительно ли не было трагедии в душевных переживаниях деятелей революции?» — вопрошал критик. Отрицательно ответив на этот вопрос, он констатировал, что с Андреем Болотовым «происходит только та “псевдотрагедия”, которая может лишь по недоразумению считаться подлинной. Ибо, повторяю ещё раз: между драмой и трагедией та разница, что драма есть смерть человека, а трагедия — духовное рождение его в муках и страданиях» (148). «Страдая над вопросом о нравственной норме» (148), Андрей Болотов «не сошёл с мёртвой точки» (144).

Резюме Иванова-Разумника совершенно закономерно: «Беспримесная драма — смерть Миши Болотова от шальной пули; такая же драма — смерть Александра Болотова в минуту поражения и разгрома. А та душевная трагедия, которую, несомненно, пережил Александр Болотов, перерождаясь из лейтенанта российского флота в члена революционного комитета, — осталась за кулисами, автор нам её не показал. «Три брата» — главные герои романа — гибнут в муках и страданиях, но не рождаются, гибнут, как герои тяжёлой и безвыходной драмы, а не осмысленной внутренне трагедии. О других действующих лицах нечего и говорить. Нет трагедии; но она *была*» (146). Это же заключение графически выделено на завершающем этапе анализа: «В романе этом *нет трагедии*, хотя автор всё время старается проводить её» (149).

Разумниковская трактовка произведения не претерпела изменений и по прошествии времени. В годовом обзоре литературы [18] критик писал о романе В. Ропшина как о «значительном беллетристическом явлении, имеющем несомненный литературный и общественный интерес» (92) и по-прежнему отмечал, что «в трагических переживаниях его героев нет трагедии» (92), что «”трагедия” заключается в рождении и росте души, а не только в драматических коллизиях, как бы ярки они ни были» (92). В итоге он выразил сожаление о том, что «духовное богатство» (92) характеров осталось нераскрытым: в романе «много драматических коллизий, много изготовления прокламаций и бомб, но нет ни подлинных революционеров, ни их трагедии. А казалось бы, какой благодарный материал для художника!» (92).

Памятуя о толстовском опыте, Иванов-Разумник подверг критике и роман Б. Зайцева «Дальний край». В очерке творчества этого писателя [19] он вновь сослался на неотъемлемые, по его убеждению, черты отлитого в «Войне и мире» крупного повествовательного жанра. «Очень беглые мысли» (227) на сей счёт были высказаны им с помощью знакомых категорий: «Мне уже не раз приходилось мельком говорить на этих страницах о трагедии и о драме — и к теме этой я надеюсь ещё подойти вплотную. *Трагедия* для меня есть *рождение человека*, хотя бы в минуту его смерти; *драма* есть *смерть человека*, хотя бы после этого он продолжал жить ещё десятки лет. Не боясь слишком общей фразы, я сказал бы, что *роман* есть *жизнь человека*, или более узко — рост его. Иногда эта жизнь кончается трагедией, иногда драмой, но по существу роман всегда ведёт нас по линии *роста героя*» (226–227).

Исходя из этого, критик вынужден был констатировать, что в романе Б. Зайцева нет романа, поскольку герои его — «вечные духовные недоросли» (230) — не наделены способностью к внутреннему развитию. Рассматривая зайцевское произведение сравнительно с толстовским, Иванов-Разумник со всей строгостью определил: «В романе Бориса Зайцева героем является именно такой Николай Ростов, которого автор очень хотел бы заgrimировать под князя Андрея. Этот Петя, с которого начинается и которым заканчивается «Дальний край», приедается уже на десятой странице; его духовный рост бесконечно неинтересен, скуден, беден; это нищая душа и очень добрый малый. И не он один...» (227). Так высоко поднимая планку требований перед современными романистами, критик в очередной раз побуждал их вернуться к художественным истокам, которые не иссякли, не устарели, не утратили целительной духовной силы, а заодно подавал читателю пример взыскательности.

«Вплотную» о существе понятий «трагедия» и «драма» применительно к современной литературе Иванов-Разумник заговорил в связи с выходом собрания сочинений С. Сергеева-Ценского, в обширной статье, посвящённой творческому пути писателя. Именно в его художественном мире в большей степени, на большем пространстве, чем у Ремизова и Пришвина, критик заметил мощно развивающиеся «ростки *нового реализма*» [20]. Стержнем разумниковского рассмотрения самобытного творчества зрелого художника стало многократно подтвердившееся в ходе анализа наблюдение о том, что в «духовной сущности Сергеев-Ценский связан с прошлым русской литературы» [21]. В системе воззрений Иванова-Разумника представление о «прошлом» запечатлелось в конечном счёте как аксиоматичное: «Русская литература — как и всякая великая литература — *трагична* по своим устремлениям, по своим вопросам и исканиям. Чем жива душа человеческая? и когда она воистину жива? — в этих вопросах, приводящих к трагедии, — вся русская литература» (134). «В этих вопросах», по логике Иванова-Разумника, — корень неореализма, в понимании и освещении которого он достиг поистине классической ясности.

Мысль о *трагичности* всей русской литературы в её целом» (140) звучала в статье и с полемической адресацией: «Всякая великая литература насквозь трагична, и только душевно слепые не умеют различать этой светлой трагедии от тёмной драмы, а потому и мажут в чёрный цвет современную литературу» (140). Критику приходилось пробиваться через «полное непонимание» (140): «Не в первый раз приходится мне говорить обо всём этом; что же делать, если так трудно воспринимаются у нас все эти слишком несомненные истины» (140). То, что для Иванова-Разумника было само собой разумеющимся, а для его многочисленных, в том числе влиятельных, оппонентов далеко не очевидным, вновь и вновь, истины ради и с великой заинтересованностью в соотечественнике провозглашалось со страниц «Заветов»: «Трагедия есть рассказ о рождении души человека — и она всегда светла; мрачна лишь драма — рассказ о смерти человеческой души» (140). С неубывающей энергией боролся Иванов-Разумник с «ходячим мнением, трафаретом, который оскомину набил» и который сводился к следующему: «Какая безнадежная, больная, отрицающая жизнь эта современная русская литература!» (140)

Художественные поиски и открытия Сергеева-Ценского, которого критик считал одним из самых крупных представителей этой литературы, оказались достойным аргументом в защиту диаметрально противоположной точки зрения. Богатым материалом характеров и судеб своих героев этот писатель, в проникновенном истолковании Иванова-Разумника, утверждал преемственность духовных исканий.

Излюбленная разумниковская идея пронизывает всю статью, каждый раз вырастая из содержательной структуры текста. Критик улавливает её переключку с толстовским словом: «*Никогда не поздно стать человеком* и отвергнуть всю свою былую жизнь. Такое “рождение человека”, хотя бы в минуту смерти, и составляет сущность *трагедии* — всегда глубоко радостной: человек родился!» (139 — о рассказе «Бред»); «только в страданиях

рождается душа человеческая, в этом существо всякой “трагедии”. <...> Душу заработать надо — в этом вся суть “трагедии” жизни человеческой, жизни, которую надо заслужить» (146 — о повестях «Лесная топь» и «Печаль полей»); «чувствовать человека — значит, чувствовать боль человеческую, страдать ею, брать её на себя. И только такие страдания — подлинно рождающие» (148 — о рассказе «Небо»).

Этого, по наблюдениям критика, нельзя сказать о поручике Бабаеве, герое одноимённого романа. И о нём, и о самом произведении, в котором выведен этот герой, Иванов-Разумник высказался критически: «Роман там, где описывается рост человеческой души, — но никакого роста героя нет в этом произведении Сергеева-Ценского. Поручик Бабаев — каков на первой странице, таков и на последней, и весь “роман” — это только ряд связанных этюдов и законченных рассказов на одну и ту же тему — о муках души, неспособной родиться и вечно ищущей освящающее жизнь “что-то”. Бедная, слепая душа, — она не видит, что это “что-то” как раз и заключено в её исканиях...» (145).

Историю героя повести «Движения» — «самого значительного произведения “нового реализма” за последнее время» (149), критик рассматривал как «душевную трагедию» — «вечную тему русской литературы, гениально воплощённую в “Смерти Ивана Ильича”» (149): «Если жизнь исчерпывается внешним строительством, если нет в ней внутренней работы, — она мертва духом; и пусть тогда приходят удары судьбы — лишь бы родился человек. <...> И нет события, радостнее этого; “днесь рождается, — славите!” — как поют в церковном песнопении. В этом смысл трагедии, — и песня эта давно уже звучит в русской литературе. В творчестве Сергеева-Ценского она прозвучала ещё раз, и не заглухнет она, пока жива русская литература» (152). В годовом обзоре Иванов-Разумник утвердил за писателем место продолжателя пушкинско-толстовского реализма с его верой в жизнь, неотделимой от трагического понимания её: «В это русло входит и творчество Сергеева-Ценского» [22].

Очертания «платформы» нового реализма явственно проступили благодаря единству критериев, предъявленных критиком современной литературе в целом, в её неразделимом потоке. Это единство цементировалось представлением критика о нерасторжимых связях новой литературы с классикой. Перспективность новаций, что следовало из литературно-критических разборов Иванова-Разумника, можно было оценить только в соотношении их с «вечными» ценностями; продуктивность открытий и обретений нового реализма прояснялась, оттенялась их литературным окружением.

Система понятий, концептуальных формул, «работавшая» в «Заветах», была органична для её создателя. Она являлась не мёртвой схемой, а живым словом, выражаясь разумниковским языком, поскольку была порождена «духовной сущностью» самой литературы. Именно благодаря тому, что эта система была задействована критиком, оказалось возможным выявление «лица», определение «статуса» и места в литературном потоке новореалистических произведений. В тех же целях она распространялась также на синхронный им литературный контекст, результативно применялась для характеристики творческих индивидуальностей (А. Блока, Ф. Сологуба, Н. Клюева, Ю. Верховского), «срабатывала» при квалификации явлений общественно-литературной и религиозно-философской жизни. Всё это позволяет считать «заветовские» выступления Иванова-Разумника своеобразным циклом.

Иванов-Разумник был вдохновенным создателем литературно-критического полотна, которое ткалось на глазах читателя из только что появляющихся «нитей» и оказалось в итоге не рассыпающимся, хаотически беспорядочным, «черновым», а соразмерно-многокрасочным, стройно-многоголосым, с сочными акцентами, неброским, но по большей части доброкачественным фоном и отдельными вкраплениями «мёртвых» зон, не отменявших оптимистического взгляда на настоящее и будущее русской литературы. Обеспечивала концептуальную съединённость всех частей этого полотна его «основа»,

духовно-нравственная традиция отечественной литературы и общественной мысли, меж прочными «нитями» которой и скользил критический «челнок».

Отточенные формулировки, ставшие формулами и связавшие воедино все «заветовские» выступления Иванова-Разумника, — свидетельство сложившихся взглядов критика, примета зрелости его системы воззрений, признак программности его слова в журнале и — следствие полемической ситуации, точнее — непрекращавшейся острой борьбы за умы и души современников. Такого высокого накала постижение и преподнесение литературы, утверждение её «вечных путей» не могло пройти бесследно для читателя. И дело даже не столько в завидном уровне ознакомления его с литературными новинками, сколько в том, что вышло за пределы литературой критики как таковой. Разумниковское слово в «Заветах» — притягательное, энергоёмкое явление духовной жизни, востребованное в наши дни ничуть не меньше, скорее даже — больше, чем почти сто лет назад.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В. А. Келдыш, характеризуя состояние реализма начала XX века и тенденции его развития, говоря о появлении в 1900-е годы нового реалистического течения, обращает внимание на сопутствующее «художественному запечатлению» «особого синтеза бытийного и социально-конкретного мировоззрения» «понятийное его осознание»: «Примечательно, что именно в 1910-е годы была предпринята попытка оформить — на основе подобного устремления мысли — творческие платформы: в товариществе «Книгоиздательство писателей в Москве», образованном в 1912 году, и в петербургском журнале «Заветы» (его литературном отделе), начавшем выходить в том же году». — См.: Келдыш В. А. Реализм и неореализм // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). Кн. I. — М., 2001. — С. 269–270.

2. В 1911 году в предисловии ко второму тому своих сочинений, Иванов-Разумник писал, определяя задачи критики: «Не случайно критик оказывается вместе с ним (художником. — Н. Н.) и вскрывает подсознательную почву, философскую и религиозную основу художественного творчества: не случайно — так как это обусловлено строго необходимой “созвучностью” этого критика и этого художника. И потому — сама “к р и т и к а” неизбежно есть “т в о р ч е с т в о”». — См.: Иванов-Разумник. Творчество и критика (Вместо введения) // Иванов-Разумник. Сочинения. Т. II. Творчество и критика. — СПб., 1912. — С. 6 (разрядка автора. — Н. Н.).

3. Иванов-Разумник. Вечные ценности (Вместо введения) // Иванов-Разумник. Сочинения. Т. I. Литература и общественность. — 2-е изд., доп. — СПб., 1912. — С. 3 (разрядка автора. — Н. Н.). Важно отметить, что эта мысль почти без изменений была высказана критиком и в одной из итоговых журнальных статей — «Заветы прошлого и достижения будущего» (Заветы. 1914. № 5. II отд. — С. 105).

4. Там же. — С. 4.

5. Эти слова явились общим заглавием третьего и четвёртого томов разумниковских сочинений. См.: Иванов-Разумник. Сочинения. Т. III. Великие искания. Виссарион Григорьевич Белинский. — СПб., 1912; Иванов-Разумник. Сочинения. Т. IV. Великие искания. Лев Толстой. — СПб.: «Прометей», 1913. Предисловие к первому из этих томов датировано октябрём 1911 года, второго — октябрём 1912-го. Подготовка собрания сочинений, как видим, предшествовала разумниковскому творчеству в «Заветах», точнее — примыкала к нему и совпадала с ним, была фундаментом «заветовских» выступлений Иванова-Разумника.

6. Скиф. Глennое и нетленное (О «Профессоре Сторицыне») // Заветы. 1913. № 1. II отд. Текущая жизнь (Обзоры и заметки). IV. Театр. — С. 156.

7. Скиф. Человек и культура (Дорожные мысли и впечатления) // Заветы. 1912. № 6. II отд. — С. 46–68.

8. Иванов-Разумник. Памяти Л. Толстого // Заветы. 1912. № 7. II отд. — С. 131. Здесь и далее цитируется по называемому в каждом отдельном случае тому с указанием страниц в тексте. Курсив везде Иванова-Разумника.

9. Иванов-Разумник. Чёрная Россия («Пятая язва» и «Никон Староколенный») // Заветы. 1912. № 8. II отд. — С. 40–58.

10. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Русская литература в 1912 году // Заветы. 1913. № 1. II отд. — С. 66.

11. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Моховое болото // Заветы. 1912. № 9. II отд. — С. 106–111.

12. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Клопные шкурки // Заветы. 1913. № 2. II отд. — С. 105–114.

13. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Было или не было? (О романе В. Ропшина) // Заветы. 1913. № 4. II отд. — С. 134–151.

14. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Вечные пути (Реализм и романтизм) // Заветы. 1914. № 3. II отд. — С. 93–110.

15. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Русская литература в 1913 году // Заветы. 1914. № 1. II отд. — С. 91.

16. См. 6-ю сноску. — С. 155.

17. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Было или не было? (О романе В. Ропшина) // Заветы. 1913. № 4. II отд. — С. 147.

18. См. 15-ю сноску.

19. Иванов-Разумник. Литература и общественность. Дальний край (О романе и рассказах Бориса Зайцева) // Заветы. 1913. № 6. II отд. — С. 222–233.

20. См. 14-ю сноску. — С. 107.

21. Иванов-Разумник. Жизнь надо заслужить (Собрание сочинений Сергеева-Ценского. ТТ. I – VI) // Заветы. 1913. № 9. II отд. — С. 132–154.

22. См. 15-ю сноску. — С. 91. Подробнее об этом: Новикова Н. В. Иванов-Разумник о Сергееве-Ценском (по страницам журнала «Заветы») // Вестник АГТУ. Научный журнал. — Астрахань. — № 5 (28) / 2005. — С. 155–164.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ (ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА)

В романе «Сестра Керри» Драйзер называет свою героиню «маленьким, плохо вооруженным рыцарем, вышедшим на завоевание Фортуны», а ее путь в мире — путем пилигрима. В этих словах заключена одна из культурных парадигм национального самосознания американского народа. Многие мастера художественной словесности, начиная с колониальной эпохи и до наших дней, опирались в создании своих картин мира на образ странника в неведомой земле, ищущего... что? Новый дом, взамен оставленного позади и навсегда утраченного очага... «Золотую» мечту, миражом богатства и славы властно зовущую вперед... Наконец, Истину.

Впрочем, родоначальники литературы колониальных времен, новоанглийские мыслители XVII века не мучились сомнениями относительно Истины: они твердо и горячо верили, что она у них есть.

Именно сознание **обладания истиной** явилось одним из главных факторов, обусловивших специфику художественного мироощущения, художественных жанров и стилей в литературе той эпохи.

Так, наиболее адекватным оказалось повествование о повседневной жизни, облаченное в форму дневника. Адекватным потому, что помогало одновременно выстраивать событийную историю колоний и выражать личностное отношение к ней через осмысление прожитого. В этом выражалась, главным образом, содержательная сторона дневниковых записей, в то время как философское постижение повседневных реалий бытия определялось Истиной Священного Писания. Так складывался особый тип дневника как литературного жанра. Дело не только в том, что эти книги буквально насыщены цитатами из Библии. Колониальный дневник представляет собой **трехуровневый** текст, в котором категория времени выступает определяющим фактором жанровой структуры: 1) присутствие Библии в качестве **фона** Вечности и проекция событий колониальной истории на этот фон придает жанру эпическую торжественность и панорамность; 2) смелые и прямые параллели с эпизодами Ветхого и Нового Заветов вводят стихию мифопоэтики (иными словами, творят из истории колонизации Америки новый религиозный миф, который, заметим, положил начало чрезвычайно продуктивной традиции); 3) субъективное, психологическое время, соотносясь с притчевым, помогает человеку (герою, автору) осмыслить себя одновременно в формуле «здесь и сейчас», а также **частью** мирового исторического процесса. Последнее вело, как результат, к концентрации внимания на идее предназначения колониста, то есть его провиденциальной «миссии».

В подтверждение этих положений сопоставим два текста, сыгравших важную роль в становлении литературных традиций будущей нации: «О плантации в Плимуте» Уильяма Брэдфорда (создавался с 1630 по 1650 гг., опубликован в 1856 г.) и «Повествование о пленении, страданиях и освобождении миссис Мэри Роландсон» 1676 г. Эти дневники разделяет дистанция в четверть века, сказавшаяся, хотя и не радикально, в некоторых «коррекциях» жанра.

То, что различает эти книги, сразу бросается в глаза: у Брэдфорда неторопливая, многословная повесть о мытарствах первых переселенцев, об их мужественных деяниях и заслуженных радостях; у Роландсон трагический рассказ о ее 11-недельном пленении индейцами. В первой из двух книг преобладает «общинный» дух, он формирует своего рода сагу, а слова автора звучат голосом не только участника, но и свидетеля, хроникера. Повествование Роландсон выдержано в более субъективном тоне, что вполне естественно. Вместе с тем здесь обнаруживается любопытная черта: автор тоже является **сви-**

детелем, смотрит на свои страдания и поступки не только «изнутри», но и «со стороны». Причина — в том общеполитическом, библейском подходе к явлениям реальной жизни, который объединяет оба дневника и придает им черты жанровой общности.

Мэри Роландсон постоянно соотносит свои «приключения» с различными эпизодами из Библии, извлекая из этого соотношения нравственные уроки. Новаторская суть ее дневника состоит в том, что она свою **личную** судьбу представляет как символическое воплощение общеполитического провиденциального пути. Необходимо уточнение: личное здесь еще не противостоит «общинному», оно имеет сугубо «библейскую» определенность. Мысли, чувства и поступки героини эмблематичны. Они выступают более иллюстрацией мировоззренческих постулатов, чем картинами неповторимой человеческой жизни.

Таким образом, прослеживается некоторое движение жанра: у Брэдфорда Истина ведет пуритан за собою, и дневник выстраивается как сказание о «деяниях» христиан в Новом Свете; у Мэри Роландсон ее «странствия поневоле» выявляют — на каждом этапе — твердую поступь той же Истины. Весь путь героини служит **подтверждением** Истины. Дело в том, что пленница воспринимает свои страдания как справедливое воздаяние за небрежное отношение к христовым заповедям, поэтому ее житейский опыт возвращает ее к Истине, то есть укрепляет (через страдания) ее веру.

Три замечательных поэта XVII столетия увековечили драматизм и величие духовных исканий новоанглийских колонистов: Анна Брэдстрит, Майкл Вигглсворт и Эдвард Тэйлор. Они создали прекрасные образцы христианской поэзии в жанрах, близких дневниковым и, в целом, исповедальным. И названия были соответствующими: «созерцания», «размышления», «наблюдения». Вместе с тем, здесь обозначаются уже контуры двух жанровых разновидностей: диалога и «комментария» к библейской истории.

Диалогическая форма предполагала «персонификацию» беседующих, даже если они представляли собой абстрактные категории. Замечательна в этом отношении поэма А. Брэдстрит «Плоть и Дух» 1650 г. Они — сестры, но и вечные соперницы. Их диалог выглядит не просто состязанием двух образов жизни и мысли, но ведет к глубокому философскому анализу смысла жизни. Плоть задает сестре целый ряд непростых вопросов; в ответе Духа содержится одна из важнейших идей Библии: они **не** сестры, так как отцы у них разные. Плоть — наследница ветхого Адама, Дух спустился сюда от своего небесного Отца. Метафоры, одна ярче другой, выстраивают типологическую антитезу, которая иллюстрирует ложное, иллюзорное существование и — истинную Жизнь.

Уже здесь, в ранних стихах Нового Света проявляется характер того синтеза, который станет неотъемлемой частью национальной поэтики: сочетание наглядной, обыденной детали и символического плана. У Э. Тэйлора, которого американская наука выделяет особо как предтечу поэтических открытий последующих веков, диалог удивительно показателен, как в плане протестантского мироощущения, так и в жанровом отношении. Значительная часть его «Размышлений» (опубликованных лишь в 1939 г.) построена в виде страстных воззваний к Господу, которому он адресует множество вопросов. Можно наблюдать, как из коллективного, общепринятого, укорененного в христианском сознании богатства библейской мудрости вырастает **личное** отношение. Мир отступает, уходит вдаль, и человек (автор!) остается лицом к лицу со своим Создателем. Он изливает в стихе свою горечь и тоску от сознания неуверенности в отношении к себе Бога, в Божьем Промысле. И хотя «Пролог» начинается смиренным сравнением себя с «крупницей праха» (это определение повторяется семь раз в небольшом по объему «Прологе»), общий пафос «Размышлений» далек от смирения. Уже в первой строке заключен пристрастный вопрос: может ли эта «крупница праха» весить больше, чем земля и сияющее небо? Здесь нет ни тени иронии или запальчивости, поэт просит у Создателя вдохновения, достойного, чтобы воспеть Творца. Здесь есть другое, то, что потом проявится в трансцендентализме

столь масштабно и открыто: вера в то, что человек, будь то автор или герой, — просто человек, есть **сын божий**. Интересен ракурс диалога: поэт своими вопросами как бы исподволь «внушает» эту идею Господу и — себе.

У третьего из поэтов той поры, М. Уигглсворта, наиболее известное и поучительное произведение «День Страшного Суда» 1662 г. Оно очень оригинально и имеет черты апокрифа, не столь типичные для колониальной литературы Нового Света. Между тем здесь есть не сразу уловимое, но знаменательное сходство с серией «Размышлений» Э. Тэйлора. Оно зиждется, как это ни удивительно, на том же «дискурсе». Настал день Страшного Суда, и автор хорошо передает атмосферу смятения, паники, лихорадочной суеверности, которую, согласно Апокалипсису, застанет Христос во время своего Второго Пришествия. Но вот перед Судьей проходят одна за другой группы «братьев по греху» и повествование движется от описания к **диалогу**, хотя начинается все, как у Тэйлора, со смиренной мольбы. Первая группа (фарисействующих?) начинает подробно и красочно описывать свои «деяния по закону» и ждет оправдания. Ответ Судьи дан в полном соответствии с Апокалипсисом: он проясняет разницу между «делами без веры» и «делами из веры». Затем идут «слепые», то есть те, кто не знал Слова Божьего. Они тоже защищают себя, апеллируя к логике: если они **не знали**, то достойны не осуждения, но помилования. И далее следует высокая дискуссия о свободе человеческой воли, о Свете Истины, которая светит **всем**. Интересен совсем не детский спор с Господом тех, кто умер во младенчестве. Их основной аргумент состоит в том, что **лично** они не грешили: «Адам откусил от Твоего яблока, а не мы». Это тоже стимулирует «дискуссию» о родстве всех людей, о человечестве как единой семье, об ответственности всех за каждого.

Вся поэма, в особенности ее финал, носит дидактический характер. Вместе с тем, она заключает в себе (как и поэзия А. Брэдстрит и Э. Тэйлора) попытку **осмыслить**, в каком положении относительно Творца находится человек и каковы пути, ведущие к Истине.

Достоин внимания еще один источник художественного вдохновения в колониальной литературе. Я имею в виду многочисленные «свидетельства чудес», напрямую «связанных» с Промыслом Божиим. Неудивительно, что в качестве главного события — чуда — воспринимался сам факт основания поселений в Новой Англии. Идея провиденциальной судьбы, владевшая праотцами нации, определила подбор цитат — доказательств этого «чуда», извлеченных из Библии.

Эдвард Джонсон, так и назвавший свой дневник: «Чудеса Божьего Промысла в Новой Англии» 1654 г., привлекает в качестве ветхозаветной аллюзии символику Ноева Ковчега, когда повествует о путешествии англичан к берегам Америки. Коттон Мезер назвал губернатора колонии в Плимуте Моисеем, который «вел божий народ» в дикой пустыне.

Показательно, что в воображении колонистов ветхозаветная история и события Евангелия свободно переплетаются. Так, Э. Джонсон, апеллировавший к Ветхому Завету, ссылается также на необыкновенную Сверкающую Звезду, пришедшую с восточного побережья в 1618 году, стоявшую некоторое время над вигвамами изумленных индейцев. Осознав, что грядут великие события, индейцы связали появление корабля первых переселенцев со Сверкающей Звездой. И таких примеров много, они не только мифологизируют историю колонизации, но и придают этим мифам своеобразный художественный эффект.

Сопоставив между собой все эти аллюзии и прямые ссылки на Священное Писание, можно сделать интересное наблюдение: проекция колониальной жизни одновременно на Ветхий и Новый Заветы не только не мешает цельности восприятия общей картины, но выводит на новый уровень религиозно-философского обоснования этого «провиденциального пути». Действительно, сравнивая колонистов то со спасенными в Ноевом Ковчеге, то с иудеями, ведомыми Моисеем, то с «войском Христовым», американские

мыслители, участники той драматической эпопеи, творят своего рода **продолжение** христианской истории. Своими «деяниями» они обозначают в ней новую страницу, причем создается впечатление, что колонисты «проживали», осваивали опыт как древнеиудейских племен, так и ранне-христианских подвижников. Но это еще не все. Они ощущают себя **наследниками** обеих духовных традиций, развивая их далее соответственным опытом. Приведу некоторые факты (подтверждающие это обобщение), извлекая их из литературных источников. Да, утверждал У. Брэдфорд, новые христиане оказались в дикой пустыне и были ведомы «своими Моисеями», но, в отличие от ветхозаветных прародителей, не возроптали, но возложили твердое упование на волю Господню, а потому имеют надежду избежать наказания 40-летним блужданием в диких дебрях Америки. Да, они мужественно пустились в путь, подобно апостолу Павлу, имея целью распространение Благой Вести. Однако апостол Павел был встречен дружелюбными аборигенами, а они? Из-за каждого дерева на них могла быть направлена смертоносная стрела. Да, их вполне можно сравнить с ветхозаветным Самуилом, но у них новая, христианская миссия... Наконец, настойчиво повторяется мотив чудесного избавления поселений от происков Сатаны — неизменно Божьим Промыслом.

Поскольку многие дневниковые записи, проповеди, домашние журналы содержат описания чудес самого разного рода (но с непременным религиозно-дидактическим смыслом), можно предположить следующее. В недрах общепринятых тогда жанров литературы зарождалась также и традиция нового фольклора. Воображение колонистов, «пропускавшее» впечатления повседневной жизни через призму христианской образности, начинало слагать свой тип народных сказочных жанров, опиравшихся на новоанглийские «чудеса» как на один из самых плодотворных источников.

Два долгих века колониальной истории, предшествовавшие появлению независимого государства, оказались, в духовном смысле, тем первым «плавильным тиглем», из которого возникла национальная самобытность будущей американской культуры. А ее прародители искали Истину, чтобы служить ей. Вот какими словами выразил умонастроение своих современников Дж. Эдвардс, замечательный философ XVII века: «Читая книги о прошедших веках, я испытывал самую большую радость, когда узнавал о том, как распространялось христианство..., в особенности же о том, как евангельские обетования и пророчества обещали Царство Божие на земле» [1].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. American Literature Survey. N.Y., 1967, p. 167 (Перевод мой. — В. С.).

НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Постоянное внимание отечественного литературоведения к творческому наследию Г. Р. Державина объясняется не только самобытностью его поэтического дара, но и оригинальным выражением национального русского мировосприятия. В 1916 году вопрос о мировоззрении поэта был выделен и подробно рассматривался в монографии Н. Вальденберг. Исследовательница обратилась к изучению лирики 1780 – 1810-х годов и обнаружила последовательно выраженное «общехристианское мировоззрение» [1]. Из анализа целого ряда произведений, показывающих динамику развития творческого метода поэта, сделан вывод о религиозной основе нравственно-эстетических его представлений. Согласно логике исследования, в лирике Державина утверждаются основные идеи учения православной церкви, «что мир создан и управляем Богом, что человек есть высшее из Его созданий и за все дела свои ожидает суда Божия, а за ним награды или наказания в будущей жизни» [2]. В том же году Б. М. Эйхенбаумом было высказано мнение о постижении поэтом материальной и духовной сущностей природы и человека. По мнению ученого, «бытие Державина построено на гармонии природы и духа, на их слиянности в огне любви», познав «власть света» и «тьму смерти», поэт предварил своим творчеством романтическое осознание трагической антиномичности мира, утверждая победу любви над «холодом рассудка» [3].

В последние годы в России предпринимаются новые попытки объяснить своеобразие поэтического мировидения Державина в его многосторонней целостности. М. М. Дунаевым осуществлено системное рассмотрение вопроса в контексте литературной эпохи и с позиции русского православия. Сделаны выводы о том, что «у одного лишь Державина поэтическая мощь и совершенство поэзии так полно и безусловно соответствует избранной теме» [теме Бога. – Т. Ф.] и что всем творчеством «Державин познает Бога через познание Его отражения в творении» [4]. И. Б. Александровой мировоззрение поэта связывается с естественнонаучными и философскими представлениями крупнейших мыслителей эпохи – М. В. Ломоносова, И. Г. Гердера, Б. Паскаля – и Ветхозаветной истиной «вездесущего» Бога, воля которого до конца непостижима и само бытие безгранично велико [5]. Активно исследуется выражение основанного на религиозности нравственного убеждения Державина в отдельных его произведениях [6].

Автор данной статьи видит свою задачу в том, чтобы уяснить выражение нравственного идеала Державина при создании им образов центральных персонажей в ряде драматических произведений, написанных в начале XIX века. Для анализа нами выбраны наиболее значительные в художественном отношении произведения различных жанров: «театральное представление» «Добрыня» (1804), «героическое представление с хорами и речитативами» «Пожарский, или Освобождение Москвы» (1806), трагедия «Ирод и Мариамна» (1807), опера «Эсфирь» (1814). Подчиняя анализ решению поставленной задачи, подробно остановимся на вопросах своеобразия драматического конфликта и характере идеального героя, а также проследим пути оформления лирического начала в драматических произведениях Державина. Изучение названных произведений наглядно показывает различные уровни слияния драматургии с лирикой, в результате которого шло становление жанра «лирической драмы».

Текст «Добрыни» стал известен широкому кругу читающей публики в 1808 году, когда и был напечатан отдельным изданием. Я. Грот в примечаниях ссылаясь на экземпляр этого издания с собственноручными пометками автора: «Все действия взяты частью из истории, частью из сказок и народных песней». Здесь же определено время действия – «при окончании идолопоклонства» [7].

Действие пьесы развивается на основании летописных свидетельств, образов и сюжетов русского исторического фольклора, посвященных теме монголо-татарского нашествия. Прямое столкновение русских с татарами по сюжету в «Добрыне» инициировано вероломным намерением «чипчатского хана» Тугарина завладеть прекрасной княжной Прелепой, избранной в жены киевским князем Владимиром. Исторический конфликт, как и в других, написанных позднее произведениях, у Державина сводится к нравственному противостоянию добра и зла, развитие которого осуществляется средствами любовной коллизии.

Тугарин посягает на честь Владимира и свободу всего русского народа, он использует для этого самые низкие средства — притворство, обман, подлог, интриги. Когда победа не дается обычными, земными средствами, прибегает к волшебству. Этот образ создан как абсолютное воплощение зла, он наделен чертами былинного Змея-оборотня и сказочного Змея-Горыныча. Фольклоризация образа вполне соответствует духу эпохи: герои пьесы живут в мире языческих представлений о добре и зле. От конюшего Добрыни Таропа мы узнаем о кознях оборотней, которые «влетают в дома, в башни, пролазят и сквозь стен», соблазняя невинных жен, «целуют и милуют украдкой и во сне» (51). Прелепа говорит о «вещем» сне, в котором Змей «пожрал» ее возлюбленного. Накануне решающего сражения Добрыни с Тугарином слуги замечают: «На кровле филин там уныло завывал, / В лугах русалки хохотали» (93). Русским людям неведом «великий Бог», они находятся во власти «суеверств», чем умело пользуется их враг. В конце пьесы мы узнаем, что «вещий» сон и другие устрашающие знаки были насланы чародейством Тугарина.

Языческие суеверия обнаруживают духовную слабость русского человека, что едва не приводит к гибели Добрыни и Прелепы. Когда основной конфликт пьесы благополучно разрешается, возникает противоречие между по-христиански добродетельными героями и яркими сторонниками «идолопоклонства». Герои едва не погибают вследствие «судебной ошибки», решение лишенных духовного зрения жрецов и бояр, поклоняющихся «кумирам», исходя из убеждений автора, не может быть справедливым.

В «Пожарском» интерпретация исторической ситуации освобождения захваченной Лжедмитрием и поляками русской столицы также строится на нравственном противоборстве персонажей. Конфликт реализуется в более сложных, чем в «Добрыне», условиях исторического времени, конкретных обстоятельств и характеров. Марина Мнишек стремится использовать сложившуюся в России ситуацию фактического безвластия в своих эгоистических целях, она во что бы то ни стало должна сохранить обретенное в союзе с Лжедмитрием положения русской царицы.

Как отметил Державин в Предуведомлении, образ героини отражает сохранившееся в русском народе представление о ней как о «чародейке». Это зло не явное, скрытое. «Бес в светлом ангеле!» — говорит о Марине Авраамий Палицын. С образом Авраамия в пьесе связана идея православия и христианской нравственности, противостоящих «бесовскому» началу человеческого эгоизма. Марина своими чарами внушает страсть, которую влюбленные в нее герои (Заруцкий, Трубецкой, Пожарский) не могут одолеть рассудком и волей. Эта страсть разрушительна. Заруцкий изменяет своему патриотическому долгу ради любви. Он готов уничтожить любое препятствие, стоящее на его пути к счастью: «По селам брошу огонь, улью Москву всю кровью, / Усею трупами я степь, и вечна мгла / Вослед измене сей, вослед убийству злему / Покроет все места» (175). Внушенная герою страсть приобретает значение «бесовского» наваждения. Под влиянием чар Марины на время оказываются русские князья Трубецкой и Пожарский. И если первому освободиться помогает его собственная воля и патриотический долг, то второму — вмешательство Авраамия Палицына. Борьба за освобождение Москвы потребовала от героев проявления лучших человеческих качеств и духовной зрелости, способности противостоять не только реальному, но и мистическому выражению зла.

Трагедия «Ирод и Мариамна» была написана в период объявленного Российской Академией конкурса. Посылая рукопись в Академию, автор уточнял, что не намерен «сопоставлять с изящными талантами.., а единственно, чтобы исполнить волю академии, решился испытать сил своих в сем роде стихотворства...» (213). «Ирод и Мариамна» – единственное из драматических сочинений Державина, поставленное на сцене. Упоминание о сценическом успехе трагедии Державина мы встречаем в известных изданиях С. Т. Аксакова и П. Арапова. В «Летописи русского театра» последнего читаем: «Успех замечательный. И была многократно повторена» [8]. Я. Грот сообщил о выходе произведения в свет отдельным изданием в 1809 году в Санкт-Петербурге.

Выбор сюжета сам Державин объяснял его трагическим потенциалом, считая, что обстоятельства жизни царя Ирода и его супруги, как они были переданы римским историком Иосифом Флавием, способны «в самых твердых душах произвести сожаление и ужас» (213). В Предисловии автором же обозначен еще один привлекавший его аспект: сложность проявления человеческой природы, страстность и способность к переходу «быстро и беспрестанно от любви к ненависти, а от ненависти к любви» (215).

Конфликт пьесы определяется противостоянием характеров Мариамны и Соломеи. Сестра Ирода Соломея представляет собой классическое средоточие зла. Все ее усилия направлены на то, чтобы возвыситься над людьми любой, даже самой страшной ценой. «Да если б весь Сион погряз в крови и плаче, / Что в том?» – бестрепетно сообщает она о своих намерениях (223). Для Соломеи не существуют родственные чувства, она не способна сострадать даже родному брату. В своих тщеславных устремлениях преступает все человеческие законы, не испытывая и тени сомнения. При этом ненависть ее, направленную против Мариамны, мы объясняем не только намерением стать царицей, но горячим желанием уничтожить свою противоположность, воплощенное благородство.

Если Мариамна воплощает собой христианское смирение и любовь, то Соломея – своеволие и ненависть. Конфликт трагедии, определяемый извечным противостоянием добра и зла, получает у Державина преломление в конкретных человеческих судьбах. Обе героини в результате противоборства погибают, но участь их, с позиции христианской морали, различна. Соломея в гневе и раздражении совершает самоубийство, обрекая свою душу на вечное страдание; Мариамна становится жертвой, ее мученическая гибель должна быть вознаграждена вечным блаженством. Таким образом, вопрос веры в трагедии «Ирод и Мариамна» непосредственно связан с основным, нравственным, конфликтом и разрешается в момент развязки действия.

Итоговым произведением всего драматургического творчества Державина стала опера «Эсфирь». Научными разысканиями последних лет опровергнуты предположения Грота о том, что произведение не является оригинальным [9]. Недавно державинский текст был опубликован по рукописям с научно обоснованным комментарием и выводом о том, что «автор обработал библейский сюжет самостоятельно и свободно» [10].

Действие «Эсфири» показывает, как в древней Персии «идолопоклонство» уступает место вере в Единого Бога. Царю Ассуре (другое имя Артаксеркса) наперсником и соправителем Аманом внушается необходимость полного истребления всех иудеев. Между тем оказывается, что один из них, Мардохей, заслужил своей преданностью величайшую благодарность царя, раскрыв грозивший потерей трона заговор, но при этом благородно скрыл участие в заговоре Амана.

Эсфирь пытается спасти свой народ, сознательно жертвуя собой. (Она с просьбой о помиловании еврейского народа бросается к ногам правителя и касается его рукой, что по законам государства должно привести к смертной казни.) Внезапно вспыхнувшее взаимное чувство соединяет Эсфирь с Асуром, через свою любовь прозревшим и уверовавшим в Единого Бога. После обряда бракосочетания выясняется, что, поскольку законы Персидского царства с изменением мировоззрения правителя не изменились, Эсфирь и

Мардохей вместе со всеми своими соплеменниками должны быть казнены. Царь встает перед необходимостью отменить или нарушить собственный указ и впадает в полное смятение, не решаясь сделать то или другое.

Конфликт пьесы определяется нравственным противостоянием иудеев, верующих в Единого Бога, язычникам-персам и разрешается победой Божьего закона над человеческим. В последнем по времени написания драматическом произведении Державина исторический конфликт является собственно религиозным, позиции противоборствующих сторон по отношению к добру и злу непосредственно определяются характером веры. Трагическая для израильтян ситуация разрешается в момент произнесения молитвы к Богу Сиона, когда прозревшему Ассуру открылись тайна заговора и истинное лицо Амана. Любовь оказывается сильнее ненависти и самой страшной вражды. К счастливому финалу приходят не только судьбы Ассура и Эсфири, но и спасенного этой любовью народа.

Во всех рассматриваемых нами произведениях выражение конфликта, суть которого каждый раз сводится к противоборству добра и зла, изменяется в зависимости от избранных автором темы и сюжета. В «Добрыне» противостояние язычества (идолопоклонства) истинной христианской вере только намечено. Невинно страдающие герои, богатырь Добрыня и его возлюбленная Прелепа, не являясь христианами, по сути своей нравственной природы таковы. Они терпеливы и непреклонны одновременно: смиренно предстают перед судом, зная о лживости всех обвинений, но не пытаются оправдать себя сами, надеясь на высшую справедливость. В самый трудный для себя момент, перед грозящей ей смертью, Прелепа обращается за поддержкой и помощью к волшебнице Добrade, и в ее словах мы безошибочно узнаем обращенную к Богородице молитву православных христиан:

К тебе, Добрада, прибегаю:
Покрой меня твоей рукой!
Покрой! — и отжени все страсти,
Мечты, волшебства и напасти... (92).

Вмешательство Добрады потребовалось автору, очевидно, не только ради необходимого по законам жанра счастливого финала, но для того, чтобы убедительно показать приближение победы христианского сознания в русских людях времен крестившего народ князя Владимира. Из уст восстановившей справедливость волшебницы звучит пророческое слово о славном будущем России по пришествии «великого Бога»: «Страна сия Его лучами озарилась, / Нечестья, суеверств, волшебств исчезла тьма / Свет, истина в царях и людях водворилась .../ Дрожит наш сонм врагов: Владимир! ты в лучах!» (126).

В «Пожарском» справедливость побеждает благодаря совместным действиям патристически настроенных представителей народа (Минин), государства (князя Пожарский и Трубецкой) и церкви (Гермоген и Палицын). В самом конфликте и его разрешении выражен взгляд Державина на вопрос о государстве и власти, идея богоизбранности наследного правления, мысль об ответственности человека за свои дела перед Высшим законом. Не случайно завершающий действие пьесы монолог Палицына оканчивается словами:

Пойдем теперь во храм усерднейшей мольбою
Хвалу творцу воздать, что спас нас от коварств.
Над властолюбием, над златом, над красою
Победа выше есть, чем покоренье царств! (192).

В трагедии «Ирод и Мариамна» конфликт разрешается с гибелью Мариамны. Коварные замыслы Соломеи, рассчитанные на самые низкие проявления человеческой природы, приводят к окончательному нравственному падению участников заговора. Антипатр практически становится убийцей своих малолетних братьев, сынов Ирода и Мариамны. Стремящийся во что бы то ни стало сохранить свое положение при дво-

ре, Соверн предает свою царицу. Раб Юда лжесвидетельствует, надеясь на денежное вознаграждение за свершенную подлость. Благодаря искренней и глубокой христианской убежденности, героиня Державина не изменяет себе, выносит суровый приговор злу и уходит из жизни примиренной, прощая всем и все. Трагическая судьба Мариамны практически является выражением жизненного идеала автора пьесы: служение делу добра и справедливости она ставит выше своих личных интересов и даже выше жизни.

В «Эсфири» действие более лаконично, чем в других произведениях, это опера в трех действиях. Державин реализует в пьесе, сюжет которой основан на библейском сказании, естественную для человека мечту о счастье, абсолютном и ничем не омраченном. Главная героиня, дочь гонимого иудейского народа Эсфирь, находит свое счастье прежде в сознании выполненного перед своим народом долга и только потом — в любви Ассура. Мы видим, что истинная и глубокая вера дает человеку силы в противостоянии злу и неверию, помогает обрести гармонию, уравновесив страсть и рассудок. Таков жизненный и поэтический идеал Державина, известный нам по его лирическому творчеству. В драматургии он выражен образами заглавных персонажей, для которых не существует противоречия между личным счастьем и долгом служения своему народу. Эти образы несут в себе черты личности и биографии автора, характеры их обрисованы во многом благодаря введению в монологи мотивов и образов державинской лирики.

Таковы Добрыня и Пожарский, каждый из них обладает страстной душой и способностью к высокому чувству, но с не меньшей страстью относятся к выполнению своего патриотического долга. Добрыня предан своей возлюбленной и, не задумываясь, рискует жизнью, когда этого требуют интересы отечества. Победив Тугарина, он все возможное делает для спасения Прелепы, когда же все его попытки оказываются безрезультатными — идет вместе с ней на смерть.

Образу Пожарского свойственна более подробная разработка характера: как и Добрыня, он откровенен, чист душой и помыслами, ему как цельной личности свойственно изначальное равновесие чувства с разумом, духовного начала с физическим. Ради любви он не способен на предательство. Этот факт передается средствами тонкого психологизма решающей для обрисовки характера персонажа сцены:

ПОЖАРСКИЙ:

(Увидя ее [Марину], содрогается, про себя)

О сила прелестей!

(Колеблясь)

Увы, изнемогаю!

Приходит сообщение о том, что из Вязьмы к Москве направляются Желковский с Владиславом.

МАРИНА: *(Тихо Пожарскому)*

Они мои друзья.

ПОЖАРСКИЙ: *(Выхватя меч, к войску)*

Ступай! (164)

Эта лаконичная сцена очень содержательна. Здесь выражение страсти, внушенной герою, момент пережитого им колебания и решительный отказ на предложение изменить отечеству и долгу. Страстно полюбивший Марину Пожарский решительно отказывается от нее, когда потребовалось поступиться его личным нравственным убеждением.

Столь же достойно проходит герой через испытание властью. Когда в освобожденной Москве собирается весь народ во главе с боярской Думой и предлагает венчать Пожарского на трон, он отказывается. В конце пьесы герой снова встает перед необходимостью выбора: Марина предлагает принять царский трон вместе со своей любовью. Отказ Пожарского перерастает в монолог, в котором излагается свойственное самому Державину и не однажды выраженное им в лирических произведениях понимание влас-

ти, ее роли в судьбах народа:

Не может трона тать владеть спокойно славою;
Велик он или мал, но все он гнев небес,
Которые ему, иль поздно, или рано,
По правосудию наверно отомстят;
И в пасмурной душе нет мира у тирана, –
Тревога, злоба, грусть, бесперестанный ад! (4; 189).

Мы видим, что важнейшим мотивом для отказа является благополучие государства, которого не может быть, по убеждению Державина, без законного права на власть. Названо и личное, душевное благополучие стоящего у власти человека, возможное только при условии чистой совести. Если первое условие вполне соответствует концепции власти в трагедии русского классицизма, то второе, касающееся душевного его состояния и воспроизведенное средствами новой поэтики, связано с мировоззрением человека нового века. Не выходя за грань своей исторической эпохи, герой принимает на себя черты, характеризующие личность автора и его лирическое «я». Известно, что Державин считал «единственной основой нравственного правления Божественную Премудрость, взыскиваемую сердцем», по его искреннему убеждению, «сакральные основания власти превышают закон» [11]. При этом Державин избегает декларативности, на характер героя его лирики органично накладывается образ героя «театрального представления» Пожарского.

Вся полнота выражения жизненного идеала Державина в «Пожарском» достигается введением образа Авраамия Палицына. В начале пьесы ему принадлежит роль резонера, традиционно в классицистической пьесе оценивающего с точки зрения авторской идеи события и поступки действующих лиц. Далее значение персонажа изменяется: слова и поступки Авраамия получают самостоятельное значение. Палицын будит заснувшего в «храме любви и утешения» Пожарского, передает Минину церковную казну, желая помочь, в самый напряженный момент битвы за Москву он обращается с молитвой к Всевышнему и его страстное слово способствует тому, что ход сражения переменяется. Образ Палицына получает индивидуальные черты и занимает свое место в системе персонажей, вместе с образом Пожарского обеспечивая максимально полное выражение лирического «я» автора.

Героиня трагедии «Ирод и Мариамна» являет собой образ, сочетающий величие души и цельность натуры. Она воспитана как царица, мыслит и поступает соответственно. Уверенность в том, что правда дает человеку силу, а сотворенное зло неизбежно будет наказано, заставляет ее смириться даже с учиненной по приказу царя кровавой расправой над «юным певцом», с которым много часов было проведено в божественных песнопениях. Его мученическая смерть воспринята Мариамной как жертва, за которую, как и за все сотворенное зло, воздастся свыше, «Царем царей».

Мариамна неизменна в своих чувствах и последовательна в поступках, обвиненная врагами во всех грехах, требует только суда и не соглашается просить о пощаде. Своими гневными речами перед лицом грозящей смерти разоблачает заговорщиков, не щадит и самолюбия супруга. Она до конца верна своему долгу царицы и матери.

При несомненной цельности характер Мариамны лишен условности и схематизма, она добродетельна и религиозна, но и страстна. В монологах героини звучит не только признание в любви, но рассказана вся история ее зарождения, развития. Ее чувство к Ироду – истинная страсть:

Но ты теперь мой царь, мой купно и супруг,
И все, что мило мне, и все, что свято вдруг.
О, соберитесь всех красот лучи блестящи,
Как солнца на морях зари златогорящи,
Но вы пред мной ничто; а титло мне, венец,
Что ты любовник мой, друг, царь, супруг, отец... (238) [12].

Взаимная страсть, которая соединяет Мариамну с Иродом, делает сильной ее, а его — слабым. Свою любовь героиня осознает как дарованное ей свыше благо, для нее супруг — «все, что мило», но и «все, что свято». Освященная верой, любовь возвышает.

Характер Ирода в обрисовке Державина во всех отрицательных проявлениях обусловлен отсутствием истинного религиозного убеждения. Ирод тщеславен, а это свойство незрелых душ. В стремлении доказать свое право быть властелином он совершает множество преступлений. Соверн говорит о нем:

Он разумом своим и мужеством кичится,
А наша кровь в войнах не престаёт струиться...

И с кровью содранных с отечества доходов
Рассыпал тьмами тьмы на роскоши дела,
Чтоб лишь в язычниках неслась о нем хвала:
Богов, чудовищ их, внес даже в дом свой ныне... (234-235).

В погоне за народной любовью иудейский царь поощряет идолопоклонство. Он не уверен в верности своей супруги потому, что легко поддается минутному настроению, влиянию других людей. Став игрушкой в руках злоумышленников, он становится причиной гибели самых близких и любимых людей — жены и сыновей. Но, убивая их, Ирод губит себя, чувство его к Мариамне настолько сильно, что он не мыслит себе жизни без нее, не только душевной, но и физической:

Я не могу дышать, зреть свет без Мариамны,
Все мышцы, силы все я чувствую раздранны,
Слячен мой весь состав, хладеет, мерзнет кровь...
О, коль ты жестока, несчастная любовь! (235).

Слабости Ирода оборачиваются настоящей трагедией для него. Он не тверд в вере, лишен духовной поддержки своим действиям и потому ошибается; он наивен, и противникам легко ввести его в заблуждение. Сам герой осознает это:

Ах! в лабиринте я коварств и козней темных
Подобен страннику в распутии подземном,
Который пред собой зверей зрит всюду зев... (258).

Характер и судьба Ирода заставляет по-иному оценить конфликт пьесы. Герой становится жертвой собственной противоречивости, но в финале пьесы постигает греховность своих деяний, испытывает страшные муки совести, его преследуют в болезненных видениях страшные образы множества погубленных людей. Ирод глубоко и искренне раскаивается в содеянном. В трагической судьбе древнееврейского царского дома, в гибели невинных детей и мученичестве Мариамны видится наказание за множество греховных деяний царя Ирода.

В пьесе, таким образом, получает выражение одна из любимых и почитаемая автором истинной идея божественного происхождения власти и неизбежного возмездия за творимое человеком зло. В построении же трагедии складывается усложненный, двойной конфликт: внешний — в противостоянии образов Мариамны и Соломеи, и внутренний — в характере Ирода.

В «Эсфири», как справедливо было замечено А. О. Деминим, к логическому завершению были приведены основные проблемы и ситуации всего творчества Державина. Проблема власти и закона, праведных и неправедных вельмож разрешена во многом благодаря образу Мардохея, автобиографическому в основных его чертах. Он беззаветно предан своему государю, терпит притеснения от «неправых вельмож» и получает заслуженное вознаграждение. Мардохей поэт и полон высокого философского, «пророческого» лиризма, в его песнях — строки державинской лирики (вторая ария представляет собой отрывок из оды «Идолопоклонство»).

В драматургии Державина выражен новый, не классицистический, взгляд на природу человека: отвергается неизменность провозглашенной просветителями истины о том, что нравственный человек должен подчинить свои чувства разуму, а страсти долгу. Основой личности идеального героя Державина каждый раз становится индивидуальная и глубоко прочувствованная гармония духовного, нравственного и эмоционального, утверждается равноценность этих данных от природы, естественных для человека начал. Столь желанная для человека гармония обретается героями рассмотренных нами произведений в подчиненности страстей высшей Божественной воле. Долг и страсть уравниваются верой: верой определяется безупречность нравственного возвышения образов Добрыни, Пожарского, Мариамны, Эсфири, неверием — греховность и, как следствие, поражение Марины и Соломеи, слабость и внутренняя противоречивость Ирода.

Любовь у Державина всесильна, она приходит подобно Божественному озарению. Только любовь, освященная верой, приводит героев к личному счастью. Такова судьба Добрыни и Прелепы, Ассура и Эсфири. Счастлив у Державина человек, обретший гармонию внутри себя. Только тогда идея служения высокой цели не противоречит личному счастью и не требует самоотвержения. Утверждается естественная, природная устремленность личности к духовному и нравственному совершенству. Просветительскому рационализму и материализму Державиным противопоставлен основанный на православной традиции романтический спиритуализм.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вальденберг Н. Державин. 1816 — 1916. Опыт характеристики его мировоззрения. — Пг., 1916. — С. 74.

2. Там же. — С. 76.

3. Эйхенбаум Б.М. Державин // Он же. Сквозь литературу. Сб. статей. — Л., 1984. — С. 35 — 37.

4. Дунаев М. М. Православие и русская литература: Уч. пособие. В 5 частях. Ч.1. — М. 1996. — С. 89.

5. Александрова И. Б. Творчество Г. Р. Державина в литературно-философском контексте эпохи // Филологические науки, — 2003. — № 2. — С. 3 — 13.

6. См.: Телешова. Ода Державина «Бог» и Эдвард Янг; Арефьева Н. Н. Богословские реминисценции в оде Г. Р. Державина «Христос» // Державинские чтения. Вып. 1. Сб. науч. тр. — СПб., 1997. — С.28 — 34; 35 — 52; М. Муравьева. Державин и его ода «Бог» // Литература. — 2000. — №19. С. 11 — 12; А.О. Демин. Оперное либретто Г.Р. Державина «Эсфирь» // XVIII век: Сб. 22. — СПб., 2002. — С. 358 — 408.

7. Сочинения Державина: В 9-ти тт. / С объяснениями и примечаниями Я. Грота. — СПб., 1867. Т. 4. — С. 48. Далее ссылки на это издание будут делаться в тексте с указанием страницы в круглых скобках.

8. Арапов П. Летопись русского театра. — СПб., 1861. — С. 128. Об успехе пьесы вспоминал С. Т. Аксаков: Семейная хроника и воспоминания. Ч. 2. — М., 1856. — С. 378 — 380. Заметим, что мотивация В. А. Бочкаревым мнения о ее неуспехе упоминанием в письме С. И. Пономарева к Гроту от 8 января 1879 г. нам кажется не вполне убедительной. См.: Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIX в. — М.-Л., 1964. — С. 605.

9. См.: Сочинения Державина. Указ. соч. Т. IV. — С. 802-803.

10. Демин А. О. Оперное либретто Г. Р. Державина «Эсфирь» // XVIII век: Сб. 22. — СПб., 2002. — С. 358 — 408.

11. Вильк Е. А. К истории творческого диалога Державина и Озерова // Державинские чтения. — СПб., 1997. — С. 93-108.

12. Весь монолог объяснения Мариамны в любви к мужу представляет собой взятый почти без изменения текст написанного Державиным в 1780 году «Письма к супругу в новый 1780 год». См. об этом в Примечаниях Я. Грота: Сочинения Державина. Т. 3. — С. 399.

ПЕТЕРБУРГ В МИФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОВЕСТИ А. М. РЕМИЗОВА “КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ”

Повесть “Крестовые сестры” (1910) А. М. Ремизов считал этапным для своего творчества произведением. В дарственной надписи жене на отдельном издании 1923 года он сетовал: “Должно быть, больше такого не напишу по напряжению, по огорчению против мира” [1]. Во многом общий настрой повести, а также его мифологическая насыщенность определяется и тем, что она относится к целому направлению в русской литературе, называемому “петербургский текст”, о котором В. Н. Топоров писал: “текст, своего рода “греза о грезе”, тем не менее, принадлежит к числу тех *сверхнасыщенных реальностей*, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического” [2].

Трагический тон повествования о жизни Петра Алексеевича Маракулина, героя “Крестовых сестер”, зависит не только от психологической картины души героя, но и от места действия повести. Причем если обычно Ремизов редко привязывает сюжеты своих произведений к какому-либо определенному месту, то одним из главных действующих лиц “Крестовых сестер” является Петербург. Причина этого, вероятно, заключается в том, что Ремизов ставил своей целью обнажить человеческую душу до того запретного дна, которое само никогда не показывается, которое человек тщательно прячет. Для этого, по Ремизову, нужно состояние “некой лихорадки, воспаления”, которое с большой силой развивается в Петербурге. Такое предназначение его в русской литературной традиции признавал и В. Г. Белинский, который писал: “Питер имеет *необыкновенное свойство оскорбить в человеке все святое* и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будет *страдать* в нем — человек; если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником” [3]. Сверхъестественные свойства отмечал у этого города и М. Волошин, который в письме к Вяч. Иванову признавался: “Только в Петербурге с его *ненастоящими людьми и ненастоящей жизнью* я мог так запутаться раньше. <...> На этой земле (в Коктебеле. — О. Ч.) я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь *навсегда заклясть все темные призраки петербургской жизни*” [4].

Люди, населяющие этот призрачный и могущественный город, однако, не несут на себе его проклятой печати. Главный герой “Крестовых сестер” Маракулин обладает, например, чудесными светлыми качествами: “И такая эта радость его, так охватит всего и так ее много, взял бы, кажется, из груди, из самого сердца горячую и роздал каждому, — и на всех бы хватило, взял бы, как птичку, в обе горсти <...>: пускай видят ее, и вдохнут тепло ее, и почувствуют свет ее, — тихий свет и тепло, каким дышит и светит сердце от радости” [5]. И лишь как напоминание о неотступном влиянии Петербурга отмечает Ремизов такие его черты: “Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный” [5, 196], и “веселье и смех и не простой, а пьяный какой-то, *маракулинский*” [5, 197]. Художник предполагает в своем герое и сверхъестественные способности, присущие лишь мифологическим персонажам: “Слушая Маракулина и видя, как он к людям подходит, по улыбке его и взгляду, приходила иной раз мысль, что вот такой, как он, во всякое время готов к бешеному зверю в клетку войти и не сморгнуть, и не задумавшись руку протянет, чтобы по вздыбившейся бешеной шерсти зверя погладить, и зверь кусаться не будет” [5, 197]. Ремизов награждает героя такими способностями и качествами с целью наиболее полно и ярко показать мучительный путь перерождения его души, поиск истинного смысла ее существования. Ярким контрастом по отношению к видению мира Маракулиным выступает истинная жизнь Петербурга: “Свадьбы, покойники, случаи, происшествия, скандалы, драки, мордобой, *караул* и участок, и не то человек кричит, не то кошка мяучит, не то

душат кого-то, — так всякий день” [5, 213].

Повесть Ремизова — некий водоворот жизни с центром в Петербурге, а сущность городской действительности воплощена в образе Буркова дома. Все герои, по тем или иным причинам вынужденные покинуть отчий дом, притягиваются Петербургом, как гигантской воронкой, открывающейся в бездну. Однако предельное унижение и горе тех, кто “благословлен” “катучим камнем коло белого света” обуславливают шаги большинства персонажей к поиску новых нравственных ценностей. В “Крестовых сестрах” множество выразительных зарисовок архитектуры, топографии реального Петербурга, страшного быта его обитателей в каменном мешке двора перенаселенного доходного дома. Северная столица рубежа веков в изображении Ремизова не просто узнаваема, — она помогает понять подлинное своеобразие этого города. Между тем писатель постоянно расширяет художественное пространство своей повести, хотя действие в ней происходит только в Петербурге (вся Россия “кричит Муркой”). События разворачиваются на малой площади доходной квартиры, но автор будто поправляет себя высказыванием “Бурков дом — весь Петербург” [5, 219].

В повествовании немало свидетельств тому, что речь идет о современности Ремизова. Тем не менее, вовсе не случайно Петр Алексеевич Маракулин оказывается тезкой великого царя, построившего Петербург. Он “рапортует” Медному всаднику: “— Петр Алексеевич, — сказал он, обращаясь к памятнику, — Ваше императорское величество, русский народ настой из лошадиного навоза пьет и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами. Больше я ничего не имею сказать! — снял шляпу, поклонился и пошел дальше, по Английской набережной через Николаевский мост на Васильевский остров” [5, 303]. Художественное время произведения явно раздвинуто: истоки XX столетия связаны с эпохой петровских реформ, а драматическая судьба оказавшегося не у дел чиновника предопределена далеким прошлым. Именно там зарождался тот промышленный механизм, который привел к трагическому положению, остро и болезненно переживаемому автором и героем “Крестовых сестер”. При всей живости “сочных” пейзажей и психологически утонченных портретов созданная Ремизовым картина обладает широко обобщенным характером. Художник увлечен “всемировой” глобальной проблемой, хотя всюду проставил конкретные социальные ориентиры. На материале русской жизни, петербургской обстановки, конкретной атмосферы начала века осмыслена трагическая и неостановимо обостряющаяся антиномия: человек — машинная цивилизация (гибель духовной культуры). Кажется, будто бы простейшее проявление очень разных персонажей обладает сложным, связывающим их судьбы подтекстом. Одну из ведущих ролей в раскрытии угнездившихся противоречий выполняют интуитивные порывы, подсознательные (во сне) предчувствия героев, а спасение из создавшегося положения усмотрено в исконном, Божественном начале человеческой души. Ремизов творит свой миф о страшном, искаженном земном бытии и рождении в нем новой духовной силы.

Всем повествованием писатель подводит “к идее безосновности Петербурга, жить в котором можно, только опираясь на *ничто*, которое ведет или прямо к гибели, или к подлинному спасению, достигаемому уже не прежним человеком, но новым уже в силу своего мучительного, личного жизненного опыта” [6].

Таким человеком и предстает перед читателем Петр Алексеевич Маракулин, попавший в Бурков дом, а следовательно, и в символично-мифологическую систему Петербурга, потерпевший первый жизненный крах и оставшийся совсем один. Всячески подчеркивая первоначальное отличие Маракулина от жителей Буркова дома, то есть Петербурга, Ремизов неожиданно открывает перед ним картину вселенского страдания некой общей, и человеческой и животной, живой души, олицетворяющей собой душу всех живущих в этом городе: “И вдруг Маракулину ясно подумалось, как никогда еще так ясно не думалось, что Мурка всегда мяукала и не вчера, а все пять лет тут на Фонтанке, на Бурковом

дворе, и только он не замечал, и не только тут, <...> а везде, где только есть живая душа” [5, 206]. Первоначально предполагаемая способность Маракулина “войти в клетку с диким зверем” опровергается всем течением его новой жизни. Казавшаяся веселой сказкой, она оборачивается к человеку страшной мордой: “Зверюга-то бешеный, видно, не так уж прост, не так легко поддается, по вздыбившейся бешеной шерстке его не очень-то ловко погладишь” [5, 198]. Не имеющий опыта страдания, еще не научившийся этому Маракулин в первый период своей жизни в Бурковом доме выводит формулу, которая кажется ему объясняющей всю жизнь, справедливой по отношению ко всему: “и все проклятие вовсе не в том, что человек человеку зверь, да еще и бешеный, а в том, что *человек человеку бревно*. И сколько ни молись ему, не услышит, сколько не кличь, не отзовется, лоб себе простукаешь, лбом перед ним стучавши, не пошевелится: как поставили, так и будет стоять, пока не свалится либо ты не свалишься” [5, 198]. Данная формула заставляет героя спланировать для себя стиль поведения, который он именует четырьмя словами: “*терпи, забудь, не думай, покорись*”.

Показательно также, что именно в первый период жизни в Бурковом доме Маракулина так сильно угнетает его новое жилище: “У Маракулина была своя квартира на Фонтанке у Обухова моста, маленькая, а все-таки своя, пришлось бросить квартиру, перебраться в комнаты. <...> И теперь трудно показалось ему, тяжело было стесняться, тем более тяжело и трудно, что на поправку не было надежды, <...> и только к вечеру перебрался Маракулин в свою новую комнату на пятый этаж, где была раньше прачечная” [5, 206]. Здесь, как и далее, наблюдается переключка автора “Крестовых сестер” с Достоевским, с комнатой-гробом, похожей на шкаф Родиона Раскольникова. Ремизов, однако, еще более увеличивает диссонанс между внешним и внутренним проявлением Петербурга. Если у Достоевского *весь* город представляет собой *страшный мир*, губящий душу человека, то у Ремизова жилище неправильной формы и невзрачного, отталкивающего вида, комната-гроб, жалкая каморка, грязная лестница, колодец двора, дом, шумный переулок, канава, вонь, известка, пыль, крики, хохот, духота противопоставлены проспекту, площади, набережной, острову, даче, шпилью, куполу. Петербург Ремизова как бы издевается над обреченными людьми, не допуская до своих богатств. Под уродством нищеты, равнодушия, зависти, похоти, таятся внутренняя чистота, надежда на лучшее, доброта, стремление души из последних сил вырваться, приобщиться к свету и добру. Это соотношение, по справедливому утверждению В. Н. Топорова, и порождает тот темно-призрачный *хаос*, “в котором ничего с определенностью не видно, кроме мороков и размытости, предательского двоения, где сущее и не-сущее меняются местами, притворяются одно другим, смешиваются, сливаются, поддразнивают наблюдателя (мираж, сновидение, *призрак*, *тень*, *двойник*, отражение в зеркалах, “петербургская чертовня” и т. д.)”, и который существует рядом со светло-прозрачным *космосом* природы и культуры, характеризующимся логичностью, гармоничностью, предельной ясностью — вплоть до ясновидения и провиденциальных откровений [7].

Самопознание Маракулина поднимается на новую ступень по мере того, как он постигает других людей. Для всех он выводит одну закономерность: “Одному надо *предать*, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самым собою, другому надо *убить*, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самым собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то, да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете не просто каким-нибудь Маракулиным, а *Маракулиным Петром Алексеевичем*: видеть, слышать и чувствовать” [5, 225]. Наиболее важное событие в жизни героя — его самовоплощение, то есть осознание своей судьбы и выполнение ее, полное приятие предназначенного. Однако полное признание судьбы не означает для писателя полное “неделание”. Человек должен постоянно совершать усилие, и только это постоянство является залогом душевной гармонии. Маракулин стремится изменить теперь уже не только собственную жизнь,

но и “бедовую долю” тех, кто так сильно повлиял на становление его личности. Герой, жаждущий помочь всем страждущим в конурках-комнатах Буркова дома, “унять крик в своей душе, сойти на миг с того жгучего пути, как с раскаленных плит, которыми уже идет Россия” [8]. Утвердиться этому побуждению помогает встреча с Москвой.

Москва видится герою городом-спасением, городом-антиподом Петербургу. Здесь он родился, впервые полюбил, здесь осталась его детство и лучшие воспоминания. Однако заново рожденный Маракулин, уже понявший и выстрадавший новую модель мира, видит Москву совсем иной. Теперь для него это не только город детства, но и место, где долго подвергалась унижениям и самоистязанию его мать, где он впервые в жизни узнал боль и где сам причинил боль. Это уже не город-колыбель, из которой он вышел в мир, а столь же насыщенное страданиями пространство, что и Петербург. Отличает эти два города лишь внутренне содержание страдания.

Противопоставление Петербурга Москве происходит у Ремизова на нравственно-философском уровне, что очень близко духу литературы не только начала XX, но и всего XIX века. Современник Ремизова А. Белый выразил наиболее близкую автору “Крестовых сестер” идею о спасительном потенциале Москвы: “Знаете ли, в чем я убедился? Москва – своего рода центр – верую. Мы еще увидим кое-что. Мы еще будем удивляться – радоваться или ужасаться, судя по тому, с Ним мы или не с Ним будем (с Христом). <...> Все же мы званы поддержать Славу Имени Его” [9]. Вернувшийся из Москвы в Петербург А. Блок также утверждает несомненное влияние этого города на душу человека: “В Москве смело говорят и спорят о *счастье*. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей” [10]. В “Крестовых сестрах” же Москва исполняет роль провидца, открывающего Маракулину и всему человечеству его путь и предначертание, в отличие от выморочного Петербурга, с беспощадной правдивостью обнажая самые скрытые уголки души человека. Эта антитеза изображена в ярком и изобретательном образном ряде.

Попадая в кабинет своего друга Плотникова, он видит яркую и страшную по символичности картину: “Кабинет был разделен на две половины, на два отдела; с одной стороны, копия с нестеровских картин, а с другой – две клетки с обезьянами. *Между Святой Русью и обезьяной* сидел Плотников, обуянный запоем, и зачем-то весь медом измазан, в какой-то *гнетущей печали скитника*” [5, 210]. Скоро и сам “Маракулин стоял между Святой Русью и обезьяной и ровно ничего не мог понять” [5, 211]. Мифологическое содержание этого полотна Нестерова и устойчивая мифологизация образа обезьяны придает эпизоду расширенный смысл. Имеется в виду, конечно же, не обстановка кабинета, а положение всей страны. Между Святой Русью и обезьяной стоит не только Маракулин, но в его лице – вообще человек. Ремизов оставляет его в состоянии до выбора, между двумя мирами, когда он не принадлежит ни одному из них. Эту узкую границу очень трудно, мучительно, но необходимо определить так как здесь начинается либо путь к свету и добру, либо к пошлomu, антидуховному прозябанию. Но писатель, как и его герой, сочувственно относятся и к заблудшим, недужным, страждущим, так как они тоже часть вселенского процесса. Ремизов мечтает о грядущем преображении человечества, которое станет возможным не без влияния горьких разочарований и утрат.

Москва, открывшаяся перед Маракулиным новой гранью и пробудившая небывалые дотоле мысли, больше не представляется ему спасительным берегом. Помогая своему другу Плотникову справиться с белой горячкой, сам Маракулин не может совладать с открывшейся ему картиной раздвоенности, разорванности человеческой души. Не найдя для себя ответа, где и как найти исход муки в этом мире, герой решает нести добро, по возможности “лечить” опустошенные сердца. Для их исцеления выбран город Париж, который может со всем основанием быть назван частью Света, стать средоточием всеобщей грезы о качественно новом бытии. Возникает особая интонация повествования мечтательная и задумчивая, а слово “где-то” еще раз подчеркивает несовпадение реального Парижа и города-мечты, не обозначенного конкретными координатами, а представляющего собой место, отделенное, удаленное от призрачного, губительного Петербурга.

“Там, где-то в Париже, Анна Степановна найдет на земле место и подымет душою <...>. И там, где-то в Париже, Вера Николаевна поправится и сдаст экзамен на аттестат зрелости. И там, где-то в Париже, <...> найдет Маракулин свою потерянную радость. <...> И там, где-то в Париже, Верочка делается великой актрисой, и мир сойдет на нее. И там, где-то в Париже, *катучим камнем* докатившись до Парижа, снимется с Акумовны родительское проклятие. <...> Там, где-то в Париже, не погибнет ее Вера, давным-давно погибшая на Бурковом дворе” [5, 225]. Постоянное повторение запева “Там, где-то в Париже”, а также общий песенный настрой сближает этот текст с молитвой, с жалобой, обращенной чему-то неизведанному, неназываемому, он близок наговору, уговору судьбы, чтобы она позволила осуществить задуманное, воплотить мечту о спасении. Однако Петербург крепко держит души людей в своем “полонном терпении”.

Поездка в Париж — последняя надежда Маракулина на спасение души — не удастся. И дело здесь вовсе не в деньгах, которые не прислал Плотников. Он, как и вся Москва, уже перестали быть для Маракулина олицетворением всего лучшего, родного, спасением и надеждой на будущее. Дело в том, что мечты героев, связанные с иным миром, городом Парижем неосуществимы, как неосуществимо желание вырваться, освободиться от “Петербурга” в собственной душе. Роковая и губительная раздвоенность уже поселилась в их душах, в глубине сознания каждого.

Застывшему между “Святой Русью” и “обезьяной”, Маракулину нет места в этом мире, его вечная суббота без воскресения, однако бытие человека не заканчивается, но лишь продолжается со смертью. Земная жизнь не дает покоя и освобождения, если она в плену страшной реальности, но вера (понятие ирреальное), по Ремизову, способна на мгновение заставить человека быть ясновидцем и прозреть жизнь будущую. Маракулин олицетворяет собой человека, способного не только *видеть, слышать, чувствовать*, но и понять Божественный закон — “Человек человеку дух-утешитель”. Повесть пронизана светлыми и печальными раздумьями о великих заветах Христа и невозможности их воплощения на земле. Люди слепы, и слепота эта, по Ремизову, является следствием страстей, пеленой покрывающих людям глаза.

Человек, научившийся страданию, по Ремизову, не цепляется за жизнь, т.к. для него она — не более чем одно из воплощений жизни вечной. По мнению И. А. Ильина, “христианство не благословляет на “муку” и не зовет к жалости. Оно благословляет на “страдание” и зовет к свету и радости. Оно уводит от муки и учит победе. И страх в нем исчезает. Христос не “мучился” на кресте, а *страдал и скорбел*; и путь Его был путь *светоносный и победившего тьму, муки и страх*” [11].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Огонь вещей. Пляшущий демон. Встречи. — М., 1989. — С. 505.
2. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. — М., 1995. — С. 359.
3. Там же. — С. 418.
4. Иванов В. И. Родное и вселенское. — М., 1994. — С. 409.
5. Ремизов А. М. Сочинения. Рассказы. — СПб., 1910-1912. — Т. 5. — С. 196. Далее даны ссылки на это издание с указанием порядкового номера примечания и страниц в тексте.
6. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. — М., 1995. — С. 276.
7. Там же. — С. 294.
8. Шаховская З. Отражения. — М., 1991. — С. 12.
9. Белый А. Символизм как миропонимание. — М., 1994. — С. 270.
10. Блок А. А. О литературе. — М., 1989. — С. 24.
11. Ильин И. А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев. — Мюнхен, 1959. — С. 133.

СИМВОЛИКА РАСТЕНИЙ В ПОЭМЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА «ПУГАЧЕВ»

Драматическая поэма Сергея Есенина «Пугачев», по мнению многих исследователей творчества поэта, до сих пор остается «не прочитанной» до конца [1]. Это единственная его поэма имажинистского периода творчества, и насыщена она многоступенчатыми образами, порою даже шокирующими, с истинно имажинистским размахом. При их создании поэт широко использует флористические мотивы. Монологи и реплики героев поэмы изобилуют названиями дикорастущих и сельскохозяйственных растений и метафорами, часто развернутыми, построенными вокруг них. Как всегда у Есенина, особо значимая роль отведена деревьям и кустарникам.

В результате почти уже вековой полемики о том, создана ли поэма на историческом материале или времена «пугачевщины» использованы автором для выражения проблем современности, большинство литературоведов сошлось на мнении, что «драматическая поэма «Пугачев» имеет историческую основу и одновременно явно соотносится с революционной действительностью» [2, 169]. Помимо этих двух очевидных пластов, поэма имеет библейский подтекст, а также большую философскую насыщенность. Одни исследователи видят глубинную причину трагичности поэмы в утрате единства человеческого социума с природой [3], другие, наоборот, полагают, что «Природа и История воспринимаются Есениным как две неотъемлемые и взаимосвязанные стороны органического бытийного процесса» [4]. Оба эти взгляда на поэму верны (несмотря на их внешнюю противоречивость) и представляют собой две стороны одной медали. Краеугольным камнем мировоззренческой основы поэмы является осознание трагической утраты единства человека и природы, единства, которое по сути своей неделимо. Здесь философский стержень поэзии Есенина вообще, а не только «Пугачева».

В ракурсе вышеозначенных пластов, подтекстов и философских смыслов (которые, хотя и не исчерпывают художественной значимости поэмы, но являются ведущими) нами рассмотрены наиболее характерные для данного произведения флористические образы и мотивы.

Прежде всего необходимо отметить, что, работая над поэмой, Есенин совершил специальную поездку по Поволжью и Оренбургским степям, где «внимательно наблюдал быт казачества и природу тех мест, яркие приметы которых получили отражение в тексте» [2, 126], и потому он, как всегда, точен в деталях. Например, наиболее типичная для Оренбургской лесостепи береза стала и одной из главных «образообразующих» пород в поэме. В первой главе «березами заплаканный наш тракт», окруженный именем «мертвого Петра» (3, 12) служит экспозицией сюжетной линии лжеимператорства Пугачева.

В знаменитом монологе Хлопуши «...дворянские головы сечет топор — / Как березовые купола / В лесной обители» [5]. Уподобление человеческой головы кроне дерева (и наоборот), а также плодам и листьям неоднократно встречается в поэме. Однако в данном случае речь идет именно о многоступенчатом образе: не только голова уподобляется кроне, но и сама крона — куполу в лесной обители. А поскольку купол — «голова» храма (существует устойчивое выражение «главы церковей»), то человек, в свою очередь, уподобляется храму. То есть отсечение дворянской головы есть такое же богопротивное дело, как разрушение храма. Налицо аллюзия с современной поэту революционной действительностью как в отношении дворянского сословия, так и в отношении института церкви. Налицо и философская подоплека: березовые купола и лесная обитель — явное указание на то, что природа для поэта есть храм, а не уподобляется храму, как человек. Наверное, другой интерпретатор данного образа, основываясь на своем жизненном и эстетическом опыте, найдет в нем еще какие-то «художественные смыслы», которые «мерцают из глубины» [6] текста поэмы.

Слова сочувствия казнимым представителям правящего класса, хотя и звучат в монологе Хлопуши, произносятся от имени губернатора Рейнсдорпа, в чем проявилось дра-

матургическое мастерство (или «драматургический инстинкт») Есенина. Сам «уральский каторжник» испытывает по отношению к ним совсем другие чувства, так как носит в душе обусловленную социальной принадлежностью ненависть: «Для помещика мужик —/ Все равно что овца, что курица» (3, 30).

Если помещичья голова сравнивается с кроной дерева, то мужичья (в монологе Сторожа) — с цветком: «Только б нашей / Не скосили, как ромашке головы» (3, 12). В контексте поэмы эти семантически близкие сравнения имеют одно существенное различие: топор сечет деревья «в индивидуальном порядке» — сначала одно, затем другое, коса же за один взмах «перекусывает ноги трав» (3, 10) десятками и сотнями. Трава абсолютно беззащитна перед лезвием косы. То есть «непокорную чернь умерщвлять» (3, 24) власть имеющим легче, чем мятежникам воевать с социальной элитой.

Любопытно, что Александр Блок в том же 1921 году заявил с трибуны торжественного собрания, посвященного 84-й годовщине смерти Пушкина: «Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут...» [7]. Для него чернь — «позорная кличка». Есенин же в «Пугачеве» неоднократно употребляет слово «чернь» именно по отношению к крестьянству, не вкладывая при этом в его семантику презрительного оттенка.

Органическое восприятие мира как единого целого позволяет Есенину с той же естественностью, с которой он уподобляет человеческое растительному, осуществлять и обратные уподобления. Так, в шестой главе появляется развернутый на целый монолог одного из казаков (Шигаева) образ просящей на пропитание ольхи:

Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и у прохожих.
Но никто ей не бросит даже камня.
В испуге крестясь на звезду,
Все считают, что это страшное знамение,
Предвещающее беду (3, 34)

В основе образа лежит отождествление желтых осенних листьев с содержимым человеческого черепа — тождество шокирующее, ведь нормой для поэзии стало сравнение листвы с волосами, а не с капающим мозгом. Но это не эпатаж публики и не образ ради образа. Столь ужасная судьба дерева в структуре поэмы концентрирует идею «бессмысленности и беспощадности» русского бунта. В финале поэмы картина капающего мозга возникнет вновь, теперь уже в монологе главного героя: «Да! Погиб я! / Приходит час.../ Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...» (3, 45). Таким образом, страшное знамение сбывается даже в конкретных деталях.

Усиливает чувство ужаса и то, что на роль страшного знака выбрано именно дерево, ведь для Есенина древо обычно символизирует жизнь. «Все от древа — вот религия мысли нашего народа» (5, 171), — писал он в «Ключах Марии». Поэтому знамение, выраженное через погибающее дерево, вызывает «у проезжих и у прохожих» апокалипсический страх — они молятся «на звезду» и даже камень боятся бросить, дабы не вовлечь себя в круг исходящей от этого дерева беды.

«Хрипая дрожь» ольхи вызывает ассоциацию с ее же «хриплым звоном» в стихотворении «Исповедь хулигана», написанном годом раньше: «Так хорошо тогда мне вспоминать / Заросший пруд и хриплый звон ольхи...» (2, 73). «Рваная шапка вороньего гнезда» заставляет вспомнить другие строки из того же стихотворения: «О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,/ Карабкаюсь по сучьям, воровал!» (2, 74). На вопрос, почему ольха воспринимается слухом поэта как хрипая, трудно ответить однозначно, наверное, на хрип

похож шелест, производимый осенью ее сухими «шишечками». Но если «хриплый звон» пробуждает в лирическом герое счастливые воспоминания о родительском доме, то «хрип-лая дрожь» — это апофеоз бесприютности: стенание слепца, отставшего от своей ватаги.

Мотив дома как основы благополучия человеческого существования и мотив осенней бесприютности всего живого вообще часто звучат в «Пугачеве». При этом родной дом обычно ассоциируется у героев поэмы с растущими около него деревьями (монолог Крямина): «Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах / Слушать шум тополей и кленов» (3, 43). С древесной растительностью ассоциируется и бездомность (монолог Караваева): «О осень, осень! / Голые кусты, / Как оборванцы, мокнут у дорог» (3, 20).

Неоднократно отмечавшийся исследователями текста поэмы библейский мотив странничества [2, 172], тесно связанный с мотивами дома и бесприютности, также не обходится без «флористических аккордов». И поскольку странничество — это бездомность добровольная, то звучит данный мотив гораздо оптимистичнее мотива осенней бесприютности. В нем даже заметны «весенние ноты» хрестоматийного стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый Шум», к которому автор сделал следующее примечание: «Так народ называет пробуждение природы весной». С началом этого стихотворения: «Идет-гудет Зеленый Шум, / Зеленый Шум, весенний шум! / Играючи, расходится / Вдруг ветер верховой: / Качнет кусты ольховые, / Подымет пыль цветочную...» [8] во многом (особенно лексически) перекликается есенинская характеристика странников: «Идут они, идут! Зеленый славя гул, / Купая тело в ветре и в пыли» (3, 13).

Переплетенный с картинами осени как предвестием обреченности главного героя мотив предательства также соприкасается с образом растущего у дома дерева (монолог Творогова):

Слушай. Слушай, есть дом у тебя на Суре,
Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,
Словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской поре,
Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.
Как же сможешь ты тополю помочь?
Чем залечишь ты его деревянные раны?
Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь
Общипала, как тополь зубами дождей, Емельяна (3, 40-41).

Далее Творогов оправдывает готовящееся предательство тем, что они, прежние соратники Пугачева, «старые листья», которые уже «не взойдут никогда», пусть даже весной «тополь снова покроется мягкой зеленой кожей». Сам Пугачев, обращаясь к соучастникам мятежа со словами не обвинения даже, а укора, тоже использует метафору, основанную на образе осенних листьев: «Это осень вытряхивает из мешка / Чеканенные сентябрем червонцы / <...> / Это она подкупила вас, / Злая и подлая оборванная старуха» (3, 45). Здесь листья играют роль тридцати сребреников, заплаченных за предательство Иуде.

В единый круговорот жизни поэт наряду с людьми и растениями вовлекает и представителей животного мира. Как заметила А. М. Марченко, у Есенина «нет никакой разницы между животным и растением» [9]. Табуну коней уподобляются овес и кустарник. Листья отождествляются то с людьми, то с червонцами, то со слезами, то с золотыми яйцами. Особенно широко развернут образ деревьев-птиц (монолог Караваева):

Как скелеты тощих журавлей,
Стоят ошипанные вербы,
Плавя ребер медь.
Уж золотые яйца листьев на земле
Им деревянным брюхом не согреть,
Не вывести птенцов — зеленых вербенят,
По горлу их скользнул сентябрь, как нож,
И кости крыл ломает на щепняк
Осенний дождь (3, 19).

Кроме главной параллели: журавли — вербы, в этой многоступенчатой метафоре содержится еще много параллелей, усиливающих образ: скелеты, ребра, кости, — ветви; ошипанные — опавшие; яйца — листья; брюхо — ствол; птенцы — сеянцы, горло — основание кроны. Большой эмоциональной силой обладает новообразование «вербенята», созданное по «животному образцу». Тот же художественный прием ранее был опробован поэтом в ставшем хрестоматийным образе сосущего зеленое вымя клененочка, и даже цветовой эпитет в обоих случаях применен один и тот же.

Пожалуй, самыми семантически насыщенными в поэме являются метафоры, построенные вокруг морфемы «рожь». Это подтверждается и рисунками автора на полях черновика поэмы. С. А. Толстая-Есенина в комментарии к стихотворению «Песнь о хлебе» писала: «Стихотворение было написано одновременно с работой над «Пугачевым» во время поездки Есенина в Среднюю Азию в 1921 году. На полях черновой рукописи «Пугачева» Есенин набросал рисунок: несколько растущих стеблей ржи с верхушками, выгнутыми от тяжести колоса, но вместо колосьев нарисованы головки лебедей. Под рисунком подпись поэта «Колосья». Есенин рисовал очень редко. Это один из немногих сохранившихся рисунков» [10].

Динамически развиваясь по ходу развития сюжета, образ колосьев ржи претерпевает изменения от «соломенного молока», до «желтых скелетов» (3, 37). В первой главе рожь наряду с другими традиционными сельскохозяйственными культурами символизирует «мужицкий рай». Причем русский мужик предстает здесь не «разбойником и вором», а мудрым и прилежным тружеником, с давних пор освоившим это «солончаковое место»:

Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ль здесь, сломав зари застенки,
Гонится овес на водопой рысцой,
И на грядках, от капусты пенных,
Челноки ныряют огурцов? (3, 8).

Развернутый образ «мужицкого рая» здесь в буквальном смысле «струится» (термин Есенина): рожь цедится, словно молоко; овес, подобно табуну лошадей, спешит к воде; пенящиеся речным потокам уподобляются грядки.

Конечно, идиллическая картина деревенской жизни намеренно утрируется главным героем в разговоре со Сторожем. То, что истинное состояние дел ему известно, видно из его предыдущего монолога: «Яик, Яик, ты меня звал / Стоном придавленной черни!» (3, 7). Тем не менее народное сознание хранит память о лучших днях: «Нет, прохожий! С этой жизнью Яик / Раздружился с самых давних пор» (3, 8). Народному сознанию вообще свойственно идеализировать как прошлое, так и будущее. Образ ржи продолжает «струение», и в следующем своем явлении (во второй главе) уже ассоциируется не с прошедшим «золотым веком», а с надеждой на «светлое будущее»: «Наши б кони, длинно выгнув шеи, / Стадом черных лебедей / По водам ржи / Понесли нас, буйно хорошея, / В новый край, чтоб новой жизнью жить» (3, 17). Уподобление равнинного ландшафта водной поверхности традиционно, но важно то, что «проводником» в лучшую жизнь является именно рожь — главная кормилица русского крестьянина.

В третьей главе рожь уже метафорическое обозначение самих мятежников: в реплике Караваева к ним применен глагол «жать» в значении «срезать колосья», в ответной реплике Пугачева метафорическое употребление этого глагола тут же обыгрывается развернутой метафорой:

Бедные, бедные мятежники!
Вы цвели и шумели, как рожь.
Ваши головы колосьями нежными
Раскачивал июльский дождь.

Колосья в творчестве поэта – постоянный объект метафоризации. Они ассоциируются не только с людьми, но и с лебедями: «Режет серп тяжелые колосья,/ Как под горло режут лебедей» (1, 176), а также с лошадьми: «Только будут колосья-кони / О хозяине старом тужить» (1, 161). Кони, в свою очередь, уподобляются лебедям, плывущим по водам ржи. Таким образом, представители различных природных царств: растения, птицы, звери (включая самого «царя природы» – человека) – закольцованы у Есенина одной сквозной мегаметафорой, которая, проходя через несколько самостоятельных произведений, привносит в каждое из них дополнительные смыслы, а также формирует общее художественное пространство этих произведений. Так, по наблюдению Н. И. Шубниковой-Гусевой, стихотворение «Песнь о хлебе», выражающее «отношение Есенина к современности и непреодолимую трагедию человеческого существования <...> является своего рода стихотворением-спутником первой большой поэмы Есенина, отражающим ее трагическую жизненную коллизию...» [2, 173]. Коллизия эта, помимо философских аспектов жестокости бытия, содержит указание на «злободневность» поэмы: на нее в определенной мере переносится современность звучания стихотворения.

В соответствии с трагическим развитием сюжета поэмы образ колосьев ржи в седьмой главе претерпевает дальнейшие метаморфозы: «...Глядишь и не видишь – то ли зыбится рожь,/ То ли желтые полчища пляшущих скелетов» (3, 37). Происходит метафорическое превращение колосьев из людей в их останки. И если в начале поэмы они ассоциировались с мирной, счастливой жизнью, то теперь символизируют смерть. Как уже отмечалось, то же происходит во время трагических для лирических персонажей событий с другим сакральным есенинским образом – деревом: «дерево жизни» оборачивается «дерево смерти». Но сама сакральность образа колосьев ржи не позволяет смерти возобладать над жизнью, и при последнем её упоминании в поэме (монолог Бурнова) рожь возрождается в виде новых всходов: «Только для живых ведь благословенны / Рощи, потоки, степи и зеленыя» (3, 39).

А. М. Марченко писала: «Из своего природного, органического дара Есенин создал «целую науку», как в отношении к себе, так и к миру, стройную и цельную поэтическую систему, утверждающую, во-первых, «перезвон узловых завязи природы с сущностью человека» и, во-вторых, духовность плоти, ее, так сказать, растительную, древесную природу, ее изначальную кротость [9]. Эта «изначальная кротость» растительной плоти, служащей началом всех пищевых цепей в природе, иначе говоря, кормом для плоти животной, отчетливо выражена в монологе Сторожа «Видел ли ты...» (3, 10-11). Трагическая, но объективно неизбежная незащищенность травы перед косой («Потому что не может она, как птица, / Оторваться от земли в синь) далее переносится на незащищенность человека перед лицом насилия, потому что он тоже имеет обыкновение прирастать к своей земле: «Так и мы! Вросли ногами крови в избы...».

Однако, вобрав в себя сущностные признаки «растительной природы», человек нередко наделен «звериной душой»: «Тот медведь, тот лиса, та волчица...» (3, 23). Эта двойственная сущность человека является одной из главных философских коллизий поэмы. Причем конфликта между растительным и животным началами в природе, по мысли поэта, не существует вовсе. Здесь у каждого есть «призвание свое и имя» (3, 23) (в биологии это называется экологической нишей), генетический код которых переходит от матери к детенышу. Медведица учит медвежонка «мудрости своей звериной» (3, 23) по луне, которая ему представляется выющим в осеннем ветре желтым листом. Мир представляется ему обжитым, единым и гармоничным.

Человек же вынужден разгадывать свое «значение». Пугачев «долгие, долгие тяжкие года» «учил в себе разуму зверя», потому что «жизнь – это лес большой» и «нужно крепкие, крепкие иметь клыки» (3, 23). Вопрос о том, действительно ли главный герой разгадал свое значение, остается открытым до финала поэмы, где в последней реплике

Творогова (глава «Конец Пугачева») «звериная мудрость» предводителя подавленного мятежа оборачивается «зверской резней», а сам он уподобляется злобному волку. На фоне яростных обвинений бывшего товарища особенно отчетливым контрастом проявляются нежность и элегичность завершающего поэму монолога Пугачева. В нем «растительная природа» человека проявляется особенно отчетливо: «Юность, юность! Как майская ночь,/ Отзвенела ты черемухой в степной провинции» (3, 45).

Остальные герои поэмы также осознают себя и других частью природной жизни. У них, как и у их создателя, это осознание заложено на генетическом уровне наследников многих поколений земледельцев. По воспоминаниям современника, Есенин, защищая свою поэму от нападок критиков, привел следующий аргумент: «Говорят, лирика, нет действия, одни описания, — что я им, театральный писатель, что ли? Да знают ли они, дурачье, что «Слово о полку Игореве» — все в природе! Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт» [11].

Известно, как высоко ценил поэт этот памятник древнерусской литературы, поэтому проведенная им параллель между «Пугачевым» и «Словом о полку Игореве» очень показательна как в плане взаимоотношений человека и природы, так и в плане отношения к природе самого Есенина. Из высказывания поэта следует, что художественной и философской основами своей поэмы он вслед за автором «Слова» сделал идею о неразделимости жизни природной и социальной.

Уже первый монолог Пугачева завершается обращением к природе именно с просьбой вступить с ним в заговор. При этом обращается он к помощи «темных сил» природы: «О, помоги же, степная мгла,/ Грозно свершить мой замысел!» (3, 8), что можно трактовать как отрицательное отношение автора к бунтам вообще, несмотря на симпатию к своему главному герою. Для расширения образа мглы вместо привычного эпитета «ночная» Есениным употреблен эпитет «степная». То есть речь идет не только о темном времени суток, но и о всем том зле (социальном!), которое накопилось в «разбойном» степном краю, приюте «дикарей и оборванцев», зовущем Пугачева «стоном придавленной черни!» (3, 7).

И действительно, поначалу «темные силы» природы выступают союзниками восставших. Третья глава, носящая знаковое название «Осенней ночью», открывается пространым монологом Караваева, где он проклинает осеннее ненастье, несущее гибель всему живому и напоминающее «расправу за мятеж» (3, 20). Пугачев, однако, быстро убеждает его, что «этот дождь на счастье богом дан», так как, «в темноте скрываясь», он «правительственные посты осмотрел» и увидел возможность легкой (и кровавой!) победы — ведь «часовые попрятались, как зайцы» (3, 22).

В четвертой главе Пугачев уже осознает, что «осень, как старый оборванный монах,/ Пророчит кому-то о гибели вешне» (3, 25), однако отмахивается от этого предупреждения природы и, надев на себя личину императора Петра, опять же «ночью в половине четвертого» (3, 28) назначает новый набег. Но в финале поэмы главной причиной поражения восстания и собственной гибели Пугачев называет именно осень. Не превосходство в силах правительственных войск, не бегство калмыков и башкир, не предательство товарищей, не какую-либо другую объективную, с точки зрения военной логики, причину. Осень — вот единственная для него виновница трагических событий. Она — часть тех темных сил природы, к помощи которых он прибегнул, а к их помощи нельзя прибегнуть безнаказанно. На это ясно указывает то, что осень «хихикает <...> исподтишка,/ Злобно отплевываясь от солнца...» (3, 44).

Солнце несет свет и тепло, осень — мглу и холод. В круговороте жизни северной природы они антиподы. Но Пугачев обвиняет осень в преступлениях сугубо человеческих: подкупе и намерении погубить родную страну. Она даже обличье принимает людское — злой колдуньи:

Это она, она, она,
Разметав свои волосы зарею зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна
Под ее невеселой холодной улыбкой (3, 45).

В последние годы широкую известность приобрел факт совпадения опорной фразы финала поэмы «...Дорогие мои... Хор-рошие...» со словами, повторяемыми перед расстрелом руководителем Тамбовского крестьянского восстания атаманом Антоновым. «Эти слова, – утверждает Л. В. Занковская, – облетели в 1921 году всю Россию» [12]. В свете этого факта «тема злой, жестокой осени» приобретают ярко выраженную символику Октябрьской революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Макарова И. А. Непрочитанная поэма // Нева. – СПб., 1995. – № 10. – С. 192-193.
2. Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека»: Творческая история, судьба, контекст и интерпретация. – М., 2001. – С. 169, 126, 172, 173.
3. Куняев С. Трагедия стихии и стихия трагедии // Лит. Учеба. 1982. – № 4. – С. 83.
4. Воронова О. Е. Духовный путь Есенина: Религиозно-философские и эстетические искания. – Рязань, 1997. – С. 103.
5. Есенин С. А. Собр. соч.: В 6-ти тт. – М., 1978. Т. 3. – С. 31. Далее ссылки на то же издание с указанием номера тома и страницы в тексте статьи.
6. Вайман С. Т. Гармонии таинственная власть. Об органической поэтике. – М., 1989. – С. 274, 244.
7. Блок А. А. О назначении поэта. / Соч.: В 2-х тт. – М., 1955. – Т. II. – С. 349.
8. Некрасов Н. А. Стихотворения / Сост. и вступ. статья Н. Старшинова. – М., 1988. – С. 233.
9. Марченко А. М. Поэтический мир Есенина. – М., 1972. – С. 95.
10. Цит. по: Шубникова-Гусева Н. И. Указ. соч. – С. 130.
11. Старцев И. И. Мои встречи с Есениным // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2-х тт. / Вступ. ст., сост. и коммент. А. А. Козловского. – М., 1986. – Т. 1. – С. 414.
12. Занковская Л. В. Новый Есенин: жизнь и творчество поэта без купюр и идеологии. – М., 1997. – С. 207.

ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ

И.А. Башкирова

СЕМАНТИКА ИМЕННЫХ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РОМАНЕ
М.А. БУЛГАКОВА “МАСТЕР И МАРГАРИТА”

Безличные именные предложения со значением “состояние субъекта”, функционирующие в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”, можно разделить на 3 группы: 1) модели, номинирующие психическое состояние человека; 2) модели, номинирующие физическое состояние человека; 3) модели, номинирующие психофизическое состояние человека.

В рамках **1-ой группы** выделяются две подгруппы: а) модели с семантикой “эмоциональное состояние человека”: МНЕ ГРУСТНО; б) модели с семантикой “интеллектуальное состояние человека”: МНЕ ИЗВЕСТНО.

По оценочной шкале “положительная – нейтральная – отрицательная семантика” слова категории состояния (СКС) в моделях распределяются следующим образом: СКС с положительной семантикой – *смешно* (1 словоформа); СКС с нейтральной семантикой – *жалко* (10 словоформ); СКС с отрицательной семантикой – *страшно* (1 словоформа), *досадно* (1 словоформа), *стыдно* (2 словоформы), *грустно* (1 словоформа), *скучно* (4 словоформы), *грешно* (1 словоформа), *ужасно* (1 словоформа): *Так смешно, вообразите; Ужасно не хотелось возвращаться, но шляпы ему было жалко; Да, стыдно.*

Модели **2-ой группы** с семантикой “физическое состояние человека” составляют самую малочисленную группу: в ее состав входят всего два компонента: ЕМУ ЖАРКО, ЕМУ ХОЛОДНО: *Римскому было жарко; Ему стало холодно.*

Модели **3-ей группы** с семантикой “психофизическое состояние человека” наиболее многочисленны: в состав модели входят следующие СКС: СКС с положительной семантикой – *легко* (2 словоформы); с нейтральной семантикой – *удобно* (3 словоформы), *неудобно* (2 словоформы); с отрицательной семантикой – *трудно* (18 словоформ), *нетрудно* (2 словоформы), *дурно* (1 словоформа), *горько* (2 словоформы), *плохо* (1 словоформа), *тяжело* (1 словоформа), *тесно* (3 словоформы), *худо* (4 словоформы): – *Тесно мне, – вымолвил Пилат, тесно мне; Ничего не пейте, кроме воды, а то вы разомлеете и вам будет трудно.* В зависимости от контекста модели могут номинировать как психическое, так и физическое состояние человека. Ср., например: – *Горько мне! Горько!* – *завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе* (психическое состояние) и *Ему горько от чеснока* (физическое состояние, вызванное вкусовыми ощущениями человека).

Отдельную подгруппу в составе моделей, обозначающих психофизическое состояние человека, составляет группа моделей с семантикой “зрительная и слуховая перцепция” – непосредственное отражение действительности органами чувств: МНЕ ВИДНО, МНЕ СЛЫШНО. В состав модели входят 3 СКС: *видно* (9 словоформ), *(не) видно* (3 словоформы), *слышно* (13 словоформ), *(не) слышно* (7 словоформ): *Но процессии уже давно не было видно; Не было слышно ни звука; Ему слышно было лишь гулкие шаги.* Отрицательная частица *не* или префикс *не* усиливают отрицательную семантику СКС.

Как видим, в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита” преобладают модели со СКС с отрицательной семантикой (53 словоформы). Отрицательная коннотация создается двумя факторами: 1) лексическим значением СКС: *страшно, досадно, стыдно, грустно, грешно* и др.; 2) интерпретационным значением модели [1]. Синтаксическое значение модели подчеркивает лексическую семантику: безличная форма главного члена предложения и представление субъекта в пассивной перспективе (зависимая форма дательного

падежа) реализует значение “неволевитивное состояние субъекта”, которое как бы навязывается субъекту помимо его воли [2]. Два вышеназванных фактора в совокупности усиливают отрицательное значение модели и придают ей яркую оценочную окраску.

На основании проанализированного материала можно сделать следующие выводы:

1. Преобладание в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита” моделей со значением “психоэмоциональное состояние” говорит о том, что главной задачей автора было описание не физического, а именно духовного, внутреннего мира героев.

2. Использование в моделях СКС с негативной коннотацией подчеркнуло “фатумное”, “роковое” значение безличных предложений, помогающих автору передать одну из главных тем романа — тему неопознанной высшей силы, тему сатаны.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мони́на Т.С. Проблема тождества предложения. — М., 1995. — С. 38 — 48.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997. — С. 44 — 47.

РАЗВИТИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОБЪЁМА ПОНЯТИЙ ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык располагает достаточно разработанной системой языковых единиц, отражающих отношения между людьми. Обилие слов подобной семантики свидетельствует об особом интересе, проявляемом в русской культуре к сфере названных отношений.

Если обратиться к словарям, можно обнаружить, что *дружба* и *любовь*, несмотря на свое лексическое значение, связаны между собой, причем *дружба* может быть частью понятия «любовь», слова *дружелюбие*, *дружелюбно*, *дружелюбный* — его семантическим сегментом. Академический «Словарь синонимов» определяет лексему *друг* как «человека, близкого по духу, по убеждениям, на которого можно во всем положиться», а «Словарь современного русского литературного языка» — как «человека, тесно связанного с кем-либо взаимным доверием, преданностью, любовью». Эти понятия объединяет общая сема «отношения между людьми, основанные на духовной близости, взаимной привязанности», но *любовь* характеризуется большей интенсивностью чувства, своеобразной интенцией к другой личности. Тем не менее в сознании современного носителя языка *любовь* и *дружба* осмысливаются как два разных понятия.

Анализ языкового материала позволяет нам установить, пересекаются ли понятия *дружба* и *любовь* в каком-либо семантическом множителе.

В старославянском языке *любовь* была многозначным понятием (ср. *любы*, *любѣвь* 1) 'любовь': *богъ любы естъ ижъ прѣвываетъ*; 2) 'страсть, влечение': *а любы не вѣсть жь-дати врѣмене зовѣшѣа*; *любѣ дѣлати, творити, сътворити* 'прелюбодействовать' [1, 317]). О важности этого понятия для средневекового человека свидетельствует наличие большого количества производных слов с корнем *-люб-*, имеющих то же значение (*възлюблѣние* 'любовь' [1, 140]; *прилюблѣние* 'любовь' [1, 506]; *любодѣиство* 'прелюбодеяние, любодѣяние' [1, 316]), и дифференциация понятия «любовь» в зависимости от того, к кому она была обращена (*чловѣколюбѣць* 'тот, кто любит людей' [1, 781]; *чадолюбивѣ* 'любящий детей' [1, 788]; *любоустраниѣ* 'гостеприимство' [1, 317] и др.).

Если понятие *любовь* является ядерной единицей лексико-семантической системы старославянского языка, то лексема *дружба* оказывается как в лексическом, так и в словообразовательном плане относительно «бедной». В Старославянском словаре встречаем лишь единичные примеры *дрѹжьба* 'дружба' [1, 197]; *приязнь* 'дружба, приязнь, преданность' [1, 516]. Это не означает, впрочем, что для средневекового человека это чувство было незнакомо или чуждо, однако оно, по-видимому, почти не затрагивало сферу межличностных отношений. Об этом свидетельствует отсутствие в старославянском языке глагола *дружить* и производных от него форм (в отличие от понятия «любовь»: *любити* 1) 'любить': *любите врагы вашѣа*; *любимъ*, *-ын в знач. прил.* любимый; 2) 'хотеть, любить (делать что-л.)': *любѣши ли съподобити сѣ анѣлѣскоумоу образу* [1, 315-316]). Для средневекового человека понятие *дружба* было ограничено рамками совместной деятельности (ср. *дрѹгъ* 'друг, сотоварищ' [1, 197]; *подрѹгъ* 1) 'товарищ, сотоварищ; • товарищ на работе' [1, 463]) или просто обозначало другого человека, собрата по вере (*подрѹгъ* 2) 'ближний': *възлюбѣши подрѹга своего* [1, 463]), поскольку хотя слово «приязнь» и имело в старославянском языке значение 'дружба', но очень часто богословами при изъяснении божественного вкладывался в него тот же смысл, что и в понятие *любовь*. Т. И. Вендина отмечает, что в Средневековье одной из важных для человека ценностей являлась семья, род, значимость которых определялась, прежде всего, наличием кровнородственных связей. «Значение этих связей для средневекового человека раскрывается в слове *сръдвола* собир. 'родня, родственники' СС, 621, обозначающем то, что только лишь семья и родня «сердцем болеют» за него, переживая все превратности его судьбы» [2, 294]. Это говорит о

том, что для средневекового человека, по-видимому, единственным другом в жизни была лишь жена (подрожие 'жена' [1, 463]).

Таким образом, мы видим, что материалы старославянского языка разводят понятия «любовь» и «дружба».

Древнерусский язык не только сохраняет унаследованное из старославянского языка осмысление понятий *любви* и *дружбы*, но и по-своему их развивает. Этому способствовали как языковые, так и внеязыковые факторы.

Любовь для человека Древней Руси сохраняет свое значение как сакральная категория (ср. *боголюбие* 'любовь к Богу, почитание Бога' [3, 259]; *възлюбити* 1) 'полюбить; принять': *но въсакоу злобоу възненавидѣ. а благодать божию и милость възлюбѣ* [3, 80]), но в то же время дериваты с корнем *-люб-* обозначают полную картину мира, в центре которой находится человек. Именно он формирует лексическое поле *любви* в древнерусском языке. В осмыслении понятия *любовь* начинается происходить сдвиг акцентов на чувства и желания человека (ср. *любити* 1) 'любить, чувствовать привязанность к кому-л.'; 2) 'чувствовать склонность, влечение к чему-л.' [4, 465]; *любогрѣховѣ* 'склонность к греху' [4, 468]; *благолюбие* 'благая, искренняя любовь' [3, 189]; *благолюбити* 'любить добро, быть добродетельным' [3, 189]).

В связи с этим в древнерусском языке расширяется семантическое поле лексемы *дружба*. В Древней Руси перестают относиться к дружбе и друзьям с недоверием, и это находит свое отражение в языке. *Друг* начинает мыслиться не только как ближний, но и как близкий человек (по духу, по общности интересов и т. д.). Так, *дроужьба* - 1) 'дружба'; 2) 'товарищество, содружество' [5, 90]; *дроугъ* - 1) 'другой, всякий человек, ближний; || при обращении к единоверцам, христианам': *придѣте дрѹзи и брате. възлюбленое стадо христово*; 2) 'товарищ, сообщник, спутник': *отрокоу же нищюцю дроуга. зане не вѣдаше поутѣ. обрѣте же божиѣмъ повелѣнѣмъ архангела рафаила*; 3) 'сторонник, приверженец, защитник'; 4) 'друг' [5, 85]. В древнерусском языке появляется глагол *дроужити са* 'быть в дружбе'; по словообразовательным моделям старославянского языка создаются дуплет существительного *дроугъ* в 4-ом значении (*дроужьбьникъ* 'друг, товарищ' [5, 93]), прилагательные (*дроужьбьный* 'дружеский' [5, 93]; *дроужьний* 1) 'относящийся к другому, ближнему'; 2) 'относящийся к другу, свойственный другу' [5, 93]).

Казалось бы, в древнерусском языке *любовь* и *дружба* не имеют в своем лексическом значении общих сем. Но в древнерусском языке есть воспринятая из старославянского языка форма *дроуголюбие* (ср. *дроуголюбьць* 'любящий ближнего, человеколюбец' [5, 85]), которая, как указывает В. В. Виноградов, со временем становится двусмысленной (ср. — *другой*). Постепенно звательная форма к слову *друг* — *дроуже* заменяет собой основу *дроуг-* [6, 152]. Таким образом, форма *дружелюбие* расширила семантические возможности использования этого слова, связав его не только с *другом*, но и с *дружеством*, *дружбой*.

В современном русском литературном языке произошли существенные изменения в смысловой структуре понятия *любовь*. Утрачено прежде всего религиозное осмысление *любви*, в связи с чем она стала категорией сугубо антропоцентрической. Если старославянский язык говорит нам о том, что истинным субъектом любви является Бог, то русский литературный язык апеллирует к межличностным отношениям (например, *любовь* 1) 'чувство глубокой привязанности к кому-, чему-либо'; 2) 'чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола'; 3) 'внутреннее стремление, влечение, склонность, тяготение к чему-либо' [7, 209]).

Для языкового сознания современного человека теряется смысл *любви* как чего-то греховного, его слабый отблеск присутствует лишь в тех словах, которые употребляются с пометой «устар.» (ср. *прелюбодеяние* 'нарушение супружеской верности мужем или женой; внебрачная любовная связь' [8, 379]; *прелюбодей* 'тот, кто совершил, совершает прелюбодеяние' [8, 379]).

Изменения происходят и в осмыслении понятия *дружбы*: оно окончательно входит в сферу межличностных отношений. Интересно, что понятие *дружба* в современном русском языке сохраняет большинство значений, которые были присущи ему в древнерусском языке. Так, слово *друг* сохраняет значения 1) 'тот, кто связан с кем-либо дружбой'; 2) 'сторонник, приверженец, защитник': *И добрых знаний много сеял ты, Друг Истины, Добра и Красоты!* (Н. Некрасов); 3) 'Употребляется в обращении, обычно к дружественному или близкому лицу': — *Я пришла тебя обрадовать, друг мой!* (М. Лермонтов) [9, 448].

Меняет свое значение слово *дружелюбие*, теперь оно полностью относится к понятию *дружба* (ср. в древнерусском языке — *дрю҃голюбивыи* 'любящий ближнего, человеколюбивый' [5, 85] и в современном русском — *дружелюбный* 'проникнутый дружелюбием; доброжелательный' [9, 449]). Но в языке всё же сохраняется связь понятий *любовь* и *дружба*. Слово *друг* в значении 'тот, кто связан с кем-либо дружбой' становится синонимом существительного *любимый*, развивая еще одно значение — 'любимый человек, возлюбленный': *Она перенесла некоторую часть качеств, пленивших ее в свекре, на своего молодого, прекрасного друга и любила его в то время больше, чем когда-нибудь* (С. Аксаков) [9, 448]. А со словом *любовник* в значении 'мужчина по отношению к женщине, находящейся с ним во внебрачной связи' синонимично устойчивое сочетание *друг дома* во 2-ом значении '(шутл.) любовник хозяйки дома' [9, 448].

Таким образом, проанализированный материал свидетельствует о том, что понятия *любовь* и *дружба* довольно глубоко освоены русским языком. Их судьба в истории русского языка, логика выстраивания их смыслов свидетельствует о глубоком интересе человека к сфере межличностных отношений и доказывает, что понятие *дружба* только в современном русском языке является частью концепта *любовь*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Старославянский словарь (по рукописям X - XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. — М., 1994. В скобках указан номер примечания и страницы.
2. Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. — М., 2002.
3. Словарь древнерусского языка (XI — XIV вв.): В 10 тт. / Гл. ред. Р. И. Аванесов. — М., 1988. — Т. 1.
4. Словарь древнерусского языка (XI — XIV вв.): В 10 тт. / Гл. ред. Р. И. Аванесов. — М., 1991. — Т. 4.
5. Словарь древнерусского языка (XI — XIV вв.): В 10 тт. / Гл. ред. Р. И. Аванесов. — М., 1990. — Т. 3.
6. Виноградов В. В. История слов / Российская академия наук. — М., 1999.
7. Словарь русского языка: В 4 тт. — М.; Л., 1957-1961. — Т. 2.
8. Словарь русского языка: В 4 тт. — М.; Л., 1957-1961. — Т. 4.
9. Словарь русского языка: В 4 тт. — М.; Л., 1957-1961. — Т. 1.
10. Словарь русских народных говоров / Сост. Ф. П. Филин. — М.-Л., 1965—2003. — Вып. 17. — 1981.
11. Словарь русских народных говоров / Сост. Ф. П. Филин. — М.-Л., 1965—2003. — Вып. 8. — 1972.

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ КАРТОЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Карточная лексика прочно вошла в художественную речь русских писателей. Однако до сих пор многие понятия карточной игры, отмеченные в художественной литературе, остаются, по словам В. И. Чернышёва, «темными словами в русском языке» [1]. Это мешает полноте восприятия таких произведений, как «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, «Игроки» Н. В. Гоголя, «Иванов» А. П. Чехова, «Большой шлем» Л. Н. Андреева, некоторых стихотворений Н. А. Некрасова и других творений русских классиков.

Действия игроков фиксируются набором слов и выражений, которые выступают в роли оттеночных характеристик понятия. Прослеживается активность понятий, реализуемых семантикой слова «играть», «проиграть», «выиграть». В статье мы ставим перед собой задачу наиболее полно рассмотреть синонимичный ряд понятия «играть». В этом ряду представлены слова и словосочетания, использующие в своём составе карточные номинации-эвфемизмы, а также понятия из шулерского арготизма и жаргонизмы.

I. Эвфемизмы. Игра в карты в массовом сознании всегда связывалась с пороком. С целью своеобразной «маскировки» подлинной сути происходящего, игроки употребляли стилистически нейтральные и шуточные понятия, лишь косвенно указывающие на игру в карты. С именами императора Павла I и его жены Марии Федоровны связано выражение «трудиться на пользу императорского воспитательного дома» (устар.) в значении «играть в карты». Для материального обеспечения учрежденных императрицей Марией Федоровной сиротских благотворительных заведений был налажен выпуск карточных колод, налог с которых поступал в эти дома [2]: *...Заказали своему трактирщику приготовить усиленный запас шипучего, а сами – чтобы не заскучать – сели под вечерний звон «резаться», или, как тогда говорили «трудиться для пользы императорского воспитательного дома»* [3].

Бои на зеленом поле (устар.) – игры в карты. Карточные столы, ломберные или бостонные, традиционно обтягивались зелёным сукном. *Что же касается боёв на зеленом поле, то в старину они в Петербурге процветали. Петербургские старожилы, вероятно, ещё помнят, как на одной из главных ...улиц...почти каждый вечер кипела очень сильная, азартная игра и манила проезжающих...* [4]. Стол, обтянутый зелёным сукном, стал одним из символов карточной игры. У В.И. Даля встречаем: «Гуляли по зелёному лугу» (играли в карты) [5].

«Бессменный совет царя Фараона» (устар.) – шуточное название процесса игры в карты. От смешения (смыслового и фонетического) слов «Соломон» (имени библейского царя) и «фараон» (названия азартной банковской игры) [6].

«Попотеть на листе» (устар.) . Все карточные партии, расчеты в процессе коммерческой игры всегда записывались на особым образом разграфленный лист бумаги: *Особенно славилась в эти года (конец XVIII века) Петергофская дорога своими трактирами, где велась тогда адская игра. ... Вследствие этого обстоятельства, как почтовые станции, так и все трактиры по этому тракту были полны офицерством, любившим, как тогда говорили, «сушить хрусталь» и «попотеть на листе»; последнее обстоятельство также называлось «бессменным советом царя Фараона», то есть тут метали банк «от зари до зари»* [7].

II. Эвфемизмы необходимы и в шулерском арготизме, где стилистически нейтральные общелитературные слова и словосочетания приобретают особый смысл и эмоциональную окраску. Использование таких словосочетаний в художественной литературе – важнейшее средство характеристики личности персонажа, указание на его принадлежность к миру шулеров.

Играть на верное, наверняка – играть, используя шулерские приёмы. Это увеличивает вероятность выигрыша. *Ремизиться вечно не стоит труда, Наверно играть невоз-*

можно... [8]; *Не из тех ли разорённых шулерами игроков, которые пришли к убеждению, что играть не наверняка есть бессмысленное времяпрепровождение?* [9].

Читать книжку в пятьдесят два листа (устар.) — играть в карты [10]. В основе — шулерское понятие «книга, книжка» в значении «крапленая колода» [11].

III. Слова и словосочетания, имеющие в своём составе карточные номинации. Особенностью данных сочетаний является то, что они прямо указывают на игру или на тип игры, в которую играют или будут играть в данный момент.

«Сядем в горку» — начнем играть в преферанс, где *горка* от *гора*; термин «гора» — сугубо преферансный термин:

*Савва — честь ему и слава!—
«Сядем в горку!»— вдруг сказал.
Стол раскрыт — пошла забава,
Что ни ставка — капитал!* [12]

Предложение сыграть в преферанс может быть передано словами «расписать пулю, или пульку, засесть за пулю» и «слюнявить пульку»: «*Вечером, когда наши традиционно засели за «пулю», я смирененько пристроился за спиной Гришки*» [13]. Любимая игроками поговорка «пулька не свидание — к началу не опаздывай» «переводится» как «игра в преферанс не свидание — к началу не опаздывай».

Понтировать, понтировка (устар.) — играть/игра в азартные игры. *Понтировать* — в азартных играх играть против банкро́мёта. В других типах игр термин не встречается: *Бутлер ... не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать* [14].

*Прошу тебя забыть
Нахальную уловку,
И крепс, и понтировку,
И страсть людей губить.* [15]

Винтить (устар.) — играть в винт: *А что, подпоручик, в карточной уже винтят?* [16]; *Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером* [17].

Козырять — играть в карты. «Козырь» — карточный термин, характеризующий коммерческие игры:

*Закурив дорогие сигары,
Неиграющий люд на кружки
Разделился: пошли тары-бары...
(козыряют давно игроки).* [18]

Резаться, порезаться — азартно, с увлечением играть в карты, демонстрируя пренебрежение к деньгам. *Резка, прорезка* — многозначный карточный термин, характеризующий как азартные, так и коммерческие игры: *...любитель порезаться в карты. Часто видна за карточным столом его пыхтящая, сутулая, круглая фигура* [19]; *Сидит и режется, подлец, по огромному кушу, и с самым таким возмутительным для нашего брата-голяка спокойствием...* [20].

IV. Карточный жаргон характеризуется тем, что в специальном контексте понятен всем носителям языка.

Швыряться — играть вообще. *Он вытянул колоду, протрещал по ней пальцами и, смысленными глазами глядя на Павла Николаевича, спросил: — Швыряетесь? ...— Мало. Больше в подкидного* [21].

Кряхтеть — шуточный синоним к понятию «делать что-либо с неохотой, издавая стонущие звуки». Употребляется игроками, как правило, к не крупной коммерческой игре:

*Даже ты, откупное светило,
За грошовым пикетом кряхтишь...* [22]

Дуться — с азартом играть в какую-нибудь игру; слово, несмотря на разговорно-просторечный характер, довольно часто встречается в художественной литературе для оценки карточной игры как недостойного времяпрепровождения: *Они теперь дуются в карты — и не заметят вашего отсутствия. Мой зять все в государственные люди метит, а только за ним и есть, что в карты отлично играет. Ну, и то сказать: через этот фортель многие выходят!..* [23].

Картёж — считается устаревшим и просторечным. Применяется для характеристики безудержной азартной игры, игры без каких-либо моральных ограничений. Как правило, ставится в один ряд с такими пороками, как безделье, пьянство и разврат: *Времяпрепровождение было, разумеется, — картёж и поклонение Бахусу, а также и богине радостей сердечных* [24].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чернышёв В. И. Темные слова в русском языке // Избранные труды в 2-х тт. — М., 1970. — Т. 1, — С. 303–316.
2. Лесной Д. С. Игорный дом. Энциклопедия. — Вильнюс—Москва, 1994. — С. 339.
3. Лесков Н. С. Интересные мужчины // Собр. соч.: В 5-ти тт. — М., 1981. — Т. 4. С. 79.
4. Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни. — СПб., 2004. — С. 410.
5. Даль В. И. Пословицы русского народа. — М., 1997. — С. 516.
6. Лесной Д. С. Указ. соч. С. 51.
7. Пыляев М. И. Старое жите. Замечательные чудачки и оригиналы. — СПб., 2004. — С. 67.
8. Некрасов Н. А. И скучно, и грустно // Собр. соч.: В 3-х тт. — М., 1959. — Т. 2. — С. 409.
9. Мартуус. В ...м клубе. Записки игрока Мартууса. — М., 1906. — С. 72.
10. Даль В. И. Указ. соч. — С. 516.
11. Лесной Д. С. Указ. соч. — С. 293.
12. Некрасов Н. А. Современники // Указ. соч. — Т. 3. — С. 64.
13. Барбакару А. Записки шулера. — М., 2003. — С. 12.
14. Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат // Собр. соч.: В 20-ти тт. — М., 1965. — Т. 14. — С. 126.
15. Давыдов Д. В. Болтун красноречивый // Стихотворения. — Л., 1984. — С. 77.
16. Куприн А. И. Поединок // Собр. соч.: В 5-ти тт. — М., 1982. — Т. 5. — С. 295.
17. Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Указ. соч. — Т. 12. — С. 61.
18. Некрасов Н. А. Недавнее время // Указ. соч. — Т. 2. — С. 159.
19. Мартуус. В ...м клубе. Записки игрока Мартууса. — М., 1906. — С. 47.
20. Лесков Н. С. Бесстыдник // Собр. соч.: В 6-ти тт. — М., 1993. — Т. 6. — С. 105.
21. Солженицын А. И. Раковый корпус. — СПб. — С. 274–275.
22. Некрасов Н. А. Недавнее время // Указ. соч. — Т. 2. — С. 439.
23. Тургенев И. С. Новь // Собр. соч.: В 10-ти тт. — М., 1961. — Т. 4. — С. 194.
24. Лесков Н. С. Интересные мужчины // Собр. соч.: В 5 тт. — М., 1981. — Т. 4. — С. 75.

СТИЛИСТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ХИНЬ В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Яркий и многообразный в языковом выражении, И. С. Тургенев известен еще и своим особым отношением к народно-разговорной речи, к тем ее краскам, которые в лингвистике называются *диалектное слово*. Это объяснимо не только его корнями (писатель, как мы знаем, родился в селе Спасское-Лутовиново Орловской губернии), но и литературной традицией: писатель многому учился у Н. В. Гоголя. Как известно, «Гоголь смотрел на язык прежде всего как на средство выражения, включающее в себя кроме общенародной лексики, различные территориально-диалектные, фольклорные и профессиональные элементы, придающие повествованию особый колорит» [1].

Тургенев с большой осторожностью относился к диалектной лексике, использовал ее средства для придания «сочного» оттенка литературной речи. Как отмечал П. Г. Пустовойт, орловская речь, ее диалектные слова и выражения «стали рассматриваться Тургеневым не как инородное тело в языке образованного человека, стремящегося очистить свою речь от них (как было в 18 веке), а как важнейшее художественное средство, как необходимая принадлежность языка персонажей» [2].

Работая над романом «Дворянское гнездо», Тургенев использовал арсенал диалектных и просторечных слов для более точной и полной в идейном плане обрисовки героев. И. С. Тургенев вводил диалектизмы в лексикон персонажей как яркое характерологическое средство при создании их речевого портрета, а также эксплицировал собственное отношение к речи, характеру героя. Многие ученые (А. И. Батюто, Г. Б. Курляндская, П. Г. Пустовойт) подчеркивали эту важную черту тургеневского письма. Диалектизмы могут передать не только этнокультурный компонент, но и отразить глубину человеческих переживаний и эмоций, которая хранится в их семантике: в значении диалектизмов отражен опыт народного бытия и мироощущения.

Читатель непременно обратит внимание на тщательный отбор автором этих слов. Писатель вовсе не желал вычурности в своем повествовании, в то время как многие его современники чрезмерно увлекались употреблением периферийной лексики, пытаясь тем самым «приблизиться» к народу. Нам понятна позиция писателя, которую он отстаивал, вводя в свой последний роман диалектные слова и выражения.

Читателю (особенно современному молодому), к сожалению, значения многих диалектных слов оказываются не только не известными, но и в целом «мешают» воспринимать текст. Вот почему задачей языковедов является комментирование художественного текста; при его анализе особое внимание следует уделять особенностям репрезентации идиостилия, когда речь идет о так называемом «определении» авторского письма.

Конечно, в первую очередь, по диалектным словам мы «узнаем» место действия, представленное в романе «Дворянское гнездо» [3]. Известно, что диалектизмы назывались также и провинциализмами, таким образом, можно подчеркнуть, что данные слова и выражения употреблялись в тургеневской России XIX в. только в конкретной области, в городе.

Читатель может догадаться, где расположен тот провинциальный уголок, в котором происходит действие романа. Уже в первой главе Тургенев дает это понять, хотя не уточняет место действия: *Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет*. Далее какие бы то ни было сомнения рассеиваются, потому что писатель дает многочисленные «лексические ориентиры», например, диалектизм *хинь* в форме *хиню* (*пойти хиню*), который с абсолютной точностью позволяет сделать вывод, что местом действия в романе избран провинциальный город

Орел. См. главу 21: *А вот дедушка ваш, Петр Андреич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил; все у них пошло хинюю; и жили они не хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили, — а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось, и то еще, спасибо, Глафира Петровна порадела.*

Это слово употребляется Тургеневым всего один раз в исследуемом романе, выделяется авторским курсивом, но оно является важной авторской характеристикой, которую можно отнести к изображенной дворянской, общественной жизни в целом. Это употребление мы считаем стилистически обусловленным. Понятно, что Тургенев, обрисовывая «жизнь дворянских гнезд», на примере гнезда Лаврецкого показал, что *пошло хинюю* все дворянское обустройство, весь дворянский быт, вся дворянская Россия. Оценочным предикатом *пошло хинюю* в речи второстепенного персонажа — старого слуги Антона, пожалуй, оказывается переданным тот общественно-политический смысл, который несет в себе тургеневское «повествование о России» — роман «Дворянское гнездо».

Выражение *Все у них пошло хинюю*, понимаемое метафорически, требует лингвистического комментария. В. В. Виноградов в статье «О слове «ахиня» в русском литературном языке» указал на семантику слова, прежде всего уточнив, что «слово чаще употребляется как «хинью» — «прахом пошло», «без пользы», от слова «хинь» по диалектному употреблению Тульской и Курской губерний» [4]. Фразеологическая связанность слова проявлена и в тургеневском тексте.

Для уточнения семантики слова *хинь* (*хиня*) мы обратились к различным толковым словарям и получили следующие сведения. Зафиксировано имя существительное: *Хинь* — ж. — орл. кур. яр. Ахиня, вздор. Все хинюю пошло — на ветер, без толку [5]. Слово регистрируется в составе устойчивого оборота (фразеологизма): *Хинью пошло* — даром, на ветер, без пользы, понапрасну [6]. *Хинь*, и. мн. нет. ж. (обл.). 1) ахиня, вздор, чепуха. 2) хинью пойти (простореч.) — без пользы и толку, даром, понапрасну [7]. Имеется и однокоренной глагол: *Хинить*, что хулить, хаять, охуждать, бранить, хинь — ж. орл, кур. ярс, — ахиня, чужь, черуха, вздорь, пустяки [8].

Стилистической «нагрузкой» слова *хинь* в форме *хинюю* (*пошло хинюю*) в романе «Дворянское гнездо» является показ необратимости утраты прежних ценностей дворянской жизни. Семы «напрасно», «бесполезно» актуальны в понимании судьбы главного героя. Важным является и то, что именно в словах старого крепостного звучит авторская тоска по уходящей дворянской России и имплицитное (в подтексте) осуждение прошлого.

Диалектизмы относятся к пассивному запасу русской лексики и используются И. С. Тургеневым в стилистических целях.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пустовойт П. Г. И. С. Тургенев — художник слова. — М., 1980. — С. 27.
2. Там же.
3. Тургенев И. С. Дворянское гнездо // Избранные сочинения. — М., 1987. Текстовые примеры приводятся по данному изданию.
4. Виноградов В. В. О слове «ахиня» в русском литературном языке // Сб. «Русская речь» Новая серия III. — Л., 1928. — С. 34.
5. Русский словарь языкового расширения. Сост. А. И. Солженицын. — 3-е изд. — М., 2000. — С. 256.
6. Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. — С. 606.
7. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова: В 4-х тт. Т. 4. — М., 1994. — С. 1146.
8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х тт. — Т. 4. — М., 1998. — С. 548.

ГЕНЕЗИС НИГИЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Литература второй половины XIX века изобиловала произведениями, затрагивавшими острые нравственно-психологические проблемы, наиболее важной из которых, на наш взгляд, является проблема нигилизма.

«Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – отрицание общепринятых ценностей, норм, идеалов, стратегий поведения или культуры в целом, понимаемых как чужеродные, изжившие себя формы воспроизводства жизни в социуме либо как репрессивные сверхличные и навязанные индивиду обществом императивы» [1]. Термин был введён в употребление немецким философом Фридрихом Генри Якоби в 1799 году; мыслитель толковал его как атеистическую приверженность и относился к этому явлению крайне отрицательно (на что и указывает буквальный перевод понятия). Развитие нигилизма связывают с французской революцией, когда наиболее ярко стала прослеживаться тенденция отхода от веры в Бога. Нигилистами называли людей, ни во что не верующих, отрицающих общепризнанные постулаты.

В России нигилизм приобрел своеобразный оттенок и выступил в форме борьбы против тирании и освобождения от патриархальных норм. Тенденции отрицания были присущи еще деятельности Петра Великого. После его преобразований Россия «раскололась на два мира, на две действительности: внешнюю, показную, официальную и внутреннюю, бытовую, народную» [2]. Переустройство общественного порядка, надлом традиций, косность государственных инструментов власти неминуемо влекут за собой ответную реакцию. Впервые в России термин *нигилизм* был использован в 1829 году Н. И. Надеждиным в статье «Сонмище нигилистов». Уже здесь обозначается программа идеологов этого движения и его основные «догмы». В статье четко прослеживается мысль, что «младенческая простота и доверчивость наших праотцев слишком уже устарели для настоящего века» [3], в связи с чем назрели перемены. Нигилистами предлагается своя программа, свое собственное видение мира: «...обходиться без утешительных лжей древности и торжественных истин религии» [4], провозглашается «плодотворное ничтожество», «настоящее без надежд и будущности» [5]. Автор, озадаченный судьбой литературы, задается вопросом: «Неужели ей вечно мыкаться в мрачной преисподней губительного Нигилизма?» [6]. Это было первое антинигилистическое произведение в России.

Однако в начале XIX века нигилизм в России не имел еще своей четкой идеологии, обнаруживая себя по большей части аморальными тенденциями по отношению к веками складывавшемуся патриархальному порядку, а также неприятием ценностей предшествующего поколения. Зачастую сами представители этого направления «блуждали по темным коридорам» нигилизма, заходя в тупик, столкнувшись с непреложностью теоретических основ модного учения на практике. А. И. Герцен, отмечая многозначность и условность термина «нигилизм», говорит о преемственности этого явления, о том, что оно досталось новому поколению от декабристов, «стало иным, но основы целы. Что же наше поколение завещало новому? Нигилизм» [7].

Ссылка А. И. Герцена на декабристов ещё раз подтверждает тот факт, что появление нигилизма в какой-либо стране обусловлено, прежде всего, политическими причинами. И это логично: в благословенном Эльдорадо никогда не появились бы отрицание и скептицизм. Говоря об унаследовании данной философской теории от декабристов, писатель подводит нас к вопросу о нигилизме среди аристократии. Эту тему освещает исследователь нигилизма В. Краус в книге «Нигилизм и идеалы» (1994). Он находит отражение теории отрицания в литературе первой половины XIX века: «Как ни в какой другой стране, проявился в России и тот нигилизм, который в этом своём качестве вообще не был распознан и тем более не обозначен. Скрытый нигилизм в великосветских аристокра-

тических кругах мы находим в «Евгении Онегине» Пушкина, в «Герое нашего времени» Лермонтова, в гоголевском помещике Тентетникове в «Мёртвых душах» [8]. Герои этих произведений в русском литературоведении вошли в разряд «лишних людей», но их разочарование в обществе, искусстве и вообще жизни максимально приближено к теории отрицания, просто термин «нигилизм» не был обозначен в начале XIX века.

Понятие вошло в широкое употребление российской общественности во второй половине столетия после выхода в свет романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Это время – апогей развития нигилизма, когда теория из философского учения переросла в социально-политическое движение с собственным мировоззрением.

Такой серьёзный социальный роман, как «Отцы и дети», не мог появиться на пустом месте: он освещал общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в начале шестидесятых годов, которая была крайне нестабильна. В ожидании реформ дворяне, разночинцы выдвигали самые разные проекты переустройства страны. Жизнь становилась всё сложнее, и постепенно вошло в моду критиковать русские порядки, что, впрочем, всегда было характерно для людей западнического направления мысли. Разные слои русского общества переживали сложно усугубившийся кризис. Призывы к спасению России то через слом традиций, то через возврат к старым порядкам слышались всё чаще.

Во второй половине XIX века наблюдаются активность общественных течений, появляется значительное количество кружков, объединяющих то или иное направление. Молодежь уезжает из провинций и тянется к различным освободительным движениям, часто не вдумываясь в программы и цели вышеупомянутых. Это было в некотором смысле данью моде, желанием одним жестом, в одно мгновение избавиться от «старых» предрассудков, трепетным рвением к коренным переменам. Огромное значение придается философским направлениям материалистического толка, наиболее популярным из которых становится позитивизм, исходящий из того, что подлинное знание может быть получено только на основе опыта. Популярность позитивизма в России была теснейшим образом связана с успехами различных наук – математики, физики, химии, биологии. Естественнонаучные и точные дисциплины стали популярными среди передовой молодежи, в связи с тем, что рассматривались ими как науки, способные принести реальную пользу человечеству. Под тенью культа науки оказался огромный пласт первостепенных задач. Наука становится единственным рациональным базисом нигилизма. Наряду с этим, новые веяния обозначили ряд проблем, которые необходимо было решать. Некоторые этого не осознавали, а другие просто отрицали, не предлагая ничего взамен.

По сравнению с другими странами, нигилизм в России принимает более массовый характер. Религиозная составляющая нашей культуры, и без того довольно шаткая, сталкивается с новой глобальной угрозой. Вследствие чего «Российская традиционная (личностная) культура, воспринявшая христианство все же достаточно внешним образом (религия – личностная форма мировоззрения), дозревает через нигилизм» [9].

Как и любое общественное «детище», нигилизм приобрел как своих сторонников, так и ярых противников. Антагонистичные политические взгляды породили плюрализм во мнениях. Подобные события не могли не повлечь за собой размежевания среди деятелей литературы. В шестидесятые годы Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, П. А. Кропоткин определяли настроения радикально настроенной части русского общества. Их нередко поддерживала молодежь, зачастую с упоением впитывая каждую мысль. Как метко отметил В. Г. Авсеенко, «нигилизм, как бы глубоко ни искали мы его корней в русской жизни, вышел из литературных кружков и из тех слоев нашего общества, которые наиболее близки к журнальным движениям» [10]. В оппозиции находились консервативно настроенные круги, либеральные группы, яркими представителями которых были А. В. Дружинин, И. А. Гончаров, М. Н. Катков, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков.

Итак, нигилизм — одно из сильнейших движений второй половины XIX века в России. Являясь синтезом западной философии с отечественной радикальной идеологией, он носил характер отрицания не только «устаревших» общественных норм патриархального уклада жизни и формировавшихся веками традиций, но и религии, Бога, что в основе своей губительно для всякого миропорядка, так как отвержение высшей ценности несет за собой низложение всех остальных опирающихся на нее и тесно связанных с ней.

Это общественное явление, снискавшее себе славу в кругах радикально настроенной молодежи позапрошлого столетия, является актуальной проблемой и проявляется в современной действительности в той или иной гипертрофированной форме, а порой поражает сознание своими экстремистскими выпадами. Нигилизм сегодня имеет другое обличье, но, тем не менее, существует и «может подчас представиться просто суммой всех прежних нигилистов, но эта видимость обманчива: тут произошла мутация. Она-то породила угрозу, которая нынче окружает нас отовсюду и в то же время так трудно поддается осознанию» [11]. В связи с этим особое значение имеет осмысление этого парадокса, его генезис, последующее развитие.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Словарь философских терминов / Науч. ред. проф. В. Г. Кузнецова. — М., 2004. — С. 359.
2. Антропов Л. Н. Обрыв — роман Гончарова // Заря. — 1869. — №11. — С. 97.
3. Надеждин Н. И. Сонмище нигилистов // Вестник Европы. — 1829. — № 1. — С. 4.
4. Там же. — С. 100 — 101.
5. Там же.
6. Там же. — С. 113.
7. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти тт. — М., 1960. — Т. 20, кн. 1. — С. 346.
8. Краус В. Нигилизм и идеалы. — М., 1994. — С. 22.
9. Там же.
10. Авсеенко В. Г. Практический нигилизм // Русский вестник. — 1873. — №7. — С. 395.
11. Краус В. Нигилизм и идеалы. — М., 1994. — С. 16.

ГИПЕРБОЛА В АСПЕКТЕ ГРАДУАЛЬНОСТИ

Градуальные отношения со смежным значением преувеличения (гиперболичности) относятся к числу языковых универсалий и охватывают собой определенную часть важнейшей лексики языка. Единицы языка, представляющие градуальные отношения, вступают друг с другом в оппозицию по признаку «меньше – больше». Конкретизация градуальных отношений со смежным значением преувеличения в языковых формах в наивной картине мира обусловлена психофизическими особенностями человеческого мышления в общем и лингвокультурной спецификой национального менталитета в частности, при этом количество степеней (ступеней) градации варьируется в пределах от трех (что составляет необходимый минимум) до девяти и более (что отмечается весьма редко).

Градуальность представляет собой функционально-семантическую категорию [1], имеющую двусторонний характер – единство формы и содержания. Основными средствами выражения КГ являются в русском языке основные части речи со значением изменяемого признака (имена прилагательные, наречия, имена существительные, глаголы). В качестве специальных средств выражения выступают слова-спецификаторы: частицы, некоторые союзы, модальные слова. Категория градуальности со своей определенной структурой (ядро + периферия) относится к системе языка и представляет собой тип языковых парадигматических подсистем, специфика которых заключается в принадлежности их компонентов к разным уровням языка. Каждая составная часть КГ может выступать как «микрополе» со своим ядром и периферией.

Гиперболизируются не только измеряемые признаки, обозначающие физические координаты (время и пространство), физические качества (скорость, размер, силу, свет, цвет, температуру и др.), но и признаки, субъективно воспринимаемые путем сравнения, – эмоции и качества. Релятивизм в определении степени градации в языковой картине мира связан с субъективным характером и неустойчивостью эталона градуируемого со смежным значением преувеличения признака, его социально-культурной обусловленностью. Семантическое поле градуальности со смежным значением преувеличения – это структурированное множество единиц языка (собственно лексических, деривационных, морфологических и синтаксических), выделенных на основе общих семантических признаков «степень» и «сверх- или гипер-норма», а также единство их семантических и функциональных характеристик. В центре поля градуальности со смежным значением преувеличения располагаются абстрактные существительные, качественные прилагательные и наречия меры и степени, для которых признак «гипер-степень» является доминирующим, фазовые глаголы, а также аффиксы, выражающие значения «предельности», формы степеней сравнения прилагательных и наречий. На периферии поля градуальности со смежным значением преувеличения находятся существительные с конкретной семантикой и глаголы, для которых признак «гипер-степень» является факультативным, а также некоторые фразеологизмы.

В основе гиперболы лежит **художественное преувеличение**. Это значение закреплено в современных словарях и энциклопедиях. Большинство авторов относят гиперболу к **стилистическим фигурам** [2, 3, 4, 5, 6], реже ее определяют как **троп** [7, 8, 9], **стилистический прием** [10], **образное выражение** [11], прием выразительности [12]. Понятия тропа и фигуры «пересекаются», так как, «начиная от древних греков и римлян с немногими исключениями до нашего времени, определение словесной фигуры вообще (без различия тропа от фигуры) не обходится без противопоставления речи простой, употребленной в собственном, естественном, первоначальном значении, и речи украшенной, переносной» [13]. Модель гиперболы представляет собою идеальное образование и находит материальное воплощение в различных языковых формах, содержательная сторона которых обяза-

тельно включает либо высокую интенсивность меры, либо нереальность. Семантические исследования последних лет показывают, что при анализе высказывания необходимо учитывать не только собственно языковые, но и экстралингвистические данные, так называемые «фоновые знания», опирающиеся на известную собеседникам картину ситуации и «общий фон» знаний отправителя и получателя сообщения [14]. Приведем также мнение, принадлежащее Ю. М. Лотману: «Кроме естественного языка, человек имеет еще по крайней мере две стихийно ему данных и поэтому незаметных для него, но тем не менее очень мощных моделирующих системы, которые активно формируют его сознание. Это — система «здорового смысла», каждодневного бытового сознания и пространственно-зрительная картина мира» [15]. В основе гиперболизации лежит механизм контрастного сопоставления, определяющий характер соотношения компонентов: гиперболическая мера намного больше реальной меры признака предмета, явления, действия.

Гипербола в аспекте градуальности может передаваться с помощью средств языка разных ярусов — лексических (*крохотный, маленький, средний, большой, огромный*), синтаксических (*совершенно убитый* — в знач. — «очень усталый», *весьма далеко — на краю мира, достаточно просторный, чтобы полцарства влезло* (о мешке), *очень весело*), словообразовательных (*недоработать, переработать; много-много, темно-красный, ярко-белый*), морфологических (*яркий — ярче — ярчайший, умный — умнее — умнейший, темно — темнее*) и даже графически (*мастер и Мастер*). Языковые средства выражения градуальных отношений весьма разнообразны, их выбор зависит от частеречной принадлежности и семантики градуальной лексической единицы. По форме лексемы можно судить о ее семантике. Можно с уверенностью утверждать, что качественные прилагательные и наречия могут вступать в градуальные отношения, если они могут сочетаться с префиксами *без-* и *не-*. Если возможно присоединение обоих аффиксов к одной основе, то префикс *без-* обозначает полное отсутствие признака, а префикс *не-* указывает на его малое, недостаточное количество, ср.: *безумный* (совсем лишенный ума) и *неумный* (недостаточно умный). Еще один способ гиперградуирования для прилагательных и наречий — присоединение наречий типа *весьма, довольно, слегка, значительно, совершенно, совсем, очень, достаточно, недостаточно, вполне, умеренно, чрезмерно* и др. Также гиперградуальные прилагательные сочетаются с наречиями *более* или *менее*. Например, *более/менее глупого человека не встречал я на всем земном шаре; менее удачлив только мертвец* (в значении «очень неудачлив») и др. Гипербола в аспекте градации, выраженная прилагательными, существительными и наречиями, присоединяет компоненты: 1) *полно-*: *полнокровный, полноводный* и др.; 2) *пол-(полу-)*: *полуживой, полужуегальный, полставки, полкирпича, пол-Москвы, полуправда, полужуегально* и др. Это возможно для слов, обозначающих понятие «полноты — неполноты» какого-либо признака. Ср.: *Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец*, но есть надежда, что будет *полным* наконец! (А. Пушкин). Некоторые наречия, образованные от существительных, присоединяют компонент *впол-*: *вполголоса, вполсилы, вполоборота, вполглаза* и др. Также гипербола в аспекте градации создается: 1) удвоением основы: *белым-бело, светлым-светло, тихо-тихо, полным-полно*; 2) сочетанием с предложно-падежной формой местоимения *весь*: *во весь голос, со всей силы* и др.; 3) сочетанием с наречиями меры и степени *уже, еще, очень, совсем, совершенно, достаточно* и др.; 4) с помощью обстоятельств степени, меры, выраженных наречиями, устойчивыми словосочетаниями: *пойти туда, куда Макар телят не гонял / на край света; денег куры не клюют; чего-л. кот заплакал / с гулькин нос; дождь льет как из ведра; чего-л. море / вагон и маленькая тележка / не сосчитаешь / не перетаскаешь* и др. В основе гиперболизации лежит механизм контрастного сопоставления, определяющий характер соотношения компонентов: гиперболическая мера намного больше реальной меры признака предмета, явления, действия. Среди значений, выражаемых гиперболой, выступают значения количества, качества, времени, пространства (*У нас от мысли до мысли пять тысяч*

верст. П. Вяземский). Гипербола в аспекте градуальности создается путем смыслового сдвига слов от значения единичности к значению регулярности или постоянности проявления признака, от конкретности к обобщенности, от нормального до преувеличенного: *Вся государственная процедура заключается у нас в двух приемах: в рукопожатии и в рукоприкладстве. Или: Мы все изгнанники и на родине// У нас самодержавие* значит, что в России *все* само собою *держится* (П. Вяземский). С точки зрения структуры гипербола в аспекте градуальности представлены единицами лексико-грамматического, фразеологического, морфологического и синтаксического уровней. Количественный анализ материала позволяет утверждать, что гиперболы в аспекте градуальности концентрируются в области психической деятельности, эмоциональные состояния героев являются основным объектом гиперболизации: *Бывает, что усердие превозмогает и рассудок // Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! // Чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти* (К. Прутков). Основные функции, выполняемые гиперболой в аспекте градуальности в тексте, — нарастающие (преувеличенные) эмоциональные и оценочные. При их изображении используются единицы всех языковых уровней: *Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек не был изнасилован добром и принудительно внедрен в рай// Науки нет, есть только науки // Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества // Самые самолюбивые люди — это люди, не любящие себя // Против Бога восстало не только зло, но и добро, неспособное примириться с самим фактом существования зла* (Н. Бердяев).

Для процессуальных полей характерна градация не одного, а двух или более признаков. Ср.: *атаковать* указывает на стремительность, напряженность удара, *штурмовать* — на силу, упорство, напряженность боевых действий, когда речь идет об укрепленных позициях. В ряду лексем *бегать*, *носиться*, *летать* (передвигаться с чрезвычайной быстротой) *летать* и *носиться* обозначают более стремительное и быстрое действие. В процессуальном поле с общим значением «беднеть» (*нищать*, *скудеть*, *оскудевать* и др.): *беднеть* — становиться бедным или более бедным, приходить в упадок; *нищать* — становиться нищим, утрачивать средства к существованию; *скудеть* — становиться скудным, недостаточным для обеспечения чего-либо: Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, ... все беднел, *мельчал* (И. Гончаров. Обломов).

Создают гиперболы в аспекте градуальности в тексте обычно синонимы, выстраиваясь один за другим в ряд так, что каждый следующий усиливает предыдущий. Но не только синонимы, но и слова, связанные общностью значений, также могут маркировать степени градации: *Настанет день, — печальный, говорят! — Отцарствуют, отплачут, отгорят, — остужены чужими пятаками, — мои глаза, подвижные, как пламя. И двойника нащупавший двойник — сквозь легкое лицо проступит — лик* (М. Цветаева); Ваше Императорское Величество. Я, *ничтожный*, не призванный и *слабый*, *плохой* человек, пишу письмо Русскому императору и советую ему, что делать в *самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали* (Л. Толстой); Представьте себе толпу людей, *слепых, глухих, увечных, бесноватых*, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? (Ф. Достоевский). Нанизывание однотипных синтаксических средств (однородных членов, придаточных предложений) часто формирует градацию, благодаря чему создается нарастание интонации и эмоционального напряжения речи. Это обусловлено тем, что градация связана с оценкой, а оценка связана с эмоциональностью и экспрессивностью. Все три категории, как известно, градуируются. Как правило, в художественном тексте представлена градация параллельных, но не тождественных признаков, таких, противоположность которых выявляется контекстуально. В связи с этим приведем следующий афоризм: Противоположности, поставленные рядом, становятся более явными. Гипонимы реализуют градацию семантического гиперпризнака «размер», который актуализируется контекстуально. Ср.: Чтобы

родить *искру*, нужно впитать в себя *море света* (В. Сухомлинский). Из *искры* возгорится *пламя* (А. Пушкин). На *день* надо смотреть как на маленькую *жизнь* (М. Горький). *Железных людей нет. Есть люди деревянные*. Или: Преподавание — это сочетание неприятного с бесполезным (Лидия Гинзбург). Степени сравнения прилагательных и наречий, как правило, сочетаются с использованием антонимов или гипонимов: Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам. Или: Сколь восхитительна проповедь равенства из княжеских уст — столь омерзительна из дворницких (М. Цветаева). Чем *тяжелее* наказание, тем им *милей* господа (Н. Некрасов). Никогда не бывает *так плохо*, чтобы не могло быть *еще хуже*. В гостях *хорошо*, а дома — *лучше* (посл.).

Если гипербола в аспекте градуальности выражена аналитически, то семантический признак «степень» актуализируется определенным набором лексем — местоимений, прилагательных, наречий, числительных или существительных (с общим значением «часть»): Экспериментатор должен быть *достаточно* ленив, чтобы не делать лишнего (афоризм физиков). Без известной *доли риска* обойтись невозможно. *Элемент авантюры* должен быть не *настолько велик*, чтобы подвергать *все дело неоправданному риску*, но и не *настолько мал*, чтобы за дело было стыдно браться (Р. Уортмен). *Седьмая* вода на киселе (пог.). В ряде случаев количественные сочетания выступают в гиперболе в одном контексте с антонимами или градуальными гипонимами: *Пессимист* — это *оптимист* с *большим* жизненным *опытом*. Ангельское терпение требует дьявольской силы // *Гора*, которая рождает *мышь*, обычно *истомно кричит* // *И заяц* может стать *героем* — если уверует в свою историческую миссию поедания капусты // Клоп исповедует антропоцентризм (А. Кумор).

Эталонами градуального признака могут выступать традиционные для данной языковой культуры объекты — носители эталонного признака: Он был, казалось, лет шести; / *Как серна гор, пуглив и дик* / *И слаб и гибок, как тростник* (М. Лермонтов). Одним из эталонов гиперпризнака «глупость» у многих народов служат домашние животные (баран, козел, корова, осел, курица и др.) или предметы из твердой древесины (бревно, дубина и др.). Поэтому в гоголевских текстах эталонами глупости избираются лексические единицы этих тематических групп: Ср.: Во-первых, городничий *глуп, как сивый мерин* (Н. Гоголь) и Экая ... *дубинноголовая* (Н. Гоголь). Наиболее частотные ассоциации градуальных слов — это ассоциации по признаку «количество» и «размер»: А я говорю: Если раздуть свои *радости до размеров неприятностей*, то можно и от них получать наслаждение (М. Жванецкий). Вера горами движет. Даже теми, которым лучше бы стоять на своем месте (А. Кумор). Понятия «количество» и «размер» могут одновременно обыгрываться в одном поэтическом контексте: Один -/даже если/очень *важный* -/Не подымет простое/*пятивершковое бревно*, / *Тем более* -/дом *пятиэтажный* (В. Маяковский). Так, лексемы *мышь* и *Вселенная* становятся гипонимами в следующей цитате: Если *мышь* смотрит на *Вселенную*, меняется ли от этого состояние Вселенной? (А. Эйнштейн). Лучше быть *первым* в деревне, чем *вторым* в городе (посл.). Для предметных, признаковых и процессуальных градуальных полей характерны свои специфические языковые средства создания градации — аффиксы, аналитические конструкции, грамматические формы (вида — у глагола, степени сравнения — у прилагательных и наречий). Социально важные явления требуют разветвленной синонимии обозначений. Это определило наличие для ряда общих понятий не только предметных полей из существительных, но и синкретичных предметно-признаковых полей из прилагательных, переходящих в субстантивы (типа *умный, богатый*). Наибольшее число обозначений дают крайние степени признака (минимум и максимум), или максимумы противоположностей, т. е. отклонений от нормы. Сама же норма незаметна, сохраняется в имплицитном виде. Для наиболее важных понятий существуют предметные, признаковые и процессуальные гиперполя, представленные однокоренными лексемами (*толщина — толстый — толстак — толстопуз — толстенный — толстый как...*). Гипербола взаимодействует с разными тропами и стилистическими фигурами. Рассмотрев гиперболы в аспекте градации по ос-

нованиям, выделяем: 1) по степени проявления образности: образные и необразные; 2) по степени освоенности: общеупотребительные (языковые) и индивидуально-авторские (речевые); 3) по семантическому критерию: преувеличение большого, преувеличение малого (размеров, признаков, предметов и т. д.); 4) по степени устойчивости связей между компонентами: свободные и несвободные (гипербола-фразеологизм, мейозис-фразеологизм); 5) по структурному критерию: однокомпонентные, двухкомпонентные, трехкомпонентные и т. д.; 6) по уровневому критерию: стилистические средства, реализующиеся на уровне слова, словосочетания, фразы, ССЦ; 7) по морфологическому критерию: субстантивные, адвербиальные, глагольные; 8) по собственно стилистическому критерию: гиперболы и мейозис (литота), принадлежащие разговорному, публицистическому и художественному функциональным стилям; 9) по функциональному критерию: стилистические средства, выполняющие пять основных функций (создание образности, выражение эмоционального состояния, усиление впечатления, характеристика, выделение предмета из ряда подобных); 10) по критерию взаимодействия стилистических средств: гипербола в аспекте градуальности, для которой характерны явления контаминации и конвергенции.

Среди значений, выражаемых гиперболой в аспекте градации, выступают значения количества, качества, времени, пространства и др. Гипербола создается путем смыслового сдвига слов от значения единичности к значению регулярности или постоянства проявления признака, от конкретности к обобщенности. Установлено, что градуальное значение может выражаться лексико-грамматическими, фразеологическими, морфологическими и синтаксическими средствами языка. Отмечено, что наиболее распространенными структурными типами гипербол в аспекте градуальности являются местоименные прилагательные, выражающие предельную меру признака, и местоименные наречия, выражающие высокую степень проявления признака. Стилистический прием гиперболы является средством выражения особо сильных эмоциональных состояний.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Колесникова С. М. Категория градуальности в современном русском языке. — Саранск, 1996. — С. 127. Далее — категория градуальности (КГ).
2. Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов в двух томах / Под ред. Н. А. Бродского и др. — Т. 1. — М., 1925. — С. 165.
3. Рубайло А. Т. Художественные средства языка. — М., 1961. — С. 73.
4. Квятковский А. П. Поэтический словарь. — М., 1966. — С. 87.
5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1969. — С. 99.
6. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987. — С. 78.
7. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ф. П. Филин. — М., 1979. — С. 51.
8. Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. — М., 1979. — С. 160.
9. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1990. — С. 520.
10. Словарь современного русского литературного языка. — М., 1992. — С. 105.
11. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Справочник лингвистических терминов. — М., 1972. — С. 65.
12. Крысин Л. П. Гипербола в русской разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики. 1984 / Отв. ред. В. П. Григорьев. — М., 1988. — С. 97.
13. Потебня А. А. Из записок по теории словесности // Потебня А. А. Теоретическая поэтика. — М., 1990. — С. 158.
14. Вольф Е. М. Прилагательное в тексте (“Система языка” и “картина мира”) // Лингвистика и поэтика / Отв. ред. В. П. Григорьев. — М., 1979. — С. 118.
15. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1973. — С. 132.

РЕЦЕНЗИИ

С. А. Кошарная,
д.ф.н., проф.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК:

К. А. ВОЙЛОВА. СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. М.: ДРОФА, 2003

Учебное пособие К. А. Войловой «Старославянский язык» относится к разряду учебной литературы исторического цикла. Оно отличается от всех известных учебников и учебных пособий по старославянскому языку структурой, композицией, новыми методическими решениями тех или иных проблем старославянского языка, разнообразием методов и приемов в трансляции основных положений курса, в выработке навыков диахронного анализа языкового материала, в сближении синхронии и диахронии в методологии и практике изучения языковых единиц ныне мертвого языка.

Учебное пособие рекомендовано для педагогических вузов и написано в соответствии с действующей учебной программой по старославянскому языку, составленной для высших учебных заведений (Старославянский язык. Программа для высших педагогических учебных заведений / Под ред. Н. И. Толстого. — 1992 г.).

Структура пособия определена его целями и задачами: как можно полнее и объемнее дать представление о старославянском языке как системной организации единиц определенного синхронного среза и методике их практического изучения. Пособие включает в себя разделы: Теория, Практикум, Тексты, Словарь.

Весь языковой материал, представленный в том или ином разделе книги, находится в определенной связи, дополняя друг друга, способствуя более быстрому и глубокому усвоению изучаемого курса.

Первый раздел представляет собой полный курс теории старославянского языка: Введение, Графика, Фонетика, Морфология, Синтаксис. Учебное пособие не располагает материалом по лексике и словообразованию, поскольку эти разделы не обозначены действующей программой по изучению старославянского языка.

Теоретический материал методически органично выстроен: объясняется то или иное явление, дается схема, формула, таблица сказанного, анализируются конкретные примеры на тот или иной теоретический посыл.

К.А. Войлова методически по-новому освещает такие теоретические положения курса, как фонетические процессы старославянского языка, классификация глаголов, синтаксис старославянского языка и др. — т. е. теоретические и практические разделы пособия содержат материал, актуальный для современного преподавания курса старославянского языка.

В отличие от существующих учебников и учебных пособий по старославянскому языку, теория в рецензируемой книге дается в лаконичных, четких формулировках. На наш взгляд, положительным моментом книги является то, что в ней отсутствует материал, который всегда как бы остается «за кадром» при практическом изучении курса старославянского языка в вузах и которым перегружены современные учебники по старославянскому языку. Это, например, описание происхождения флексий различных форм имен и глаголов; описание разных точек зрения на то или иное явление; описание частотности употребления той или иной языковой формы в разных памятниках старославянской письменности. Этот материал «не работает» в учебной аудитории, а пригоден, как правило, для исследовательской работы, он никак не способствует усвоению материала курса, а наоборот, только запутывает студента и формирует в его сознании «образ» старославянс-

кого языка, который невозможно освоить. Конечно, этот материал нужен для подготовки научных работ разного ранга, а вот структура учебника им усложняется неоправданно.

Методика изучения теоретического курса старославянского языка предполагает активизацию не только мыслительной деятельности студентов, но и активизацию зрительной памяти, которой отводится главенствующая роль в запоминании тех или иных постулатов старославянского языка. С этой целью все темы сопровождаются таблицами, схемами, формулами, которые помогут студенту освоить теоретический материал и запомнить его важнейшие фрагменты.

Практикум включает тренировочные упражнения по всему курсу старославянского языка и контрольные задания по различным разделам курса. Он является органичным продолжением теоретического курса, содержит тренировочные упражнения, которые помогут студентам усвоить теорию и приобрести необходимые навыки анализа языкового материала. Контрольные задания, помещенные в конце раздела, нацелены на оценку и самооценку знаний тех или иных разделов старославянского языка.

Тексты и словарь представляют собой необходимые атрибуты, без которых невозможно изучение старославянского языка.

Тексты извлечены из изданных памятников старославянской письменности и представляют собой все известные евангелия, некоторые псалтыри и апостол. Анализ текстов поможет студенту глубже проникнуть в «дух» и содержание ныне мертвого языка, а также познакомит его с историей, культурой, менталитетом человека средневековья. Кроме того, работа непосредственно с текстовым материалом поможет студентам овладеть всеми видами диахронного анализа языковых единиц, а также сформировать в его сознании целостную языковую картину древнего мира.

Словарь содержит те слова, формы и выражения, которые наиболее употребительны в текстах, извлеченных из памятников старославянской письменности, и которые представляют трудность для перевода, а это значит, что данные словаря можно использовать при переводе текстов, в анализе языковых единиц, при установлении связей слов и предложений (особенно в тех случаях, когда наблюдается омонимия союзных и частичных слов).

Таким образом, все разделы учебной книги по старославянскому языку находятся в неразрывной связи, прекрасно дополняя друг друга, формируя в сознании студента единое и целостное представление о старославянском языке как древнем литературном языке всех славян, который дал толчок к становлению литературных языков современных славянских народов.

Книга К. А. Войловой — попытка создать новый тип учебной литературы о древнем языке, попытка сказать о сложном просто и понятно, вызвать интерес к старославянскому языку не только как к системной организации языковых средств, но и как к культурологическому феномену.

Кроме того, К. А. Войлова, изучая одно и то же явление с разных сторон, показала строгость, четкость, с одной стороны, и красоту и изобразительно-выразительные возможности, с другой стороны, древнего книжного языка, обозначила перспективы решения той или иной проблемы старославянского языка в современных славянских языках.

Изучение старославянского языка по этому учебному пособию, особенно в регионах, где ощущается недостаток учебной литературы, не предполагает привлечения дополнительных учебных пособий по старославянскому языку типа: «Сборник упражнений по старославянскому языку», «Хрестоматия по старославянскому языку», «Словарь старославянского языка» и т.д.

Лаконичность, четкость в изложении теории, богатство и компактность иллюстративного материала, неординарность в решении методических задач, разнообразие методов и приемов изучения положений старославянского языка — все это, несомненно,

привлечет внимание специалистов по старославянскому языку, практикующих преподавателей вузов и средних учебных заведений.

Однако установки автора на простоту и понятность изложения языкового материала не всегда выполняются. Так, иллюстративный материал часто не сопровождается его переводом, а отсюда вытекает вариантное толкование текста (см. разграничение типов простых и сложных предложений).

В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать автору учебного пособия и издательству устранить ряд неточностей и погрешностей в изложении материала при переиздании учебного пособия: четче разграничить термины «старославянский язык» и «праславянский язык»; на с. 65 ошибочным является утверждение о том, что монофтонги начинали собой слог, а не образовывали его; как опечатку квалифицируем написание в формах супина после сложного мягкого согласного буквы **Ъ**, а не **Ь** (с. 181); в восстановленных формах последовательно должна быть обозначена краткость и долгота гласных; в указании листажа Супрасльской рукописи допущена ошибка: следовало написать «...включает в себя около 280 листов...».

Кроме того, в учебном пособии по старославянскому языку нового типа следовало бы рассмотреть материал по лексике, фразеологии, словообразованию старославянского языка, если даже обозначенные разделы не регламентируются действующей программой по старославянскому языку. В отдельных монографиях, статьях, диссертационных работах лексико-фразеологический и словообразовательный уровни старославянского языка достаточно полно разработаны, а значит, этот языковой материал следует вынести на страницы учебной литературы.

Указанные замечания и пожелания не снижают положительной оценки учебного пособия К. А. Войловой по старославянскому языку.

РЕЦЕНЗИЯ

НА УЧЕБНИК «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (АВТОРЫ: Н. А. ГЕРАСИМЕНКО, А. В. КАНАФЬЕВА, В. В. ЛЕДЕНЕВА, В. В. ТИХОНОВА, И. Д. ЧАПЛЫГИНА, Т. Е. ШАПОВАЛОВА) / ПОД РЕД. Н. А. ГЕРАСИМЕНКО

Учебник, адресованный студентам средних профессиональных учебных заведений, написан в соответствии с утвержденной программой по русскому языку для средних профессиональных учебных заведений и направлен на формирование функциональной грамотности, коммуникативной, языковой и лингвистической компетенции обучаемых. Главной задачей данного учебника является обобщение изученного материала в школе и расширение умений пользоваться знаниями по русскому языку в практике устного и письменного применения. Авторы исходят из общеобразовательных задач обучения русскому языку с учетом психологических особенностей формирования понятий, умений и навыков учащихся.

Книга охватывает материал по всем основным разделам русского языка (фонетике, орфоэпии, лексике и фразеологии, графике и орфографии, морфемике и словообразованию, синтаксису и пунктуации). Введен специальный раздел «Стилистика и культура речи», где в сжатой форме представлены сведения об особенностях функциональных стилей, выразительных средствах языка, литературных нормах устной и письменной речи.

Рецензируемое учебное пособие составлено по аналогии со школьными учебниками: в него входят как теоретические сведения о языковой системе, так и практические задания, способствующие закреплению теоретического материала и формирующие речемыслительные умения учащихся, что позволяет учащимся *осознанно* усваивать основные языковые понятия.

Некоторые темы в учебнике только обозначены (например, «Понятие фонемы») и могут быть рассмотрены по усмотрению преподавателя в зависимости от профессиональной направленности обучения. Большой объем теоретического материала по всем разделам дает возможность преподавателю использовать его выборочно, в соответствии со специальностью. Этим, кстати сказать, данное пособие отличается от школьного учебника, где такого выбора у учителя нет.

Достоинством данного учебника мы считаем тот факт, что разнообразные упражнения, предложенные для закрепления теоретических сведений, расположены по принципу возрастающей трудности, от простого к сложному (наблюдение над языковым материалом, выявление его особенностей, работа по видоизменению языковых единиц, конструирование слов, словосочетаний, предложений и др.). Упражнения полностью соответствуют изложенному теоретическому материалу.

Большое внимание авторами учебника уделено упражнениям, которые нацеливают учащихся на повторение изученного ранее материала. Во всех разделах присутствует работа по совершенствованию правописных навыков (задания по орфографии и пунктуации). В книге немало творческих заданий, что соответствует задачам развития речи учащихся (например, распространить предложение, перестроить двусоставное предложение

в односоставное и наоборот, озаглавить текст, пересказать текст, написать изложение и др.). Несомненно, украшают учебник со вкусом подобранные литературные примеры в качестве иллюстраций и объектов анализа. Практическая направленность учебника заключается также в комплексной работе по расширению словарного запаса обучаемых: указание лексического значения, правильное произношение, сфера употребления слова, словосочетания, фразеологической единицы (мы имеем в виду слова в рамочках) и др.

Заслуживают внимания задания, направленные на формирование умений учащихся составлять деловые бумаги, документы (резюме, доверенность, заявление и др.), что является очень актуальным в современной жизни.

Важным, на наш взгляд, является введение в учебник схем разных видов языкового разбора и образцов этих разборов, поскольку метод разбора является одним из важнейших способов изучения родного языка.

В конце каждого раздела имеются вопросы и задания для самопроверки, позволяющие еще раз обобщить и осмыслить языковой материал. Завершается изучение того или иного раздела заданиями для самостоятельной работы, к наиболее трудным из которых в конце книги даны ключи. Такие задания могут быть использованы преподавателем при проведении промежуточного и итогового контроля знаний учащихся.

Следует сказать и о таком важном разделе учебника, как Приложения: Словарь правильного написания и произношения трудных слов, Алфавитно-предметный указатель. Список рекомендуемой литературы, данный в конце учебника, поможет преподавателю и учащимся подобрать дополнительную литературу по темам изучения.

В заключение отметим, что данный учебник может быть использован как в системе среднего профессионального обучения, так и в качестве дополнительного учебного пособия для учащихся старших классов общеобразовательной школы.

ИЗ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ

А.Н. Кожин

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кафедра русского языка ведёт свою историю с того времени (1934 г.), когда преподавательские коллективы формирующегося нового высшего учебного заведения — Московского областного педагогического института — стали объединяться в подразделения, ориентированные на профиль научной специализации; до этого преподаватели цикла дисциплин русского языкознания входили в состав кафедры русского языка и литературы, руководителем этой кафедры был литературовед доцент Ульрих Рихардович Фохт.

В первые годы существования кафедры русского языка как научно-методического подразделения МОПИ приходилось уделять много внимания решению организационно-методических вопросов, подбору и закреплению кадров. Специалисты по русскому языку нередко являлись временными совместителями: одни вливались в ряды энтузиастов, другие уходили на более перспективную, по их мнению, работу в других вузах.

В эти годы неоценимую помощь и поддержку кафедре оказывали известные специалисты, которые впоследствии стали играть важную роль в других вузах и научных учреждениях.

Проф. Голанов И. Г. читал в те годы курсы «Современный русский язык», «Русская диалектология», «Историческая грамматика русского языка». Преподавательская деятельность проф. Голанова И. Г. содействовала овладению студентами фактами русского языка в те годы (1932 — 1934), когда не было учебников по русскому языку для высшей школы. Следует иметь в виду, что лекции проф. Голанова отличались доходчивостью и стремлением развивать любознательность к явлениям русской речи. Сам лектор увлекался живой разговорной речью, он принимал участие в работе диалектологической комиссии, и неудивительно, что впоследствии лекции И. Г. Голанова выльются в интересный и систематизированный набор речевых явлений, которые предстанут как учебник «Морфология современного русского языка».

Активным членом кафедры был проф. Рубен Иванович Аванесов (1934 — 1938 гг.). Его лекции по современному русскому языку привлекали внимание студентов богатством фактического материала и в какой-то мере нашли отражение в «Очерке грамматики русского литературного языка» (1945 г.), написанном в соавторстве с В.Н. Сидоровым. Р. И. Аванесов читал курс русской диалектологии и вёл спецсеминар «О порядке слов в русском языке».

Привлекали внимание студентов лекции проф. Сергея Игнатьевича Бернштейна. Он вёл специальный курс «История грамматических учений». Содержание этого курса давало представление о характере разработки русскими учёными важнейших проблем русского языкознания. В частности, уделялось должное внимание осмыслению учения о частях речи, о предложении как важнейшей единице лингвистических учений. Автор обращался к позициям учёных, которые в той или иной мере касались аспектов учения о русском языке.

Лекционный курс начинался с обзора перевода книги Иоанна Дамаскина, затем автор давал интерпретацию положениям, изложенным в сочинениях Максима Грека. На этом фоне раскрывалось своеобразие грамматик Л. Зизания, М. Смотрицкого, Г. Лудольфа, что позволяло слушателям осознанно воспринимать позиции лектора, когда тот начинал анализировать грамматические сочинения В. К. Тредиаковского,

М.В. Ломоносова, Н.И. Греча, А.Х. Востокова. Довольно подробно рассматривались особенности грамматических систем таких учёных, как Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов. Давалось развёрнутое представление о грамматических взглядах А.А. Шахматова, нашедших выражение в его труде «Синтаксис русского языка».

Во второй половине тридцатых годов (предвоенное время) кафедра русского языка формируется как ведущий научно-педагогический коллектив, располагающий научными кадрами, которые обеспечивают учебный процесс. В крупных городах Подмосковья и иных областей (Калуга, Тула и др.) создаются консультативные пункты, которые оказывают поддержку учителям-заочникам в подготовке к экзаменационной сессии.

Научно-исследовательская и учебно-методическая работа коллектива становится весьма заметной, когда во главе кафедры становится известный учёный Ян Вилюмович Лоя.

Профессор Лоя читал лекции по языкознанию и придавал большое значение аффективной значимости единиц языка. Так, предикативная значимость слова ПОЖАР! обрела такую эмотивность, что к аудитории, откуда раздавались возгласы профессора Лоя, сбежались на помощь студенты других аудиторий. В качестве иллюстративного материала широко использовались слова латинские, латышские, санскритские, что, по мнению проф. Лоя, могло содействовать освоению сравнительно-исторического языкознания. Проф. Лоя нередко обращался к трудам своего учителя, проф. Д. Н. Кудрявского.

Лекции проф. Лоя (1934 – 1941 гг.) охватывали аспекты русского и балтославянского языкознания, а публикации его статей в журнале «Русский язык в школе» помогали студентам осваивать теоретические аспекты науки о русском языке: «Лингвистические взгляды В. Г. Белинского» (1936, №5), «Н. Г. Чернышевский и вопросы языкознания» (1939, №5), «Основные вопросы письменности» (1940).

Научно-педагогическая деятельность кафедры отражалась в публикациях, которые свидетельствовали о том, что коллективу приходилось решать актуальные аспекты учения о русском языке в то время, когда предпринимались первые шаги в становлении кафедры как учебного подразделения Московского областного педагогического института.

В эти годы неоценимую помощь и поддержку кафедре оказывает проф. В. В. Виноградов. Он читал курс «История русского литературного языка», в котором излагались вопросы, определившие содержание научного направления на многие годы. В этих лекциях обрёл свои контуры курс русского языкознания, играющий важную роль в системе вузовского образования и в наши дни. Лекции В. В. Виноградова открывали глаза студентам на те изменения, которые имели место в русском литературном языке на разных этапах истории носителей русского языка. Слово лектора опиралось на прекрасные иллюстрации, извлекаемые из памятников русской литературы. Более того, автору приходилось оперировать такими фактами, которые обрели известность в его книге «Очерки по истории русского литературного языка 17 – 19 вв.» (1934 г.); второе издание этой книги вышло в 1938 г. Это издание вскоре стало библиографической редкостью. Вспоминаются дни, когда студентам приходилось проникать в здание Министерства просвещения (возле метро «Кировская»), где в киоске на первом этаже можно было приобрести эту желанную книгу. Этот труд В. В. Виноградова до сих пор является энциклопедическим справочником по важным проблемам науки о русском литературном языке. Более того, для учителей и студентов в журнале «Русский язык в школе» (1940, №3,4,5) публикуются «Основные этапы истории русского языка», то есть даётся представление о контурах истории русского литературного языка, системы

функционально-речевых стилей, опирающейся на материалы указанной книги (изд. 1934, 1938 гг.). Спокойное слово лектора, элегантно одетого и поражающего студентов научной осведомлённостью, приобщало студентов к самостоятельной работе, и этому содействовало то, что в те годы вышли в свет оригинальные труды В. В. Виноградова: «О художественной прозе» (1930 г.), «Язык Пушкина» (1935 г.), «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования» (1936 г.), «Стиль Пушкина» (1941 г.). Книги В. В. Виноградова не всегда удавалось купить, но они помогали студентам осваивать учение о русском языке, особенно «Современный русский язык» (1938 г.) в двух выпусках, переработанный впоследствии в книгу «Русский язык» (1947 г.).

В канун Великой Отечественной войны кафедра обретает научное лицо и представляет собой слаженный коллектив, в составе которого были известные учёные и начинающие преподаватели. Проф. Селищев А. М. читал курс сербского языка, подавая некоторые словоформы в сопоставлении с русскими (*излас* – *выход*, *улаз* – *вход*). В 1941 г. выходит в свет первый том его «Славянского языкознания», а впоследствии будет издан «Старославянский язык» (1951, 1952 гг.).

В лекциях по современному русскому языку С. Е. Крючков удачно сочетал теоретические положения с грамматическими формами, на которые следовало обращать пристальное внимание при отработке аспектов правописания при изучении школьной программы. Молодые преподаватели И. А. Василенко и А. В. Текучев вели практические занятия по русскому языку и исторической грамматике, неудивительно, что впоследствии И. А. Василенко опубликует материалы для учебных занятий: «Историческая грамматика русского языка» (работа над словом и текстами по фонетике, морфологии. 1954, 1956 гг.); кроме того, публикуются контрольные работы по исторической грамматике русского языка (1954 г.).

Лекционный курс по исторической грамматике читал Н. С. Поспелов. Размеренным голосом фиксировались показатели основ именного склонения, образцы которых предварительно изображались лектором на доске. Студенты вслушивались в голос лектора, а на кафедре светились глаза улыбчивого лектора, свисающие волосы полукрывали лицо; при этом он растягивал нужное слово и в какой-то мере уподоблялся дьячку.

Занятия по старославянскому языку вёл доцент В. К. Чичагов. Подача учебного материала была чёткой, что наглядно проступало в устной речи и обретало чёткость изображения на доске. В те годы не было учебника по старославянскому языку, было трудно достать даже учебник С. П. Кульбакина (Прг, 1915 г.), поэтому лекции Чичагова, известного ученика А. М. Селищева, служили основой при подготовке к экзамену по старославянскому языку.

Научно-педагогическая деятельность кафедры активизируется в послевоенные годы, особенно тогда, когда в составе коллектива начинает проступать направляющая роль профессора Сергея Ивановича Абакумова; он был доцентом нашего института, затем профессором кафедры (1944 г.), а затем стал руководителем кафедры. В 1941 году С. И. Абакумову была присуждена учёная степень доктора филологических наук за исследование «Пунктуация в памятниках русской письменности XI – XVI вв.».

С. И. Абакумов читал лекционный курс «Современный русский литературный язык». Лекционные материалы помогли С. И. Абакумову подготовить первый вузовский учебник по основному лекционному курсу, закладывающему базу для подготовки учителя русского языка. В трудные годы Великой Отечественной войны этот учебник вышел в свет – «Современный русский литературный язык» (1942 г.). Лекции С. И. Абакумова и его учебник привлекали живой интерес студентов, они способствовали оживлению самостоятельной работы студентов, а также активизации научно-методической работы коллектива кафедры. Проф. Абакумов помогал сотрудникам

кафедры в продвижении к публикации подготовленных материалов; он с 1946 года и до конца своих дней был редактором журнала «Русский язык в школе». Лекции проф. Абакумова захватывали внимание студента простотой подачи теоретического материала, особенно тех разделов, которые трудно было освоить студенту по «Курсу русского литературного языка» Л. А. Булаховского и по «Очерку современного русского литературного языка» А. А. Шахматова. В учебнике С. И. Абакумова давалось полное представление о содержании курса современного русского литературного языка; в нём впервые появились материалы «Лексика и фразеология», сведения об основах графики, орфографии и пунктуации, а также из истории русской грамматики. Голос лектора был весьма спокойным, а темп несколько замедленным, что помогало студентам осмысливать положения и фиксировать в своих тетрадах. Иногда лектор как бы останавливался, было видно, как шевелились его губы, как бы смакуя что-то, потом снова бодрящий голос профессора, довольного тем, что аудитория внимательно воспринимает сказанное.

Под редакцией проф. Абакумова в 1948 г. вышел первый выпуск «Учёных записок» кафедры. В этом издании разумно представлены наблюдения, связанные с аспектами истории и современного состояния учения о русском языке. Статья С. И. Абакумова «Вопросы пунктуации в трудах русских книжников XV – XVIII вв.» даёт представление о становлении пунктуационных правил; при этом вопросы пунктуации, изложенные Ломоносовым, входят в книжку Светова «Опыт нового российского правописания, утверждённый на правилах “Российской грамматики”», а затем в школьный учебник того же автора «Краткие правила ко изучению языка Российского с присовокуплением кратких правил российской поэзии» (1790 г.). В статье С. М. Кардашевского «Порядок слов в Повести временных лет» рассматриваются расхождения с порядком словоупотребления в современном русском языке. Статья Т. Н. Чивиковой «Из истории предлогов» представляет собой главу из кандидатской диссертации автора.

Диалектные особенности русской речи рассматриваются в статьях Р. А. Конькова «Из наблюдений над лексикой современной деревни (Цымлянский говор Ростовской области)», А. В. Текучева «Изучение говоров западных районов Московской обл.». Данные наблюдения развёртываются впоследствии в солидные работы, за что Конькову Р. А. было присвоено профессорское звание, а Текучеву А. В. присуждена учёная степень доктора педагогических наук.

Под руководством проф. Абакумова на кафедре разрабатывалась комплексная тема «Язык басен Крылова»; некоторые материалы были опубликованы в центральной и местной печати: А. С. Бедняков «О языке басен Крылова» («Русский язык в школе», 1953, №5), Т. Н. Чивикова «Неполные предложения в баснях Крылова» (Уч. зап. МОПИ).

В послевоенные годы интересы членов кафедры сосредоточиваются на вопросах, связанных с явлениями лексики, фразеологии, истории русского языка. Лекционный курс «Историческая грамматика русского языка» переходит к проф. П. Я. Черных, он становится заведующим кафедрой. Проблема происхождения русского литературного языка привлекает внимание зав. кафедрой. П. Я. Черных выдвигает положение о народной основе древнерусского койнэ как базы сложения литературного языка старшей поры («Язык и письмо» в кн. «Язык и культура древней Руси», 1950 г.). Лексические явления приводят П. Я. Черных к мысли, что обиходная речь А. С. Пушкина мало чем отличалась от разговорной речи простого народа (Уч. зап. МОПИ, вып. 2). Работа над изучением памятников письменности своеобразно проступает в подаче лекционного материала и используется при подготовке научных и учебных пособий. В 1953 г. выходит книга «Язык Уложения 1649 г.», затем издаются учебные пособия: «Историческая грамматика русского языка» (1952 г.), «Очерк русской исторической

лексикологии. Древнерусский период» (1956 г.). Итогом десятилетней научно-педагогической деятельности П. Я. Черных стал его «Историко-этимологический словарь русского языка», — первый тип этимологического словаря, адресованного широкому кругу читателей (1994 г.).

В пятидесятые — шестидесятые годы кафедра русского языка предстаёт как научно значимое подразделение МОПИ. В эти годы работал проф. В. И. Лыткин — был заведующим кафедрой, а затем в Институте языкознания АН СССР возглавил Сектор финно-угорских языков; проф. Т. А. Бертагаев, перешедший впоследствии в Институт языкознания АН СССР (Сектор монгольских языков), проф. С. А. Копорский, также перешедший затем на кафедру русского языка Московского государственного университета (стал заместителем руководителя кафедры академика В. В. Виноградова), проф. Сухотин В. П., проф. Устинов И. В., читавший курс «История русского литературного языка» и исполнявший обязанности заведующего кафедрой.

Профессора руководили спецкурсами и исполняли обязанности по руководству аспирантами, игравшими важную роль в деятельности кафедры.

Учебные занятия вели доценты В. Л. Карпюк, А. Г. Руднев, Д. Н. Марков, Н. Т. Мальшакова.

В эти годы развиваются исследования над явлениями художественной речи. В работах проф. Копорского прослеживаются изобразительные возможности собственного имени. На материале произведений писателей-демократов (60 — 70 гг. XIX в.) автор развивает положение, что собственное имя является важнейшим изобразительным средством, что позволяет творческой личности играть различными дозами художественной экспрессии. В работах С. А. Копорского раскрываются экспрессивные качества слов, приписанных к общению определённых групп. Работы, посвящённые изучению прозы Н. Успенского, Слепцова, Решетникова, опубликованы в Ученых записках МОПИ (вып. 3,4).

Изучению словарного состава произведений П. И. Мельникова-Печерского посвящён многолетний труд доц. Маркова Д. Н. В Ученых записках МОПИ опубликован его «Словарь к роману П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» (вып. седьмой).

Лексикологические наблюдения над явлениями диалектной лексики завершаются публикацией материалов «Курско-Орловского словаря» С. М. Кардашевского (Уч. зап. МОПИ, вып. 3,4,5), определивших содержание его докторской диссертации.

На кафедре придавалось большое значение организации и проведению диалектологических экспедиций по собиранию диалектного материала в районах Московской области. Первая экспедиция была направлена в Клинский район (1939 г.), ею руководил доц. И. А. Василенко, а консультировал студентов проф. И. Г. Голанов. Вторая экспедиция была направлена в Уваровский район во главе с доцентами А. В. Текучевым и Р. А. Коньковым (1940 г.). С этого времени диалектологические экспедиции становятся регулярными, в них участвуют доценты Текучев А. В., Бедняков А. С. и ст. преподаватель Н. Д. Землячковская. Так было положено начало работе по собиранию материалов для Словаря Московской области.

Под руководством известных учёных кафедра проводила большую работу по подготовке научных кадров через аспирантуру. Во второй половине сороковых годов окончили аспирантуру Архангельский В. Л. (рук. проф. С. И. Бернштейн), Подгоецкая Н. (рук. В. В. Виноградов), Фокина Т. В., Утехина Н. (рук. С. И. Абакумов), Полежаев О. (рук. И. В. Устинов). У проф. Копорского прошли подготовку аспиранты Никитин А. В., Лекант П. А., Тарко Г. Н., Сергеев И. Т., Строгова В. Н., Туркина Р. В., Щеглова Н. А., Якимова Л. У проф. Черных П. Я. — Тихомиров Н., Архипова С., Тузова М. Ф., Сурмонина Р., Семянко В. У проф. Текучева А. В. прошли аспирантскую подготовку Кухаревич Н., Иванова А. У проф. Бертагаева Т. А. закончили аспирантуру Зимин В. И., Чагдуров С. Ш.

У проф. Сухотина – Рогов П. И., Петрова З. П. У проф. Коткова С. И. – Грехова Л. П., Савченко Н. Ф. У доц. Мучника И. П. прошли подготовку аспиранты Ерёмина Л., Власова Н., Скорнякова М., Хрычиков Б., Чакрыгина Н., Шершнева Н. Под руководством доц. Кардашевского С.М. закончил аспирантуру Хабургаев Г. А.

Результаты научно-исследовательской работы аспирантов и членов кафедры публиковались в «Учёных записках». За два десятилетия было издано 14 сборников общим объёмом 265 печатных листов. Подготовкой к изданию «Учёных записок» активно занимался проф. Устинов И. В.; при его непосредственном участии были подготовлены выпуски 8, 9, 10, 11, 12.

Публикации в «Учёных записках» помогали сотрудникам кафедры и аспирантам представлять к защите свои исследования. Члены нашей кафедры на материале таких публикаций защитили исследования на степень доктора филологических наук – Кожин А. Н., Лекант П. А., Марков Д. А., Хабургаев Г. А.; на степень доктора педагогических наук – Текучев А. В.; на степень кандидата филологических наук – Тузова М. Ф., Дружинина А. Ф., Иванова А. Ф., Туркина В. Р. и др.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ КАФЕДРЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МГОУ

Кафедра русской классической литературы – ровесница нашего университета. В 1931 году был создан Московский индустриально-педагогический комбинат, но уже 18 марта 1932 года он стал называться Московским областным педагогическим комбинатом. К этому времени относится существование общей кафедры русского языка и литературы, которая координировала преподавание языковедческих и литературоведческих наук. Первым ее заведующим был Александр Иванович Ревякин (1900–1984), в те годы молодой начинающий ученый, доцент, а впоследствии д. ф. н., проф., многолетний заведующий кафедрой русской литературы в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина (ныне МПГУ). Он занимался именно русской классической литературой, преимущественно наследием А. Н. Островского и А. П. Чехова [1]. Традиции, создаваемые этим выдающимся ученым, живут и поныне в двух, как видим, родственных вузах, в особенности на кафедрах, занимающихся русской дореволюционной классической литературой.

Помимо А. И. Ревякина на заре существования филологической кафедры здесь работали также Б.А. Рыбаков, Алешина, Шатров, Шнейдер, Мерина, Манько [2]. В 1935–1952 годах кафедру русской литературы возглавлял Николай Александрович Глаголев (1896–1984), известный и авторитетный в те годы литературовед, он одновременно работал на литературном факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, а также в Институте красной профессуры, преподавая литературу. Ученому принадлежат труды по истории литературной критики: Историко-литературные взгляды Добролюбова / Новый мир, 1936, № 2; Проблема народа и народности литературы в критике Добролюбова / Учен. записки МГУ, вып. 110, кн. 1. (М., 1946); К вопросу о концепции А. Н. Веселовского / Октябрь, 1947, № 12; Литературное движение 60-х годов / Лекции по истории русской литературы XIX века кн. 2. (М., 1951) и др. работы. Под руководством Н. А. Глаголева кафедра расширила связи с вузами Москвы и столичными издательствами. С 1937 г. в МОПИ работал А. Н. Соколов, известный историк русской литературы XIX века, исследователь жанра поэмы; впоследствии, в 1942–1948 годах, он сотрудничал с МГУ и окончательно перешел в этот ведущий университет нашей страны, где заведовал кафедрой русской литературы. В 1939 году был проведен первый прием в аспирантуру: на очное ее отделение был зачислен Н. П. Журавлев, впоследствии доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, поэт, также были приняты С. М. Шибаев, К. Ф. Платонов, А. И. Касаткин; на заочное отделение аспирантуры поступили М. А. Цейтлин, А. Х. Синельников. Согласно второму приему в аспирантуру были зачислены З. Т. Гражданская, Л. И. Залесская, В. П. Иваницкая. Многие из них продолжили работу на факультете русского языка и литературы. Началась активная подготовка кадров научных сотрудников.

На протяжении XX века развитие кафедры шло по линии усиления специализации, и уже во втором пятидесятилетии функционировала отдельная большая кафедра русской литературы наряду с кафедрами советской литературы, зарубежной литературы, методики преподавания литературы и русского языка, также наряду с обширной языковедческой кафедрой.

В октябре 1941 года занятия в институте были прекращены в связи с 1-ой эвакуацией в Мармыш Кировской области.

Все студенты и преподаватели были командированы на трудовой фронт. Но уже через два года, еще до окончания Великой Отечественной войны, институт возвратился в Москву. В годы войны кафедра, как и весь наш народ, переживала трудности и лишения. Но трудовой энтузиазм отличал и преподавателей, и студентов [3]. До сих пор на кафедре русской литературы и на других кафедрах работают те педагоги-литературоведы, кото-

рые в годы войны и первые послевоенные посещали не только с пользой для себя, но и с восторгом, отличающим начинающих филологов, лекции А. В. Кокорева, У. Р. Фохта, Н. М. Чиркова, Г. Л. Абрамовича.

Александр Васильевич Кококрёв (1883–1965) начал свою научную деятельность под руководством проф. А. М. Лободы в Киевском университете. В 1940-х–1950-х годах он работал в вузах Москвы — МГУ им. М. В. Ломоносова и в МОПИ им. Н. К. Крупской. Ему принадлежат оригинальные труды, в основном посвященные русской литературе XVIII века: Сумароков и русские народные картинки // Ученые записки МГУ, 1948. Вып. 127. Кн. 3. Путешествие критика... Сочинение С. фон Ф (публикация и вступ. ст.) (М., 1951); Литература (1700–1725) // История Москвы. Т. 2. (М., 1953). Он составил особенно ценный труд — «Хрестоматию по русской литературе XVIII века» (М., 1965). А. В. Кокорев как обаятельный человек и талантливый лектор увлекал студентов, своих слушателей. Его называли Златоустом. Его ученица тех лет и последовательница научных принципов профессор Л. Г. Ленюшкина (урожденная Кокорева) плодотворно трудится на кафедре русской классической литературы [4].

Ульрих Рихардович Фохт (1902–1979), крупный советский литературовед, окончил Нежинский институт народного образования; работая в МОПИ им. Н. К. Крупской, занимался методологическими и теоретическими проблемами русской литературы. В ранних работах он следовал методологии В. Ф. Переверзева, в дальнейшем, в 1950-е — 1960-е гг., сосредоточился на изучении типологии русского романтизма и реализма, выявляя внутренние закономерности историко-литературного процесса, связанные с мировоззрением писателей и стилевыми тенденциями их творчества. Его труд «Пути русского реализма» (в кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969) в значительной степени повлиял на сложившиеся в литературоведении представления о типах развития русского реализма в XIX веке. С 1955 г. он совмещал работу в московских вузах с деятельностью в ИМЛИ им. А. М. Горького. Те, кто знал его в период сотрудничества на кафедре русской литературы в МОПИ им. Н. К. Крупской, пишут о нем с увлечением, рисуя яркую колоритную личность литературоведа—полемиста, влияющего на студентов и своих коллег—преподавателей эрудицией и четкостью научных концепций [5].

Григорий Львович Абрамович (1903–1979) окончил в 1924 году Государственный институт слова в Москве. В 1930-х годах он работал в московских вузах, в том числе и в МОПИ, занимаясь проблемами теории литературы и методологии. Он участвовал в создании учебников для средней школы; написанный им учебник «Введение в литературоведение» для студентов педагогических институтов, выпускаемый в свет издательством «Просвещение», выдержал семь изданий, послужив многим поколениям будущих учителей—словесников. Его лекции поражали не только содержательностью, но и любовью к художественному слову, свободным выразительным чтением текстов русских классиков. Ученики Г. Л. Абрамовича хранят добрую память о своем учителе [6].

Чирков Николай Максимович (1891–1950) учился на двух факультетах Московского университета: историко-филологическом и философском, которые окончил в 1916 г. Преподавал русскую и зарубежную литературу в ряде вузов России. В МОПИ он пользовался большим успехом у студентов, своих слушателей: «Чирков Николай Максимович был любимейшим из любимых. Все его лекции заканчивались громом аплодисментов» [7]. Ему принадлежит монография «Творчество Достоевского. О стиле Достоевского» (Вып.1, 1963–1964; Вып.2, 1967); его научные труды посвящены также Л. Н. Толстому, И. С. Тургеневу, И. А. Гончарову, зарубежным писателям; см. его работы: А. Стринберг и русская литература / Ученые записки МОПИ им. Н. К. Крупской (М., 1956, Т. XLV, Вып.4); В драматической мастерской Р. Роллана: К проблемам романтизма и реализма в зарубежной литературе конца XIX и XX века // Труды МОПИ им. Н. К. Крупской (М., 1973). Его исследования отличаются широкими философско-филологическими и куль-

турно-историческими подходами к рассмотрению художественных произведений.

Труды А. В. Кокорева, Н. М. Чиркова, Г. Л. Абрамовича, У. Р. Фохта создали на кафедре ценную традицию изучения теории литературы на основе русской классики, прежде всего XIX века, они выявили глубинные связи многовекового историко-литературного процесса с теоретическими обобщениями, которые делались на протяжении всей практики литературного, художественного творчества.

В 1952–1956 годах кафедрой русской литературы заведовал Степан Михайлович Шibaев (1911–1956), выпускник 1938 года факультета русского языка и литературы МОПИ, работавший ранее преподавателем русской литературы в средних школах. В годы Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт, сражался в рядах советской армии до самого окончания военных действий. Возвратясь на Родину, Степан Михайлович успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную Н. Г. Чернышевскому. С. М. Шibaев вызывал глубокое уважение и симпатию преподавателей и студентов.

В 1956–1970 годах руководство кафедрой осуществляла Анна Михайловна Новикова (1902–1992) [8]. А. М. Новиковой создана на кафедре научная школа фольклористов. Будучи ученым-энтузиастом, бесконечно преданная интересам отечественной фольклористики, своему профессиональному долгу, она избрала путь жизни-служения науке и всем тем преподавателям, аспирантам, студентам, которые проявляли подлинный интерес к устному народному творчеству. Под ее руководством совершались ежегодные научные экспедиции в Калужскую, Тульскую, Московскую области, в результате чего был собран большой массив устно-поэтических произведений разных жанров. Она постоянно руководила студенческим кружком-студией, члены которой не только изучали собранные фольклорные материалы, но и исполняли их: водили хоровод, разыгрывали элементы свадебного обряда, пели народные песни в сопровождении танца или народной игры. Во всем этом участвовала сама Анна Михайловна. Под ее руководством создавались кандидатские и докторские диссертации. Наиболее известные ученые, связанные с традициями своего учителя – С. А. Джанумов, Т. В. Зуева, В. А. Поздеев – стали докторами филологических наук. Под редакцией А. М. Новиковой вышли в свет восемь сборников научных трудов по проблемам фольклористики, а также учебник, учебная хрестоматия текстов, практикум, семинарий по фольклору – весь этот комплект книг неоднократно переиздавался. Сама А. М. Новикова – автор многих книг и брошюр, назовем некоторые: Сказки Куприянихи (Воронеж, 1937); Народная лирическая песня восточных славян (М., 1945); Изучение лирических песен (Проблемы историографии лирических песен) (М., 1949); Революционные песни эпохи массового движения. Сб. статей (М., 1954); Русская поэзия XVIII – первой половины XIX века и народная песня (М., 1982). По инициативе Министерства просвещения РСФСР в 1972 году при кафедре был создан научно-методический центр, координирующий работу по фольклору преподавателей педагогических институтов. Анна Михайловна любила молодежь – аспирантов, студентов – воспитывала их как благородный, безупречно честный и принципиально требовательный наставник и друг. В настоящее время ее традиции в преподавании фольклора успешно продолжает знаток литературного Подмоскovie Г. А. Шестопалова.

В 1970 году с кафедрой в разные сроки непродолжительно (2–3 года) сотрудничали В. А. Архипов, П. П. Белов, П. А. Мезенцев, Н. Н. Зуев, ныне сотрудник журнала «Литература в школе» [9].

С 1970 до 1975 и с ноября 1977 по сентябрь 1979 кафедрой заведовал Владимир Сергеевич Совалин (1924–1987), литературовед и поэт одновременно; он был в родстве с М. Е. Салтыковым–Щедриним. В. С. Совалин – участник Великой Отечественной войны; тем годам он посвящал искренние, лирические стихотворения и печатал их. Владимир Сергеевич умел увлечь студентов и аспирантов стиховедческими проблемами, тайнами

художественного слова, книжными новинками. Он был любителем и собирателем книг, опубликовал сборник русских сонетов XVIII–XIX веков. Под его руководством интересно работал студенческий кружок. В. С. Совалин преподавал введение в литературоведение на протяжении 1980-х годов. Он оставил о себе как об ученом и порядочном человеке светлую память.

С декабря 1974 года по 1977 должность заведующего кафедрой занимал Николай Васильевич Осьмаков. Он пришел в МОПИ из ИМЛИ РАН. Как ученый академической школы он принес в коллектив новые принципы научного исследования – историко-функциональный метод. В те годы он как ответственный редактор подготовил и выпустил в свет три тома методологически связанных работ разных авторов: Русская литература в историко-функциональном освещении. (М., 1972); Литературные произведения в движении эпох. (М., 1979); Время и судьбы русских писателей. (М., 1981). Он стал автором учебного пособия для студентов «Психологическое направление в русском литературоведении. Д.Н. Овсянко–Куликовский» (М., 1981). Также Н.В. Осьмаков изучал творчество Н.А. Некрасова, И.З. Сурикова, русскую революционную поэзию.

С октября 1979 года к заведованию кафедрой приступила Вера Николаевна Аношкина (Касаткина). Ее научные труды посвящены преимущественно русскому романтизму, поэзии XIX века: Поэтическое мировоззрение Ф. И. Тютчева (Саратов, 1969); Предромантизм в русской лирике. К. Н. Батюшков. Н. И. Гнедич (М., 1987); «Здесь сердцу будет приятно...». Поэзия Жуковского (М., 1993) (книга трижды переиздавалась в издательстве МГУ в сокращенном варианте для школьников, абитуриентов и преподавателей); Романтическая муза Пушкина (М., 2001); Тайна человека. Своеобразие реализма Ф. М. Достоевского (в соавторстве с Н. В. Касаткиным) (М., 1994); изданы и другие работы [10]. Ею обновлена концепция развития русского романтизма на протяжении XIX века: линия развития шла от предромантизма конца XVIII – начала XIX столетия, через ряд типологических образований собственно романтизма (эстетико-психологический, гражданственный, этико-эстетический, философский, фольклорный, религиозный); развитие продолжалось путем движения их тенденций в реализме, а итогом стал постромантизм конца XIX – начала XX века. В. Н. Аношкина сформулировала общекафедральные темы исследовательской деятельности: «Взаимодействие лирической поэзии и прозы», «Литературное общение и формирование творческой индивидуальности писателя»; в настоящее время принята коллективная тема – «Личность русского писателя-классика в историко-литературном процессе XIX века». Приступив к работе, В. Н. Аношкина читает обширный курс лекций по истории русской классической литературы первой трети XIX века.

В 1970–1980-х годах на кафедре работали опытные специалисты. Кроме А. М. Новиковой, В. С. Совалина, Л. А. Смирновой [11], специалиста, изучающего русскую литературу конца XIX – начала XX века, здесь работала также известный ученый-педагог Нина Сергеевна Гродская из школы А. И. Ревякина, она читала с большим успехом лекционный курс истории русской литературы второй половины XIX века, вела научное исследование в области драматургии А. Н. Островского, участвуя в подготовке к изданию первого Полного собрания сочинений в 16-ти томах; книги выходили в свет в Гослитиздате в 1949–1953 гг. Выполняя обязанности ученого секретаря в редакционной коллегии, Н. С. Гродская принимала участие в текстологической работе и комментировании, особенно большой вклад в этом отношении внесен ею в 5-8 и 14 тома. Вместе с тем она участвовала в подготовке к изданию Собрания сочинений А. П. Чехова в 13 томах (1974–1983), ею подготовлены 1, 2, 3, а также совмещенный – 12–13-й тома. Нина Сергеевна много времени и сил потратила на воспитание студентов: она организовала молодежный кружок, готовящий из года в год творческие доклады для научной студенческой конференции [12].

Татьяна Сергеевна Михеева преподавала древнерусскую литературу и русскую литературу XVIII века, увлекая студентов национальной стариной. Под ее руководством они охотно писали и успешно защищали дипломные сочинения. Т. С. Михеева опубликовала целый ряд статей об оде XVIII века, в последние годы она занималась литературным Подмосковьем. Под ее редакцией и с ее авторским участием вышел в свет учебно-методический труд «Литературное Подмосковье XVIII-XIX веков» (М., 2004); активнейшее участие в его издании приняли Г. А. Шестопалова, Т. А. Алпатова, весь коллектив кафедры. Т. С. Михеева много занималась общественной деятельностью, была бессменным проформом кафедры, добросовестно выполняя свои обязанности.

Литературой середины XIX века занимались, готовя в те годы кандидатские диссертации, Л. А. Беляева и Л. Г. Ленюшкина. Людмила Александровна Беляева, человек, влюбленный в литературную классику, вдохновенно читала лекции на всех отделениях факультета русской филологии, она специализировалась на изучении творчества Н. В. Гоголя. Лидия Георгиевна Ленюшкина защитила свой новаторский труд «Творчество В. С. Филимонова (1787–1852)» в 1985 году, а впоследствии подготовила к изданию вместе с Д. Г. Терентьевой наиболее полное собрание сочинений этого несправедливо почти забытого талантливого писателя, которого ценили А. С. Пушкин и его современники. В. С. Филимонову была дана новая жизнь в новом столетии. Л. Г. Ленюшкина всегда участвует в коллективных научных трудах кафедры при разработке учебных программ и пособий, содействующих самостоятельной работе студентов, изучающих литературный процесс XIX века – творчество И. А. Крылова, А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, А. И. Герцена, А. П. Чехова. Все годы работы Л. Г. Ленюшкиной в МОПИ – МГОУ (она закончила наш вуз) были заполнены общественной деятельностью, продиктованной заботой о коллективе, созданием благоприятной творческой атмосферы и хороших условий работы.

Д. Г. Терентьева (1930–2000), перешедшая с кафедры эстетики на кафедру русской классической литературы, внесла ценный вклад в общее дело, преподавая эстетику и культурологию, ведя научное исследование наследия Н. В. Станкевича, с энтузиазмом занимаясь литературным Подмосковьем.

Сергей Акопович Джанумов преподавал преимущественно устное народное творчество, литературу XVIII века, целеустремленно готовил докторскую диссертацию «Традиции песенного и афористического фольклора в прозе А. С. Пушкина и П. А. Вяземского», которая была защищена в 1994 году. Его научная и педагогическая деятельность свидетельствует о высокой филологической культуре этого ученого. Будучи на протяжении ряда лет деканом факультета русского языка и литературы, он содействовал укреплению международных связей всего коллектива с Польшей, Чехословакией, он сам сотрудничал с университетами США. В настоящее время Сергей Акопович трудится как заведующий и профессор на кафедре русской и зарубежной литературы Московского городского педагогического университета. Ему принадлежит целый ряд научно-исследовательских и учебных книг по русской литературе XIX века.

В 1990-х годах на кафедре русской классической литературы работал выпускник МПУ С. М. Телегин, защитивший в нашем же диссертационном совете кандидатскую и докторскую диссертации, обращенные в основном к наследию Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова. С. М. Телегин, выступив продолжателем традиций мифологической школы, изучал соответствующие начала и принципы в деятельности крупнейших русских писателей–реалистов. С. М. Телегин и А. К. Базилевская читали лекционный курс истории русской литературы второй половины XIX века. А. К. Базилевская с большой положительной отдачей готовила научно-методические программного характера труды, посвященные второй половине XIX века. По совместительству весьма успешно трудились на кафедре русской классической литературы известные ученые из ИМЛИ им. А. М. Горького РАН д. ф. н. Э. Л. Афанасьев, Г. Г. Елизаветина, В. Ю. Троицкий,

И. В. Шталь, впоследствии А. В. Гулин, а также известный текстолог–толстовед Н. И. Бурнашева. На кафедре работал, читая курс «Введение в литературоведение», талантливый выпускник МПУ, ныне д. п. н. А. А. Мурашов; читала факультативный курс о русской поэзии второй половины XIX века друг кафедры, крупный специалист в изучении наследия А.А. Фета, связанная с его родом, д. ф. н. из Финляндии В. А. Шеншина.

В течение 1980–1990 годов на кафедре под руководством В. Н. Аношкиной сформировалась научная школа историков русской литературы XIX века. Были подготовлены фундаментальные коллективные научно-учебные труды, объединяющие ученых не только ведущих вузов Москвы, ИМЛИ РАН им. А. М. Горького, но и других городов России. В настоящее время завершено издание шеститомного труда, обобщающего многолетние исследовательские работы большого коллектива, «История русской литературы XIX века» (1 том. 1800–1830 годы; 2 том. 1840–1860 годы; 3 том. 1870–1890 годы), первые две книги вышли под редакцией В. Н. Аношкиной и Л. Д. Громовой (член-корр. АН РФ, зав. отделом русской классической литературы в ИМЛИ РАН), в редактировании третьего тома к ним присоединился В. Б. Катаев (д. ф. н., проф., зав. кафедрой русской классической литературы в МГУ им. М. В. Ломоносова). Авторами отдельных глав выступили, кроме названных ученых, ведущие специалисты–литературоведы: А. А. Демченко, А. А. Илюшин, И. В. Карташова, Л. М. Крупчанов, В. А. Недзвецкий, А. Н. Николюкин, С. М. Петров, В. Д. Сквозников, Ю. И. Сохряков, Б. Н. Тарасов, В. Ю. Троицкий, Б. Н. Удодов и др. Вышли в едином комплекте с названным трудом еще три книги: «Русская литература XIX века. Воспоминания, литературно-критические статьи, письма» (1 том. 1800–1830; 2 том. 1840–1860 годы; 3 том. 1870–1890 годы). Первый том, выдержавший четыре издания, в редакционную коллегию включил В. Н. Аношкину, Т. К. Батунову, С. А. Джанумова, И. В. Попова и Д. Г. Терентьеву. Вторые два тома вышли под редакцией В. Н. Аношкиной и В. П. Зверева. Активное участие в создании названного шеститомника приняли, кроме титульных редакторов, также Т. А. Алпатова, М. А. Розадеева, Г. А. Шестопалова, а в источниковедческих книгах – Т. К. Батунова, С. А. Джанумов, Л. Г. Ленюшкина, Д. Г. Терентьева. Книги получили немало положительных отзывов.

В названном шеститомнике обновлена методология изучения историко-литературного процесса. Изучается движение литературы во взаимодействии направлений и стилей, жанров, поэзии и прозы, динамике литературно-художественного бытия.

Не проигнорированы примечательные индивидуальности и писатели второго ряда, определяется их место и вклад в литературное развитие. Но в специальных главах изучаются монографическое творчество выдающихся писателей–классиков – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Раскрывается национальная основа мировоззрения, патриотизм и гражданственность, отражение религиозных устоев, эстетических и этических убеждений и предпочтений; изучается своеобразие поэтики.

Учебная литература, созданная на кафедре, названный шеститомник, а также учебные программы главных дисциплин, практикумы, созданные Г. А. Шестопаловой, Т. А. Алпатовой, А. В. Шмелевой, Э. В. Захаровым, И. А. Киселевой, ориентирует студентов на углубленное рассмотрение как самого литературного процесса, так и его осмысление в научной литературе. По инициативе членов кафедры русской классической литературы – В. П. Зверева и Т. К. Батуровой – собран специальный общефакультетский сборник студенческих и аспирантских работ.

Научные принципы школы определили содержание учебных занятий, диссертационных работ, подготовленных на кафедре. Особенно выделились новаторскими подходами и выводами докторские диссертации Т. К. Батуровой «Альманахи литераторов пушкинского круга: религиозно-нравственные искания в поэзии и прозе» (1999); В. П. Зверева «Творчество Ф. Н. Глинки в контексте православных традиций русской литературы первой

половины XIX в.» (2003); О. Г. Егорова «Литературный дневник XIX века. История и теория жанра» (2003); И. А. Овчининной «Этапы творчества А. Н. Островского. Эстетика национального быта и характера» (2000); Г. В. Чагина «Родовое гнездо Ф. И. Тютчева в русской культуре и литературе XIX века» (1999).

Глубокие содержательные перспективные в научном отношении кандидатские диссертации были защищены: пушкиноведческие – Т. А. Алпатовой, О. И. Поздняковой, А. В. Шмелевой; лермонтоведческие – И. А. Киселевой, А. А. Мурашовым, Е. В. Ослиной; о словянофилах – Э. В. Захаровым, М. М. Рябий, И. А. Труфановой; о Ф. М. Тютчеве – М. А. Розадеевой, А. В. Шапуриной и др. Пушкиноведческие и тютчеведческие исследования заняли центральное место в работе кафедры последних лет, особенно в связи с их юбилеями – 200-летием со дня рождения поэтов. Были изданы сборники научных трудов: «Поэзия А. С. Пушкина и ее традиции в русской литературе XIX – начала XX века» (М., 1989); «А. С. Пушкин. Проблемы творчества и эстетической жизни наследия 1799–1999» (М., 1999); «Мое Захарово... Захаровский контекст в творчестве А. С. Пушкина» (М., 1999); «Ф. И. Тютчев. Проблемы творчества и эстетической жизни наследия» (М.). Многочисленные статьи об этих и других писателях опубликованы в 12-ти межвузовских сборниках научных трудов, созданных на кафедре, а также в монографиях Т. А. Алпатовой, В. Н. Аношкиной, Т. К. Батуровой, С. А. Джанумова, Е. Н. Федосеевой, Т. В. Федосеевой, Г. В. Чагина. Кафедра выпустила в свет ранее не переиздававшиеся труды: Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. 1830 г. № 1–13. Под редакцией В. Н. Аношкиной. Сост., коммент. Т. К. Батуровой (М., 1988); Денница. 1830. 1831. 1834. Сост. В. Н. Аношкиной, Т. К. Батуровой, М. А. Розадеевой (М., 1999); Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма. В 6 т. Т. 1–2. В подготовке текстов и комментариев приняли участие В. Н. Касаткина (Аношкина), В. П. Зверев, Э. В. Захаров, Н. Г. Коваленко, А. В. Монахова, М. А. Розадеева, Т. В. Федосеева и другие связанные с кафедрой исследователи. Таким путем создавалось первое научное шеститомное собрание сочинений Ф. И. Тютчева, которое было прекрасно оформлено в издательстве «Классика», возглавляемом В. Н. Кузиным. Многочисленные материалы кафедра отдала в тютчевскую энциклопедию, составителем и ответственным редактором которой был Г. В. Чагин. Несколько ранее было осуществлено переиздание первой полной биографии поэта: И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. Репринтное воспроизведение издания 1886 г. (М., 1997). В этом ряду ценных переизданий следует назвать книги: «Я не в Аркадии – в Москве рожден...» В. С. Филимонов. Вступ. Статья Л. Г. Ленюшкиной. Сост., коммент. Л. Г. Ленюшкиной и Д. Г. Терентьевой (М., 1988); П. П. Ершов. Конек-горбунок. Избранные сочинения. Сост., подготовка текстов и примечаний В. П. Зверева (М., 2005), это наиболее полное собрание сочинений автора знаменитой сказки.

На кафедре в последнем десятилетии трудится крупный ученый, перешедший из ИМЛИ им. А. М. Горького РАН Ю. И. Сохряков, д. ф. н., проф., академик Международной славянской академии наук, искусств и культуры. Его научные позиции выражены в книгах: Русская классика в литературном процессе США XX века (М., 1988); Художественные открытия русских писателей. О мировом значении русской литературы (М., 1990); Национальная идея в отечественной публицистике XIX – начала XX века (М., 2002); Творчество Ф. М. Достоевского и русская проза XX века (М., 2002); И. А. Ильин – религиозный мыслитель и литературный критик (М., 2004). Ю. И. Сохряков читает с высоким профессионализмом лекции по истории русской литературы последней трети XIX века, предъявляя большие требования к студентам, аспирантам и соискателям, которые готовят свои диссертации под его руководством. Лекции по теории литературы читает О. В. Сергеев, д. ф. н., автор книг: Алексей Ремизов – узник сна. Поэтика сновидений в прозе А. М. Ремизова 1890–1910-х годов (М., 2002); Поэтика сновидений в рассказах Ф. Сологуба (М., 2002); Теория литературы. Хрестоматия Ч.1. (М., 2005); Теория литературы. Русская

литература конца XIX — начала XX века. Пособие для студентов (М., 2004). Исследуя антропологические, психологические воззрения русских писателей, О. В. Сергеев подходит к осмыслению иррациональных состояний психики в виде сновидений, изучается их отражение в поэтике художественной прозы. Таким путем ученый осмысливает своеобразное выражение духовности в русской литературе.

В последние годы в коллективе усилился интерес к духовным, христианским основам русской литературы, что получило отражение в сборниках, изданных под редакцией сотрудников кафедры и их коллег: В. Н. Аношкиной — Религиозно-мифологические тенденции в русской литературе XIX века (М., 1997); Христианские истоки русской литературы (М., 2001) и др. труды. Т. К. Батунова стала ответственным редактором сборников «Литература и История» (Вып. 1, 2, 3. М., 2000, 2001, 2002); под редакцией А. В. Белова, Э. В. Захарова, И. А. Киселевой, А. В. Шмелевой, Б. В. Коптелова вышел в свет четвертый выпуск сборника «Литература и История». Особенную ценность, нравственно воспитывающее значение имеет сборник, изданный Т. К. Батуновой и В. П. Зверевым, «Преподобный Серафим Саровский и русская литература» (М., 2004); в авторский коллектив вошли многие сотрудники кафедры. Выдающееся значение имеет фундаментальный труд В. П. Зверева (1951–2005) «Федор Глинка — русский духовный писатель. Монография» (М., 2002), в его основе лежат принципы религиозной филологии. Труды талантливого ученого В. П. Зверева, его творческие начинания и замыслы, выступления на конференциях оставили глубокий след на кафедре русской классической литературы, он содействовал углублению православной проблематики в готовящихся к изданию трудах, подлинно научному оформлению книг.

Молодые даровитые сотрудники кафедры, к. ф. н., доценты Т. А. Алпатова, Э. В. Захаров, И. А. Киселева, А. В. Шмелева — все они, за исключением Э. В. Захарова, закончили МПУ и успешно защитили свои работы в факультетском диссертационном совете — вносят свежую, молодую струю в деятельность кафедры. Преподаватели кафедры много занимаются воспитательной работой, проводя студенческие научные конференции, олимпиады, литературные вечера, экскурсии в литературные музеи, организуют благотворительные акции.

Кафедра активно организует работу диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (председатель В. Н. Аношкина, ученый секретарь Т. К. Батунова). Ежегодно проходит более десяти защит и столько же представлений к защитами; так осуществляют повышение квалификации сотрудников не только МГОУ, но многих других кафедр из вузов Саратова, Рязани, Ярославля, Мичуринска, Шуи, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Иркутска — даже самых отдаленных мест нашей Родины.

В течение многих десятилетий кафедра неизменно работает под руководством ректората и деканата на основе взаимопонимания и поддержки со стороны администрации вуза.

Также в повседневную жизнь кафедры входит сотрудничество с Международной академией наук педагогического образования, академиком которой является В. Н. Аношкина, членами-корреспондентами — Т. К. Батунова, Л. Г. Ленюшкина; в ней состояли и В. П. Зверев, и Д. Г. Терентьева. Проводятся международные конференции «Русское литературоведение в новом тысячелетии» совместно с МГОПУ им. М. А. Шолохова и другими вузами Москвы; издаются книги под грифом МАНПО. Постоянно расширяются связи со средними школами и вузами не только Подмосковья, но и многих городов России. Продолжено сотрудничество кафедры с Карловым университетом в Праге. В прошлые годы были изданы два межвузовских сборника «Дружба», мы участвуем в готовящемся третьем. Крепнут творческие, деловые отношения с университетом Финляндии. В новое тысячелетие, в юбилейный период — 75-летие МГОУ — кафедра русской классической литературы вступила в состоянии трудового подъема и светлых творческих надежд.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. подробно о нем в кн.: А. Н. Островский, А. П. Чехов и литературный процесс: Посвящается памяти Александра Ивановича Ревякина // Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук. — М., 2003.
2. К сожалению, в архивных материалах не указаны их инициалы.
3. См. о работе МОПИ в годы Великой Отечественной войны в кн.: Педагогическая поэма создателей. 7 лет Московскому педагогическому университету. — М., 2001. — С. 417 — 425.
4. См. о А. В. Кокореве: Журавлева А. А. Голос памяти. М., 1999. — С. 12—15.
5. См.: Там же. — С. 17-19; 19-23.
6. См.: Журавлева А. А. Голос памяти. — М., 1999. С. 17-19. Гродская Н. С. Образ профессора, доктора филологических наук Григория Львовича Абрамовича в воспоминаниях его учеников и коллег // Архив кафедры русской классической литературы.
7. Ленская (Кандыбо) С. Мой МОПИ — моя жизнь // Народный учитель, 1998, №7 (18 сентября). — С. 2.
8. См. о ней: Журавлева А. А. Голос памяти. — С. 24-27; Гродская Н. С. Из истории кафедры русской классической литературы МПУ (1955—1985) // Архив кафедры русской классической литературы.
9. Гродская Н. С. Из истории кафедры русской классической литературы МПУ (1955—1985) // Архив кафедры русской классической литературы.
10. См. о ней в кн.: Русский литературоведческий альманах. — М., 2004.
11. См. о ней в кн.: Педагогическая поэма создателей. 7 лет Московскому педагогическому университету. — М., 2001. — С. 81—82.
12. См. подробнее о ее деятельности: Гродская Н. С. Из истории кафедры русской классической литературы МПУ (1955-1985) // Архив кафедры русской классической литературы.

ИНФОРМАЦИЯ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10 апреля 2006 г. Отделением русского языка Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), кафедрой современного русского языка Московского государственного областного университета была проведена Всероссийская научная конференция «Рациональное и эмоциональное в языке и речи», посвященная 75-летию МГОУ (МОПИ, МПУ).

В работе конференции приняли участие члены МАНПО — академики и члены-корреспонденты: д. ф. н. проф. П. А. Лекант, д. ф. н. проф. Л. Ф. Копосов, д. ф. н. проф. В. В. Леденева, д. ф. н. проф. Н. А. Герасименко, д. ф. н. проф. Т. Е. Шаповалова (МГОУ); д. ф. н. проф. К. А. Войлова (МГОУ), д. ф. н. проф. Л. Л. Касаткин (ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН), д. ф. н. проф. Е. В. Клобуков (МГУ), д. ф. н. проф. Т. А. Гридина (УрГПУ, г. Екатеринбург), д. ф. н. проф. О. А. Крылова (РУДН), д. ф. н. проф. Т. С. Мони́на МГОПИ, г. Орехово-Зуево), к. ф. н. проф. М. Ф. Тузова (МГОУ), д. ф. н. проф. Е. В. Алтабаева (МГПИ, г. Мичуринск).

Активно участвовали в работе конференции преподаватели и докторанты, аспиранты кафедры современного русского языка, выступали гости из других вузов России: к. ф. н. доц. М. В. Дегтярева, к. ф. н. доц. Л. А. Марченкова, к. ф. н. доц. Н. Б. Самсонов, к. ф. н. М. В. Захарова, докторант к. ф. н. проф. И. А. Шевякова (декан филологического факультета ОГПУ, г. Оренбург), к. ф. н. проф. Н. И. Коновалова (декан филологического факультета УрГПУ, г. Екатеринбург), к. ф. н. доц. О. В. Шаталова (МГОУ), асс. Т. В. Степаненкова, асп. Т. В. Романова (МГОПИ), асп. Е. А. Липнева, И. А. Башкирова (МГОПИ). Открывая конференцию, д. ф. н. проф. **П. А. Лекант** — академик МАНПО, академик-секретарь Отделения русского языка, член Президиума МАНПО, заведующий кафедрой современного русского языка МГОУ — рассказал о деятельности Отделения русского языка за 10 лет существования академии, представил круг проблем, которые были и остаются приоритетными для ученых, объединившихся в составе отделения, обрисовал перспективы его научной и организационной деятельности.

Д. ф. н. проф. Л. Ф. Копосов — декан факультета русской филологии, заведующий кафедрой истории русского языка и общего языкознания МГОУ, чл.-кор, МАНПО — в своем приветственном слове подчеркнул актуальность научно-педагогической направленности в деятельности Отделения русского языка, многие академики и члены-корреспонденты которого тесно связаны с МОПИ — МПУ — МГОУ, потому что сформировались здесь как лингвисты и ныне представляют в различных вузах России научную школу, созданную д. ф. н. проф. П. А. Лекантом. В рамках современных научных парадигм этими учеными исследуются средства номинации и предикации — единицы различных языковых уровней, их функционирование и стилистическая роль, а в последние годы — проблема рационального и эмоционального в языке и речи.

Вниманию аудитории было предложено 14 докладов и сообщений. Глубокий и насыщенный фактами доклад д. ф. н. проф. Т. И. Вендиной «Слово в языке русской культуры» вдохновил аудиторию, высокий эмоциональный настрой автора передался всем участникам конференции. В докладе доказывался тезис о том, что русская культура есть культура слова. Привлекая материал старославянского и древнерусского языков, автор показал, что, несмотря на секуляризацию русской культуры, христианская традиция в осмыслении слова не оборвалась и Слово наряду с другими именами Бога (такими, например, как Истина, Добро, Красота) стало ценностным ориентиром человека в современной культуре (ср.: устойчивые обороты честное слово, дать слово, связать себя словом, сказать свое слово и др.).

В докладе «Морфемика как самостоятельная отрасль русистики» д. ф. н. проф.

Е. В. Клобуков проследил драматическую историю становления морфемики, выделив-шейся из состава традиционной морфологии и словообразования во второй половине XX в. Морфемика располагает своей собственной системой ключевых понятий; результаты морфемного анализа отражены в специальных словарях морфем и морфемного членения. Все сказанное позволяет рассматривать морфемнику как самостоятельную по отношению к словообразованию дисциплину в структуре учебного плана подготовки специалистов с высшим образованием по специальности «Русский язык и литература». Это имеет важное значение для методики высшей школы.

Д. ф. н. проф. Т. А. Гридина, как исследователь онтогенеза речи, в докладе «Механизм реинтерпретации и образования фразеологизмов в детской речи» представила основные причины трансформации и переосмысления фразеологических единиц в процессе их усвоения детьми. Ученым выделено три основных способа переработки фразеологизмов в детской речи: 1) собственное толкование детьми существующих фразем (чаще всего на основе их буквального восприятия) без изменения формы устойчивого выражения; 2) трансформация фразеологизма, приспособляющая его к пониманию ребенка и условиям коммуникативной ситуации; 3) создание детьми собственных фразем (фразеологическая «неология» на базе омонимического фразеотворчества и тиражирования узуального образца).

В докладе д. ф. н. проф. К. А. Войловой «А. С. Пушкин и русский литературный язык» рассматривался механизм трансформации лексической категории разговорная речь в стилистическую категорию в языке произведений А. С. Пушкина. На интересном иллюстративном материале К.А. Войлова выявила, сформулировала закономерности и описала условия отбора А. С. Пушкиным языковых средств из общенационального русского языка — книжных, просторечных, а также заимствованных, — которые создали неповторимое художественное пространство произведений поэта.

К. ф. н. проф. Н. И. Коновалова посвятила доклад «Прагматика сакрального текста» анализу сакрального текста как феномена традиционной народной культуры. Ученым определяется понятие «сакральное», его формально-содержательные параметры, связанные с прагматикой жанра. Особое внимание в докладе было уделено типологии сакральных текстов в зависимости от характера прагматической установки субъекта (автора / произносителя) текста.

Д. ф. н. проф. В. В. Леденева — ученый секретарь Отделения русского языка МАНПО — сделала сообщение «От текста к норме» о природе и свойствах литературного языка, о влиянии текстов, называемых образцовыми, на формирование норм литературного языка и их эволюцию. Был заострен вопрос о нормативном характере публицистических текстов, которые в настоящее время считаются наиболее читаемыми, массовыми (что соответствует критерию понятия «литературный язык»), то есть образцовыми. Затронут прагматический аспект, так как эмоционально-экспрессивные интенции автора в их прямой реализации делают такие тексты анормативными в плане отбора языковых средств, почему в настоящее время можно задать вопрос «От текста к норме?» как проблемный.

Д. ф. н. проф. Л. Л. Касаткиным выделяется шесть типов тональных контуров (ТК) — движений тона на протяжении фонетической синтагмы (фразы), которые он представил в докладе «Тональные контуры русской интонации». У ТК-1—4 три сегмента: предцентр, центр, постцентр. Центр — слог, на который падает основное ударение фонетической синтагмы, ее динамический акцент. Основные изменения тона от среднего уровня вверх или вниз, как показал ученый, тональный акцент, который может совпадать и не совпадать с динамическим акцентом, что создает разновидности одного и того же ТК. У ТК-5 и ТК-6, которые выглядят как зеркальное отражение друг друга, два центра и пять сегментов. Остальные ТК также были охарактеризованы Л. Л. Касаткиным; это выступление вызвало многочисленные вопросы, широко обсуждалось.

«Модально-оценочная семантика связок» — тема доклада д. ф. н. проф. Н. А. Герасименко — академика, члена Президиума МАНПО. Автором выявлены семантические и семантико-грамматические признаки, отличающие связку от глагола в выражении модальных значений. Получил описание механизм выражения связкой модально-оценочной семантики, участие частиц-связок в оформлении объективной и субъективной модальности. Охарактеризована модально-оценочная семантика группы связок с общим значением «восприятие со стороны».

Д. ф. н. проф. Т. С. Моница в докладе «К вопросу о выделении компонентов семантической структуры предложения» рассмотрела трехаспектный метод анализа семантики предложения, подчеркнула необходимость разграничения 1) номинативного, 2) структурного, 3) коммуникативного аспектов для выявления семантических компонентов высказывания.

В докладе «Оптитивные частицы в выражении эмоционального» д. ф. н. проф. Е. В. Алтабаевой подвергся рассмотрению один из фрагментов современной теории оптитивности система семантически модифицированных оптитивных предложений — с позиций отражения в соответствующих единицах эмоционального содержания. Был представлен анализ комплекса семантических модификаций частицы бы {вот бы, если бы, как бы, лишь бы, только бы, хоть бы, чтоб(ы) и т. д.}, создающих богатую палитру не только модальных, но и эмоциональных оттенков высказывания, тесно переплетающихся в конкретном речевом акте. Автором выделяется эмотивная функция оптитивных частиц, которая связана с передачей эмоционального состояния говорящего и корректировкой общекатегориального значения желательности. Докладчиком сделан вывод о том, что модификации частицы бы насыщают оптитивные предложения новыми эмоциональными смыслами и тем самым составляют интерпретационный компонент категории оптитивности.

Сообщение к. ф. н. доц. О. В. Шаталовой «Семантическое поле бытия в философских размышлениях В. Розанова» было посвящено рассмотрению семантического поля бытия в языке произведений религиозного философа, публициста. Интересной представляется связь мировоззрения писателя с формой его выражения: противоречивость натуры художника прямо определила размытость, неопределенность семантической структуры концепта «БЫТИЕ».

Д. ф. н. проф. Т. Е. Шаповаловой был сделан доклад «Семантика временной неопределенности в строе простого предложения», в котором время было охарактеризовано как составная и обязательная часть предикативного признака. Под разноуровневые средства выражения временной неопределенности докладчиком подведена синтаксическая база. Показано, как элементы лексического и морфологического уровней, функционируя в составе синтаксических единиц, тесно переплетаются, усиливая тот или иной оттенок значения.

Заключительный доклад д. ф. н. проф. П. А. Леканта «Смешанные части речи в русском языке» наметил новые аспекты осмысления проблемы сосуществования и взаимодействия различных категорий в границах слова как единицы грамматического уровня (ср. синкретизм, функциональную омонимию), раскрыл интереснейшие перспективы ее исследования.

Все доклады и сообщения вызвали большой интерес и активно обсуждались, что свидетельствует об их актуальности.

Леденева В. В.
Шаповалова Т. Е.

ВЕСТНИК

*Московского государственного
областного университета*

Серия
“РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ”

№2 (27)

Подписано в печать: 02.10.06

Формат бумаги 60x86 /₈. Бумага офсетная. Гарнитура “NewtonC”.

Уч. – изд. л. 26,25. Усл.п.л. 19,5. Тираж 500 экз. Заказ № 157.

Издательство МГОУ
105005, г. Москва, Радио, д. 10-а.

Для публикации научных работ в выпусках серий «Вестника МГОУ» принимаются статьи на русском языке. При этом публикуются научные материалы преимущественно докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов, докторов и кандидатов наук.

Требования к оформлению статей

- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).

Файл должен содержать построчно:

на русском языке	НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами Фамилия, имя, отчество (полностью) Полное наименование организации (в скобках - сокращённое), город (указывается если не следует из названия организации) Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Аннотация
на английском языке	НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами Имя, фамилия (полностью) Полное наименование организации, город Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Abstract
на русском языке	Объем статьи – от 15000 до 40000 символов, включая пробелы Список использованной литературы под заголовком Литература

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт Times New Roman, цвет шрифта чёрный, размер не менее 14 пунктов, междустрочный интервал – полуторный.

Форматирование текста:

- **запрещены** любые действия над текстом (“красные строки”, центрирование, отступы, переносы в словах и т.д.), **кроме** выделения слов полужирным, подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;

- **наличие рисунков, формул и таблиц** допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. **Все формулы** должны быть созданы с использованием компонента **Microsoft Equation** или в виде чётких картинок

- **запрещено уплотнение интервалов;**

- **при нарушении требований** объекты удаляются из статьи.

Обращаем особое внимание на *точность библиографического оформления* произведений печати в «Примечаниях» (литература в конце текста), на *выверенность статей* в компьютерных наборах и *полное соответствие* файла на дискете и бумажного варианта!

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой).

В случае принятия статьи, условия публикации оговариваются с ответственным редактором.

Ответственный редактор серии «Русская филология» — доктор филологических наук, профессор Лекант Павел Александрович.

Адрес редколлегии серии «Русская филология» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21-а, кафедра современного русского языка. Телефон (495) 265-08-07. Электронный адрес: sharovalovi@mail.ru.